ОМСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ПУШКИНСКАЯ
БИБЛІОТЕКА

Хр. кат. № 2893

Отдѣлъ 108
№ Э 82

RP AC AE AV See over
UNC No. Copies:
LC
IP
Title: Pis'ma
Place, Publisher, Dat
Series:
RESERVED
Dealer:
Fund: SA 105-
For Library: Main
Date Received: 5 Feb '70

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

LUX LIBERTAS

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3460
.E74
Z55

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
10000033535

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
OCT 11 1993			
	OCT 11 '93		
DEC 05 1994			
	DEC 06 '94		
MAR 23 1999			
APR 21 1999			
MAY 21 1999			
JUL 17 1999			
OCT 14 1999			
	OCT 05 '00		
OCT 15 2002			
	OCT 17 2002		

Form No. 513, Rev. 1/84

PG3460
.E74
Z55

Хр

1.08.
Э-82.

923
Э 82

220182.

ПИСЬМА

~~2893.~~

А. И. ЭРТЕЛЯ.

Подъ редакціей и съ предисловіемъ

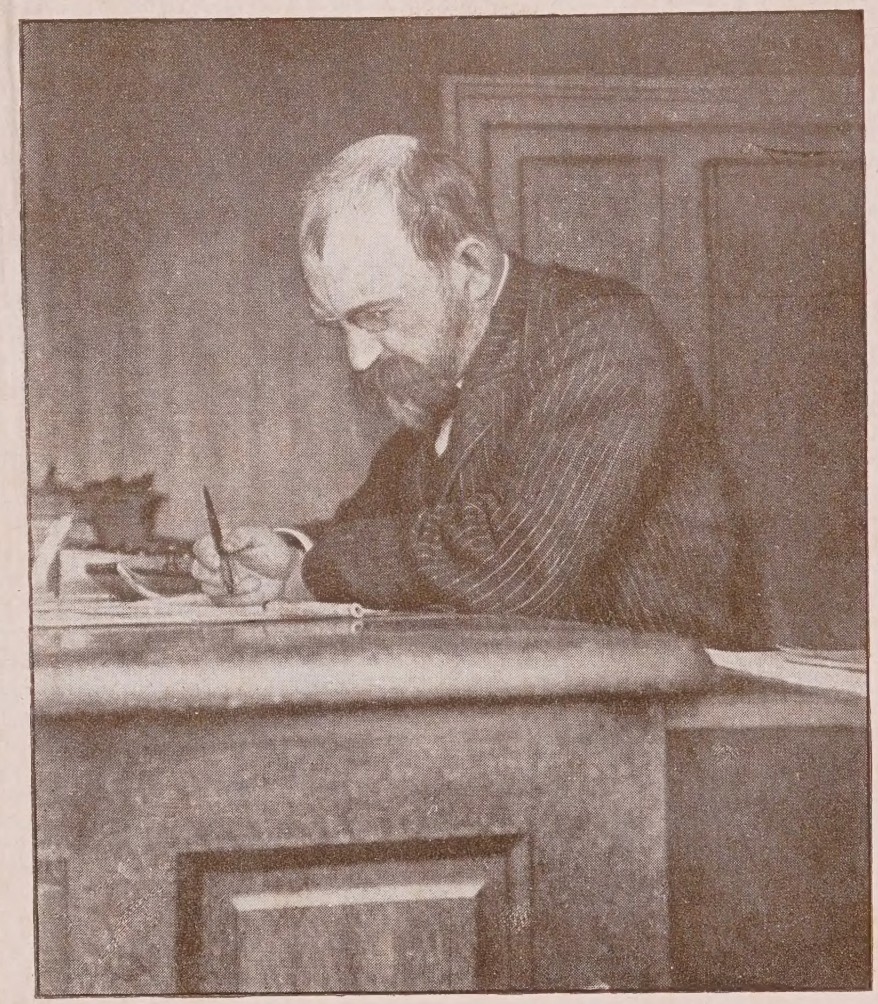
М. О. Гершензона.

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА
им. А. С. Пушкина
№

Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., соб. д.
Москва. — 1909.

Digitized by the Internet Archive
in 2021 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/pisma00rtel



А. Эрлиц.

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА * ОМСКАЯ
Имени Александра Сергеевича ПУШКИНА.

Міровоззрѣніе А. И. Эртеля.

Если читателю раньше другихъ попадутся на глаза тѣ отрывки изъ писемъ Эртеля, гдѣ рѣчь идетъ о достовѣрности познанія, о свободѣ воли и другихъ вопросахъ теоретической философіи, онъ получитъ невыгодное представленіе о писавшемъ. Дѣйствительно, Эртель не обладалъ ни даромъ отвлеченнаго мышленія, ни даже сколько-нибудь серьезной философской образованностью, какъ это онъ и самъ охотно признаетъ. И тѣмъ не менѣе, онъ былъ замѣчательный мыслитель, и мысли, постепенно выработанныя имъ, представляютъ въ совокупности чрезвычайно оригинальную и цѣнную систему идей. Сила его мышленія — въ той области, которую Кантъ отводитъ *практическому* разуму.

Эртелю нужно было міровоззрѣніе, какъ рабочему человѣку нужна техника его ремесла, какъ тому, кто садится играть въ карты, нужно знать правила игры. Онъ былъ, прежде всего, человѣкъ дѣла. Ему дана была отъ природы огромная жизнеспособность, точно въ немъ билъ неизсякаемый родникъ, напоявшій до-полна его чувства и волю. Нельзя вообразить себѣ бо́льшаго контраста, нежели тотъ, который представляла эта полнокровная натура среди худосочной и вялой русской интеллигенціи 80-хъ годовъ. По своему отношенію къ жизни люди дѣлятся на три разряда: одни пассивно — ропща или безропотно — несутъ тяжесть, которую накладываетъ на нихъ жизнь, другіе болѣе всего увлечены созерцаніемъ жизни, третьи по внутренней потребности активно творятъ жизнь. Эртель былъ яркимъ представителемъ этого третьяго типа — дѣлателей

жизни. О немъ ошибочно было бы сказать, что онъ былъ даровитымъ писателемъ или даровитымъ агрономомъ: онъ обладалъ въ сущности однимъ талантомъ — рѣдкимъ талантомъ жить, и все остальное было отсюда. Я думаю, что и писать онъ началъ потому, что, томясь въ вынужденномъ бездѣйствіи, инстинктивно стремился хоть воображеніемъ жить въ непрерывной смѣнѣ явленій и дѣйствій,—а что сельское хозяйство удовлетворяло его именно кипучей дѣятельностью, безотносительно къ ея цѣли, это онъ многократно самъ говоритъ. Какъ всякій талантъ опредѣляется любовью и жаждой творчества, такъ и онъ страстно любилъ жизнь и былъ полонъ энергіи на дѣло. Все въ жизни было ему интересно, и никакое дѣло не казалось скучнымъ; его письма поражаютъ этой свѣжестью воспріятія и неутомимой бодростью воли.

Такому человѣку нельзя быть безъ міровоззрѣнія. Дѣлать жизнь — не поле перейти. Жизнь сложна, запутана, многостороння; дѣлать жизнь — трудная профессія, требующая большихъ знаній, а главное — опредѣленныхъ пріемовъ. Но врожденный талантъ не боится трудностей своего ремесла, напротивъ — онѣ его увлекаютъ. Эртель зналъ практическую жизнь, какъ немногіе; стоило ему по обстоятельствамъ своей жизни попасть въ близость съ какой-нибудь группой явленій, онъ не успокоивался, пока не изучалъ ее до дна, — будь это крестьянскій бытъ или коннозаводство, и все, что онъ зналъ, онъ зналъ твердо, отчетливо, до мелочей. Но одного знанія мало: надо еще умѣть; надо постигнуть всѣ тайны ремесла и выработать себѣ вѣрныя, цѣлесообразныя правила. Въ примѣненіи къ жизненному творчеству это значитъ пріобрѣсти міровоззрѣніе.

Таково и было міровоззрѣніе Эртеля. Оно носитъ совершенно практическій характеръ. Это система идей, въ которой учтены всѣ силы, какими строится жизнь, — какъ матеріальныя, такъ и нравственныя, — и которая въ цѣломъ представляетъ собою какъ бы руководство поведенія. Эртеля нимало не занимаетъ ни научный анализъ того, что̀ есть, ни мечты идеалистовъ о томъ, что должно быть; ему нужно только знать, какъ жить. Этотъ вопросъ, разумѣется, объемлетъ два первыхъ, но не въ

полномъ размѣрѣ. Очевидно, что для правильнаго рѣшенія задачи о томъ, какъ жить, нужно уяснить себѣ, во-первыхъ, каковы неизмѣнныя свойства сущаго, во-вторыхъ, каковы его непреодолимыя скрытыя тенденціи; иначе рѣшеніе будетъ ошибочнымъ. Именно такъ, совершенно практически, стоялъ этотъ вопросъ для Эртеля. Все его міровоззрѣніе представляетъ собою отвѣтъ на двойственный вопросъ: что̀ *позволяетъ* сдѣлать жизнь, и чего она *требуетъ?* Жизнь для него—заранѣе данное; было бы безцѣльно противодѣйствовать ея свойствамъ или игнорировать ея тенденціи; все, что̀ можетъ сдѣлать человѣкъ,—это сознательно направлять дѣйствіе ея свойствъ съ цѣлью ускорить осуществленіе заложенныхъ въ ней возможностей. Но для этого надо прежде всего безпристрастно и добросовѣстно изучить и тѣ, и другія. Итогомъ этого изученія и было міровоззрѣніе Эртеля.

Оно сложилось въ немъ въ промежутокъ приблизительно съ 1888-го по 1893 годъ и въ цѣломъ осталось неизмѣннымъ до его смерти. Въ предлагаемыхъ письмахъ, разумѣется, не предназначавшихся для печати, оно выражено съ полнотою и ясностью, не оставляющими ничего желать; его можно безъ натяжекъ изложить въ видѣ стройной системы, какою оно въ дѣйствительности и было.

Чисто-практическій, такъ сказать, дѣловой характеръ этой системы обнаруживается уже въ томъ, какими предѣлами Эртель ограничиваетъ поле своего изслѣдованія. Онъ изучаетъ не космосъ, а исторію, не бытіе, а человѣческую дѣйствительность. Вопросъ объ изначальной силѣ, движущей міръ, и о конечной цѣли этого движенія, онъ оставляетъ безъ разсмотрѣнія. Былъ моментъ, въ самомъ началѣ его исканій, когда этотъ вопросъ всталъ предъ нимъ во всей своей остротѣ; онъ спрашивалъ себя: зачѣмъ зло и страданіе въ мірѣ, для чего нужно Богу терзать все живущее такими несказанными муками? И тогда обычный выходъ — смиреніе передъ невѣдомымъ, передъ видимымъ безсмысліемъ исторіи — казался ему нелѣпостью; тогда онъ на минуту почувствовалъ, что въ этомъ вопросѣ — все, что, не рѣшивъ его, нельзя жить. — Но только на минуту; такія натуры не утопаютъ въ метафизикѣ. Ему

слишкомъ хотѣлось жить, чтобы метафизическое оправданіе жизни могло долго занимать его; да и по существу его воля не нуждалась въ такомъ оправданіи: онъ слишкомъ любилъ самый процессъ жизни, чтобы даже безцѣльность ея могла поколебать эту любовь. Онъ очень скоро и рѣшительно раздѣлался со своими сомнѣніями: цѣль бытія намъ невѣдома, да и не нужно ея знать; ее знаетъ тотъ, кто правитъ жизнью, съ насъ же довольно — жить. Однако изъ этого не слѣдуетъ заключать, что Эртель былъ раціоналистомъ. Напротивъ, какъ разъ живое чутье дѣйствительности научило его тому, что въ основѣ всего видимаго есть элементъ невидимый, но не менѣе реальный, и что не учитывать его въ практическихъ разсчетахъ значитъ рисковать ошибочностью всѣхъ разсчетовъ. Оттого позитивизмъ, какъ міровоззрѣніе, казался ему нестерпимой безсмыслицей. Онъ полагалъ, что существуетъ двоякое знаніе: строго-научное, обязательное для всѣхъ, и не научное, субъективное, составляющее основу религіи, метафизики и искусства; это второе знаніе онъ называетъ органическимъ, и горячо отстаиваетъ его законность подъ тѣмъ условіемъ, чтобы оно не посягало на разрѣшеніе проблемъ, подлежащихъ вѣдѣнію точнаго знанія, и не противорѣчило выводамъ послѣдняго. Какой-нибудь связи между обѣими сферами знанія онъ не устанавливалъ; его міровоззрѣніе характеризуется строгимъ дуализмомъ.

Основной тезисъ его философіи можно формулировать такъ. Жизнь рѣзко распадается на явленія двухъ родовъ: на явленія, не зависящія отъ нашей воли, а зависящія исключительно отъ воли того великаго неизвѣстнаго, которое мы называемъ Богомъ; къ такимъ явленіямъ мы должны относиться съ безусловной покорностью, потому что здѣсь протестъ и борьба безцѣльны и могутъ только ослабить бунтующаго; и, во-вторыхъ, на явленія, зависящія отъ нашей воли и устранимыя: по отношенію къ нимъ борьба и умѣстна, и необходима. Первое правило поведенія — научиться различать эти двѣ области, чтобы не ошибаться въ томъ, гдѣ нужна резиньяція и гдѣ борьба; въ смѣшеніи этихъ двухъ областей — источникъ величайшихъ, опаснѣйшихъ заблужденій. Въ жизни двѣ

задачи: одна съ очевидными данными, другая — съ цѣлымъ рядомъ неизвѣстныхъ; нормально-мыслящій человѣкъ рѣшаетъ только первую, а вторую или оставляетъ нерѣшенной, или рѣшаетъ субъективно, вѣрою, не обязательною для другихъ. Область резиньяціи не такъ велика, какъ область борьбы; во всякомъ случаѣ, борьбы хватитъ на всю жизнь, и это собственно и есть жизнь: борьба, какъ рѣшеніе задачи съ очевидными данными. Такой нормально-мыслящій человѣкъ — необходимо оптимистъ; недовольство жизнью происходитъ только отъ неумѣнія разграничивать обѣ области.

Итакъ, ареною, на которой единственно можетъ и должна осуществляться наша сознательная дѣятельность, является общественная жизнь; бороться можно и должно только съ тѣмъ зломъ, которое коренится въ условіяхъ общежитія. Спрашивается: каковы же природныя силы, дѣйствующія на этой аренѣ, и въ чемъ можетъ заключаться наше сознательное вмѣшательство?

Формы общежитія, по мысли Эртеля, представляютъ собою равнодѣйствующую безчисленныхъ интересовъ, страстей и привычекъ, другими словами, логическій выводъ изъ непреложныхъ историческихъ причинъ; въ этомъ смыслѣ исторія человѣчества — стихійный процессъ. Но стоитъ присмотрѣться нѣсколько внимательнѣе, и за всѣми страстями и интересами, за всей такъ называемой «логикой событій», открывается присутствіе иной движущей силы — нравственнаго сознанія людей. Въ человѣческой душѣ заложено неискоренимое стремленіе къ любви, къ всеобщему благоволенію. Это стремленіе есть единственная реальность исторіи; всѣ остальныя силы, дѣйствующія въ исторіи, условны и измѣнчивы; безусловно только стремленіе къ любви, и только въ немъ — назначеніе человѣка. Здѣсь Эртель является вѣрнымъ послѣдователемъ Толстого. Онъ отказывается мыслить о сущности Божества; въ одномъ мѣстѣ онъ даже прямо говоритъ, что Богъ представляется ему не реальностью, а нѣкоторымъ иксомъ — «можетъ-быть, знакомъ реальности, а можетъ-быть, и знакомъ абстракціи»; единственное, что онъ считаетъ возможнымъ утверждать, это — что

стремленіе къ любви есть отраженіе Бога въ человѣческой душѣ [1]).

Такимъ образомъ, идеальное направленіе жизни намъ дано непосредственно: это любовь. Казалось бы, достаточно дать волю въ себѣ этому Божественному инстинкту, достаточно направить всѣ силы на утвержденіе любви, чтобы достигнуть блага. Но опытъ показываетъ, что это не такъ: одной любви мало для правильнаго устроенія жизни. Кромѣ способности любить, человѣку присуща другая высшая способность — познавать, и благо не можетъ быть достигнуто иначе, какъ совмѣстнымъ дѣйствіемъ обѣихъ этихъ способностей. Это кардинальный пунктъ философіи Эртеля; поэтому и намъ слѣдуетъ разсмотрѣть его подробно.

Способность познаванія, говоритъ Эртель, составляетъ главное отличіе человѣка отъ животныхъ, ему обязано человѣчество всѣми своими успѣхами въ борьбѣ съ природою и съ безсознательнымъ началомъ въ себѣ; но сама по себѣ работа этой способности не ведетъ къ благу. Можно представить себѣ такой случай, когда отдѣльный человѣкъ дѣйствительно обезпечилъ себѣ счастье при помощи одного разума, но это возможно только подъ условіемъ полнаго обособленія отъ людей, такъ какъ при малѣйшей попыткѣ связать эту отдѣльную счастливую жизнь съ жизнью другихъ людей обнаруживается вся фальшивость и мертвенность достигнутаго блага. То же самое наблюдается и въ общественной жизни, когда она направляется исключительно разумомъ; тогда могутъ пышно расцвѣсти науки, могутъ быть достигнуты огромные успѣхи въ борьбѣ съ природою, но жизнь исказится, такъ какъ способность познаванія нисколько не мѣшаетъ людямъ пожирать другъ друга.

Но совершенно такъ же и одна способность любви не обезпечиваетъ блага. Она вноситъ теплоту, бодрость и жизнерадостность въ личную жизнь и въ людскія отношенія; но

---

[1]) Мы увидимъ ниже, что, на ряду съ добромъ, Эртель придаетъ абсолютный смыслъ также истинѣ и красотѣ.

отдѣленная отъ способности познаванія, она опять-таки можетъ составить благо только отдѣльнаго человѣка, несовмѣстимое съ благомъ общества. Какъ тамъ источникомъ зла является эгоизмъ, такъ здѣсь — глупость, и въ обоихъ случаяхъ достигается не благо, а зло.

Отсюда Эртель выводитъ такой историческій законъ: никакое религіозно-нравственное ученіе, какъ бы высоко оно ни было, не можетъ привести людей къ благу безъ союза съ наукою и искусствомъ. Подтвержденіе этого закона онъ видитъ въ исторіи всѣхъ религій, и прежде всего — въ исторіи христіанства. Высокое и разумное ученіе Христа только потому исказилось и породило весь ужасъ и тьму среднихъ вѣковъ, что оно первоначально попало въ руки людей, хотя глубоко искреннихъ и нравственныхъ, но невѣжественныхъ, пренебрегшихъ наукою и искусствомъ древняго міра. Если бы не была насильственно погублена классическая образованность, зло, сопутствовавшее христіанству, было бы невозможно: невозможны были бы дикіе богословскіе споры и весь бредъ догматики, невозможны были бы кровавыя гоненія, инквизиція, процессы вѣдьмъ и пр. Одно нравственное ученіе можетъ давать благо цѣлой группѣ людей — народу или общинѣ — только въ исключительныя минуты; такъ было и съ христіанствомъ въ первыя его времена, въ эпоху гоненій. Но при нормальномъ порядкѣ жизни высокій подъемъ чувства непремѣнно ослабѣваетъ, и тутъ, если нравственное ученіе не имѣетъ у себя на стражѣ науки и искусства, оно быстро покрывается такимъ слоемъ суевѣрій и предразсудковъ, который дѣлаетъ его неузнаваемымъ.

Поэтому ошибочно ждать улучшенія жизни отъ одной любви, отъ нравственности; нѣтъ, мы должны одинаково дорожить и тѣмъ, что̀ развиваетъ въ людяхъ способность любви, и тѣмъ, что развиваетъ способность познаванія, и, наоборотъ, все то, что тормозитъ дѣйствіе той или другой способности, равно достойно отрицанія и борьбы. Благо — не въ одномъ стремленіи жить по завѣту Христа: оно вездѣ, гдѣ есть живая дѣятельность на общую пользу, подвигаемая любовью къ людямъ, хотя бы самъ дѣятель былъ атеистъ и не вѣрилъ въ

Христа; мало того: даже дѣятельность, временно направленная къ явному злу, въ конечномъ итогѣ послужитъ благу; такъ, власть, вѣками накопленная въ какомъ-нибудь правительствѣ для разбойничьихъ цѣлей, въ свое время послужитъ прогрессивнымъ цѣлямъ. Вольно или невольно, науки и искусства неизбѣжно служатъ Божьему дѣлу на землѣ, и ученый химикъ или политико-экономъ, талантливый поэтъ или скульпторъ — въ такой же мѣрѣ апостолъ Христа, какъ и любой изъ Его учениковъ, потому что они разрыхляютъ и удобряютъ ниву Христа. Пусть они не могутъ сказать ничего новаго послѣ Него, но, идя совершенно инымъ путемъ, нежели указано Имъ, и даже враждуя съ Нимъ, они дѣлаютъ Его же дѣло, на тысячу новыхъ ладовъ обосновывая Его положенія, высказанныя въ свое время только интуитивно.

Итакъ, основное правило поведенія, сознательно направляемаго къ благу, гласитъ: люби съ разумомъ. Отсюда вытекаетъ для Эртеля цѣлый рядъ важныхъ практическихъ указаній.

Этимъ правиломъ, прежде всего, исключаются всякіе *насильственные* пріемы въ борьбѣ съ неправдою. Если нашъ долгъ — бороться со всѣмъ, что препятствуетъ любви и разуму, то по существу ясно, что мы не можемъ пользоваться въ этой борьбѣ такимъ оружіемъ, которое само подрываетъ любовь, ибо, сознательно употребляя насиліе, я тѣмъ самымъ вношу въ свою душу зло, именно превратное понятіе о моемъ правѣ, — другими словами, покупаю временное благо цѣною абсолютнаго зла. Это вѣрно не только по отношенію къ личной борьбѣ со зломъ, но и по отношенію къ общественной. Общество располагаетъ могущественными средствами къ водворенію правды: при помощи законодательной мѣры или института оно ставитъ личность въ такія условія, которыя постепенно измѣняютъ ея взгляды въ желательномъ смыслѣ; такъ повліяла, напримѣръ, отмѣна крѣпостного права на взгляды крѣпостниковъ. Дѣйствуя такъ, общество неминуемо должно пользоваться принужденіемъ; но, во-первыхъ, это принужденіе точно такъ же не должно носить насильственнаго характера, т.-е. осуществляться при помощи штыковъ и казней, во-вторыхъ, оно дол-

жно примѣняться только въ тѣхъ случаяхъ, когда общественное мѣропріятіе имѣетъ за себя ясно-сознанныя большинствомъ справедливыя понятія: тогда принужденіе по существу является уже не насиліемъ, а какъ бы врачебнымъ средствомъ, долженствующимъ поставить закостенѣвшее въ старыхъ понятіяхъ меньшинство въ условія, благопріятныя для душевнаго выздоровленія.

Далѣе, изъ общаго правила — «любить *съ разумомъ*» — вытекаетъ сознаніе, что никакое отвлеченное начало, какъ бы оно ни было вызвышено, нельзя примѣнять къ жизни въ чистомъ видѣ: это было бы такъ же неразумно, какъ вводить въ растеніе чистый азотъ, хотя азотъ и нуженъ растенію. Жизнь сложна и запутана, вся она въ цѣломъ — результатъ исторической необходимости, люди не одинаковы и не ангелы, и каждая личность — результатъ наслѣдственныхъ пороковъ и добродѣтелей. Такъ какъ мы принуждены осуществлять истину не въ безвоздушномъ пространствѣ, а въ исторической средѣ, то всякое осуществленіе ея неминуемо должно быть компромиссомъ, соглашеніемъ между безусловной идеей и исторической необходимостью. Истина возьметъ свое, ея движеніе неудержимо, но движется она не прямо, а зигзагами, медленными усиліями, постоянными сдѣлками съ бытомъ, съ наслѣдственными чувствами и вѣрованіями, и отдѣльный человѣкъ, стремясь ускорить это движеніе, долженъ точно такъ же дѣйствовать не напроломъ, а въ условіяхъ возможнаго. Спастись одной нравственностью можно, но вѣдь дѣло идетъ не объ эгоистическомъ спасеніи, а разъ мы подъ нравственной жизнью понимаемъ такую жизнь среди людей, среди ихъ привычекъ, заблужденій, страстей, ошибокъ и правды, то очевидно, что надо изучить этотъ матеріалъ и считаться съ нимъ. Опредѣляя свое поведеніе только въ интересахъ своей души, только по закону правды, мы неминуемо причинимъ тяжелый вредъ людямъ. И здѣсь опять-таки непреложнымъ мѣриломъ является тріединая цѣнность — любви, знанія и искусства. Хорошо все то, что содѣйствуетъ ихъ совокупному развитію, нехорошо то, что росту одной изъ этихъ силъ приноситъ въ жертву одну или обѣ другія. Не лгать, не убивать, любить другъ друга—

хорошо, ибо это не противорѣчитъ ни моему благу, ни благу всѣхъ людей и только выгодно для успѣховъ добра, истины и красоты. Но вотъ другой рядъ истинъ: собственность — зло, государственность — зло, раздѣленіе труда — зло. Итакъ, должно ли отказаться отъ нихъ? Нѣтъ, не должно, ибо, признавая въ нихъ несомнѣнное зло, я вмѣстѣ съ тѣмъ вижу, что отрицаніе ихъ *въ нынѣшнихъ условіяхъ исторической дѣйствительности* причинитъ людямъ великій ущербъ: безъ собственности въ современныхъ условіяхъ не будетъ досуга, а стало-быть, не будетъ и наукъ и искусствъ, безъ раздѣленія труда науки и искусства также невозможны, наконецъ, безъ государственности, опять-таки въ современныхъ условіяхъ, сильный пожретъ слабаго. Эти нормы, осуждаемыя объективнымъ нравственнымъ закономъ, до поры до времени нужны, потому что онѣ хотя до нѣкоторой степени умѣряютъ страсти и даютъ почву наукѣ и искусству. Разумѣется, это не исключаетъ частичной борьбы съ ними. Не отказываясь отъ этихъ, пока необходимыхъ, устоевъ нынѣшней цивилизаціи, я долженъ, однако, непрестанно помнить, что они противорѣчатъ нравственному закону, и стремиться къ тому, чтобы и въ своей частной жизни какъ можно меньше находить опору въ собственности или государственности, и какъ можно больше колебать эти устои въ сознаніи людей. Но отказываться отъ этихъ орудій я могу лишь въ той мѣрѣ, въ какой это не противорѣчитъ общему благу. Если я химикъ и мнѣ нужна лабораторія, то я поступлю неразумно, распродавъ свои тигли и реторты, чтобы помочь нуждающимся; совершенно такъ же люди сейчасъ не въ правѣ отказаться отъ собственности, потому что она обезпечиваетъ нѣкоторыя вѣчныя блага человѣчества. Въ одной изъ своихъ записныхъ книжекъ Эртель однажды такъ обосновалъ эту мысль: «Мнѣ думается, что раздать имѣніе нищимъ — не вся правда. Нужно, чтобы во мнѣ и въ дѣтяхъ моихъ сохранилось то, что есть добро: знаніе, образованность, цѣлый рядъ истинно хорошихъ привычекъ, а это все по большей части требуетъ не одной *головной* передачи, а и наслѣдственной. Отдавши имѣніе — отдамъ ли я дѣйствительно *все*, чѣмъ обязанъ людямъ? Нѣтъ, благо-

даря чужому труду я, кромѣ имѣнія, обладаю и еще многимъ, и этимъ многимъ долженъ подѣлиться, а не зарывать *его* въ землю. Вышло такъ, что «чужимъ трудомъ», кромѣ массы зла, сдѣлано и много хорошаго. Справедливо ли будетъ, возвративши результаты этого труда нищимъ, погасить и то хорошее, что уже есть и что выросло и поддерживается этимъ чужимъ трудомъ? Отдавши имѣніе, я отдамъ только часть, а погасивши въ себѣ потребность знанія, таланта, истинной образованности, я безслѣдно уничтожаю другую часть чужого — ту, которая давала досугъ моему отцу, дѣду, прадѣду и т. д.»

Безусловное пониманіе истины, условное осуществленіе ея — это одинъ изъ завѣтныхъ тезисовъ Эртеля. Всѣмъ существомъ онъ чувствовалъ, что прямолинейная принципіальность — холодна, мертвенна, что теплота жизни — только въ компромиссѣ. Онъ не устаетъ повторять это въ своихъ письмахъ къ В. Г. Черткову, который стоитъ на діаметрально-противоположной точкѣ зрѣнія, и чьи письма поэтому, въ силу рѣзкаго контраста, превосходно освѣщаютъ міровоззрѣніе Эртеля. Особенно часто останавливается здѣсь Эртель на вопросѣ о личномъ героизмѣ, о самоотреченіи, необходимость котораго отстаивалъ В. Г. Чертковъ. Полное самоотреченіе въ глазахъ Эртеля — такая же нелѣпость, какъ и всякое вообще безусловное осуществленіе истины. Личную святость подвижниковъ и даже Христа онъ считаетъ, хотя и высокимъ по стимулу и благотворнымъ по вліянію на людей, но ненормальнымъ явленіемъ; это яркій свѣтъ, но фантастическій, не тотъ нормальный солнечный свѣтъ, при которомъ совершается жизнь. Не нужно отрекаться отъ личныхъ отношеній, потому что, будучи правильно поставлены, эти отношенія не мѣшаютъ служенію людямъ, но, напротивъ, помогаютъ ему, пріобщая человѣка къ міровой радости и міровой скорби, тогда какъ отсѣченіе личнаго ростка мертвитъ душу. Любить одинаково своего ребенка и чужого — противоестественно, и не нужно пріучать себя къ этому: достаточно, если твое личное чувство не погашаетъ въ тебѣ справедливости, которая не позволяетъ зарѣзать чужого ребенка ради удобствъ своего. Подвижничество такъ же ненормально, какъ и его противо-

положность — безусловный эгоизмъ; «норма есть въ той серединѣ, когда ростокъ личной жизни цвѣтетъ и зрѣетъ въ полной силѣ, не заглушая вмѣстѣ съ тѣмъ любви ко всему живущему». И особенно, особенно надо остерегаться провозглашать подвигъ обязательной нормой для всѣхъ людей. Истина — одна, но она имѣетъ столько же формъ, сколько есть людей, потому что достигается она не однимъ разсужденіемъ, а всей совокупностью индивидуальной жизни; между тѣмъ какъ законы логики общи для всѣхъ, характеры, темпераменты, натуры разнообразны до безконечности, и это разнообразіе личностей нельзя свести къ схемѣ, нельзя подвести подъ одинъ общій знаменатель, хотя бы этимъ знаменателемъ былъ Христосъ. Поэтому, прежде чѣмъ дѣлать изъ своего пониманія истины регламентацію для другихъ, человѣкъ долженъ строго разобрать, что̀ въ его истинѣ есть истина для всѣхъ, и что̀ истина только для него самого, такъ какъ совпадаетъ съ его личными склонностями. Это опять приводитъ къ отрицанію героизма, какъ общей нормы; въ подвижникѣ, въ Буддѣ, въ Христѣ мы должны отличать общечеловѣческую мудрость отъ побужденій личныхъ, свойственныхъ только Буддѣ или только Христу; тогда окажется, что одни элементы ихъ ученія и жизни пригодны для всѣхъ людей, другіе же, проистекающіе изъ исключительнаго склада ихъ личности, принадлежатъ только имъ и не могутъ быть нормою для всѣхъ людей.

Таковы, по мысли Эртеля, цѣлесообразные пріемы общественной и личной борьбы, направленной къ водворенію истины. Эта тактика характеризуется, какъ легко видѣть, гармоническимъ сочетаніемъ идеализма съ практичностью. Эртель одинаково конкретно ощущаетъ и неудержимую поступательную силу истины, и трудно побѣдимую косность исторической среды. Яркимъ образчикомъ этого крѣпкаго двухсторонняго чутья можетъ служить его письмо къ М. Н. Чистякову отъ 19 апрѣля 1889 года. Оно касается предѣловъ и средствъ личнаго воздѣйствія человѣка на человѣка въ видахъ наученія истинѣ. Мысль Эртеля та, что «всякое органически сложившееся міровоззрѣніе весьма туго, а то и со-

всѣмъ не поддается доводамъ разума, — оно поддается всѣмъ разнообразнѣйшимъ впечатлѣніямъ жизни, и по чуточкѣ, съ страшной медленностью»; пытаться сразу повернуть человѣка на путь истины — значитъ только вызвать въ немъ раздраженіе, которое разъединяетъ людей и поэтому есть зло. Напротивъ, надо брать отъ человѣка то доброе, что онъ можетъ дать, не гнушаясь его закоренѣлостью, и вмѣстѣ съ тѣмъ надо убѣждать его ровно настолько, насколько онъ способенъ выслушать безъ ожесточенія, — и тутъ, больше чѣмъ доводы, помогаетъ любовь, размягчающая сердцевину чужой души.

Мы видѣли, что жизнь, по Эртелю, — борьба за общее благо. Мы видѣли, какія средства борьбы онъ отвергаетъ, какія признаетъ цѣлесообразными. Практическій выводъ изъ своихъ размышленій о роли личности въ общественной борьбѣ онъ формулировалъ такъ: «Всячески расширять сознаніе людей; примыкать къ тѣмъ общественнымъ группамъ и учрежденіямъ, которыя, не прибѣгая сами къ зоологическимъ средствамъ, могутъ способствовать упраздненію зоологіи; всячески поддерживать тѣ мѣропріятія современнаго государства, которыя ведутъ къ той же цѣли; неустанно занимать позиціи, съ которыхъ историческимъ ходомъ вещей вытѣснена государственность, — вотъ, мнѣ думается, желательный и справедливый типъ *общественнаго* поведенія».

Въ совершенномъ согласіи со своей основной мыслью о тріединой высшей цѣнности — добра, истины и красоты — рѣшалъ онъ и другую часть задачи: вопросъ объ отношеніи человѣка къ самому себѣ. Отчасти мы это уже видѣли выше, гдѣ шла рѣчь о самоотреченіи. Основными біологическими свойствами всякой нормальной личности онъ считаетъ, во-первыхъ, *радость жить*, во-вторыхъ, *стремленіе къ творчеству*. Жизнь — роскошный пиръ, и въ здоровомъ организмѣ неистощимы средства для воспріятія всей прелести жизни; надо беречь въ себѣ эту волю жить и этотъ вкусъ къ жизни. Высшая же радость жизни — потому что главнѣйшая потребность организма — есть творчество, т.-е. процессъ, ведущій стремленіе къ достиженію: моментъ, когда они смыкаются, это и есть счастіе. Къ чему стремиться — это другой вопросъ, но

внѣ творчества нѣтъ жизни и внѣ достиженія нѣтъ счастія. А первое условіе жизнеспособности — внутренняя свобода, неподчиненность сознанія какой бы то ни было предвзятой схемѣ: не впрягаться ни въ какія сектантскія оглобли, будь то аскетизмъ, эпикурейство или что-нибудь другое. Не грѣхъ выпить съ пріятелемъ бутылку шампанскаго; если въ каждую минуту вынимать изъ кармана нравственный аршинъ и прикидывать его къ желанію или поступку, это свяжетъ жизнь мелочной регламентаціей и умалитъ свободу; но грѣхъ *пить*, грѣхъ «*жить* въ ѣду, вино и пр.», потому что это подрываетъ физическую или умственную жизнеспособность. Это опять приводитъ насъ къ основной мысли Эртеля: нельзя умерщвлять въ себѣ и въ людяхъ ни одну изъ способностей, дарованныхъ человѣку, чтобы отражать въ себѣ Бога, т.-е. истину, добро и красоту.

Я изложилъ сжато основныя идеи этого своеобразнаго міровоззрѣнія, которое по справедливости можетъ быть названо «философіей дѣла». Мысль Эртеля была очень ясна — можетъ-быть, даже слишкомъ ясна—и во всякомъ случаѣ всегда вѣрна себѣ, т.-е. послѣдовательна. На протяженіи предлагаемой книги писемъ читатель встрѣтитъ многообразныя примѣненія этихъ идей ко всевозможнымъ частнымъ вопросамъ, никогда не противорѣчащія системѣ, напротивъ, только иллюстрирующія или уясняющія ее. На трехъ такихъ частныхъ вопросахъ необходимо остановиться въ виду ихъ особенной важности.

Можно было бы a priori рѣшить, какъ смотрѣлъ Эртель на задачи искусства. Искусство для него, прежде всего, — глашатай правды, не преходящей правды нынѣшняго дня, а правды всечеловѣческой и абсолютной. Это не значитъ, что оно должно витать въ эмпиреяхъ; напротивъ, оно должно вмѣшиваться въ самую будничную дѣйствительность, но, изображая ее, оно должно творить надъ нею судъ во имя непреходящей правды. Однако роль искусства, по мысли Эртеля, не исчерпывается введеніемъ нравственныхъ истинъ въ сознаніе людей; не менѣе важны и другія двѣ его задачи: *расширеніе* сознанія путемъ правильнаго изображенія быта, характеровъ, душевныхъ движеній, и то, что можно назвать «питаніе кра-

сотою», т.-е. непосредственное эстетическое наслажденіе. Настоящее искусство тѣмъ и велико въ глазахъ Эртеля, что оно совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три высшія цѣнности: добро, истину и красоту.

Чрезвычайно любопытенъ и опять совершенно послѣдователенъ его взглядъ на церковь, въ частности на православную церковь, особенно по контрасту съ прямолинейной принципіальностью его собесѣдника — В. Г. Черткова. Эртель не только осязательно чувствовалъ историческую плоть дѣйствительности, — онъ умѣлъ и дорожить какъ долей блага, еще живущей въ ней, такъ и ея красотой. Онъ понималъ, что золотые купола и благовѣстъ колоколовъ — «преходящія формы той великой сущности, которая живетъ въ душѣ каждаго человѣка», и что, какъ бы нелѣпы ни казались намъ эти формы, лучше мириться съ ними, нежели жертвовать тѣмъ, безъ чего человѣкъ мертвъ. Народъ сроднился съ этими формами, другихъ мы не можемъ ему предложить, а безъ культа религія пока — и долго еще — существовать не можетъ; къ тому же эти формы удовлетворяютъ въ немъ, кромѣ религіознаго, еще другое могущественное чувство — художественное.

Въ кругу нашей либеральной, раціоналистической интеллигенціи восьмидесятыхъ годовъ такой взглядъ былъ чудовищной ересью. Но еще гораздо рѣзче разошелся Эртель со своимъ поколѣніемъ, еще больше опередилъ его, подойдя вплотную къ *намъ*, — въ самомъ больномъ вопросѣ русской жизни, въ вопросѣ о борьбѣ съ властью. Эти его мысли всего полнѣе изложены въ письмѣ къ А. В. Погожевой отъ 26 декабря 1892 г. Эртель произноситъ суровый приговоръ надъ русской интеллигенціей. Онъ судитъ ее не морально — и въ этомъ его отличіе отъ насъ, — а исключительно съ практической точки зрѣнія; онъ показываетъ, что ея протестъ, обусловленный только нервическимъ раздраженіемъ или, какъ онъ выражается, «лирическимъ отношеніемъ къ вещамъ», *безсиленъ*, не ведетъ къ цѣли, ибо паѳосъ самъ по себѣ не есть какая-либо сущность, а только форма проявленія, сущностью же всякой борьбы является, прежде всего, личное религіозно-философское убѣжденіе протестующаго и затѣмъ глубокое пониманіе истори-

ческой дѣйствительности: «Основной рычагъ общественнаго поведенія долженъ быть установленъ безъ всякаго отношенія къ «злобѣ дня», — онъ долженъ опредѣляться не статистикой, не положеніемъ крестьянскаго быта, не тѣми или иными дефектами государственнаго хозяйства и вообще политики, но философски-религіознымъ пониманіемъ своего личнаго назначенія», — ибо послѣдовательна и плодотворна можетъ быть только принципіальность, коренящаяся въ *этомъ* незыблемомъ грунтѣ человѣческаго духа. Итакъ, первое, что̀ нужно русскому интеллигенту, по мысли Эртеля, это проникнуться ученіемъ Христа, безъ чего невозможна религіозная культура личности, — и затѣмъ *историческій тактъ:* опять примѣненіе основной мысли Эртеля о безусловномъ пониманіи истины и условномъ дѣйствіи къ осуществленію ея. Идеологію народничества, ученіе о долгѣ, обязанности и расплатѣ, Эртель безусловно отвергалъ, не только изъ фактическихъ соображеній — потому что интеллигенція не виновата въ своемъ привилегированномъ положеніи, и потому что эта привилегія — весьма сомнительное благо, — но и по существу: не нужно никакой другой нормы для опредѣленія нашихъ отношеній къ народу, кромѣ той *нравственной* нормы, которою вообще должны опредѣляться отношенія между людьми, — закона любви, установленнаго Христомъ. Для практика-Эртеля характерно, что онъ тутъ же спѣшитъ подкрѣпить эту нравственную норму другою, раціоналистическою: ссылкою на историческій законъ, въ силу котораго самодовлѣющее потребленіе плодовъ цивилизаціи въ кругу замкнутой группы, въ данномъ случаѣ — интеллигенціи, ведетъ къ вырожденію этой группы и къ гибели самой культуры.

Такова въ главныхъ чертахъ философія Эртеля. Вдумчивый читатель уже съ самаго начала нашего изложенія могъ замѣтить ея основной грѣхъ: невѣрную постановку вопроса. Эртель впалъ въ ту самую ошибку, въ которой упрекалъ другихъ: онъ придалъ универсальный характеръ субъективнымъ элементамъ своего міровоззрѣнія. *Лично* не нуждаясь въ метафизическомъ осмысленіи жизни — такъ какъ занимательность самой жизни, взятой въ себѣ, вполнѣ удовлетворяла его, —

онъ съ легкимъ сердцемъ отказался *за всѣхъ людей* сначала отъ надежды, а затѣмъ и отъ потребности метафизически осмыслить жизнь. Это наложило на его міровоззрѣніе печать грубаго дуализма. Міръ, и мы въ немъ, движется къ какой-то предустановленной цѣли; мы ея не знаемъ, не узнаемъ никогда, да, въ сущности, намъ и не зачѣмъ ее знать: у насъ достаточно собственныхъ рессурсовъ, чтобы жить, — это принципы добра, истины и красоты, неизгладимо начертанные въ человѣческомъ духѣ. Такимъ образомъ, жизнь обособляется отъ всецѣлаго творенія, она — островъ, управляющійся по собственнымъ законамъ. При такомъ пониманіи жизни добро, истина и красота теряютъ абсолютный смыслъ, и если Эртель выдаетъ ихъ за подлинные аттрибуты Бога, за отраженія Его въ человѣкѣ, то это — произвольное утвержденіе, не оправдываемое всѣмъ ходомъ его размышленія. Для Эртеля между абсолютнымъ и жизнью нѣтъ моста, для него не является такимъ мостомъ и Христосъ, въ которомъ онъ видитъ только реальное воплощеніе своихъ высшихъ *земныхъ* цѣнностей — добра, истины и красоты (высшій «положительный типъ», какъ онъ очень точно выражается въ одномъ мѣстѣ). На этой тріединой цѣнности онъ и строитъ все зданіе своей системы, въ полной увѣренности, что этихъ моральныхъ предпосылокъ вполнѣ достаточно для установленія разумныхъ «правилъ поведенія». Бытіе для него не единый божественный процессъ, а механическое скрещеніе двухъ раздѣльныхъ процессовъ: «химія, механика, физіологія, то-есть ихъ законы — своимъ чередомъ, а свѣтъ разума, сила духа — своимъ», и его Богъ, ведущій оба процесса, — только формальная связь между ними, нѣчто въ родѣ того, что̀ въ политикѣ называется «личной уніей». Въ письмахъ Эртеля этотъ дуализмъ обнаруживается только какъ общій духъ его системы, но рѣдко формулируется принципіально, и всегда только мимоходомъ, какъ въ приведенныхъ сейчасъ словахъ. Но вотъ краснорѣчивый отрывокъ изъ его дневника, помѣченный сентябремъ 1888 года.

«Какъ ни доказывай Кантъ ограниченность разума и призрачность добываемыхъ имъ результатовъ въ области абсолют-

наго, человѣкъ вѣчно будетъ стремиться къ угадыванью «великой тайны» и путемъ логическихъ построеній, путемъ воображенія и «восхищенія духа», какъ говаривали пророки, добиваться рѣшенія неразрѣшимой загадки. Вотъ представляется мнѣ разумъ силой подобной теплотѣ и свѣту и что онъ проистекъ изъ движенія. И когда нѣчто оторвалось отъ солнца и составило нашу планету, то это нѣчто имѣло въ себѣ задатки стихіи и задатки жизни; и, разлагаясь въ движеніи, оно освобождало изъ себя огонь, воду, камни, металлы, и, наконецъ, растительную и физіологическую жизнь. И физіологическая жизнь была вначалѣ грубо соединена съ веществомъ и разумъ тлѣлъ въ веществѣ точно искра, покрытая пепломъ, точно раскаленный уголь въ золѣ; но по мѣрѣ времени уголь разгорался, искра вспыхивала и подчиняла въ себѣ вещество. Этой сущностью, этимъ скрытымъ свойствомъ вещество точно само себя познавало. И познаетъ до сихъ поръ. До сихъ поръ физіологическая жизнь еще не подчинилась разуму, до сихъ поръ человѣческая душа точно во снѣ, заключена въ грубую скорлупу вещества, подчиняется призракамъ, игрѣ воображенія, предразсудкамъ, страстямъ, инстинктамъ, но эта оболочка отпадаетъ мало-по-малу и въ туманахъ стихійности, въ туманахъ безсознательнаго все больше и больше начинаетъ сіять сознающій себя разумъ. — Сила разума, сила жизни не можетъ умереть съ человѣкомъ, въ которомъ временно проявляется; она точно теплота, точно свѣтъ, точно электричество — освобождается отъ проявляющаго ее вещества и проявляется въ другомъ, въ третьемъ, въ четвертомъ. Но можетъ ли эта сила быть въ свободномъ состояніи, существовать внѣ вещества, то-есть, иными словами, можетъ ли быть безсмертіе въ смыслѣ личнаго, индивидуальнаго безсмертія? Я вижу зеркало съ вогнутыми стеклами и тогда только вижу сильный, сосредоточенный свѣтъ; я вижу двѣ сухія дощечки и тогда только вижу огонь, когда дощечки буду тереть одна объ другую. Электрическая искра вызывается движеніемъ колеса... Я пью, ѣмъ, сплю, ощущаю свѣтъ, теплоту — и вотъ я живъ и сѣмя мое плодотворно, не буду пить и ѣсть, не буду воспринимать въ

себѣ вещество — не буду живъ и не буду имѣть жизненнаго сѣмени. Жизнь, понимаемая въ прямомъ ея смыслѣ, то-есть въ физіологическомъ, есть соединеніе огня со свѣтильней; въ спичкѣ такое-то и такое вещество, въ свѣтильнѣ такое-то, и въ коробочкѣ, о которую зажигаю спичку — такое-то, и вотъ изъ соединенія этихъ трехъ горитъ свѣча и прогоняетъ тьму ночи. Ясное дѣло, что смерть человѣка — это разложеніе на элементы, на различные роды вещества, это значитъ — свѣча горѣла и погасла — какъ въ Аннѣ Карениной. О, это не значитъ, что что-нибудь исчезло въ человѣкѣ! все цѣло! все экономная природа распредѣлила по надлежащимъ мѣстамъ и ввела въ обычный свой круговоротъ: туда фосфоръ и туда известь, туда сахаръ и туда газы. Это значитъ, что мы не увидимъ такого вотъ человѣка, да человѣкъ этотъ не будетъ больше сознавать себя живущимъ. Но то, что было въ немъ, то цѣло. — Разумъ — вѣнецъ жизни, разумъ — точно синій огонекъ надъ тлѣющими угольями. Можетъ быть жизнь и можетъ не быть разума, ибо, хотя разумъ отлагается изъ жизни, но не всякая жизнь отлагаетъ его. Жизнь Христа, жизнь Ньютона, жизнь Канта, жизнь Лавуазье — химика — эти жизни отлагали отъ себя разумъ; вещество въ нихъ сгорало точно хорошія и сухія дрова, и пламя высоко поднималось отъ дровъ, озаряя тьму безсознательнаго. Жизнь идіота, жизнь растенія, животнаго, наконецъ, жизнь щедринскаго Іудушки — такія жизни не воспламеняютъ разума, ибо его нѣтъ въ нихъ, ибо онъ въ тяжкомъ и крѣпкомъ плѣну у самодовлѣющаго и не сознающаго себя вещества. — Какія же функціи разума? — Познавать самого себя и, выражаясь метафорически, познавать Бога: то-есть проявленія исконной и великой причины бытія. Чѣмъ же разумъ познаетъ? Ибо, если бы не было физіологическій жизни, онъ не могъ бы быть и познавать, и если бы не было вещества — онъ не могъ бы быть и познавать, и если бы не было того начала, изъ котораго все проистекло — онъ не могъ бы быть и познавать. Значитъ, онъ познаетъ тѣмъ самымъ, изъ чего все проистекло и чѣмъ все начало быть, значитъ, разумъ есть свойство той великой причины, которая называется Богомъ. Разумъ не есть Богъ, но

«онъ былъ въ началѣ у Бога и все чрезъ него начало быть, и безъ него ничто не начало быть, что начало быть» и, конечно, «разумъ — свѣтъ человѣковъ и свѣтъ свѣтитъ» во тьмѣ безсознательнаго, и тьма безсознательнаго «не объяла его». Задача человѣческой жизни (въ смыслѣ поведенія) въ томъ и заключается, чтобы «не погашать духа Божія», чтобы по мѣрѣ человѣческихъ средствъ господствовать надъ тьмою безсознательнаго. И въ этомъ — доступное человѣку счастье. Ибо ребенку — счастье новая игрушка, Мольтке — новая побѣда, Манилову — дружба и мостъ съ лавками и товарами, Плюшкину — ассигнація, влюбленному — первая ночь, и такъ далѣе до безконечнѣйшаго разнообразія, но человѣкъ разумный испытаетъ всѣ эти разряды счастья и вмѣстѣ съ авторомъ Эклезіаста найдетъ, что все это «суета суетъ и томленіе духа». И вотъ эти утѣхи и это «пьянство жизнью» отпадутъ одно за другимъ, и на днѣ останется одно чистое золото — «не погашать духа Божія» и въ этомъ находить благо. «Во многой мудрости много печали и познаніе размножаетъ скорбь» — это вѣрно; съ этой точки зрѣнія лучше быть «пьянымъ» въ жизни и не видать оборотной стороны «утѣхъ», но, къ сожалѣнію, или къ счастью, разумъ требуетъ своего, и анализируетъ, и допрашиваетъ жизнь, и отметаетъ негодное — и приходитъ къ строгой и серьезной, къ трезвой истинѣ: люби людей, люби природу, люби все живущее, не привязывайся къ временному, потому что все временное — тѣнь на бѣлой стѣнѣ, сонныя грезы, облако, гонимое сильнымъ вѣтромъ. Было, прошло и нѣту...

«Боже мой, какъ это трудно и печально!

«И какъ среди этого труда и печали отдыхаешь душою, когда вспоминаешь, что въ искусствѣ, въ наукѣ, въ жизни людей есть много наслажденія, и что три великія понятія, свойственныя людямъ — добро, красота, истина — не только источникъ познанія Бога, не только его ослѣпительное отраженіе, но и источникъ чистѣйшихъ и неизмѣнныхъ наслажденій. Жизнь Христа, драмы Шекспира, симфоніи Бетховена, картины Рафаэля, открытія Галилея, Ньютона, Эдиссона, храмъ Петра, Венера въ Луврѣ — это есть «откровеніе» въ смыслѣ

познанія Бога и великій источникъ утѣхи и наслажденія. Ибо все это не временное, не пробѣгающее мимо какъ дымъ, не исчезающее точно туманъ или сновидѣніе — а вѣчное, какъ вѣчно живущее на землѣ и сознающее себя».

Это не религіозное міровоззрѣніе, это *моральный позитивизмъ*, и слова о познаніи «великой причины бытія» попали сюда очевидно по недоразумѣнію. Передъ леденящимъ ужасомъ этого безрелигіознаго дуализма не выдержалъ и крѣпкій чувственный оптимизмъ Эртеля: «трудно и печально», говоритъ онъ, — ему страшно, и онъ спѣшитъ назадъ, въ объятія утѣшительной тріединости — любви, знанія и искусства, на уютную землю, гдѣ все ясно и понятно. *Такая* вѣра не даетъ силъ ни подавлять въ себѣ страстныя влеченія, ни внутренно побѣждать страданіе. Формально Эртель, какъ мы видѣли, признавалъ основою всякой дѣятельности религіозно-философскую культуру личности; изъ этого положенія онъ долженъ былъ бы вывести всю свою систему, а оно осталось у него въ сторонѣ, какимъ-то внѣшнимъ придаткомъ. Онъ думалъ, что способъ, которымъ человѣкъ рѣшаетъ для себя ту первую, метафизическую задачу — «со многими неизвѣстными», — нисколько не вліяетъ, или, по крайней мѣрѣ, не долженъ вліять, на его житейскую дѣятельность, на рѣшеніе задачи «съ очевидными данными»; онъ считалъ даже возможнымъ, чтобы человѣкъ оставлялъ ту задачу совсѣмъ не рѣшенной, безъ всякаго ущерба для своей внѣшней дѣятельности: онъ самъ себя признавалъ такимъ человѣкомъ. Но вѣдь это невѣрно; внутренняя и внѣшняя жизнь духа не разобщены; именно вѣра человѣка, т.-е. его отношеніе къ тѣмъ «неизвѣстнымъ даннымъ», — какова бы ни была эта вѣра: религіозная, матеріалистическая и пр. — опредѣляетъ всю его практическую дѣятельность. Въ этомъ незаконномъ раздѣленіи двухъ задачъ и заключалась коренная ошибка Эртеля.

Любопытно, что во время своей послѣдней болѣзни, когда смерть уже заглядывала ему въ глаза, онъ увѣровалъ иначе. Тутъ онъ не только вѣрилъ, что Богъ все устраиваетъ къ лучшему, но страстно уповалъ, что смыслъ земныхъ испытаній открывается человѣку *тамъ*, въ загробной жизни.

Такимъ образомъ, Эртель отвѣтилъ не на весь вопросъ жизни, а только на часть его. Но въ этихъ предѣлахъ его ученіе вѣрно угадало истину и ни разу не впало въ противорѣчіе съ самимъ собою. Все это ученіе можетъ быть резюмировано двумя любимыми присловьями Эртеля. Одно: «все благо, все добро», т.-е. *всякое* дѣланіе, вольно или невольно, ведетъ къ торжеству истины, — ея побѣда обезпечена; и другое: «въ мѣру, другъ, въ мѣру», т.-е. не ускоряй *насильственно* этотъ поступательный ходъ истины. Въ этихъ двухъ правилахъ дѣйствительно дана вѣрная тактика жизненной *борьбы*,—а ничего другого философія Эртеля и не хотѣла дать.

Письма Эртеля цѣнны, разумѣется, не только изложенной въ нихъ философіей. Онъ былъ незаурядный человѣкъ по кипучей жизненности, по свободѣ и ясности ума, по широтѣ сердца. А вся наша жизнь — не что иное, какъ излученье нашей личности. Она излучается во всѣхъ нашихъ проявленіяхъ—въ каждомъ нашемъ жестѣ, въ каждомъ словѣ, въ каждомъ поступкѣ, самомъ незначащемъ, и въ томъ, какъ мы молчимъ, и въ томъ, чего мы *не* дѣлаемъ. Жизненное дѣло, нами избранное, — то, что̀ называютъ профессіей, — только *организованная*, систематическая форма нашего излученія. Такой организованной формой была для Эртеля сначала его литературная, потомъ его практическая дѣятельность, такой же является и его философія. Но, быть-можетъ, самыя эѳирныя частицы нашего духа вообще не поддаются *прочному* воплощенію, убѣгая чрезмѣрной опредѣленности цѣлей и косности формы, т.-е. сло́ва, красокъ, дѣлъ, и самые тонкіе наши лучи излучаются въ ежедневной жизни. Эти драгоцѣнные тончайшіе лучи, разумѣется, тоже не гаснутъ со смертью человѣка, но они разсѣиваются, теряютъ его индивидуальную печать и не могутъ быть собраны въ одинъ пучокъ. Есть только одинъ способъ показать ихъ въ томъ живомъ личномъ фокусѣ, изъ котораго они вышли: это—собрать письма человѣка. Такъ и въ письмахъ Эртеля есть еще другое содержаніе, не поддающееся пересказу, но не менѣе важное, нежели изложенныя въ нихъ идеи: его личность.

М. Гершензонъ.

АВТОБІОГРАФІЯ

А. И. ЭРТЕЛЯ.

(*Письмо къ В. Г. Черткову.*)

13 іюля 1888, хут. на Грязнушѣ.

Вы, вѣроятно, въ общихъ чертахъ знаете мою біографію, но я все-таки коснусь нѣкоторыхъ подробностей, чтобы показать вамъ тѣ рамки, въ которыхъ строились мои воззрѣнія.

Я родился 7 іюля 1855. Дѣдъ мой, Людвигъ Эртель, изъ зажиточной, но впослѣдствіи разорившейся берлинской бюргерской семьи, попалъ въ 1811 г. 16-лѣтнимъ мальчуганомъ въ армію Наполеона, и въ сраженіи подъ Смоленскомъ взятъ былъ въ плѣнъ. Русскій офицеръ, Мариновскій, возвращаясь въ отпускъ въ свою воронежскую деревню, захватилъ съ собою моего дѣда и еще мальчика-поляка и хотѣлъ записать ихъ въ свои крѣпостные. Но изъ опасенія непріятныхъ хлопотъ отецъ Мариновскаго отговорилъ его дѣлать это, и тогда офицеръ просто покинулъ мальчиковъ въ деревнѣ, самъ же опять уѣхалъ въ армію. Не знаю, что сталось съ полякомъ, темна для меня и дальнѣйшая біографія дѣда. Знаю только, что онъ въ качествѣ хорошенькаго юноши попалъ подъ покровительство сестеръ Мариновскаго, потомъ поступилъ въ одну дворянскую семью учителемъ, затѣмъ женился на крѣпостной дѣвушкѣ Мариновскаго, приписался въ мѣщане города Воронежа, перешелъ въ православную вѣру, причемъ названъ былъ Александромъ Михайловичемъ. Всю послѣдующую жизнь (умеръ въ 1865 году) онъ прожилъ управляющимъ то на водяныхъ мельницахъ въ Рыкани и на Битюкѣ, то въ господскихъ имѣніяхъ Воронежской и Тамбовской губ. Дѣтей было у него много, но въ живыхъ осталось двѣ дочери и два сына. Сыну Ивану, моему отцу, приходилось идти въ солдаты. Тогда младшій, Алексѣй, пошелъ за него охотой. Онъ съ военной службы не возвращался и чѣмъ кончилъ — неизвѣстно. Отецъ же сначала

былъ приказчикомъ въ Москвѣ у купца, а когда возвратился на родину, чтобы отбыть рекрутскую повинность, то по требованію дѣдушки не возвратился уже болѣе въ Москву, а занялъ мѣсто управляющаго въ томъ имѣніи, которымъ прежде управлялъ дѣдушка. Тамъ у одного и того же помѣщика, нѣкоего Савельева, онъ прожилъ 16 лѣтъ и, будучи лѣтъ 30-ти, женился на Авдотьѣ Петровнѣ Пановой, дочери крѣпостной нянюшки другихъ Савельевыхъ и задонскаго помѣщика Беера. Необходимо сказать, что изъ дѣтей «Людвига» не только никто не учился и не выучился по-нѣмецки, но и русскую грамоту знали не всѣ. Только дядя Алексѣй да отецъ мой «кончили курсъ» въ уѣздномъ воронежскомъ училищѣ, изъ ихъ сестеръ — одна осталась совсѣмъ безграмотной, другая съ грѣхомъ пополамъ читаетъ «по-печатному».

Отецъ мой сначала отданъ былъ въ лавку воронежскаго купца Трясорукова «въ мальчики», затѣмъ, какъ я уже и сказалъ, жилъ въ Москвѣ приказчикомъ. Онъ очень любилъ читать преимущественно «историческія книги»; благодаря московской жизни и впослѣдствіи почти пріятельскимъ отношеніямъ съ хозяиномъ своимъ, Савельевымъ, человѣкомъ довольно образованнымъ, онъ не чуждъ былъ такъ называемымъ вопросамъ политики и даже своего рода философіи. Къ прекраснымъ чертамъ его характера нужно отнести чрезвычайную трезвость ума, большую доброту при наружной суровости и довольно чуткое чувство справедливости. Къ сожалѣнію, эти достоинства часто помрачались бѣшеной вспыльчивостью, страстью къ вину и къ женщинамъ. Упомянувъ о трезвости ума отца, нужно добавить, что она почти совершенно совпадала со взглядами великорусскаго крестьянина. Ко всякаго рода художествамъ, къ красотамъ природы и поэтическимъ произведеніямъ онъ былъ равнодушенъ. Терпѣть не могъ проявленій всякой чувствительности, и даже волнуемый не чувствительностью, а истиннымъ и глубокимъ чувствомъ, сдерживалъ себя и дѣлалъ видъ, что пребываетъ холоднымъ и необщительнымъ. Что многое въ его натурѣ было родственно и понятно крестьянамъ, я заключаю изъ того, что, будучи много лѣтъ управляющимъ во время крѣпостного права, прибѣгая много, конечно, разъ

къ кулачной расправѣ и къ другимъ жестокостямъ, онъ все-таки оставилъ послѣ себя очень добрую память. Затѣмъ на сильное и одностороннее развитіе такъ называемаго «здраваго смысла» указываютъ его отличныя способности хозяина-администратора, его совершенное пренебреженіе выдумкой, романомъ, сказкой, стихами, его насмѣшки надъ чувствительностью, эффектнымъ краснорѣчіемъ, многословіемъ и всякаго рода фальшью, его любовь къ простотѣ, къ такимъ книгамъ, въ которыхъ все было бы «правда» и «настоящее», а не сочиненное.

Мать моя, выросшая въ богатомъ барскомъ домѣ, незаконная дочь помѣщика, погруженнаго цѣлый вѣкъ въ какія-то кабинетныя занятія (онъ, если когда и выѣзжалъ въ поле, то выѣзжалъ въ каретѣ) — была, въ противоположность отцу, не прочь и отъ чувствительности и отъ мечтательнаго романтизма. Особеннаго образованія она тоже не получила, но получила въ общеніи съ господами нѣкоторыя культурныя привычки и понятія. Надо думать, что въ первое же время послѣ брака встрѣча двухъ совершенно различныхъ натуръ еще болѣе обострила и насмѣшливый реализмъ отца, и мечтательную сантиментальность матери. Только долго спустя, въ матери какъ бы потухаютъ ея дѣвическія склонности, и во многихъ взглядахъ она совершенно подчиняется отцу, но нѣтъ-нѣтъ — и даже и до сей поры — въ ней пробѣжитъ иногда искорка чего-то прежняго, и вспыхнетъ романтическій огонекъ.

Нужно сказать, что намъ, дѣтямъ (мнѣ и сестрѣ — насъ только и было двое), особенно покуда мы были невелики, безъ этой материнской чувствительности и сантиментальности было бы очень холодно, съ скрытой добротою и «здравымъ смысломъ» отца. Отецъ временами былъ хорошъ, временами сердился и кричалъ — и тогда весь домъ находился въ трепетѣ. Мать же всегда была одинакова: ласкова, немножко грустна, немножко однообразна. Несмотря на измѣны и на другіе изъяны супружества, въ чемъ, несомнѣнно, много разъ былъ повиненъ отецъ, мать всегда была одинаково добродѣтельна, грустна и ласкова. И религіозна гораздо болѣе и *горячѣе* отца, что тоже нужно прибавить.

Вы, конечно, поймете, что посвятилъ я столько мѣста характеристикамъ моихъ родителей не даромъ. Я глубоко вѣрю въ наслѣдственность ума, характера, склонностей, чувствъ, и ясно вижу въ себѣ тѣ струи, которыя исходятъ отъ матери и отъ отца, то скрещиваясь, то неразрывно переплетаясь, ослабѣвая и усиливаясь. Затѣмъ я вижу, что много изъ наслѣдственныхъ этихъ «струй» исчезло уже въ пору сознательной, а часто и безсознательной работы ума и тѣхъ вліяній, которымъ я подвергся позднѣе. Тѣмъ не менѣе первоначальная основа цѣла, и что бы ни ткала на этой основѣ послѣдующая жизнь — наслѣдственныя вліянія не исчезнутъ и все будутъ окрашивать въ свой цвѣтъ. До извѣстной степени, конечно. Вообще — разъ ужъ подвернулось это ткацкое сравненіе съ основой — мнѣ представляется, что душа моя при рожденіи составлялась изъ двухъ прядей: ярко-красной и ярко-голубой. Затѣмъ наступило собственное сознаніе — книги, люди, природа, страсти — это разноцвѣтнѣйшія нити, которыми жизнь заткала основу. Изъ всего получился свой особый, не похожій ни на голубое, ни на красное цвѣтъ, но все-таки съ голубымъ и краснымъ оттѣнкомъ.

Перехожу опять къ разсказу.

Въ 1867 г. отецъ, накопивши отъ 20-лѣтней «службы» у Савельева, Охотникова и Кряжова рублей 700, снялъ въ аренду вотъ тотъ хуторокъ, на которомъ я вамъ пишу теперь, но послѣ управленія очень большими имѣніями ему стало скучно хозяйничать на 160 десятинахъ. Къ тому же оказалось, что и 700 р. недостаточно для веденія безбѣдной жизни и для платежа аренды. Тогда они съ матерью рѣшили искать отцу опять мѣсто управляющаго, а матери — хозяйничать на хуторѣ. Мѣсто было тотчасъ же предложено въ богатомъ имѣніи Филипповыхъ за 40 верстъ отъ хутора. Отецъ взялъ меня туда, чтобы пріучать къ хозяйству, сестра осталась съ матерью. Я съ отцомъ прожилъ до осени 1873 года.

Упомяну о хлопотахъ родителей, предпринятыхъ для моего образованія. Выучила читать меня мать; писать я, кажется, самъ выучился, сначала копируя съ книгъ печатныя буквы. Затѣмъ мой крестный, тотъ Савельевъ, у котораго отецъ очень

долго былъ управляющимъ и о которомъ я уже упоминалъ, предложилъ отцу взять меня къ себѣ въ домъ, обѣщаясь дать мнѣ образованіе, «какъ родному сыну» (дѣтей у него въ то время не было). Отдали. Жена Савельева была француженка, актриса изъ какого-то бульварнаго театра въ Парижѣ, плохо и даже почти совсѣмъ не говорила по-русски, была совершенной красавицей и, завезенная Савельевымъ въ Россію, очень скучала. Она привязалась ко мнѣ, какъ къ игрушкѣ, рядила меня, закармливала лакомствами... Ученье ограничивалось тѣмъ, что «крестный папа» иногда говорилъ, что̀ значитъ такое-то французское слово, и, спасибо ему, научилъ меня отлично читать по-русски. Остальное время я бѣгалъ съ дворовыми мальчишками, сидѣлъ около «Сильвіи Ивановны», перелистывая книжки съ картинками, гулялъ въ саду и въ огромномъ цвѣтникѣ, игралъ въ солдатики, сладко ѣлъ и пилъ. Потомъ Савельевъ обвѣнчался съ Сильвіей, и къ нимъ стали ѣздить окрестные помѣщики, а также и они стали выѣзжать. Потомъ пріѣхали изъ Франціи отецъ и мать Сильвіи — какіе-то Пурмантье — небогатые буржуа, ошеломленные раздольемъ и изобиліемъ жизненныхъ припасовъ въ богатой помѣщичьей семьѣ. Живо помню m-r Пурмантье, огромнаго и толстаго мужчину, помѣшаннаго на ѣдѣ. Для него по особенному рецепту откармливали свиней, индѣекъ, гусей, куръ, телятъ, кроликовъ. И опять-таки съ какими-то особенными пріемами онъ самъ убивалъ всю эту живность, а иногда и готовилъ. Разъ, напримѣръ, онъ всю ночь напролетъ просидѣлъ съ вертеломъ, жаря индѣйку, завернутую въ толстые куски сала... Такъ вотъ этотъ-то обжора вызвался обучить меня по-французски. Правда, по-русски онъ ни слова не зналъ, а я, кромѣ какихъ-нибудь двухъ десятковъ словъ, ничего не понималъ по-французски, тѣмъ не менѣе я промаялся съ нимъ что-то довольно долго. Употреблялся такой учебникъ, въ которомъ русскія слова напечатаны были французскими буквами и наоборотъ... Не помню ужъ, осталось ли что-нибудь у меня отъ этихъ странныхъ уроковъ.

Тѣмъ временемъ французы завели на Плавицѣ (такъ называлось имѣніе) цѣлое море интригъ, сплетенъ и козней всякаго рода. Сильвія Ивановна изъ скучающей и добродушной жен-

щины превратилась въ несносную помѣщицу. Отецъ мой не могъ преодолѣть новыхъ порядковъ, жестоко разбранился съ бывшимъ пріятелемъ своимъ, изругалъ какъ нельзя хуже всѣхъ «французовъ»... Ему было отказано отъ мѣста, а вмѣстѣ съ тѣмъ и я былъ обращенъ «въ первобытное состояніе».

Не помню, что говорилъ отецъ, когда меня возвратили— кажется, что онъ самъ потребовалъ этого возвращенія. Мать же была глубоко огорчена крушеніемъ своихъ надеждъ: она спала и видѣла «Сашу» образованнымъ. При расчетѣ бывшій «пріятель» оказался довольно гнуснымъ человѣкомъ — онъ не отдалъ отцу 700 рублей, которыя въ пору пріятельства взялъ у него въ долгъ, мотивируя это тѣмъ, что ты де и такъ, должно быть, наворовалъ. Это, однако, было единственное сбереженіе, сдѣланное отцомъ. Тогда мы почти годъ бѣдствовали на квартирѣ у одного знакомаго мужика, а насъ было: я съ сестрой, семидесятилѣтній старикъ дѣдушка съ бабушкой и отецъ съ матерью. Помню и годъ 1863. Такъ тянулось до той поры, пока отецъ опять получилъ мѣсто, у Кряжова въ Бобровскомъ уѣздѣ, а затѣмъ годъ спустя у Охотникова въ Усманскомъ уѣздѣ. Тутъ случилось какъ-то такъ, что С—въ при посредствѣ О—ва примирился съ отцомъ и отдалъ ему долгъ. Между тѣмъ О—въ выстроилъ винокуренный заводъ и спустя короткое время вздумалъ курить вино, утаивая акцизъ. Послѣ это кончилось для него печально, и онъ принужденъ былъ заплатить 112 т. штрафу... Отецъ, однако, не захотѣлъ участвовать въ мошенничествѣ и ушелъ отъ О—ва. Вотъ тутъ-то, опять послѣ годового пребыванія на квартирѣ у мужика, и снятъ былъ въ аренду хуторъ на Грязнушѣ. Мать пользовалась каждымъ подъемомъ нашего «благосостоянія», чтобы готовить меня въ образованные люди. На квартирѣ, разумѣется, было не до меня, но «на мѣстахъ» — одинъ разъ меня чему-то училъ пьяный конторщикъ, другой разъ — правда, три или четыре мѣсяца — «гувернантка», дѣвица изъ крѣпостныхъ, но почему-то съ институтскимъ образованіемъ; третій разъ, когда я гостилъ у бабушки по матери, со мной занимались барчуки-правовѣды. Когда, такимъ образомъ, «подготовка» моя, по мнѣнію матери, была закончена, она настояла, чтобы отецъ отдалъ меня въ Воро-

нежскую гимназію. Отецъ склонился и повезъ меня въ Воронежъ. Все шло на первыхъ порахъ хорошо. Выправлены были всѣ документы; помню, что ходили мы къ какому-то педагогу и послѣ долгаго ожиданія въ передней были допущены, и отецъ сдалъ лакею два фунта чаю и голову сахару; помню, еще кому-то дали взятку — пять рублей; помню, что было примѣрное испытаніе меня какимъ-то свѣдущимъ человѣкомъ, и я найденъ годнымъ въ первый ли, во второй ли классъ. На грѣхъ отецъ встрѣтился съ старымъ своимъ товарищемъ по уѣздному училищу и закутилъ съ нимъ. Пили, пили, куда-то ѣздили и возвращались по ночамъ. Приходили къ намъ на квартиру какія-то растрепанныя дѣвицы... Отцу отвсюду не совѣтовали отдавать меня въ гимназію: «Будетъ образованный — родителей не станетъ кормить»; приводились примѣры... Отецъ подумалъ, подумалъ, да, не дожидаясь экзамена, и увезъ меня домой.

Съ тѣхъ поръ мать уже махнула рукой на мое образованіе, и я пользовался совершенной свободой дѣлать что мнѣ угодно: играть съ деревенскими ребятами, читать когда и что захочу, шляться гдѣ захочу — лишь бы не пропускать ужиновъ и обѣдовъ.

Отмѣчу черту, особенно свойственную мнѣ съ тѣхъ поръ, какъ хорошо себя помню. Я обладалъ очень пылкимъ воображеніемъ. Благодаря ли тому, что едва ли не первой книгой, мной прочитанной, была толстая исторія Наполеона съ картинками Гораса Вернета, это не въ мѣру развитое воображеніе преимущественно работало въ «военномъ» направленіи. Я былъ полководцемъ, воиномъ, генераломъ, завоевателемъ; рубилъ палкой несмѣтное количество головъ — крапиву и лопухи, побѣждалъ цѣлыя страны: гумно, уединенный стогъ сѣна, курганъ въ полѣ. Не пересчитать, сколько въ моемъ мозгу прошло блестящихъ армій, знаменъ, турнировъ, сраженій, тріумфальныхъ въѣздовъ... Но рядомъ съ такими смертоносными наклонностями я былъ очень жалостливъ и нервенъ. Однимъ изъ страшнѣйшихъ воспоминаній моего дѣтства осталось такое происшествіе: дворовые ребята поймали какую-то собаку и отрубили ей хвостъ. Я отбивалъ собаку у мучителей, бросался на нихъ, кричалъ, валялся по снѣгу, и когда увидалъ кровавый

кусокъ на снѣгу, упалъ почти безъ чувствъ, — по крайней мѣрѣ, меня на рукахъ принесли домой. А между тѣмъ мнѣ было нипочемъ убивать милліоны людей, дабы составить себѣ славу знаменитаго полководца.

Когда отецъ взялъ меня «пріучать къ хозяйству», мнѣ было въ то время, какъ я уже сказалъ, 13 лѣтъ. Мое образованіе состояло въ слѣдующемъ: я хорошо читалъ, писалъ съ крупными ошибками, зналъ четыре правила ариѳметики, зналъ «Исторію Наполеона», «Кощея Безсмертнаго», «Путешествіе Пиѳагора», «Стеньку Разина» Костомарова, 2-й томъ «Музея иностранной литературы», какой-то томъ «Ста русскихъ литераторовъ», хрестоматію Галахова — впрочемъ, вторую половину: начало было утеряно; «Пѣсни Кольцова», «Сочиненія Пушкина», старинный конскій лѣчебникъ, священную исторію съ картинками, ком. Чаадаева «Донъ Педро Прокодуранте» и т. д. Кромѣ того, охотниковскій шорникъ Ѳедоръ превосходно разсказалъ мнѣ въ нѣсколько вечеровъ Юрія Милославскаго, да за годъ до поступленія моего къ отцу я прочиталъ «Тысячу душъ» Писемскаго и сочиненія Гоголя. Религіозное мое воспитаніе заключалось въ томъ, что я зналъ «Вѣрую» и «Отче нашъ», а также разсказы изъ вышеупомянутой священной исторіи, особенно о продажѣ Іосифа братьями: это потому, что часто читалъ его вслухъ неграмотной бабушкѣ, всегда плакавшей во время этого чтенія, вспоминая своего сына Іосифа, умершаго юношей. Затѣмъ я самоучкой выучился читать по-церковному и нѣсколько разъ перечиталъ «Кіевскій Патерикъ» и нѣсколько книгъ Четьи-Минеи. Кажется, читалъ и Евангеліе стараго изданія, 20-хъ годовъ — ясно не помню. Не помню также никакихъ катихизисовъ, хотя, готовя меня въ образованные, вѣроятно, заставляли учить что-нибудь въ этомъ родѣ. Постился я и исполнялъ всѣ обряды подобно отцу и матери, хотя безъ особеннаго рвенія и безъ сердечнаго участія. Вспоминаю только короткій моментъ — не болѣе полугода, — когда религіозное чувство оживилось во мнѣ до горячности и даже до желанія и до попытокъ стяжать мученическій вѣнецъ; не упомню, чѣмъ это было возбуждено, но такой процессъ шелъ рядомъ и переплетался съ другимъ — съ сомнѣніями въ существованіи Бога,

въ томъ, что Христосъ есть сынъ Божій, и въ томъ, что нужна церковь и всѣ ея постановленія. Все это совершалось на шестнадцатомъ или семнадцатомъ году. Съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ жить съ отцомъ, вліяніе матери рѣшительно исчезло. Ѣздилъ я съ отцомъ къ ней на хуторъ иногда разъ въ мѣсяцъ, иногда чаще или рѣже. Но относился уже свысока къ тому въ ней, къ чему и отецъ относился съ пренебреженіемъ, хотя очень любилъ ее. Страсть къ чтенію у меня была пожирающая. Я читалъ все, что попадалось подъ руку: прочиталъ Тургенева, когда мнѣ было 14 лѣтъ — не всего, а только первыя его произведенія, Дарвина «О происхожденіи человѣка» — лѣтъ пятнадцати или шестнадцати. Съ «Войной и Миромъ» Толстого познакомился позднѣе, въ 1871 или 1872 году. Рядомъ шли и Лажечниковъ, и Загоскинъ, и Зотовъ, и Дюма-отецъ, и Поль Феваль, и Евгеній Сю, и какая-то «Испанская инквизиція» — и не перечислить всей дребедени и чепухи. О существованіи же журналовъ зналъ смутно и никогда не встрѣчалъ ихъ. Зналъ только по имени Герцена, Бѣлинскаго, Аксаковыхъ, Некрасова и, кажется, не зналъ даже по имени Чернышевскаго, Писарева, Добролюбова, Шелгунова и т. п. Только въ 1871 или 1872 году познакомился я съ усманскимъ купцомъ-землевладѣльцемъ, нѣкіимъ И. И. Богомоловымъ, и онъ меня снабдилъ вышеупомянутымъ сочиненіемъ Дарвина да книжками «Русскаго Слова», въ которыхъ я съ огромнымъ увлеченіемъ прочиталъ статьи Писарева.

Не знаю, воспитала ли во мнѣ книжка чувство какого-то благоговѣнія къ «образованнымъ» людямъ, но я положительно съ радостнымъ трепетомъ встрѣчался и говорилъ съ человѣкомъ, употреблявшимъ книжныя слова и знавшимъ что-нибудь. Однако до 73 года почти не встрѣчалъ я такихъ людей, если не считать самоучки Б—ва, вмѣстѣ съ отчаяннымъ либерализмомъ являвшаго признаки пьяницы и самодура. (Повѣсился въ концѣ сентября 1891 въ Воронежѣ.) Очень рано, опять-таки, вѣроятно, подъ вліяніемъ книжки, я стремился сочинять, и смутно помню повѣсть «Каторжники», въ которой дѣйствіе развивалось въ самой фантастической обстановкѣ. Писалъ, разумѣется, стихи, но немного и очень плохіе; привожу для ха-

рактеристики странныхъ мыслей, волновавшихъ меня тогда, одно, какъ-то уцѣлѣвшее отъ 1868 года.

Имѣніе Филипповыхъ, въ которомъ жилъ отецъ, находилось въ большой глуши и отстояло отъ ближайшаго города, Усмани, верстахъ въ 50-ти; уже впослѣдствіи прошла отъ него верстахъ въ 18 Грязе-Царицынская ж. д. Въ этой глуши я и провелъ 5 лѣтъ. Изъ городовъ я былъ въ тѣ годы въ Воронежѣ разъ или два, да, посѣщая бабушку въ Задонскомъ уѣздѣ, проѣзжалъ пригородъ Усмани; былъ, впрочемъ, еще въ Задонскѣ. Желѣзную дорогу увидалъ въ первый разъ, когда мнѣ стало 16 лѣтъ; Москву и Петербургъ въ 1878 году — 23 лѣтъ. Но забѣгаю впередъ.

Отецъ, дѣйствительно, сдѣлалъ меня своимъ помощникомъ по хозяйству; я былъ нѣчто въ родѣ приказчика съ одной стороны — съ преимуществами «управителева сына», съ другой стороны — съ отсутствіемъ авторитета, такъ какъ былъ малъ и держался «за панибрата» съ простымъ народомъ. Откуда вытекало это «панибратство», тоже не могу изслѣдовать съ достаточной точностью, но оно доходило до такихъ границъ, что иногда отецъ грозился меня бить за это, и дѣйствительно раза три билъ. Впрочемъ, въ пьяномъ видѣ. — Я былъ свой человѣкъ въ застольной, въ конюшняхъ, въ деревнѣ «на улицѣ», на посидѣлкахъ, на свадьбахъ, вездѣ, гдѣ собирался молодой деревенскій народъ. Я былъ въ ихъ глазахъ «Шаша» и «Сашка», но отнюдь не сынъ управителя и не Ал. Ив—чъ. У меня были особенные друзья между деревенскими парнями, и рано начались романы съ деревенскими дѣвушками. Первая моя любовь къ одной изъ такихъ дѣвушекъ — любовь, кажется, довольно прочная, постоянная и совершенно *чистая*— была въ 69, 70 и 71 годахъ. Я подчеркнулъ слово «чистая», потому что къ тому времени половое чувство мое было достаточно осквернено, хотя и не своимъ опытомъ, но примѣрами и разсказами.

Въ 1873 году отецъ рѣшилъ, что мои дружественныя и фамильярныя отношенія съ деревней положительно мѣшаютъ мнѣ обладать авторитетомъ, нужнымъ для приказчика, и согласился на то, чтобы я искалъ себѣ должности гдѣ-нибудь

въ другомъ мѣстѣ. Это совпало и съ моимъ желаніемъ: меня ужъ тянуло къ болѣе разнообразной жизни и къ большей независимости. Мѣсто скоро нашлось въ 20-ти верстахъ отъ города Усмани, въ томъ же имѣніи Охотникова, гдѣ отецъ былъ нѣкогда управляющимъ. Къ тому времени винокуренный заводъ Охотникова послѣ скандальнаго процесса закрылся, и самъ онъ жилъ въ другомъ имѣніи. Я занялъ должность конторщика и быстро вслѣдъ за тѣмъ кассира и, такъ сказать, неофиціальнаго помощника управляющаго. Управляющій былъ прекрасный и пребезтолковый человѣкъ, нѣкто Агишевъ, отставной кавказскій офицеръ. Онъ былъ уже человѣкъ съ нѣкоторымъ образованіемъ и съ перваго же раза очаровалъ меня. Впрочемъ, не отъ него послѣдовали затѣмъ вліянія, содѣйствовавшія большому перелому въ моей жизни. И по дѣламъ, и потому что близко, я сталъ бывать въ городѣ. А—въ посовѣтовалъ мнѣ подписаться въ тамошней библіотекѣ. Я такъ и сдѣлалъ. Началось съ тѣхъ поръ рѣшительно пожирающее чтеніе книгъ. Сначала я выбиралъ самъ, и, помню, на первый разъ взялъ романъ Габоріо «Съ петлей на шеѣ» — такія книги нѣкоторое время шли рядомъ и съ такъ называемыми «дѣльными». Однимъ словомъ, выбиралъ по каталогу: покажется заглавіе интереснымъ — беру. Но спустя мѣсяцъ или два (а можетъ быть и больше, не помню), я познакомился и разговорился съ дочерью Федотова. Это была первая моя встрѣча и первое знакомство съ женщиной «образованнаго круга». Поговорили о книгахъ, о такихъ-то и такихъ-то статьяхъ, которыя мнѣ необходимо прочитать. Она вызвалась руководить мною. Я выѣхалъ изъ города въ совершенномъ чаду. Я не помнилъ хорошенько лица дѣвушки, такъ какъ не смѣлъ смотрѣть ей въ лицо — но только ею была полна душа моя. Съ того времени послѣдовала между нами обширнѣйшая переписка; видѣлись мы рѣдко, и когда видѣлись, сближенія особеннаго не происходило — вѣроятно, по ея конфузливости и по моей дикости, но въ письмахъ дѣло шло быстро и, къ несчастью, зашло далеко. Совершился настоящій «книжный романъ». Пошли съ моей стороны отзывы о книгахъ, о статьяхъ, восторги передъ Писаревымъ и школою «Русскаго Слова»,

описанія своего житья, своей неудовлетворенности и порываній «къ свѣту! къ прогрессу!» Отъ нея въ отвѣтъ шли сочувствія, одобренія, жалобы и на свою судьбу, дѣйствительно не особенно завидную. Послѣ $1^1/_2$ года такой оживленной переписки я написалъ, что люблю ее, и получилъ въ отвѣтъ, что и она меня любитъ. Тогда я задумалъ жениться. Отецъ встревожился, написалъ мнѣ предостерегающее письмо, мать тоже не совѣтовала — главнымъ образомъ, конечно, опасались моихъ 19 лѣтъ — но я ужъ былъ не тотъ, я чувствовалъ себя самостоятельнымъ и передовымъ человѣкомъ, и съ презрѣніемъ отвѣчалъ отцу и матери, что и безъ нихъ знаю, что мнѣ дѣлать. Тогда они изъявили молчаливое согласіе. Несомнѣнно, что одною изъ причинъ этого согласія послужило и то обстоятельство, что для меня жениться на дочери богатаго и уважаемаго въ Усмани купца Ф — ва считалось особой честью, и родители мои въ душѣ это понимали и очень бы радовались, конечно, будь я постарше да имъ самимъ дай возможность лично познакомиться и хорошо узнать невѣсту.

Какъ бы то ни было, но весною 1875 года, не имѣя еще полныхъ двадцати лѣтъ, я женился на М. И. Федотовой.

Помню, тогда мною владѣла какая-то особая заносчивость передъ людьми. Я думалъ, что очень много знаю и по своей «прогрессивности» стою очень высоко. Между тѣмъ мое подчиненное положеніе конторщика рѣшительно не могло мириться съ заносчивостью и самомнѣніемъ. Правда, я сумѣлъ подчинить своему авторитету приказчиковъ, ключниковъ и весь второстепенный персоналъ экономіи, успѣлъ сдѣлать какъ-то такъ, что за всѣмъ шли ко мнѣ, слушались моихъ приказаній, спрашивали совѣтовъ. Я третировалъ и презиралъ всѣхъ, считая въ томъ числѣ и управляющаго — и, разумѣется, исключая самого Охотникова, къ которому я относился съ солиднымъ достоинствомъ и съ изъявленіями тонкой почтительности. Охотникову нравилось это, и онъ меня поощрялъ. Помню, разъ ночью я отправился въ обходъ по имѣнію и въ сушилкѣ увидалъ, что приказчикъ, отставной солдатикъ, смирный и безобидный человѣкъ, спитъ, межъ тѣмъ какъ рабочіе безъ него ничего не дѣлаютъ. Я приказалъ разбудить его, онъ что-то

сказалъ — мнѣ показалось что-то грубое и роняющее мое достоинство — я съ крикомъ, какъ звѣрь, бросился на него и сталъ бить... (это рядомъ съ Писаревымъ!) Онъ, бѣдняга, оборванный, избитый, побѣжалъ глухой осенней ночью верстъ за тридцать въ другое имѣніе Охотникова жаловаться на меня. Но тотъ только сказалъ: «Молодецъ Эртель» и прогналъ жалобщика долой съ глазъ.

Однако послѣ смерти старика О — ва и во время наступившей въ имѣніяхъ неурядицы по наслѣдству—Агишевъ, давно уже, и по справедливости, точившій на меня зубъ, но, конечно, не за побои, а, какъ говорилъ, за подкопы противъ него, быстро меня свергъ. Это было спустя полгода послѣ моей женитьбы. Проживъ зиму съ женой на квартирѣ въ ближнемъ селѣ, я на ея «приданое» 1000 рублей и на тѣ деньги, которыя далъ мой отецъ, — тоже около 1000, — снялъ въ аренду землю. Въ половину вошелъ отецъ жены. Но аренда оказалась въ высшей степени убыточная: два лѣта случился неурожай, земля была дорогая, работы производились небрежно и не во-время, нѣкоторые пункты контракта разорительные... Однимъ словомъ, я, считавшійся дѣльнымъ хозяиномъ въ чужомъ богатомъ имѣніи, оказался никуда не годнымъ въ своемъ маленькомъ. Впрочемъ, я тутъ не имѣлъ уже своей дѣловой заносчивости и административнаго презрѣнія къ людямъ. Кончилось тѣмъ, что къ концу 1877 года не было ни жениныхъ, ни моихъ денегъ — и равный же убытокъ или немного менѣе потерпѣлъ отецъ жены. Тѣмъ временемъ у насъ родилась дѣвочка... Приходилось жить бѣдно и въ долгъ, продавать и закладывать вещи, принимать помощь отъ моего отца. Такъ шло до весны 1879 года, когда сначала я, а потомъ и жена перебрались въ С.-Петербургъ, взявши на дорогу деньги опять-таки у моего отца и оставивши двухлѣтнюю дѣвочку «на Грязнушѣ» у бабушки.

Изложивши свои *внѣшнія* обстоятельства съ женитьбы и до отъѣзда въ С.-Петербургъ, перейду теперь къ *внутреннимъ* за то же время.

Очень быстро послѣ женитьбы М. И. не только перестала руководить мной при выборѣ книгъ и вообще вліять на меня въ

моемъ умственномъ и душевномъ развитіи, но даже до слабости подчинилась мнѣ, не находя возраженій ни противъ моихъ недостатковъ, ни противъ нѣкоторыхъ моихъ прямо нехорошихъ и несообразныхъ съ «передовыми» книгами дѣлъ. Она оказалась хорошей хозяйкой, стала стряпать, стараться, чтобы все было прибрано, и т. д. Пока я не находилъ въ этомъ дурного, но «душою» незамѣтно отдалился отъ нея. Ея мѣсто занялъ ея отецъ, И. В. Ф—въ. Это во многихъ отношеніяхъ замѣчательный человѣкъ. Съ недюжиннымъ, хотя и безпорядочнымъ умомъ, талантливый говорунъ и способный мыслить объ очень отвлеченныхъ предметахъ—онъ испыталъ въ юношествѣ участь, довольно сходную съ моей. Посреди грязи и пошлости торговаго люда — его отецъ и затѣмъ онъ самъ торговали такъ называемымъ шибайнымъ товаромъ — онъ какимъ-то чудомъ сохранилъ интересъ къ отвлеченной мысли, страстно любилъ читать, и такъ какъ былъ богатъ, до страсти полюбилъ и покупать книги. Такимъ образомъ у него составилась библіотека тысячи въ двѣ томовъ. Натура безпокойная, увлекающаяся, глубоко честная, талантливая, но умъ поверхностный, характеръ не твердый, и большая охота къ рѣзкимъ обобщеніямъ и крайнимъ приговорамъ — вотъ это былъ какой человѣкъ. Начитанность у него была изумительная, способность спорить изъ-за выѣденнаго яйца, изъ-за ничтожнѣйшаго пунктика въ какомъ-нибудь отвлеченномъ вопросѣ, и вмѣстѣ дѣтское непониманіе жизни, любовь къ грубымъ словечкамъ, къ циническимъ отзывамъ о дѣлахъ и о людяхъ, доброта и уступчивость на дѣлѣ — вотъ это какой былъ человѣкъ. Кромѣ того, онъ былъ человѣкъ изумительнаго пристрастія: кого онъ любилъ, тому онъ прощалъ завѣдомо подлые проступки и даже оправдывалъ эти поступки, сочиняя для этого цѣлыя теоріи; кого не любилъ или на кого сердился, тотъ моментально смѣшивался у него съ грязью и приравнивался къ злодѣямъ.

Вотъ съ нимъ-то мы вели оживленную переписку и еще болѣе оживленные разговоры по вопросамъ искусства, политики, философіи, религіи, морали въ промежутокъ 1875 — 79 гг. Правда, въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ одинъ разъ жестоко ссорились изъ-за аренды и нѣсколько мѣсяцевъ не видали другъ друга.

Насколько я могу уяснить теперь его міровоззрѣніе, онъ въ политикѣ былъ тогда умѣренный соціалистъ, въ философіи— матеріалистъ и отчасти поклонникъ Шопенгауэра, въ искусствѣ — обожатель Байрона и Тургенева. Любилъ, впрочемъ, или, лучше сказать, очень цѣнилъ и Щедрина.

Въ промежутокъ этихъ же четырехъ лѣтъ я познакомился съ бывшимъ исправникомъ, прелестнѣйшимъ и умнѣйшимъ человѣкомъ изъ «хорошей» (какъ принято говорить) дворянской семьи, съ безпутнѣйшимъ, но добрымъ малымъ, мировымъ судьею, съ одной барыней и съ докторомъ. Для васъ врядъ ли будетъ понятно, если я скажу, что это знакомство болѣе рѣшительно пріобщало меня къ интересамъ образованныхъ людей, нежели тысячи книгъ, мною прочитанныхъ. Я былъ начитаннѣе ихъ всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ, я былъ развитѣе ихъ, зналъ и чувствовалъ больше и глубже, нежели они, но я былъ все-таки дикарь, вчерашній конторщикъ, стоявшій на вытяжку передъ помѣщикомъ, сынъ мѣщанина и, наконецъ, «мальчишка». Я ѣлъ съ ножа, утирался неопрятно, не умѣлъ войти, поклониться, заговорить... Тысячи мелочей, столь отдѣляющихъ тотъ міръ отъ этого. И вотъ случилось такъ, что «господа» заинтересовались мною, приняли меня въ свою среду, какъ равнаго, незамѣтно сгладили своимъ вліяніемъ мою дикость и шероховатость и многое мнѣ открыли, чего я дотолѣ не зналъ. Такъ, отъ нихъ, напр., я въ первый разъ услыхалъ о земствѣ, о мировомъ судѣ, о полиціи, объ арестахъ, о политическихъ процессахъ, о жизни въ полку, на Кавказѣ, въ Варшавѣ, въ столицѣ, за границей. Благодаря имъ я сталъ прочитывать въ журналахъ статьи не одного беллетристическаго или отвлеченнаго содержанія, но и по «текущимъ» вопросамъ — по земскимъ, городскимъ, административнымъ, финансовымъ. Даже то, что я зналъ прежде изъ книгъ, повторенное теперь живыми людьми, прямо и непосредственно въ этомъ заинтересованными, получило въ моихъ глазахъ новую, какую-то живую окраску.

Упомяну имена знакомыхъ и друзей моихъ «изъ господъ»: бывшій исправникъ А. А. Доможировъ, мировой судья А. Ф. Никулинъ, барыня В. А. Кулешà и докторъ А. К. Аксютичъ.

220189.

Первый, Д — въ, имѣлъ на меня особенно хорошее вліяніе. И по натурѣ своей, и по воспитанію истинный джентльменъ, онъ какъ-то безъ словъ научилъ меня большей порядочности въ сношеніяхъ съ людьми и внушилъ нелюбовь къ грубымъ и «неприличнымъ» поступкамъ. Но, конечно, болѣе, чѣмъ всѣмъ этимъ людямъ, я обязанъ П. В. Засодимскому.

Въ 1876 году ему случилось быть въ Усмани, гдѣ жена его была въ то время акушеркой. Тамъ у Федотовыхъ мы познакомились. Съ какимъ трепетомъ и съ какимъ внутреннимъ восторгомъ увидалъ я «живого петербургскаго настоящаго литератора»! Это чувство опять-таки врядъ ли вамъ будетъ понятно. Нужно воспитаться на книжкахъ, нужно привыкнуть съ малыхъ лѣтъ благоговѣть передъ печатнымъ словомъ, чтобы понять это... Мы быстро сошлись. Пав. Влад. раза два то лѣто гостилъ у меня на хуторѣ, пріѣзжалъ и зимою на Рождество — уже изъ С.-Петербурга. Не берусь рѣшить: восторженное ли поклоненіе мое передъ нимъ, или присутствіе во мнѣ чего-то дѣйствительно хорошаго вызвали въ немъ дружеское отношеніе ко мнѣ, — отношеніе, ярко отразившееся въ его письмахъ отъ 1876 до 82 гг. Я въ то время не видалъ недостатковъ ни въ способѣ его мышленія, ни въ его убѣжденіяхъ и взглядахъ. Это былъ мой идеалъ. Что такое въ то время изображалъ мой внутренній міръ — мнѣ трудно возстановить. Въ письмахъ моихъ къ Засодимскому, обширныхъ и многочисленныхъ, міръ этотъ изображался съ большой откровенностью. Но этихъ писемъ у меня нѣтъ. Добавлю, что факты описаны мной хронологически не совсѣмъ правильно. Такъ, съ П. В. я познакомился раньше кружка вышеупомянутыхъ «культурныхъ людей».

Но и въ пору такого увлеченія Засодимскимъ меня не покидала отцовская струйка: здравый смыслъ. Я, напр., чувствовалъ, что знаю жизнь лучше и глубже его, особенно бытописателемъ которой онъ считалъ себя—жизнь народную. Умѣлъ я и людей узнавать лучше его — этому помогала ранняя практическая дѣятельность: занятія хозяйствомъ, дѣловыя сношенія съ купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками и т. п. Тутъ вѣдь всегда надо было быть осторожнымъ и, такъ

сказать, ощупывать дурныя и хорошія стороны въ человѣкѣ, не полагаться на его внѣшность и на слова. Однако эта «отцовская струйка» потопала въ увлеченіи новизною, сквозила тамъ едва замѣтно... Я ее чувствовалъ, но оставлялъ какъ бы при себѣ, иногда намѣренно заглушалъ ее въ себѣ. Думаю, что эта черта характера осталась у меня и теперь, съ той разницей, что я становлюсь все холоднѣе и неспособнѣе къ беззавѣтнымъ увлеченіямъ и все трезвѣе и «насмѣшливѣе» начинаю относиться къ дѣйствительности. Выражаясь фигурально, отцовскій умъ побѣждаетъ во мнѣ чувствительность и мечтательность матери.

Какъ бы то ни было, но уже годъ спустя у меня не оставалось и слѣда тѣхъ «административныхъ» способностей, которыми восхищался покойный Охотниковъ. Правда, мнѣ было уже трудно войти съ простымъ народомъ въ прежнія дружественныя и *равныя* отношенія, но настало и быстро возросло въ душѣ такъ называемое чувство «гуманности». Понятно, что съ этимъ чувствомъ большая была ошибка снимать мнѣ аренду и спекулировать посѣвами. Оказалось, что я рѣшительно не могу приказывать, не могу судиться, жаловаться въ волость, и даже браниться (не то, что бить!). Все это возлагалось на приказчика. А такъ какъ онъ тоже былъ добродушный и къ тому же вялый человѣкъ, то хозяйство и пошло у насъ «черезъ пень-колоду»... Это шло рядомъ съ сознательной любовью къ народу, съ сѣтованіями о его нуждѣ, печаляхъ, забитости, оброшенности. Какъ-то само собой такія сѣтованія и такая любовь привели къ тому, что я, одолѣваемый литературнымъ зудомъ (особая болѣзнь!), избралъ именно народъ предметомъ своихъ писаній. Такимъ образомъ я написалъ и послалъ Засодимскому первый мой разсказикъ «Переселенцы», помѣщенный имъ въ еженедѣльномъ журналѣ «Русское Обозрѣніе» за 1878, № 3—4, и «Письмо изъ Усманскаго уѣзда», напечатанное въ журналѣ «Слово» 1879, февраль, до сихъ поръ цитируемое изслѣдователями народной жизни. Кромѣ этихъ, я переслалъ Засодимскому въ С.-Петербургъ еще нѣсколько разсказовъ изъ народнаго быта, но по разнымъ причинамъ онъ не могъ ихъ пристроить въ печати.

Помимо отношеній къ народу и вообще къ простымъ людямъ, большихъ перемѣнъ не произошло за это время ни въ моемъ характерѣ, ни въ моихъ вѣрованіяхъ. О Богѣ я какъ-то рѣшительно не думалъ; и съ Федотовымъ, и съ Засодимскимъ вообще принято было говорить о религіи вскользь и больше съ шуточками и глумленіемъ. Правда, Христа принято было уважать, но какъ соціалиста и революціонера. Но и такіе разговоры происходили чрезвычайно рѣдко. Въ вопросахъ морали и искусства я былъ поклонникъ Писарева, Шелгунова и другихъ. Объ этомъ даже спору не было: и Ф—въ, и М. И., и Засодимскій тоже раздѣляли въ теоріи мнѣнія этихъ писателей. Это молчаливое и безспорное соглашеніе надѣлало впослѣдствіи много зла мнѣ и М. И., потому что вызвало между нами большую злобу и большія страданія, когда я «ученія школы» вздумалъ примѣнить къ жизни въ одномъ отношеніи— въ отношеніи свободы брака. Тутъ со стороны М. И. и ея отца послѣдовало самое безповоротное обращеніе къ старинѣ и къ старымъ понятіямъ о бракѣ.

Итакъ, я жилъ какъ бы на двѣ половины. Одною половиной — въ мірѣ теорій, въ мірѣ увлеченій туманными и смутными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства, братства; другою половиною — въ мірѣ посѣвовъ, спекуляцій, наемки, продажи, долговъ, мелкихъ и пошлыхъ заботъ о хорошей одеждѣ, о хорошей упряжи, о хорошихъ лошадяхъ, о золотыхъ часахъ и т. п. Одна половина влекла за собою непрестанную страсть къ книгѣ, къ «принципіальнымъ» разговорамъ и спорамъ, къ перепискѣ съ Ф — мъ и Засодимскимъ, наконецъ къ писанью разсказовъ и стиховъ и къ самой искренней гражданской скорби; другая половина — къ игрѣ въ стуколку и въ штоссъ, къ кутежамъ, правда, довольно рѣдкимъ, къ расходованію денегъ на прихоти, между тѣмъ, какъ иногда буквально было нечего ѣсть.

Между 1877 и 79 годомъ мнѣ нездоровилось: я очень худѣлъ, кашлялъ кровью и чувствовалъ себя плохо.

Начиная съ 1878 года, я жилъ почти безъ всякаго дѣла; аренда заканчивалась, денегъ не было, писаніе разсказовъ и чтеніе книгъ слишкомъ утомляло, тѣмъ болѣе, что въ писаніи

я, собственно, и цѣли не видѣлъ, ибо не осмѣливался считать себя настоящимъ писателемъ. Надоѣдали понемногу и знакомые, и глушь, въ которой приходилось жить; а къ тому же я разссорился съ Ф—мъ изъ-за аренды и, помирившись, уже не могъ сойтись попрежнему. Въ началѣ 1878 года я послѣдовалъ неоднократнымъ приглашеніямъ П. В—ча и поѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ прожилъ цѣлый мѣсяцъ. Тутъ я увидалъ студентовъ, акушерокъ и даже революціонеровъ, правда, не высокаго калибра. Изъ писателей, однако, никого не увидалъ, потому что въ то время Засодимскій стоялъ какъ-то совсѣмъ въ отдаленіи отъ литераторовъ. Не помню, чтобъ Петербургъ мнѣ понравился въ тотъ разъ. Поразили дворцы, Нева, Эрмитажъ, опера, Публичная Библіотека, музеи, но холодность петербургскихъ жителей, отсутствіе провинціальнаго гостепріимства и радушія показались мнѣ непріятными. Ѣдучи, я думалъ, что я ѣду въ гости къ Павлу Владиміровичу; оказалось, что онъ съ первыхъ же словъ спросилъ: «Гдѣ вы остановились?» и одобрилъ тѣ меблированныя комнаты, въ которыхъ я остановился. Оказалось затѣмъ, что цѣлые дни онъ не можетъ проводить со мною, и я долженъ самъ находить, какъ мнѣ проводить свое время. Не могу сказать, какъ меня это огорчило. Правда, эти непріятныя впечатлѣнія отчасти заглохли, когда мнѣ привелось быть свидѣтелемъ студенческихъ споровъ и пѣсенъ; когда П. В—чъ свелъ меня въ редакцію «Русскаго Обозрѣнія» и познакомилъ съ редакторомъ Песковскимъ; когда, наконецъ, меня охватила революціонная струя, особенно бойко бившая тогда въ Петербургѣ; когда я попалъ въ кортежъ, провожавшій оправданную Вѣру Засуличъ изъ Окружнаго суда. Но все-таки это было не то, чего я ожидалъ отъ С.-Петербурга. А чего я ждалъ? Мнѣ и самому не было извѣстно! Тѣмъ не менѣе вышеупомянутые революціонеры мелкаго калибра навязали мнѣ десятка полтора книжекъ, употреблявшихся въ то время для пропаганды, и поручили свезти въ Москву свертокъ вышедшаго тогда въ первый разъ революціоннаго журнала «Начало». Журналъ я доставилъ исправно. Книжки привезъ домой и, прочитавши ихъ съ однимъ пріятелемъ и съ М. Ив., преспокойно сжегъ. И въ книжкахъ мнѣ показалось «не то».

Тѣмъ не менѣе вспоминаю, что я писалъ М. И. и Ф—ву о Петербургѣ и о тамошней жизни письма весьма восторженныя, по обычаю своему усыпляя свой деревенскій «здравый смыслъ».

Въ С.-Петербургѣ тоже остались не совсѣмъ довольны моей плохой отзывчивостью и косностью.

Въ томъ же 1878 году Пав. Влад. написалъ мнѣ, что ему удалось открыть библіотеку на углу Литейной и Невскаго. Затѣмъ въ отвѣтъ на мои жалобы, что жить тоскливо и нечѣмъ, что нестерпимо надоѣла глушь и люди, въ ней живущіе, предложилъ мнѣ перебраться въ Петербургъ съ весны 1879 года и завѣдывать библіотекой, такъ какъ онъ самъ думалъ уѣхать въ Вологодскую деревню къ теткѣ. Предполагалось, что намъ съ М. И. будетъ готовая квартира, дрова, прислуга и освѣщеніе, а на прожитокъ я какъ-нибудь добуду. Чѣмъ добуду? Это лучше всего будто бы могло рѣшиться въ С.-Петербургѣ. Несмотря на такія неопредѣленныя перспективы, я рѣшился ѣхать. Отецъ далъ денегъ—какъ сейчасъ помню, 150 рублей—и прежде я, а черезъ мѣсяцъ М. И. тронулись въ С.-Петербургъ. Дня черезъ три послѣ моего пріѣзда Засодимскій съ женою уѣхали, оставивъ на мое попеченіе библіотеку тысячъ въ семь томовъ и что-то очень мало подписчиковъ. Помню впечатлѣніе полнѣйшаго одиночества и этихъ отвратительныхъ раздражающихъ нервы бѣлыхъ ночей... Я не могъ спать и вплоть до разсвѣта бродилъ по пустыннымъ, странно освѣщеннымъ улицамъ. Но мало-по-малу явились знакомства; такъ какъ собственникомъ библіотеки считался литераторъ, то стали приходить въ библіотеку писатели и подписываться на чтеніе. Однимъ изъ первыхъ былъ въ то время пріятель Пав. Влад., С. Н. Кривенко, затѣмъ Н. И. Наумовъ, Н. Ф. Бажинъ, ближе къ осени — Г. И. Успенскій и Н. Н. Златовратскій. Впослѣдствіи пришлось имѣть подписчиками и познакомиться съ четырьмя-пятью революціонерами, на этотъ разъ уже изъ крупныхъ. Про нихъ скажу только, что въ большинствѣ это были очень симпатичные и умные люди (особенно симпатична одна женщина, и теперь здравствующая); въ подробностяхъ же говорить о нихъ не могу, потому что еще рано. Изъ писателей я быстро и

ближе всѣхъ сошелся съ Гл. Успенскимъ и Н. Бажинымъ. Вообще же знакомство съ ними сразу какъ-то напрягло и взволновало мои литературныя наклонности, а ихъ разговоры значительно расширили кругъ моихъ познаній и понятій. Не переставалъ я и читать и еще въ первый разъ сталъ аккуратно изъ № въ № слѣдить за газетами и журналами. Тѣмъ мѣстомъ денегъ опять-таки не стало, нужно было доставать, заложили вещи, какія были... И это вышло. Тогда я передалъ С. Н. Кривенко одинъ разсказикъ. Онъ отдалъ его въ «Отеч. Записки» — не приняли. Этотъ разсказикъ назывался «Ночь подъ Рождество» и впослѣдствіи былъ напечатанъ въ «Вѣст. Евр.», а въ 1882 г. переведенъ на малороссійскій языкъ и изданъ въ Кіевѣ отдѣльной брошюрой. Потерпѣвъ съ нимъ неудачу, я засѣлъ и переписалъ чистенько и частью передѣлалъ бывшіе у меня три или четыре разсказа, придавъ имъ общее названіе «Записокъ Степняка». Затѣмъ, уже не обращаясь ни къ какому посредничеству и минуя «Отеч. Запис.», отнесъ ихъ въ «Дѣло» — возвратили; въ «Недѣлю» — возвратили; въ «Русскую Рѣчь» — тоже возвратили. «Вѣст. Ев.» считался малодоступнымъ, и туда я не дерзалъ. Но съ отчаянія зашелъ въ контору журнала, на Васильевскомъ островѣ, и оставилъ тамъ рукопись, попросивъ передать въ редакцію. Надежды же стать писателемъ и, главное въ ту пору, заработать деньги, почти совсѣмъ утратилъ. Вышло же наоборотъ. Недѣли черезъ три Пыпинъ прислалъ мнѣ записку, приглашающую въ редакцію на Галерной, д. 20. Я замеръ отъ восторга. Помню, на вопросъ А. Н. Пыпина: «Вы — господинъ Эртель?» я, не помня себя, отвѣтилъ: «Да, я *господинъ* Эртель, пришелъ по вашей запискѣ». Послѣ все уладилось. Пыпинъ обласкалъ меня, сказалъ, какъ ему понравились мои разсказы, и что если Стасюлевичъ, который за границей, ничего не будетъ имѣть противъ, они будутъ напечатаны въ «Вѣст. Ев.» Прошло еще мѣсяца два томительнѣйшаго ожиданія. Пріѣхалъ М. М. Стасюлевичъ. Я отправился въ страхѣ.

— Но ваши разсказы уже приняты А. Н—чемъ? — встрѣтилъ меня любезный редакторъ.

— А. Н—чъ сказалъ то-то.

— О, нѣтъ! Я никогда ничего не имѣю противъ вкуса А. Н—ча. Не нужно ли вамъ денегъ?

Деньги были нестерпимо нужны. Я коснѣющимъ языкомъ заявилъ это.

— Довольно вамъ будетъ трехсотъ рублей?

Я даже захлебнулся отъ радости и дрожащимъ голосомъ сказалъ, что довольно. Помню, какъ я летѣлъ съ Галерной до угла Невскаго и Литейной, какъ нѣжно прижималъ пачку мелкихъ денегъ, боясь не потерять бы ихъ... У меня были въ то время Г. И. Успенскій, Кривенко и еще кто-то. Я съ торжествомъ вытащилъ деньги и, весь сіяя, показалъ ихъ присутствующимъ.

— Сколько? — закричалъ Глѣбушка.

— Триста!

Онъ схватилъ пачку и прикрылъ ладонью. «Беру взаймы!» Однако мнѣ было невозможно дать въ то время, потому что предстояла нужда расплатиться съ долгами и пить-ѣсть.

Вслѣдъ за однимъ успѣхомъ послѣдовалъ другой: въ «Дѣло» черезъ посредство Н. Ф. Бажина уже прямо попросили у меня разсказъ. Я написалъ «Два помѣщика», и очеркъ этотъ былъ помѣщенъ въ декабрьской книжкѣ «Дѣла». Именно съ этого декабря 1879 года мое имя фигурируетъ въ «большой печати», и я становлюсь заправскимъ литераторомъ. Начиная съ января 1880 года въ «Вѣст. Евр.» стали появляться «Записки Степняка».

Не нужно думать на основаніи описанной мною сцены возвращенія изъ редакціи и на основаніи словъ, что писалось изъ-за денегъ, — не нужно, говорю, думать, что я именно и ставилъ цѣлью заработать деньги и получить успѣхъ, отъ котораго сладко и пріятно кружится голова. Когда я садился писать, все это уходило на задній планъ, и передо мною дѣйствительно вставала моя родина, сердце мое дѣйствительно горѣло любовью къ ней и ненавистью къ ея утѣснителямъ и поработителямъ. Мнѣ не разъ случалось и плакать съ перомъ въ рукахъ, и переживать минуты глубокаго умиленія. Но когда этотъ процессъ проходилъ, и работа откладывалась въ сторону, тотчасъ же выступали и другіе стимулы такъ называемаго

творчества: нужда въ деньгахъ, жажда успѣха. Хотя обыкновенно больше первое, чѣмъ второе.

Добавлю, что очень высокаго мнѣнія о своихъ писаніяхъ я никогда не былъ, и потому еще съ давнихъ поръ не любилъ говорить о своихъ работахъ и стыдился читать ихъ кому-либо. Мнѣ все казалось, что въ сущности-то такъ это глупо и такъ слабо... А можетъ тутъ играло роль и самолюбіе — не берусь рѣшить.

Поговорю о моихъ тогдашнихъ отношеніяхъ къ революціонерамъ. Въ то время уже обозначалось террористическое направленіе, и пропагандисты то и дѣло примыкали къ нему, возвращаясь изъ деревни, гдѣ все невозможнѣе становилось дѣйствовать, благодаря преслѣдованіямъ правительства. Я былъ того мнѣнія, что такъ называемые «пропагандисты», конечно, никогда не добились бы на Руси большой революціи и коренного переворота экономическихъ и соціальныхъ отношеній, но что эти люди, въ большинствѣ самоотверженные и дѣйствительно преданные народу, могли бы хорошо послужить ему, отрѣшившись впослѣдствіи отъ своихъ революціонныхъ увлеченій и неминуемо бы отрезвѣвъ отъ столкновенія съ подлинной деревенской жизнью. И когда этихъ людей гнали и преслѣдовали, какъ звѣрей; когда жестоко наказывались такія, напр., невинныя вещи, какъ раздача книгъ, и отрицалось законнѣйшее право человѣка говорить, что̀ онъ думаетъ, мнѣ этихъ людей было глубоко жаль. И я ничего, кромѣ сочувствія къ ихъ кровавымъ и, въ свою очередь, жестокимъ намѣреніямъ, не находилъ въ себѣ. То-есть объ этихъ «намѣреніяхъ» я, конечно, въ то время только подозрѣвалъ, хотя отъ меня и не особенно таились. Думаю теперь, что меня щадили эти милые и симпатичные люди. Одинъ, напримѣръ, изъ нихъ очень интересовался моими литературными начинаніями и даже поправлялъ мнѣ слогъ и изобильныя грамматическія ошибки. Все это были большею частью люди съ чужими именами и фамиліями, такъ называемые «нелегальные». Никогда мнѣ прямо не предлагалось вступить на революціонный путь. Самое большое, чѣмъ отъ меня пользовались, это очень мелкими услугами: либо 10-ю рублями, либо позволеніемъ переночевать или подер-

жать у себя кипу запретныхъ бумагъ, либо передать тому-то, чтобы онъ не заходилъ туда-то, ибо тамъ ждутъ «погрома». Больше же заходили поболтать, покурить, отдохнуть, встрѣтиться съ кѣмъ-нибудь, пообѣдать, напиться чаю.

Въ смыслѣ фактовъ, въ смыслѣ политическаго и экономическаго освѣщенія этихъ фактовъ я узналъ въ этотъ годъ петербургской жизни чрезвычайно много. Такъ много, что иногда кружилась голова. Но за этимъ лѣсомъ совершенно некогда было думать о какихъ-нибудь болѣе высшихъ интересахъ. Жилось изо дня въ день, бойко, горячо, пестро, а для чего все это? почему? зачѣмъ? — такіе вопросы рѣшительно не приходили на умъ. Текущіе интересы дня, политики, литературы, журналистики, такъ называемой «внутренней жизни» (провинціальныя дѣла), такъ и тянулись непрерывной чередою. Даже вопросы искусства, не говоря уже о философіи, не служили предметомъ для разговора въ томъ кружкѣ людей, въ которомъ я кипѣлъ. Развѣ иное мѣткое и оригинальное слово изъ этой области «духа» скажетъ Гл. Успенскій или Вс. М. Гаршинъ, съ которымъ я въ то время тоже хорошо сошелся.

Осенью возвратились Засодимскіе, но П. Вл. уклонялся брать въ свое завѣдываніе библіотеку и съ удовольствіемъ согласился, чтобы она перешла на мое имя.

Упомяну, что зимою 79 — 80 года я въ числѣ прочихъ «молодыхъ писателей» (Гаршина, Ясинскаго, Русанова, Кривенко и еще кого-то), затѣмъ болѣе старыхъ (Златовратскаго, Наумова и проч.) былъ представленъ Гл. Успенскимъ Тургеневу въ квартирѣ К. Сибирякова и затѣмъ еще разъ видѣлъ его и немного говорилъ съ нимъ въ тѣсномъ кружкѣ писателей у Глѣба Ив. Объ этомъ знакомствѣ очень хлопоталъ Успенскій.

Между тѣмъ здоровье мое продолжало быть слабымъ, и въ мартѣ 80 года у меня сдѣлалось сильнѣйшее кровотеченіе изъ легкихъ. Я былъ очень плохъ. Больше мѣсяца недвижимо пролежалъ въ постели. Не могу безъ умиленія вспомнить, какъ отнеслись ко мнѣ знакомые и незнакомые писатели въ это трудное и тяжкое время и три-четыре человѣка изъ молодежи. М. М. Стасюлевичъ самъ привезъ мнѣ денегъ, И. С. Тургеневъ прислалъ ко мнѣ С. Боткина, Н. К.

Михайловскій прислалъ профессора Манассеина и затѣмъ самъ заходилъ ко мнѣ (мы до тѣхъ поръ были незнакомы); у постели моей постоянно мѣнялись Наумовъ, Бажинъ, Гл. Успенскій, Кривенко, Скабичевскій (Гаршина въ то время не было въ СПБ.); разъ или два заходилъ Засодимскій. Дежурили студенты и молодые врачи. Въ апрѣлѣ же съ помощью Стасюлевича и «Литературнаго Фонда» я покинулъ СПБ. и пріѣхалъ сначала въ Усмань, а черезъ нѣсколько дней къ матери на Грязнушу. Положеніе мое было настолько опасно, что, какъ впослѣдствіи мнѣ передавалъ Стасюлевичъ, Боткинъ сказалъ: «Не доѣдетъ онъ въ деревню».

Нечего и говорить, что М. И. самоотверженно ухаживала за мной.

На хуторѣ дѣла, однако, повернулись съ неожиданнымъ счастьемъ. Меня взялся лѣчить старый мой знакомый, д-ръ Аксютичъ. На диво всѣхъ я началъ быстро поправляться и ужъ съ іюня могъ продолжать «Записки Степняка». Къ зимѣ я такъ растолстѣлъ, какъ никогда, и работалъ очень быстро и наиболѣе производительно. Очевидно, въ организмѣ совершился какой-то переворотъ. Вмѣстѣ съ нимъ, вмѣстѣ съ явнымъ наплывомъ силъ и бодрости появилось живое и страстное отношеніе къ людямъ и къ природѣ. Эту зиму я провелъ въ г. Усмани, и хотя держался тамъ довольно уединенно, тѣмъ не менѣе, мною ясно чувствовалось, что я теперь уже на иномъ счету, чѣмъ прежде, когда былъ конторщикомъ или разорившимся арендаторомъ. Упоминаю объ этомъ потому, что я тогда далеко не былъ равнодушенъ, какъ люди обо мнѣ думаютъ и съ какими чувствами относятся. Этою же зимой я познакомился съ М. В. Огарковой на литературно-музыкальномъ вечерѣ въ пользу литературнаго фонда. Ей тогда было лѣтъ 17, и она кончала воронежскую гимназію. — Слѣдующее лѣто я очень часто видѣлся, переписывался и говорилъ съ Анютой Федотовой, сестрой Мар. Ив. Ей было въ то время лѣтъ 16 или 17. Она была старой моей любимицей; но въ это лѣто намъ показалось, что мы влюблены другъ въ друга, и съ теченіемъ времени мы рѣшили сойтись, какъ мужъ съ женою, когда Анюта поѣдетъ въ СПБ. и кончитъ тамъ акушерскіе курсы.

Относительно Мар. Ив — ны такъ и подразумѣвалось, что она не можетъ неволить меня — да она и держала себя именно такимъ образомъ, что ея дѣло — сторона, — и вообще подразумѣвалось, что любовь есть чувство свободное, какъ учили тому книжки 60-хъ годовъ. Однако, романъ съ Анютой какъ-то затихъ и, наконецъ, совсѣмъ пресѣкся, когда возобновилось знакомство мое съ Марусей Огарковой, которая гораздо сильнѣе «плѣнила мое воображеніе», какъ говорятъ въ такихъ случаяхъ. Впрочемъ, помимо этого пошлаго и ничего не говорящаго выраженія я долженъ отмѣтить, что никогда еще въ моей жизни я не испытывалъ чувства, подобнаго тому, которое испытывалъ по мѣрѣ все большаго знакомства и большаго сближенія съ Марусей. Это было совсѣмъ не похоже на мой «переписочный» и подогрѣтый различными посторонними вещами романъ съ М. Ив—ной, это не было и взрывомъ полового чувства, особенно въ началѣ. Здѣсь я долженъ разъ навсегда оговориться: когда мнѣ очень нравились женщины — половое чувство возбуждалось во мнѣ только въ рѣдкихъ случаяхъ и то послѣ поцѣлуевъ, объятій и тому подобныхъ формъ близости...

Теперь попытаюсь взглянуть на свою жизнь глазами посторонняго человѣка и раздѣлить ее на грани. Странное чувство иногда овладѣваетъ мною: мнѣ думается, напримѣръ, что тотъ Александръ Ивановичъ Эртель, который былъ конторщикомъ и арендаторомъ, давно умеръ. Умеръ затѣмъ пріятель Ф—ва и Засодимскаго, переѣхавшій съ грошомъ въ карманѣ и съ голодной смертью въ перспективѣ въ СПБ. завѣдывать какой-то библіотекой, и наконецъ умеръ Ал. И—чъ начинающій писатель, ферлакуръ, человѣкъ съ мыслями неопредѣленнаго и скорбнаго пессимизма, съ жалостью къ людямъ, доходящей до слезъ, и съ отчаяніемъ въ душѣ, что нечего дѣлать и что «мы всѣ не нужны», человѣкъ нервный, истеричный, съ больнымъ и не въ мѣру раздраженнымъ воображеніемъ. Эти три смерти я пріурочиваю къ 1876, 1880, 1885 гг. Я, конечно, не хочу этимъ сказать, что три раза во мнѣ умирали и перерождались склонности, привычки, взгляды, пороки, способности; но что-то во всей моей натурѣ перемѣщалось, и жизнь являлась мнѣ все въ новомъ и новомъ

освѣщеніи. И, конечно, самое печальное освѣщеніе выпало на долю періода болѣзни и періода ломки семейныхъ отношеній. Особенно на долю послѣдняго періода скудно свѣтило солнце, а онъ продолжался 82 — 85 гг. Собственно-то говоря, широкаго и правильнаго расходованія умственныхъ и физическихъ силъ даже и не было до сихъ поръ въ моей жизни: до 80 года я ползъ все вверхъ, употреблялъ усилія, чтобы стряхнуть съ себя шкуры самоучки, дикаря, конторщика, арендатора; съ 80 по 82 болѣлъ и лѣчился, съ 82 по 85 — кутилъ (иносказательно), терзался, терзалъ другихъ, изнывалъ во всякихъ личныхъ вопросахъ; съ 85 по 88 сначала находился «на порукахъ», потомъ въ административной ссылкѣ, привязанный къ Твери до февраля 88 года. Только теперь въ сущности-то наступаетъ нѣкоторая свобода и нравственная и иная, въ болѣе узкомъ смыслѣ, хотя эта свобода, въ свою очередь, непомѣрно стѣснена условіями «профессіональнаго» существованія, необходимостью зарабатывать литературнымъ трудомъ извѣстное количество денегъ «хоть лопни».

Собственно говоря, самая глубокая душевная работа въ смыслѣ выясненія отношеній своихъ къ Богу и къ людямъ происходила во мнѣ только въ первый, самый ранній періодъ; съ тѣхъ же поръ, какъ я сталъ подписчикомъ Ф—ой библіотеки и вступилъ въ переписку сначала съ М. И., а потомъ и съ ея отцомъ — отношенія къ Богу совершенно прервались, а отношенія къ людямъ образовались, какъ указывало непосредственное чувство и книжки 60-хъ годовъ. Такъ это и оставалось до 85 года. Правда, въ 82 — 83 гг. я читалъ «Исповѣдь» Толстого и былъ ею глубоко тронутъ, но только какъ искреннимъ и художественнымъ изложеніемъ жизни самого Л. Толстого, безъ отношенія къ своей жизни. Это тѣмъ болѣе, что я въ то время находился въ періодѣ самаго мрачнаго отчаянія и въ періодѣ самаго рѣшительнаго отсутствія какихъ-нибудь отношеній къ Богу.

Въ «Исповѣди» я видѣлъ такой же процессъ отчаянія, но не могъ понять тотъ выходъ изъ отчаянія, который уже мелькалъ передъ авторомъ «Исповѣди». Я укажу на свой разсказъ того времени «Пятихины дѣти» («Вѣст. Ев.» 1883

или начало 1884), гдѣ до извѣстной степени отражается тогдашнее состояніе моего духа. Я видѣлъ сумятицу и своей, и общественной жизни; я зналъ, что въ этой сумятицѣ человѣку будетъ легче жить, если осуществятся тѣ или иныя *внѣшнія* перемѣны: въ моей личной жизни прекратятся мучительныя отношенія съ М. Ив. и осуществится возможность жить съ дѣвушкой, которую я любилъ; въ общественной жизни осуществится мысль о политической свободѣ, о національзаціи земли, о низверженіи деспотизма. Но для чего это? зачѣмъ, если жизнь все равно безсмысленна и жестока — у меня не было отвѣта, потому что горькое чувство отчаянія подсказывало мнѣ, что—все равно, какія бы ни были внѣшнія перемѣны въ моей личной и общественной жизни — это все одна игра, потому что не зачѣмъ жить. Съ другой стороны, мнѣ плохо вѣрилось, что возможны эти хорошія на мой взглядъ внѣшнія перемѣны въ моей и въ общественной жизни. Но въ силу какого-то упрямства, въ силу неистребимаго во мнѣ желанія жить (хотя въ сущности и не зачѣмъ жить), я страстно и, на посторонній взглядъ, по временамъ энергично добивался этихъ внѣшнихъ перемѣнъ и въ своей, и въ общественной жизни. Вотъ отчего въ тогдашнихъ поступкахъ моихъ есть такіе, въ которыхъ разсудокъ совершенно заслонялся страстью и необъяснимыми для меня порывами чувства. И вотъ отчего эта вышеупомянутая «энергичная» работа на пользу «внѣшнихъ перемѣнъ» часто перемежалась временами самой полной апатіи, самаго полнаго упадка силъ, самаго рѣшительнаго отчаянія. Нервы до того были потрясены этой безсмысленной и спазматической работой, что отъ малѣйшихъ причинъ я плакалъ, что иногда одна игра воображенія заставляла меня несказанно страдать и волноваться. Помню, въ то время (зимою 1883 г.) въ СПБ. появился нѣкто К—въ, маленькій писатель, нѣсколько лѣтъ подъ рядъ печатавшій свои наблюденія провинціальнаго адвоката въ «Отеч. Зап.» Сидѣлъ, сидѣлъ въ своемъ провинціальномъ углу, и вдругъ, когда мѣстное общество рѣшительно обозлилось на его обличенія, когда ему стали гадить тамъ на каждомъ шагу, онъ вспомнилъ, что слава его писательства такъ велика, что въ

журналистикѣ его настолько цѣнятъ, что достаточно ему явиться въ СПБ., и тамъ встрѣтятъ его съ распростертыми объятіями, дадутъ великолѣпный заработокъ, деньги и т. п. Увлеченный этой несчастной мыслью, онъ бросаетъ безъ копейки очень большое семейство гдѣ-то въ захолустномъ городишкѣ, беретъ съ собой сынишку лѣтъ десяти (мальчикъ хорошо рисуетъ, и тамъ, то-есть въ томъ же великодушномъ и фантастическомъ Петербургѣ, его «помѣстятъ» и дадутъ возможность окончить курсъ въ Академіи Художествъ!) и пріѣзжаетъ въ Петербургъ съ рукописью повѣсти, «написанной въ манерѣ Бернанда», и съ грошами въ карманѣ (тамъ дадутъ!). Нельзя ничего было вообразить жальче этого человѣка. Маленькій, бородастый, съ огромными притязаніями и самомнѣніемъ, онъ то пыжился и надувался, какъ индюкъ, то падалъ духомъ и приходилъ въ безпомощнѣйшее состояніе. Повѣсть его оказалась никуда не годна, денегъ ему никто не далъ, съ распростертыми объятіями никто не встрѣтилъ, въ «талантѣ» сына никто не заинтересовался. И, напротивъ, принуждены были сурово и безжалостно указать возомнившему о себѣ писателю, что талантикъ у него крошечный, что притязанія его безмѣрны и ничѣмъ не оправдываются, что никакихъ особенно блестящихъ положеній для него не изготовлено, да и вообще лучше ему возвращаться домой. Тутъ особенно безжалостно поступилъ М. Е. Салтыковъ, которому К—въ вначалѣ болѣе всѣхъ надоѣдалъ. Такимъ образомъ К—въ съ своимъ мальчикомъ скоро очутился въ безпощадной сутолокѣ петербургской жизни безъ гроша денегъ, съ разбитыми надеждами и мечтами, съ уязвленнымъ самолюбіемъ. Вся эта процедура совершалась за моими глазами, въ тѣсномъ кругу писателей, стоявшихъ около «Отеч. Зап.» Ко мнѣ же К—въ пришелъ съ вышеупомянутою повѣстью, которую просилъ меня передать въ «Вѣст. Ев.» Такъ вотъ, разъ онъ мнѣ сообщилъ, что они съ мальчикомъ тѣмъ и питаются, что продаютъ оберточную бумагу, привезенную еще изъ дома, и покупаютъ хлѣбъ и колбасу. Послѣ его ухода я такъ живо вообразилъ, какъ бородастый и маленькій человѣкъ съ растерянной и безсмысленной улыбочкой ходитъ по улицамъ города, держа за

руку маленькаго и голоднаго ребенка, что со мной сдѣлалось нѣчто въ родѣ истерики, и я долго не могъ успокоиться, когда въ мою комнату уже вошли и дали мнѣ воды и еще чего-то. Этимъ неважнымъ случаемъ я хочу указать, до какой степени разбиты были мои нервы, и какъ всякій разсудокъ пропадалъ за не въ мѣру раздраженной нервической чувствительностью. Вѣдь въ сущности-то чего было проще, какъ походить по многочисленнымъ знакомымъ, разсказать, попросить, собрать денегъ и отправить чудака во-свояси.

Къ этому же времени относятся и мои, правда, весьма поверхностныя отношенія къ молодежи революціоннаго типа. Въ ихъ внутреннія отношенія и работу я не входилъ, да и не стремился войти. Я прямо говорилъ, что въ ихъ революціонные планы не вѣрю. Однако въ двухъ случаяхъ я разрѣшилъ имъ воспользоваться моимъ адресомъ, а въ двухъ или трехъ они воспользовались имъ безъ разрѣшенія. Впослѣдствіи денежный пакетъ, адресованный ко мнѣ именно безъ моего вѣдома и за которымъ пришелъ человѣкъ въ то время, когда я получилъ загадочную повѣстку, надѣлалъ много вреда и мнѣ, и тому человѣку. Арестованъ же я былъ вслѣдствіе того, что мой адресъ оказался зашифрованнымъ въ тайной типографіи въ Кіевѣ, и его не догадались или не успѣли истребить, когда полиція брала типографію (именно «брала»: типографію долго защищали съ оружіемъ въ рукахъ). Вообще тутъ же скажу, что революціонеры, съ которыми мнѣ пришлось имѣть знакомство въ 83—84 гг., были далеко не такого крупнаго пошиба, какъ въ 1879—80. Много въ нихъ было наивнаго, мальчишескаго и много было невѣжества и незнанія, хотя, конечно, за этою мало располагающею корою во многихъ случаяхъ были достойнѣйшіе и самоотверженные характеры.

Въ тюрьмѣ — сначала въ крѣпости, а потомъ въ Домѣ Предв. Заключенія — состояніе моего духа было ужасно отягчено двумя или, если хотите, тремя обстоятельствами. Самое мучительное изъ нихъ — это неизвѣстность, что сталось съ дочкой, семилѣтней въ то время дѣвочкой, которую я наканунѣ ареста перевезъ въ дѣтскую больницу и въ болѣзни которой уже при мнѣ опредѣлили скарлатину, осложненную

чѣмъ-то очень опаснымъ (она умерла отъ дифтерита, когда я еще сидѣлъ въ тюрьмѣ). Что я тогда передумалъ о моей дѣвочкѣ, и какія картины ея болѣзни и возможной смерти представлялись мнѣ въ казематѣ Петропавловской крѣпости — этого я и до сихъ поръ не могу описать. Это было что-то ужасное, доходящее до бреда, до галлюцинацій. Послѣ, кажется, недѣли двѣ спустя, мнѣ М. И. сказала, что Оля [1]) выздоровѣла и что ее уже увезли въ Усмань. Дивлюсь до сихъ поръ тому мужеству, съ которымъ М. И. обманывала меня, чтобы успокоить. Жадно заглядывая ей въ глаза, я не могъ примѣтить въ ихъ выраженіи ничего подозрительнаго: глаза были такъ спокойны, что мнѣ и въ голову не приходило, что они лгали. Мнѣ страшно и до сихъ поръ подумать, какія нечеловѣческія муки приходилось ей вынести въ то время... Но тутъ же прибавлю, что по выходѣ изъ тюрьмы, по минованіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ свободы, сердце мое до того было ожесточено, до того распалено чувство ненависти ко всѣмъ людямъ, ставившимъ мнѣ преграды и дѣлавшимъ мнѣ — какъ я думалъ — зло, что я не могъ отнестись и не отнесся къ М. Ив., какъ бы слѣдовало.

Второе обстоятельство, отягчавшее мою тюремную жизнь, — это то, что я, не будучи посвященъ во внутреннія отношенія революціонеровъ, въ ихъ планы, въ ихъ положеніе, въ ихъ средства, не зналъ, что отвѣчать на допросахъ, и послѣ такого-то отвѣта мучился, нужно ли было такъ отвѣчать. Такъ, напр., я думалъ, что одинъ мой знакомый П. при вѣсти о моемъ арестѣ непремѣнно долженъ былъ бѣжать за границу или «уйти въ нелегальные», и когда меня допрашивали, съ кѣмъ я получалъ такія-то деньги (о которыхъ я выше упоминалъ), я сказалъ, какъ и было на самомъ дѣлѣ, что съ П. Между тѣмъ П. не бѣжалъ за границу и не перешелъ въ «нелегальные», а просто сталъ жить, не прописываясь. Слѣдствіемъ было то, что его арестовали, и затѣмъ сослали на 3 или на 4 года въ Западную Сибирь.

---

[1]) Дочь А. И—ча и М. Ив—ны.

Третье обстоятельство — возвращеніе въ крѣпости моей старой болѣзни кровохарканія, и проистекавшій у меня отсюда чисто животный, паническій страхъ.

Но было и нѣчто хорошее въ тюрьмѣ — досугъ подумать и оглянуться вокругъ себя. Подумать, что вотъ скоро смерть, а какъ прошла жизнь? И что почему мнѣ не приходило въ голову, какъ коротка жизнь и какъ много уходитъ времени на пустяки и на зло? Я помню, что рядомъ съ этими мыслями во мнѣ произошелъ тогда необыкновенный подъемъ чувства любви къ людямъ; явилось страстное желаніе со всѣми примириться, всѣхъ простить, со всѣми жить въ любви и въ мирѣ, потому что жизнь такъ коротка и такъ много растрачивается силъ на ненужную злобу и ненужную вражду. Вѣроятно, отчасти благодаря этимъ мыслямъ и этимъ чувствамъ я не вынесъ изъ тюрьмы никакого озлобленія къ тюремщикамъ, надзирателямъ, жандармамъ и даже прокурорамъ. Послѣ же тюрьмы такое просвѣтлѣніе чувствъ сразу же было затоплено и замѣнилось, правда, на короткое время, ненавистью и ожесточеніемъ.

Я сказалъ, на короткое время было затоплено чувство любви и умиленія, бывшее у меня въ тюрьмѣ. Это справедливо только до нѣкоторой степени — я хочу сказать, что это же чувство снова поднялось во мнѣ послѣ полугодового промежутка, но не сдѣлалось и до сихъ поръ моимъ постояннымъ чувствомъ. Оно чаще повторяется, отношенія мои къ людямъ стали гораздо терпимѣе, спокойнѣе и снисходительнѣе, но постоянной любви къ людямъ, постоянной терпимости и снисходительности во мнѣ нѣтъ, и я до сихъ поръ способенъ на взрывы злобы и ненависти, правда, скоро, гораздо скорѣе чѣмъ прежде, проходящей. Затѣмъ теперь гораздо рѣже, чѣмъ прежде, взгляды мои заслоняются пристрастіемъ и предразсудками, и я гораздо рѣже отдаюсь непосредственнымъ порывамъ той безсознательной силы, которая прежде столь часто увлекала меня и на дурное, и на хорошее.

Два обстоятельства, мнѣ кажется, послужили къ тому, что во мнѣ произошла такая перемѣна: жизнь въ Москвѣ и затѣмъ въ Твери, и то, что съ зимы 85 года я сталъ жить съ

Марусей вмѣстѣ. Подъ жизнью въ Москвѣ и въ Твери я, конечно, разумѣю не пребываніе только наше въ этихъ городахъ, а встрѣчу и знакомство съ людьми, не виданными мною прежде, знакомство съ ихъ мыслями и взглядами и любовное отношеніе этихъ людей ко мнѣ и женѣ моей. Въ Москвѣ я гораздо ближе, чѣмъ прежде, сошелся съ Златовратскимъ и изъ бесѣдъ съ нимъ въ первый разъ понялъ значеніе Л. Н. Толстого; перечиталъ его «Исповѣдь», прочиталъ «Въ чемъ моя вѣра». И это чтеніе, и новыя мысли о жизни, и трудность разобраться въ нихъ своими усиліями побудили меня весною 1885 года написать Л. Н—чу, что я очень желалъ бы видѣться съ нимъ и говорить. Вотъ тогда онъ пришелъ съ вами ко мнѣ, чтобы познакомиться и извѣстить, что ѣдетъ на-дняхъ въ Крымъ съ больнымъ кн. Урусовымъ. Такимъ образомъ мнѣ не пришлось съ нимъ говорить. Въ Твери я познакомился и сошелся близко съ Пав. Алекс. Бакунинымъ и затѣмъ какъ-то очень быстро съ Ник. Ник. Ге (сыномъ). Отъ Бакунина я впервые въ моей «городской» жизни услыхалъ разсужденія о Богѣ, о душѣ, о безконечности, то-есть о такихъ вещахъ, о которыхъ въ прежней моей средѣ нельзя было заговорить, не вызвавши насмѣшекъ и глумленій или холодной и вѣжливой пренебрежительности. Въ спорахъ Ге со мною, съ Мачтетомъ, жившимъ въ то время въ Твери, съ Бакунинымъ и съ Петрункевичами выяснились передо мною многія стороны въ мысляхъ Л. Толстого, выяснилось многое несостоятельное въ моихъ прежнихъ воззрѣніяхъ и, наоборотъ, выяснилось кое-что несостоятельное и произвольное въ мысляхъ Л. Н. Толстого и его горячаго сторонника Н. Н. Ге. Однимъ словомъ, тверская жизнь первыхъ двухъ зимъ (85—86, 86—87) дала мнѣ возможность утвердить мое міровоззрѣніе на гораздо болѣе широкихъ основаніяхъ, чѣмъ прежде, и найти смыслъ въ этой кажущейся сумятицѣ жизни. Я, конечно, не хочу сказать, что только тѣмъ и занятъ былъ, что утвержденіемъ своего міровоззрѣнія на логичныхъ и разумныхъ основахъ. Я уже писалъ вамъ, что во многомъ это мое міровоззрѣніе кажется мнѣ смутнымъ и во многомъ я еще не разобрался...

Дополненіемъ къ этой автобіографіи служатъ помѣщаемыя ниже два письма А. И. Эртеля къ В. В. Лесевичу отъ 7-го и 10-го февраля 1889 г.

Автобіографія обрывается на половинѣ 1888 года. Отмѣтимъ дальнѣйшіе этапы жизни А. И-ча, насколько это необходимо для пониманія его писемъ.

За четырехлѣтнее пребываніе въ Твери А. И-чемъ были написаны: «Изъ деревни», — рядъ очерковъ, помѣщенныхъ въ «Рус. Вѣдом.», повѣсть «Двѣ пары», напечатанная въ «Рус. Мысли», и рѣчь о В. М. Гаршинѣ, произнесенная въ Москвѣ, въ Обществѣ Любит. Росс. Словесности, и вошедшая потомъ въ сборникъ памяти Гаршина.

Весь 1888 годъ А. И. былъ занятъ работою надъ романомъ «Гарденины» (конченъ въ Твери лѣтомъ 1889 г.). Съ лѣта 1889 г. А. И. поселяется съ семьею въ хуторѣ на Грязнушѣ, откуда часто отлучается — то въ Ржевскъ, къ В. Г. Черткову, то въ Москву, Ясную Поляну, Петербургъ. Весну 1890 г. онъ съ семьею провелъ въ Крыму: у него начинался легочный процессъ. Въ сентябрѣ того же года онъ взялъ въ аренду Емпелево (Воронеж. губ.) и съ тѣхъ поръ прожилъ здѣсь, изрѣдка отлучаясь въ Москву, до 1896 года. Съ конца 1890 года онъ работалъ надъ «Смѣною» — своимъ вторымъ романомъ, напечатаннымъ, какъ и первый, въ «Рус. Мысли» (1891 г.). Зима 1891—2 г. и весь 1892 годъ ушли на организацію помощи голодающимъ крестьянамъ; благодаря пожертвованіямъ, стекавшимся къ А. И-чу со всей Россіи, эта организація обняла широкій районъ (отчетъ объ этой своей дѣятельности А. И. далъ въ статьѣ «Макарьевское попечительство», помѣщенной въ «Рус. Мысли» за январь 1893 г.). Въ 1894 г. А. И. въ первый разъ ѣздилъ за границу — въ Парижъ и Лондонъ. Въ 1895 г. было написано послѣднее крупное произведеніе А. И-ча: «Карьера Струкова».

Въ 1896 г. онъ принялъ мѣсто управляющаго имѣніемъ Хлудовыхъ — Александровкой, Морш. у., Тамб. губ., куда и переѣхалъ съ семьей; съ 1900 г. онъ управлялъ также имѣніемъ г. Лукутина, съ 1901 — еще имѣніями Е. И. Чертковой, съ 1903 г.—имѣніями Пашковыхъ. Напряженная работа по управленію громадными имѣніями, разбросанными въ девяти губерніяхъ, вскорѣ подорвала здоровье А. И-ча. Въ 1904 и 1905 гг. онъ ѣздилъ за границу отдыхать и лѣчиться. Въ іюнѣ 1906 г., въ его отсутствіе, разыгралась въ Александровкѣ «мирная сельско-хозяйственная забастовка»; эта исторія тоже тяжело отозвалась на здоровьѣ А. И-ча. Въ августѣ онъ уѣхалъ въ Нейнаръ лѣчиться. Безъ него въ Александровкѣ случилось несчастіе: въ его домѣ покончилъ съ собою его другъ, земскій врачъ; извѣстіе объ этой смерти сильно потрясло А. И-ча. Вскорѣ за тѣмъ рѣшено было оставить Александровку и переѣхать въ Москву. Этотъ переѣздъ совершился въ декабрѣ 1906 г.; сюда же переведено было управленіе Пашковскими имѣніями. 7 февраля 1908 г. А. И. скончался въ Москвѣ отъ паралича сердца. Его могила — въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, рядомъ съ могилою А. П. Чехова.

ПИСЬМА.

М. Н. Чистякову.

5 октября 1877.

Очень радъ за васъ, Матвѣй Николаевичъ. Новый путь, новая жизнь давно необходимы для насъ. Вы первый ступили на этотъ путь, и въ этомъ залогъ, можетъ-быть, того, что путь этотъ будетъ для васъ свѣтлымъ, хорошимъ путемъ... Энергія — главное условіе успѣха.

Я помню себя тому назадъ два или полтора года; то было время безумно широкихъ надеждъ, юношески грандіозныхъ плановъ; новое, хорошее знакомство, хорошія книги, — все это волновало кровь, будоражило воображеніе. Правда, этому возбужденному состоянію недоставало знанія жизни, знанія практической ея стороны, но зато весело и легко жилось, и впереди все горѣло зарей... Но прошли два года; они, правда, прибавили мнѣ много опыта, но зато окунули прямо отъ книгъ въ самую грязную дѣйствительность, замарали всѣ мои чистые помыслы, опошлили благородныя стремленія, и весь этотъ юношескій пылъ передѣлали и подвели подъ мѣрку окружающей грязи. Это кризисъ. За нимъ — или гибель, или спасеніе. Гибель въ томъ случаѣ, если я не вырвусь изъ этого омута, что зовутъ Усманскимъ уѣздомъ, и спасеніе — если вырвусь изъ него. Пройди еще два-три года, и изъ меня будетъ образцовый продуктъ туземной почвы, и возврата, можетъ-быть, не будетъ изъ этого мрака, изъ этой липкой затягивающей грязи...

Все это я сказалъ лишь затѣмъ, что нахожу мое положеніе съ вашимъ одинаковымъ. Теперь начинается разница. —

Вы сдѣлали смѣлый и рѣшительный шагъ, мои обстоятельства еще не позволяютъ его сдѣлать.

Съ одной стороны, больно вспомнить, что прежній идиллизмъ исчезъ уже, но съ другой — есть отрада и въ этомъ больномъ чувствѣ. Теперь уже можно выйти на ту широкую дорогу, что манитъ насъ, съ болѣе солиднымъ фондомъ практическихъ основъ, чѣмъ могло это быть въ пору нашего хорошаго, полнаго свѣжести и силы оптимизма.

Завидую вамъ, завидую вашему смѣлому шагу... Все равно, если этотъ шагъ матеріально и недостаточно обдуманъ, но разъ онъ *смѣлъ*, и я завидую ему...

Ему же.

10 августа 1881, хут. на Грязнушѣ.

...Что касается той приманки, которую вы мнѣ ставите — быть рабочихъ и т. д. — увы! — интересъ это для меня представляетъ второстепенный. Мнѣ кажется, что столько людей добросовѣстно эксплуатируютъ эту тему и съ похвальнымъ усердіемъ вертятся въ узкой сферѣ исключительно мужицкихъ нуждъ и интересовъ... Надо кому-нибудь вспомнить и объ интеллигентномъ человѣкѣ — конечно, не забывая главную суть, руководящую интересами этого человѣка, — общественное дѣло, и благоразумно обходя чисто-личные, психологическіе мотивы. Вотъ съ этой точки зрѣнія меня гораздо болѣе интересуетъ участь интеллигенціи и трагическій характеръ ея отношеній къ *народу*, чѣмъ самый народъ съ своимъ «обычнымъ правомъ и бытовыми формами». Съ этой стороны, ей Богу, мужикъ уже достаточно прошпигованъ.

Чѣмъ больше пишу я, тѣмъ всѣ эти положенія выступаютъ передо мной яснѣе и рѣшительнѣй. «Интеллигенція» мало-по-малу начинаетъ преобладать въ моихъ разсказахъ. Въ сентябрьской книжкѣ «Вѣс. Евр.» у меня появятся даже такіе сложные продукты, какъ съ ногъ до головы пропитанный культурой камеръ-юнкеръ, затѣмъ романтикъ-революціонеръ и, наконецъ, дѣвушка изъ дворянской семьи.

М. В. Огарковой [1]).

22 августа 1883, Самара.

...Не знаю почему — одинъ ли я остался, наединѣ съ самимъ собою, перечиталъ ли я внимательно и вдумчиво «Исповѣдь» Толстого — повторяю, не знаю отчего, но съ самаго Саратова я почувствовалъ, что я во власти новыхъ какихъ-то мыслей, которыя и прежде бывали у меня на днѣ души, которыя и прежде вставали во мнѣ, но прежде нерѣшительно, робко, смутно, тотчасъ же отступая и прячась. И вотъ теперь онѣ пришли и взяли меня въ свою власть... Мнѣ стало ясно, что я всею дѣятельностью не то воду толку, не то просто мазурничаю. Я говорю — литературной дѣятельностью. И вотъ отчего мнѣ это кажется. Когда-то, во время оно, во время моихъ первыхъ писаній, такъ мнѣ казалось ясно и просто все на свѣтѣ, и такъ положительно зналъ я, гдѣ правда и гдѣ ея нѣтъ, что мнѣ ужасно было легко писать мои очерки и ужасно было весело сознавать себя чѣмъ-то. Но теперь я вижу, что наивны эта бывшая моя ясность и бывшая веселость. Тамъ, гдѣ я видѣлъ безоблачные горизонты, тамъ теперь я вижу либо узкость, либо недомысліе... И вотъ съ такими новыми мыслями, или, лучше сказать, съ зачатками еще этихъ мыслей, вечеромъ я пошелъ въ Барыкинскій вокзалъ. Я тебѣ, кажется, писалъ, что это за вокзалъ. Это высокое мѣсто, съ котораго Волга видна верстъ на 20, и гдѣ по ве-

---

[1]) Ставшей позднѣе женою А. И. Эртеля.

черамъ бываетъ музыка. Всегда оттуда эта Волга производитъ на меня грустное впечатлѣніе. Но теперь я не скажу тебѣ, что она сдѣлала со мной, эта Волга. Я тебѣ не писалъ въ точности своихъ впечатлѣній; мнѣ самому мысли мои были еще не ясны и казались простой хандрой. Но видишь ли, въ чемъ дѣло: она, т.-е. Волга, и музыка, и все въ тотъ вечеръ — душу они мнѣ перевернули. Всю мизерность свою, мелочность свою, ничтожность я понялъ. Какъ-то вдругъ, сюрпризомъ. И это вѣчное притворство, что де я знаю, что я де источникъ истинной, «настоящей» правды знаю, и эту гордость, вытекающую отъ такого знанія, и, кромѣ того, гордость свою учительскую — ту, которая проистекала отъ того, что я учу, пишу очерки, повѣсти, фельетоны, — все я тутъ понялъ. И сталъ я тутъ совсѣмъ неувѣреннымъ. Да въ чемъ же правда? спросилъ я. Въ либерализмѣ? Соціализмѣ? Въ политической экономіи? И я не нашелъ отвѣта въ своей душѣ. Я только нашелъ такой отвѣтъ, который, пожалуй, не вязался съ вопросомъ: жилъ я, думалъ, дѣлалъ ложно, и что ничего, ничего я не знаю, и ничему, ничему не могу учить. И надо тебѣ сказать правду, Маруся, я жестоко плакалъ, когда возвратился домой. Плакалъ злыми, безсильными слезами. Вотъ такой я пріѣхалъ сюда... Ждалъ жадно отъ тебя письма, не получилъ. И когда первые дни не получилъ отъ тебя письма, то вдругъ пересталъ ждать и жадно сталъ читать «Войну и Миръ», «Анну Каренину», «Исповѣдь»... И когда сталъ читать, снова и съ новой силой увидалъ, что это не то, что я дѣлалъ, и что тяжкая вина лежитъ на мнѣ въ той моей легкомысленности, съ которой я писалъ и говорилъ, будто знаю, гдѣ правда, а на самомъ-то дѣлѣ *не искалъ* этой правды. Вотъ видишь ли: я и читалъ, и въ жизнь вглядывался, не правды ища, а подтягивая и книги, и жизнь все подъ ту готовенькую доктрину, которая какъ-то незамѣтно сложилась во мнѣ съ юношескихъ лѣтъ.

И мнѣ стало ясно, что не могу я писать и не могу *учить*... Я тебѣ не могу передать во всей силѣ того отвращенія, которое получилъ я къ своимъ писаніямъ и къ своей прежде законченной доктринѣ. Я только почувствовалъ, что

ничего я не знаю, и что недостаетъ у меня безсовѣстности съ этакимъ-то багажемъ писать мои очерки, фельетоны, повѣсти...

Что мнѣ дѣлать съ собой? Что? Вотъ этотъ одинъ неотвязный вопросъ мучаетъ меня. Куда я гожусь — испорченный, изломанный этой всей жизнью своей, въ теченіе которой я только и дѣлалъ, что былъ самодоволенъ и воображалъ, что я дѣлаю дѣло. И гдѣ это «дѣло»?

Вотъ въ этихъ мысляхъ вся моя жизнь въ Хилковѣ проходитъ. Наружно — я смѣюсь, говорю о самыхъ обыденныхъ вещахъ, ѣзжу съ Матв. Ник. въ поле, но когда расходимся спать часовъ съ 9, съ 10, — тутъ ложатся рано, — я остаюсь одинъ въ своей комнатѣ и не сплю, а хожу, хожу безъ устали, или читаю до глубокой полночи, съ каждой страницей убѣждаясь въ своемъ безсиліи, въ своей узкости. Мучительно это! Когда пріѣзжали изъ Сколкова, я оживалъ: ждалъ отъ тебя письма, но письма не было, и снова я погружался въ эти думы свои. Я подводилъ итогъ тому, что я сдѣлалъ, и въ итогѣ получался ноль... Я сознавалъ тамъ гдѣ-то, въ глубинѣ души, что силы есть у меня, но я не зналъ, какъ вызвать ихъ наружу, эти силы, куда ихъ направить. И съ отчаяніемъ чувствовалъ, что ничего я этого не знаю... Но я не могъ сказать себѣ: живи, пока годишься, и смерти жди... Потому не могъ сказать, что жажда жизни-то ни разу не утихала во мнѣ, и всѣмъ существомъ своимъ я ощущалъ эту жажду, эту потребность жить... Наконецъ, въ который-то разъ были изъ Сколкова и не привезли отъ тебя писемъ. Я точно отъ сна очнулся. Я счелъ дни и увидалъ, что письмо должно было быть, что я тебя просилъ написать поскорѣй, поскорѣй... И безпокойство, загорѣвшееся во мнѣ, на время отогнало мои мысли: я рѣшилъ дать тебѣ телеграмму и кстати ужъ съѣздить самому въ Самару. Ѣхать туда нужно черезъ Сколково. Въ Сколковѣ мнѣ Сумкина передала твое письмо отъ 14, оно гдѣ-то завалялось на почтѣ и получено только 21. Я изъ него увидалъ, что ты сердишься на меня. Или, лучше сказать, что я тебя огорчилъ, и тогда же я рѣшилъ собраться съ мыслями

и написать тебѣ все подробно. И какъ тебѣ сказать — я сознавалъ, что я виноватъ предъ тобою, но не могъ, физически не могъ *этимъ* мучиться, потому что та полоса душевнаго отчаянія забирала меня всего безъ остатка, и воображеніе мое не отзывалось ни на что съ такою яркостью, какъ отзывалось оно, рисуя мнѣ мою немощь, безсмысленность моего существованія, мою глупую и заносчивую самонадѣянность...

Но чувствую, что нужно еще бросить свѣтъ на эту психологическую, что ли, возню. Представь ты себѣ, что ты вѣчно жила въ долинѣ и думала, что весь міръ такой же, какой и въ долинѣ этой, и вдругъ взошла на гору и увидала, что горизонтъ стелется безъ конца, и что за горою иной міръ, и что всѣ представленія твои фальшивы. Ты еще не знаешь подробностей этого новаго міра, но ты видишь, что онъ не такой, какимъ ты его воображала. А какъ къ нему подойти, къ новому-то міру? И ты этого не знаешь.

Учиться, читать, думать много нужно, и прежде всего сбросить съ себя это свое величіе — умственное свое величіе — это свое мнѣніе, что вотъ-де эта правда въ карманѣ у меня. Нужно искать ее. И нужно прежде всего не отрываться отъ жизни, не смотрѣть на нее съ высоты доктрины готовой, а войти въ нее. Вотъ съ этой точки и противенъ мнѣ теперь Петербургъ, всѣ эти публицисты, критики, писатели. Нужно войти въ жизнь. Но какъ?

И я теперь знаю, какъ. Брошу писать, сброшу эту мишурную мантію учителя и уйду въ деревню, займусь тихимъ, не звонкимъ, маленькимъ и сѣрымъ дѣломъ, буду читать, буду вникать въ дѣйствительность... Всю громаду моего незнанія сознаю, всю огромность моихъ претензій понимаю теперь, и больно мнѣ, больно...

У меня такъ и сидитъ теперь въ головѣ скромный хуторокъ, да тишина, да природа вокругъ — правдивая и безобманная, да любимая, хорошая, дорогая женка... Я писательство не бросаю, но примусь за него лишь тогда, когда смогу сказать что-нибудь важное и значительное. Если теперь напишу что-либо — напишу для денегъ, напишу съ сознаніемъ, что дѣ-

лаю гадость, напишу для того, чтобы съѣздить зимой въ Петербургъ и затѣмъ уѣхать съ тобой куда-нибудь дальше, дальше... Я бьюсь точно въ тенетахъ, которыя не видны мнѣ, но присутствіе которыхъ я чувствую, куда ни направится мысль, — всюду вѣдь туманъ и гнетъ. Ахъ, если бы закрыть глаза да открыть ихъ и ощутить себя гдѣ-нибудь въ тиши, вдвинутымъ въ эту жизнь, которая теперь проходитъ передъ тобой какимъ-то загадочнымъ калейдоскопомъ... но до этой тишины,— и душевной и физической,— сколько возни и тревогъ!

Ей же.

24 августа 1883, Хилково.

...Никогда не подымалось во мнѣ такой войны старыхъ понятій съ новыми недоумѣніями. Что-то во мнѣ требуетъ *системы* этихъ понятій, требуетъ постройки непогрѣшимыхъ убѣжденій, стройно и крѣпко возведенныхъ въ одно цѣлое, а между тѣмъ разумъ съ какой-то злобной ироніей осмѣиваетъ попытки этой постройки, и каждый кирпичъ, бережливо несомый для зданія, разрушаетъ ѣдкимъ своимъ анализомъ. Тщетно я, напримѣръ, стараюсь примкнуть къ тому выходу, который устроилъ себѣ Толстой во 2-й половинѣ своей «Исповѣди»... Стараюсь повѣрить, что *цѣль* жизни есть добро, вложенное въ насъ отъ вѣка; что это начало добра, душа, имѣетъ связь съ безконечнымъ; что эта связь съ безконечнымъ и есть то, что одно только даетъ смыслъ жизни... Но тутъ есть что-то, что не одолѣвается однимъ разумомъ, а должно сердцемъ, чувствомъ восприняться, и это-то мнѣ не дается; разумъ смѣется надъ тѣмъ, что съ грѣхомъ пополамъ на минуту воспримѣтъ искусственно напряженное чувство. А между тѣмъ глубоко правдиво и логично то заключеніе, которое вывелъ Толстой изъ цѣлаго ряда посылокъ: «Какъ же разумъ можетъ отвергать смыслъ жизни, когда самъ онъ есть порожденіе жизни, результатъ ея?» Дѣйствительно, это нелѣпо.

Но безъ вѣры въ *безконечное* начало, которое давало бы тонъ нашей жизни, безъ той вѣры, на которой остановился Толстой, выходъ *положительный* одинъ (*отрицательный*, какъ выше замѣчено, нелогиченъ, глупъ) — живи, какъ живетъ дубъ, ростя, выпирая изъ себя побѣги, красуясь густой листвою и веселясь именно этимъ ростомъ, выпираніемъ, красотой, веселясь процессомъ жизни. Но тогда опять цѣлый рядъ недоумѣній: зачѣмъ мнѣ дѣлать что-нибудь для общества, жертво-

вать для него своимъ спокойствіемъ, временемъ? Къ чему, напримѣръ, воспитывать въ себѣ альтруистическія чувства? Въ силу обязанности?.. Но кто же накладываетъ на меня эту обязанность? Отвлеченное мышленіе. Отчего же я безъ всякаго отвлеченнаго мышленія и съ величайшимъ удовольствіемъ трачу цѣну, стоимость своего труда на то, чтобы доставить удовольствіе любимому человѣку (чтобы, напримѣръ, купить тебѣ браслетъ), и далеко не съ такимъ удовольствіемъ, а даже съ внутренней досадой даю эти 35 руб. или 40 на какое-нибудь такъ называемое общее дѣло, до необходимости котораго я дошелъ «отвлеченнымъ мышленіемъ», и что, наконецъ, законно?..

Это одна сторона дѣла. Но есть еще мучительнѣйшій вопросъ о свободѣ и несвободѣ воли и о законахъ исторіи. Воля несвободна. Это фактъ общепризнанный. Воля зависитъ отъ безчисленныхъ причинъ, управлять которыми внѣ нашей власти и которыя подчиняются своимъ неодолимымъ законамъ. А въ такомъ случаѣ, къ чему же мои усилія, мои жертвы?..

Нѣтъ, ты не повѣришь, до чего глубоки бездны недоумѣнія, встрѣчающіяся на каждомъ шагу...

Но довольно о нихъ. Я чувствую, что виски мои опять точно сжимаются...

Ахъ, какая же тоска!..

Я вчера дочиталъ «Анну Каренину» и сегодня началъ этику Спенсера (основанія науки о нравственности). Книга весьма интересная. Авторъ пытается подложить научную основу тѣмъ понятіямъ о нравственности, которыя мы воспринимаемъ частью по преданію, частью по непосредственнымъ религіознымъ внушеніямъ. Въ основу своего трактата онъ кладетъ Дарвиновскую теорію развитія и, основываясь на ней, очень остроумно разсказываетъ прогрессивную исторію поведенія, отъ самыхъ низшихъ морфологическихъ формъ до человѣка. Собственно «Этика» разсматриваетъ только ту часть поведенія (поведеніе — совокупность, аггрегатъ поступковъ), которая зависитъ отъ воли и сознательно соприкасается съ интересами другихъ индивидуальностей. Слѣдовательно, наука, имѣющая дѣло только съ человѣкомъ.

Ей же.

27 августа 1883, Хилково.

Полночь, и я только что оторвался отъ книги Т. П. Пассекъ «Изъ дальнихъ лѣтъ»... Что за люди были! Какое время было! Сколько надеждъ, сколько ума, жизни, горя, разочарованій, любви!.. Ты знаешь, вѣдь, Пассекъ — двоюродная сестра Герцена, его первая любовь, та самая «Корчевская кузина», которой онъ посвятилъ много страницъ въ «Былое и Думы». Его дѣтство, его жизнь до отъѣзда изъ Россіи, ростъ его ума и его увлеченія — все въ этой книгѣ. А рядомъ съ этимъ жизнь молодежи того времени, жизнь помѣщичья, исторія съ романами... И такъ какъ-то хорошо и грустно вѣетъ оттуда... Все минуло, все поросло травою, а любили, вѣрили, восторгались, думали міръ обновить... Но что изъ того, что поросло все это — они жили. И какъ жили! Мы и не пробовали такъ жить. Пылкіе идеалы, наука, книги, споры философскіе, захватывающіе всего, всю душу, жизнь, бьющая ключомъ... Чувствуешь себя чище, благороднѣе послѣ этой книги. Замираютъ сѣренькія чувствованія и порывы, шири хочется, широкаго душевнаго размаха... Узокъ кажется тотъ міръ, въ которомъ вертитъ тебя, какъ бѣлку...

Но боюсь, ужасно боюсь и на тебя навести грусть... Разумъ мой уводитъ меня въ такія печальныя страны... и жутко мнѣ, и я не знаю, куда дѣваться, и какъ звѣрь въ клѣткѣ мечусь иногда...

Думается слишкомъ много и слишкомъ мрачно. Всѣ мысли подбираются какъ-то подъ одинъ тонъ, а тонъ этотъ звучитъ тоскливо.

«Этику» Спенсера не дочиталъ еще. Снова примусь завтра. Вотъ умъ, Манька! — точно тиски: заберетъ тебя совсѣмъ съ ушами да и не выпуститъ. Но впечатлѣніе получилъ я грустное. Если хочешь, этихъ грустныхъ впечатлѣній два. Одно — оттого, что теорія нравственности по Спенсеру окончательно разбиваетъ выводы Толстого въ его «Исповѣди». Ты помнишь, Толстой останавливается и успокаивается на томъ, что человѣчество во всемъ его объемѣ знаетъ смыслъ жизни, полагая его «въ душѣ» и въ дѣлахъ «для души». То-есть, другими словами, идеалы добра, любви, справедливости присущи человѣку отъ вѣка и завѣщаны ему «откровеніемъ», внушеніемъ «безконечнаго». Всѣ эти добро, любовь, справедливость и т. п. Спенсеръ называетъ частью *поведенія*, подлежащаго научнымъ изслѣдованіямъ *(этикѣ)*, и съ неумолимой послѣдовательностью выводитъ ихъ изъ теоріи развитія. Онъ сначала нисходитъ къ низшимъ формамъ одушевленныхъ существъ — полипамъ, медузамъ и т. п., констатируетъ у нихъ зачатки *поведенія* вообще (т.-е. поступковъ), потомъ шагъ за шагомъ переходитъ къ формамъ высшимъ, отмѣчаетъ въ нихъ прогрессивное развитіе, бо̀льшую сложность поступковъ и, наконецъ, мало-по-малу прослѣживаетъ, *какъ вообще* въ поведеніи стали образовываться зачатки нравственности, постепенно вытекая изъ поступковъ менѣе сложныхъ, рефлективныхъ, и какъ, наконецъ, этотъ прогрессъ сталъ обусловливать нравственный контроль въ видѣ воздѣйствія теологическаго (религіи), политическаго (законы), общественнаго (общественное мнѣніе) и, наконецъ, нравственнаго сознанія (совѣсти). Все это безпощадно логично и подобрано изумительно тонко. (Правда, все стоитъ на фундаментѣ «теоріи развитія» и принимаетъ эту теорію за нѣчто въ родѣ $2 \times 2 = 4$, но какъ же я смѣю сомнѣваться въ ней, коли весь XIX вѣкъ за нее въ лицѣ громаднѣйшихъ своихъ умственныхъ силъ?..) И вотъ, слѣдя за этимъ неумолимымъ прогрессомъ нравственности, ты и видишь, что въ лѣстницѣ всѣ мѣста заняты, и что таинственному «откровенію» дѣлать тамъ нечего, что мы вмѣстѣ съ нашей «душою» суть результатъ безчисленныхъ видоизмѣненій и приспособленій, не болѣе, и если дѣйствуемъ честно, хорошо,

правдиво, живемъ «свято», то вовсе не въ силу какихъ-то дарованныхъ намъ свыше и живущихъ въ насъ требованій «души», а единственно въ силу того, что мы таковы суть, какъ результаты безчисленныхъ приспособленій. Ясно, но грустно, ибо «смыслъ жизни» снова теряется, и нити, будто связывающія нашу «душу» съ безконечностью, обрываются безжалостно.

Другая сторона дѣла — въ томъ оптимизмѣ, съ которымъ Спенсеръ смотритъ въ будущее. Онъ — и совершенно логично — допускаетъ дальнѣйшій прогрессъ въ мірѣ нравственномъ, и, въ концѣ-концовъ, открываетъ перспективу чуть не медовыхъ рѣкъ. Грѣшный человѣкъ, я этому плохо вѣрю... Но такъ какъ такой выходъ есть непремѣнное слѣдствіе теоріи развитія, то и приходится вѣрить. А такъ какъ я не вѣрю, то, значитъ, приходится сомнѣваться въ теоріи развитія. А я и сомнѣваться не смѣю, и вѣрить не вѣрю...

А странное дѣло, послѣ того, что я передумалъ вотъ за этотъ послѣдній мѣсяцъ, люди какъ-то и ближе мнѣ стали, и дальше. Ближе тѣмъ, что я потерялъ чувство негодованія къ нимъ, а дальше: что это негодованіе замѣнилось снисхожденіемъ, болѣе лучшимъ пониманіемъ ихъ слабыхъ сторонъ. Но *негодованіе* подразумѣваетъ болѣе *человѣческое* отношеніе; снисхожденіе же — отношеніе *философское;* послѣднее же куда какъ холоднѣе. Боюсь, не навлечь бы на себя упреки въ гордости. Это очень легко. Но я постараюсь соразмѣрять мои *внѣшніе* поступки съ тѣми требованіями, которыя обыкновенно предъявляются человѣку *душевному* и *равному*. Удастся ли?

Графу Л. Н. Толстому.

1 марта 1885 г. Москва.

Левъ Николаевичъ!

Я прошу позволенія прійти къ вамъ и поговорить съ вами. Для меня—для моей личной жизни, для опредѣленія моихъ отношеній къ людямъ при условіи «времени и мѣста» — это очень, очень важно. Я только теперь досталъ, что могъ достать изъ вашихъ произведеній, и перечиталъ ихъ, и несмотря на тотъ свѣтъ, которымъ они озарили путаницу, господствовавшую въ моей душѣ до сихъ поръ, я вотъ прошу позволенія говорить съ вами. Ради Бога не подумайте, что я добиваюсь видѣть васъ ради того, что вы «Л. Н. Толстой, великій писатель» и т. д.; я боялся такого предположенія и потому даже избѣгалъ васъ и не писалъ вамъ, но теперь вижу, что нельзя такъ, и что необходимо говорить съ вами. Вы все это поймете, впрочемъ, а я для того упоминаю объ этомъ, чтобъ не испытать стыда, когда буду входить къ вамъ, и вы, не зная, зачѣмъ я вхожу, подумаете: это онъ затѣмъ, чтобъ посмотрѣть на меня. Я, впрочемъ, уже «смотрѣлъ» васъ, совершенно случайно встрѣтивъ у Златовратскаго.

При условіи «времени и мѣста» что дѣлать — сказалъ я. Это вотъ почему. Тотъ порядокъ, который вы ставите идеаломъ въ вашей «вѣрѣ», несомнѣнно и необходимо долженъ привлекать. Но какимъ же путемъ мнѣ, русскому, живущему хотя бы въ нынѣшнемъ 1885 году, при наличности такихъ-то и

такихъ-то условій,— какимъ путемъ мнѣ идти, для того, чтобы человѣчество достигло *того* идеала? Нѣкоторые говорятъ, что вы игнорируете практическій путь, но я не вѣрю этимъ нѣкоторымъ, ибо если повѣрить имъ, значитъ, васъ только и занимало, что постановка дѣла въ идеалѣ. Это не такъ и не можетъ быть такъ: мало ли красивыхъ идеаловъ?

Но чувствую, что выражаюсь темно и невразумительно, и перестаю писать. Извѣстите, можно ли поговорить съ вами и когда.

Уважающій васъ А. Эртель.

Ему же.

24 сент. 1885, Елецкій уѣздъ, с-цо Тепленькое [1]).

...О разсказѣ для народа я думалъ, да боюсь: трудное это и обоюдоострое дѣло! То-есть для меня. Нужно къ этому вотъ что прибавить: мнѣ мое положеніе представляется похожимъ на то, какъ если бы человѣкъ, истомленный іюльскимъ зноемъ, ходилъ вдоль незнакомаго берега да выбиралъ бы мѣстечко, откуда сойти въ рѣку: тамъ вязко, тамъ омутъ, тамъ непролазный тростникъ, — и отъ солнышка невтерпежъ, и спуститься не знаешь гдѣ. А былъ въ рѣкѣ и купался... да запамятовалъ! Лѣтъ пять-шесть тому назадъ, съ самыхъ тѣхъ поръ, какъ совершенно случайно затесался я въ цехъ «записныхъ» литераторовъ, вышло какъ-то такъ, что жизнь пошла мимо меня, а я стою себѣ особнячкомъ и наблюдаю ея поверхностное движеніе. Все, что было въ запасѣ, все, что было вынесено изъ *той* жизни, все это посильно предложено «интеллигентному» человѣку. Затѣмъ у меня есть кой-какой матеріалъ, которымъ снабдилъ меня этотъ «интеллигентный человѣкъ», покуда я вращался въ его оттертомъ отъ *той* жизни быту. Нынѣшнее лѣто я матеріалъ этотъ обрабатывалъ въ «романъ», и думаю закончить его въ ноябрѣ

---

[1]) Отвѣтъ на письмо Л. Н. Толстого отъ 17 сентября. Л. Н. писалъ Эртелю: «Попытайтесь написать разсказъ, имѣя въ виду только читателя изъ народа. Только бы содержаніе было значительное, а вы, вѣроятно, напишете хорошо! А обращаться исключительно къ народу очень поучительно и здорово».

мѣсяцѣ (первая часть уже готова, а и всѣхъ-то будетъ двѣ). А пока списываюсь кой съ кѣмъ и стараюсь снова втереться въ жизнь, чтобы не смотрѣть на нее со стороны. Правда, я и сейчасъ живу въ деревнѣ, но эта жизнь особенная, курьезная: я, такъ сказать, *гощу*, занимаю нѣсколько мѣста въ усадьбѣ въ качествѣ не то знакомаго, не то дачника, и связи у меня съ деревней, что виднѣется по ту сторону оврага, никакой почти нѣтъ, да по особымъ обстоятельствамъ и не можетъ ея быть.

Итакъ, какія у меня средства въ рукахъ, чтобы писать для народа? Въ его языкѣ, пожалуй, не ошибусь, тѣмъ болѣе, что полагаю — его языкъ не есть «говоръ» или какое-то особливое «арго», а просто языкъ общероссійскій, взятый въ своихъ основахъ, очищенный отъ «литературной окраски», но чтобы владѣть этимъ орудіемъ, этимъ топоромъ, нужно имѣть въ виду дерево для подѣлки. А насчетъ дерева-то я въ себѣ и сомнѣваюсь пока. Ужасно трудное это дѣло! Нужно самое ничтожное количество описаній, а они въ крови у насъ, у цеховыхъ литераторовъ (я объ исключеніяхъ не буду говорить); нужно совершенное отсутствіе разсужденій и монологовъ; нужно непрерывное развитіе дѣйствія... и въ концѣ-то концовъ непремѣнно, во что бы то ни стало, дидактическую цѣль, — выводъ выпуклый и независимый отъ «разсужденій». Программа такова, что въ ея тенетахъ намъ, обыкновеннымъ «цеховымъ» людямъ, очень немудрено запутаться. Простота! Господи ты Боже мой, да если я достигну простоты, этимъ все сказано... и излишни будутъ слова: талантъ, художественность, эстетическое чувство и т. д. Но для этой простоты, о, какъ много нужно усилій! Право же, тутъ мало искренности, желанія быть простымъ и тому подобное. Вѣдь немудрено, что и Марлинскій былъ искрененъ.

Такъ вотъ и не хочется мнѣ, глубокоуважаемый Левъ Николаевичъ, съ неумытымъ рыломъ лѣзть въ калачный рядъ. Умоюсь — стараюсь умыться... и тогда... «Обращаться къ народу здорово», говорите вы. Несомнѣнно. Но обратиться къ народу мнѣ приходится не однимъ желаніемъ писать для него (это желаніе есть!), а и самою моею личной жизнью. Вотъ объ

этомъ и хлопочу теперь. Пока хочу себя попробовать такъ: переложить «житіе» святого, въ которомъ было бы поменьше мистики, а поболѣе подлиннаго, святого дѣла, и, если удастся, перешлю его вамъ.

Нужно сознаться — безъ любви, безъ увлеченія, а съ скрежетомъ зубовнымъ пишу я свой «романъ», гдѣ взгляды на жизнь и на людей размѣщены по шаблоннымъ правиламъ «изящной словесности». Но что же дѣлать? Я пишу для людей, воспитанныхъ на этой изящности, и хотя глубоко презираю тотъ языкъ, которымъ пишу, но чувствую, что *пока* другимъ языкомъ писать не умѣю. Смѣю васъ увѣрить — это невесело. И нечестно? — Не знаю. Я думаю, омерзительно, несносно... Но ужъ таковъ предѣлъ! Тѣ матеріалы, которые у меня въ рукахъ, *я не могу* изложить иначе; излагать же ихъ принуждаемъ тою связью, которая привязываетъ меня къ «оттертымъ» людямъ.

Пожалуйста, не посѣтуйте на меня за эти безпорядочныя странички. Онѣ написаны потому, что мнѣ хотѣлось показать вамъ, почему я не пишу для народа. Думаю, то же можно услыхать и отъ другихъ людей литературной профессіи.

Я не видалъ книжекъ, изданныхъ «Посредникомъ», знакомы же мнѣ по прежнимъ оттискамъ только ваши разсказы, но читалъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» отзывъ о нихъ г. Скабичевскаго. Отзывъ *въ общемъ* глубоко несправедливъ и не рекомендуетъ прозорливости критика, но его замѣчаніе о концѣ, придѣланномъ къ разсказу Савихина, показалось мнѣ основательнымъ. Остановлюсь, однако, ибо разсказъ совершенно мнѣ незнакомъ.

Нынче весною я былъ въ Симеизѣ и очень сожалѣлъ, что васъ уже не засталъ тамъ. Но все-таки не теряю надежды гдѣ-нибудь да застать.

Вашъ преданный А. Эртель.

А. С. Пругавину.

30 апрѣля 1886, Тверь.

...«Біографію», ей Богу, не знаю чѣмъ дополнить... Указывать на «характеристическія особенности» своихъ писаній, право, какъ-то неловко: во всякомъ случаѣ, это не дѣло автора; до извѣстной степени я, однакоже, указалъ эти особенности. Васъ смущаетъ слово «народничество», мною употребленное... Правда, его изрядно опоганили. Что касается до меня, то я всегда представлялъ себѣ «народника», какъ представлялъ себѣ Герценъ человѣка, который имѣетъ *будущее:* «Только тотъ, кто, призванный къ дѣятельности, пойметъ бытъ народа, не утративъ того, что ему дала наука; кто затронетъ его стремленія и на осуществленіи ихъ оснуетъ свое участіе въ общемъ земскомъ дѣлѣ, только тотъ и будетъ женихомъ грядущаго» — только тотъ и будетъ «народникомъ», добавлю я. Въ «Запискахъ степняка» почти не констатировано такихъ народныхъ «стремленій», которыя были бы достойны «осуществленія», — вотъ почему я сказалъ, что тамъ не найдутъ того, что принято называть «народничествомъ».

В. Г. Черткову.

4 іюля 1888, ст. Графская, Коз.-Ворон. жел. дор.
Хуторъ на Грязнушѣ.

Я положительно былъ тронутъ вашимъ письмомъ. Искренность всегда привлекательна, и, пожалуйста, будьте увѣрены, что я не изъ тѣхъ людей, которыхъ она могла бы обидѣть или шокировать. Это я говорю по поводу вашей приписки, гдѣ вы сомнѣваетесь, нужно ли отсылать письмо. На многое мы смотримъ разно, но это ничего — вѣдь это еще не значитъ, чтобъ люди не могли любить и уважать другъ друга. Такъ, напримѣръ, разно мы смотримъ на «грабительскія» деньги... Но я чувствую, что здѣсь нужно писать много и долго, и потому пока отхожу отъ этого спорнаго пункта.

Кстати. Встрѣча моя съ вами непремѣнно сдѣлаетъ вотъ что. Она заставитъ меня привести въ ясность тѣ резоны, по которымъ я въ томъ и другомъ не согласенъ съ вами. До сихъ поръ эти «резоны» были и есть какъ бы въ разбродѣ. Для собственнаго обихода было достаточно, что они *чувствовались*; разобраться въ нихъ какъ слѣдуетъ мѣшало мнѣ то, что какъ будто не встрѣчалось въ этомъ настоятельной надобности. Правда, у меня есть два-три близкихъ мнѣ человѣка, но между нами слишкомъ мало спорныхъ пунктовъ, и въ моихъ близкихъ слишкомъ мало теоретической пытливости, чтобы выступала нужда систематически высказаться и вообще разобраться. Совсѣмъ же близкій человѣкъ — жена — до такой степени незамѣтно *и безъ словъ* раздѣляетъ мои чувства и мысли, что опять нѣтъ нужды разбираться обстоятельно. Вы же, во-первыхъ, человѣкъ для меня новый, во-вторыхъ, очень привле-

каете меня, въ-третьихъ, очень разно отъ меня смотрите на многія вещи. Однимъ словомъ, съ вами мнѣ хочется поговорить много и обстоятельно. И я это сдѣлаю. Теперь же впередъ скажу о томъ чувствѣ, которое поднялось во мнѣ послѣ первой же поѣздки въ Ржевскъ, и послѣ второй усилилось. Мнѣ васъ и Анну Константиновну ужасно жалко. Васъ, впрочемъ, жалче. Это потому, что васъ — какъ это ни странно сказать — я теперь *больше* знаю, чѣмъ Анну Константиновну. Мнѣ все представляется, что вы впряглись въ непомѣрно тяжелый возъ, и вамъ больно отъ этой тяжести. Изъ этого представленія, конечно, не должно бы вытекать чувство жалости — слѣдовало бы почувствовать желаніе помочь, впречься рядомъ. Но жалость получается отъ того, что этотъ-то возъ и не нужно везти, что нагруженъ онъ ненужной тяжестью, что это особый видъ спорта [1]) и только. Конечно, я не хочу сказать, что все на вашемъ возѣ ненужное; отсюда слѣдуетъ исключить и «Посредника», и помощь людямъ, какую вы думаете сдѣлать, взявши себѣ часть дохода и часть земли, и отрѣшеніе отъ многихъ «гвардейскихъ» и великосвѣтскихъ понятій, и хорошее стремленіе къ простотѣ и къ сближенію съ людьми. Все это, если и тяжесть, то нужная, и въ этомъ вамъ хочется подсобить. Но тамъ, гдѣ ваше поведеніе становится похожимъ на подвигъ Симеона Столпника — я не теряю къ вамъ уваженіе, о, нѣтъ! — но мнѣ до боли душевной жалко васъ. Одинъ мой хорошій знакомый, человѣкъ, вѣрующій въ Бога — не въ Христа — и большая умница, имѣетъ привычку говорить въ такихъ случаяхъ: «Отъ этого пахнетъ ересью!» Именно ересью. Это тогда, когда человѣкъ сознательно умерщвляетъ въ себѣ и стремится умертвить въ людяхъ хотя бы одну изъ способностей, дарованныхъ человѣку, чтобы онъ отражалъ въ себѣ Божество — то-есть, истину, добро и красоту чтобы отражалъ [2]). Потому что Богъ не въ одномъ добрѣ, но и въ красотѣ, и не въ одной красотѣ, но и въ правдѣ. Накормить голоднаго — выражаясь метафорически — несомнѣнно значитъ прославить

---

[1]) и [2]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

Бога, но сдѣлать Венеру Милосскую, искренно и правдиво отразить красоту, разлитую въ мірѣ, указать человѣку на эту, иногда незамѣтную красоту — есть такое же прославленіе Бога, и погашать *такую* способность — ошибка и грѣхъ.

Я боюсь дальше писать въ этомъ направленіи. Боюсь потому, что принужденъ поневолѣ выражаться отрывочно, какимъ-то условнымъ языкомъ. А условный языкъ иногда понимается и такъ и эдакъ. Лучше бы оставить до *большого* письма. Ну, пусть, коли написалось... Конечно, я даже не оговариваюсь — не прошу васъ извинить меня за нѣкоторыя, можетъ-быть, рѣзкія слова. Мнѣ думается, что вы не такой, съ которымъ нужны оговорки и извиненія за то, что нечаянно наступишь на ногу. Вѣдь, правда? — А вотъ что вы скажете: да съ чего вы взяли, что я отрицаю красоту и цѣльность жизни? Къ этому-то я де и стремлюсь. — И вотъ опять невыгода «условнаго» языка и краткости. Я, вѣдь, знаю, что вы къ этому стремитесь, — я только утверждаю, что путь-то вашъ не къ этому ведетъ, а къ ненужному изнуренію и къ ненужнымъ душевнымъ мукамъ [1]). Есть большой грѣхъ въ мірѣ: судить дѣла ихъ внѣшними послѣдствіями, и дѣлать дѣла, руководясь *только* иногда воображаемымъ общественнымъ благомъ; но не меньшій грѣхъ располагать свое поведеніе *только* въ интересахъ своей души и своего самоусовершенствованія — особенно неправильно понятаго. У меня въ карманѣ десять рублей «награбленныхъ» денегъ; ѣдетъ по желѣзной дорогѣ куда-нибудь въ Самаркандъ женщина къ мужу, прокурору, — тоже къ грабителю! — и, вообразите, дорогой у нея украли часть денегъ. Она безпомощная, неспособная заработать, убитая перспективой не доѣхать до мужа, остановиться гдѣ-нибудь въ Оренбургѣ или въ Астрахани, она боится буквально пропасть съ голода, можетъ-быть, въ дѣйствительности голодъ и не угрожаетъ ей, но *страхъ* голода мучительно дѣйствуетъ на нее и отнимаетъ возможность здраво разсуждать... Неужели вы усомнитесь отдать «женѣ грабителя» ваши тоже «грабитель-

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

скія» деньги [1])? Ахъ, милый и дорогой мой, жизнь такъ сложна, такъ перепутана, что никакая сѣть теорій, никакая паутина тонко составленныхъ нравственныхъ соображеній и построеній, не покроетъ ее, — а покроетъ ее, и не будетъ мучиться отъ ея сложности только тотъ, кто, не умничая праздно, будетъ подчиняться Богу, въ немъ присутствующему, отдавая дань и добру, и красотѣ, и правдѣ, — будетъ подчиняться *свободно* этому Богу. Если же онъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, будетъ точно аршинъ вынимать изъ кармана свои *теоретическія* понятія о добрѣ, правдѣ и красотѣ, и примѣривать этимъ аршиномъ свои поступки: точно ли, дескать, это добро, и точно ли красота? — мученикъ тотъ человѣкъ и не обрѣлъ онъ еще Бога [2]). Я хочу сказать — «мученикъ недоумѣнія». Какъ «обрѣсти Бога» — это опять долгая матерія и — до «большаго письма».

Я пишу, и мнѣ досадно, что слова мои могутъ быть поняты и такъ и эдакъ. Но сейчасъ я тутъ сдѣлать ничего не могу. Я положусь пока на вашу чуткость, хотя самъ сознаю, что эта чуткость должна равняться чуть ли не проникновенію, чтобы понять то, что я хотѣлъ сказать...

Затѣмъ я еще вотъ что хотѣлъ сказать. Не подумайте — и это пожалуйста! — не подумайте, что я хочу васъ поучать. Если способъ моихъ выраженій дѣлаетъ такое впечатлѣніе, то это ошибочное впечатлѣніе. Я спорю съ вами, а не поучаю. Мнѣ хочется сообщить вамъ мои взгляды на жизнь, противопоставить ихъ вашимъ взглядамъ. Для этого есть другой способъ: разсказать, какъ я думаю о томъ-то и о томъ-то, и какъ пришелъ къ тому, что думаю такъ. Я это и сдѣлаю въ «большомъ письмѣ»... Но мнѣ ужасно хочется сохранить въ васъ человѣка, съ которымъ можно искренно и обо всемъ поговорить, и для этого, для того, чтобы вы не отшатнулись отъ меня, вы мнѣ напишите, что̀ вамъ непріятно въ этомъ письмѣ, и я буду избѣгать того, что вамъ непріятно. Избѣгать — насколько это зависитъ отъ способа выраженій, конечно.

Ал. Эртель.

---

[1]) и [2]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

Хочется еще поговорить съ вами. Письмо написано вчера, но сегодня идетъ дождь и послать на станцію оказалось нельзя. Сегодня я перечиталъ свое письмо, и... на одно мгновеніе мнѣ подумалось то же, что и вамъ: не нужно посылать письма. Къ тому же жена говоритъ: «онъ не обидится, но ему можетъ быть больно». И все-таки, какъ видите, письмо посылается. О, я не хочу сдѣлать вамъ больно! Но мнѣ неудержимо хочется сказать вамъ свое мнѣніе о вашей жизни и тѣмъ рѣшительно и даже грубо подчеркнуть то, въ чемъ мы не согласимся съ вами. Я оставляю за собою право защитить это мое, противное вашему мнѣніе. Пока же приведу вамъ не свои, но чужія слова, приведу удачную аналогію, не особенно давно поразившую меня своимъ смысломъ и своей трезвостью:... «Отвлеченное начало, приложенное къ строенію человѣческихъ обществъ, одинаково разстраиваетъ отправленіе духовнаго организма, какъ чистый химическій элементъ, введенный въ растительный организмъ. Чистымъ азотомъ погубишь растеніе, хотя азотъ и нуженъ для его жизни, и «Правами человѣка» не выправить государства, хотя «Декларація» о нихъ и заключала въ себѣ истины». — Выбросимъ «строеніе человѣческихъ обществъ» и «Декларацію правъ человѣка»; замѣнимъ эти слова «построеніемъ человѣческой жизни» и «ученіемъ Христа» — смыслъ будетъ все тотъ же. На мой взглядъ, по крайней мѣрѣ. Когда мы ходили по рощѣ, вы, между прочимъ, сказали прекрасныя слова, хотя и не логичныя въ вашихъ устахъ: «Я хорошо знаю, что необходимо считаться съ тѣмъ, что было вчера». Именно, именно нужно считаться, и мнѣ все думается, что этого нѣтъ у васъ, что, напротивъ, у васъ до страсти доходящее отрицаніе этого «вечера» съ его интересами, заботами, радостями и горемъ.

Сдѣлаю я вамъ маленькую иллюстрацію вышеприведенной выписки, сопоставлю «отвлеченное начало» и живую, дѣйствующую, нынѣшнюю жизнь. Космополитизмъ — понятіе широкое, христіанское, благое; любовь къ родинѣ — понятіе дикое, животное, антихристіанское, источникъ зла. Хорошо. Пока я витаю съ философомъ Соловьевымъ въ сферѣ чистаго разума, я, пожалуй, и ему скажу: «да, хорошо, хорошо, нѣтъ ни эл-

лина, ни іудея, это вѣрно; что Карлъ Карлычъ, что Ѳома Арефьевъ — все единственно». Но вотъ послѣ 4-хъ лѣтъ отсутствія я на родинѣ... Наконецъ-то! наконецъ-то, милый мой! Что же это за сила такая, что же это за власть въ поляхъ этихъ, уходящихъ въ синюю даль, въ этомъ вѣтрѣ, доносящемъ до меня слабый запахъ земли и полыни, въ этомъ однообразномъ звонѣ ямского колокольчика, въ этихъ поселкахъ, разбросанныхъ тамъ и сямъ! Вонъ лѣсъ лепечетъ и привѣтствуетъ меня звонкими птичьими голосами... Вонъ знакомая колокольня стройно выдвинулась изъ-за возвышенности и точно улыбается мнѣ навстрѣчу... Вонъ курганъ нахмурился въ сторонѣ, а за нимъ и другой и третій... Это что синѣетъ? — Это степь синѣетъ. Даль синѣетъ безконечная, ширь, просторъ, захватывающій душу. У, какъ хорошо и какъ грустно мнѣ: внутри кипятъ слезы и разрыдался бы невѣдомо чему, а вмѣстѣ съ этимъ свѣтло мнѣ и хорошо, и ласковая, дѣтская радость проникаетъ мое существо... Дома я, дома. Все мнѣ мило и дорого и всему раскрыто размягшее сердце. Пѣсня ли тянется вдали, звенитъ ли въ высотѣ жаворонокъ, мужикъ ли медлительно шагаетъ за сохою — все вмѣщается въ мою душу и переполняетъ ее блаженнымъ трепетомъ, восторженнымъ трепетомъ... А тамъ ракиты, хуторокъ, смиренно приникшій посреди необозримыхъ полей. Поля, поля, и мертвая, сказочная, сонная тишина.

Смотрите. День погасаетъ. Тихій вѣтеръ слабо тревожитъ нивы. Пойдемте этими нивами, взберемся на тотъ курганъ, къ которому отовсюду прильнула волнистая рожь. Смотрите же, какъ далеко видно отсюда! Что за тишина такая, что за кротость разлита въ воздухѣ! Вы видите колокольни? Это села попрятались въ долинахъ. Вонъ зеленѣетъ чей-то садъ, за нимъ деревня даетъ о себѣ знать протяжной дѣвичьей пѣсней... Солнце садится за лѣса. Въ хлѣбахъ бьетъ перепелъ. Наливные колосья важно наклоняются къ землѣ. Даль тускнѣетъ и заполняется загадочными тѣнями... Вонъ кропотливо бредетъ богомолка по столбовой дорогѣ... Вонъ скачетъ мальчуганъ на бѣлой кобылѣ, размашисто вскидывая локтями... Вонъ коровы идутъ къ деревушкѣ, взбивая клубы румяной пыли... Знакомая,

слишкомъ знакомая картина! Но отчего же эта картина такъ умилительно дѣйствуетъ на меня, и загорается во мнѣ такое серьезное чувство и душа моя наполняется тихимъ свѣтомъ? Ужъ не правъ ли Прудонъ, сказавъ, что «между человѣкомъ и страной, въ которой онъ живетъ и въ которой родился, существуетъ связь, подобная связи между душой и тѣломъ: они какъ бы созданы другъ для друга, служатъ выраженіемъ одинъ другого»...

— Ахъ, поскорѣе отсюда! — прерываете вы меня, — повѣстите и въ селахъ, чтобы скорѣе отсюда уходили; правда, можно попроситься, чтобы оставили на прежнихъ мѣстахъ, но лучше ужъ не тѣсниться и уйти...

— Да въ чемъ дѣло?!

— Карлу Карлычу въ Силезіи стало тѣсно; онъ собрался войной и идетъ сюда, чтобы здѣсь заселиться. Пусть. У насъ еще въ Самаркандѣ много, а онъ пусть тутъ. Не драться же съ нимъ. Тѣмъ болѣе — это все равно: Карлъ Карлычъ изъ Силезіи, или Ѳома Арефьевъ изъ Супруновки: нѣтъ ни эллинъ, ни іудей...

— Н-нну, нѣтъ-съ!

Я хочу только сказать, что далеко не все, ясное и непреложное въ сферѣ разума, ясно и непреложно въ жизни. Разумъ свое возьметъ — въ это я вѣрю, но не тѣмъ путемъ, какимъ птицы летаютъ, а зигзагами, медленными усиліями, временнымъ перемиріемъ съ наслѣдственными чувствами, нравами, бытомъ, вѣрованіями. Иначе исторія идти не можетъ. Ни исторія всего человѣчества, ни исторія одного человѣка. Теперь уже доказано, что въ природѣ не было внезапностей, не было катаклизмовъ. Не можетъ ихъ быть и въ природѣ человѣка. А разъ человѣкъ стремится сдѣлать ихъ — онъ измучается и падетъ вольной или невольной жертвой «преждевременности». Я этимъ не хочу сказать, что человѣчество придетъ къ разумной жизни какъ-то само собою, безъ усилія отдѣльныхъ людей; усилія эти должны быть, но они должны быть разсчитаны, должны совершаться въ условіяхъ возможнаго.

Но довольно. Все-таки, чувствую, слишкомъ мало сказано. Мало о разумѣ, напримѣръ. Мнѣ кажется, не имъ однимъ можетъ быть и должна устраиваться жизнь. Есть врожденныя чувства, мало зависимыя отъ разума. Это сильные дѣятели въ жизни. Заблужденіе — предполагать, что всему господинъ только разумъ, стоитъ де захотѣть. Это неправильно. Опять усталъ.— Началъ «О жизни» — не нравится: не ясно, повторенія, страсть къ аналогіямъ; самый языкъ смутенъ и тусклъ. До свиданья. — А. Эртель.

Ему же.

15 іюля 1888. Хуторъ на Грязнушѣ.

Если ничто не задержитъ, я хотѣлъ побывать у васъ, милый мой, числа 8 — 9 августа. Я намѣреваюсь проѣхать прямо въ Лизиновку, потому что ближе, а оттуда попрошу Елизавету Ивановну доставить меня въ Ржевскъ. Подобно вамъ, я началъ писать большое письмо и... врядъ ли его кончу: такъ оно разрастается. Но радъ, что началъ: докончу, и пусть оно останется дочкѣ въ наслѣдство. Вамъ, разумѣется, дамъ. Вышло-то такъ, что я разсказываю всю свою жизнь — и внутреннюю, и внѣшнюю. Но помимо самого меня, я описываю тамъ и людей, мнѣ встрѣчавшихся, главнымъ образомъ, писателей. Я его довелъ до 80 года. Еще восемь лѣтъ [1]).

Ужасно я радъ, что живу на хуторѣ, съ которымъ связано столько дѣтскихъ и послѣдующихъ воспоминаній: хуторъ уже 22-й годъ держится матерью въ арендѣ. И такая тутъ тишина, такъ странно и смѣшно дисгармонируетъ эта тишина съ тѣмъ, что раза два въ недѣлю разсказываютъ газеты... Вильгельмъ въ Петергофѣ, празднества, смотры, парады, «радость добраго и гостепріимнаго народа русскаго» по случаю всей этой помпы, затѣмъ празднества и молебствія по тому случаю, что 900 лѣтъ тому назадъ насильно вогнали въ воду жаждущую Христа Русь... а тутъ:

— Нонче у насъ молебствіе было, крестный ходъ.

— Почему?

---

[1]) Рѣчь идетъ о томъ письмѣ — автобіографіи А. И. Эртеля, которое помѣщено выше, въ началѣ этой книги.

— Да кто ее знаетъ. Ишь, какому-то Владимиру велятъ праздновать. Сколько лѣтъ жили, ничего не было извѣстно, а тутъ объявился какой-то Владимиръ. Вотъ еще какого-то Кирилла-Меѳодія обдумали! Сколько, можетъ, годовъ ничего не было, и вдругъ вышло приказаніе праздновать. Дѣла!

Во Франціи падаетъ «буланжизмъ»; доблестный Флоке ранитъ на дуэли самого генерала, въ арденскомъ департаментѣ выбираютъ оппортюниста; въ Лондонѣ назначаютъ парламентскую комиссію для разслѣдованія клеветъ «Таймса» на Парнелля и его товарищей, а здѣсь:

— Вотъ штука! — говоритъ работникъ, возвращаясь со станціи: — кобыла пять разъ выпрягалась. Измаялся!

— Гужи ослабли.

— Какіе тебѣ гужи! А это я, признаться, встрѣлся съ мужикомъ — онъ не сворачиваетъ, и я не сворачиваю. Ну и поругались. Вотъ онъ, песъ его дери, и напустилъ.

— Чего напустилъ?

— Да чтобъ отпрягалось.

Ночью завыли собаки. Тетя торопливо вскакиваетъ и говоритъ:

— Нѣтъ ли туфли?

— На что вамъ, тетя?

— Да вотъ на окно поставить, чтобъ не выли.

Мы смѣемся. Тетя, ни слова ни говоря, ставитъ на окно, вмѣсто неоказавшейся туфли, резиновую калошу. Собаки моментально замолкаютъ. Тетя сидитъ съ торжествующей улыбкой.

— И всегда перестаютъ выть?

— Всегда, милый.

— Но, тетя, вѣдь это вздоръ!

— Не знаю, голубчикъ. Но какъ завоютъ — поставлю туфлю на окно, и сейчасъ же перестаютъ выть.

Вотъ попробуйте у себя въ Ржевскѣ.

А у меня, дорогой мой, мелькаетъ въ перспективѣ слѣдующая прелесть. Верстахъ въ десяти отъ Грязнуши есть хорошенькое имѣнье съ садомъ, съ небольшимъ домомъ, съ изрядными надворными постройками, съ чистымъ и яснымъ прудомъ. Земли — сто семь десятинъ. Я хочу снять въ аренду это

имѣньице, и вотъ съ этой почтой пишу въ Елецкій уѣздъ, къ владѣльцу, какому-то Ветчинину. Не знаю, сдастъ ли. Если сдастъ, сдѣлаю такъ, чтобы землю отдавать крестьянамъ по той же цѣнѣ, по которой самъ сниму, для себя буду сѣять десятинъ пять — на продовольствіе двухъ лошадей и двухъ коровъ. Жить же буду литературнымъ заработкомъ, котораго, конечно, хватитъ за глаза. Вотъ тогда-то поработаю и для «Посредника», ибо освобожусь отъ крѣпостного права. — Чтобы заплатить впередъ часть аренды, думаю какъ-нибудь извернуться съ помощью друзей и пріятелей или редакцій журналовъ. Однимъ словомъ, лишь бы сдалъ Ветчининъ.

Я не успѣлъ еще написать отзыва о послѣднихъ книжкахъ «Посредника», но на основаніи перваго моего впечатлѣнія впередъ вамъ скажу: не спѣшите издавать. Я увѣренъ, что, покопавшись въ книгахъ, можно найти нумеровъ для двадцати хорошихъ разсказовъ, годныхъ для народа. Зимою я непремѣнно займусь этимъ. Пока же вычеркните романъ Фильдинга «Томъ Джонсъ» изъ того списка, который вы составили на основаніи моихъ словъ: этотъ романъ, въ цѣломъ несомнѣнно нравственный, носитъ на себѣ неотдѣлимый отпечатокъ того распущеннаго и зоологическаго вѣка. Трудно поэтому его передѣлать такъ, чтобы, сохранивъ захватывающій интересъ, онъ сдѣлался совсѣмъ безъ «зоологіи». Это я уже послѣ подумалъ.

Обнимаю васъ и низко кланяюсь Аннѣ Константиновнѣ.

Ал. Эртель.

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

19 іюля 1888.

... Мы очень смѣялись надъ вашимъ сопоставленіемъ политическихъ новостей съ туфлей, какъ средствомъ для успокоенія собакъ. И все жъ таки скажу, что поступокъ и вообще взгляды вашей тети для меня гораздо интереснѣе всякихъ предположеній различныхъ публицистовъ о томъ, насколько шатаніе какого-нибудь Вильгельма по бѣлому свѣту можетъ

предотвратить международную рѣзню, т.-е. сдѣлать людей человѣчнѣе. Суевѣріе вашей тети потому для меня интереснѣе и важнѣе, что ближе меня касается. Оно живетъ во многихъ людяхъ, меня непосредственно окружающихъ, и предъявляетъ ко мнѣ спросъ въ смыслѣ противодѣйствія. Это меня касается, это связано съ моею жизнью и потому мнѣ важно знать и думать объ этомъ. Но въ какомъ мундирѣ Вильгельмъ гарцовалъ на Военномъ полѣ, или даже съ какими мыслями Г. И. Успенскій ѣхалъ въ Сибирь и какъ онъ почти что не поѣхалъ въ другое мѣсто, — это не имѣетъ никакого отношенія до того, чѣмъ я живу и что я дѣлаю, и потому мнѣ гораздо менѣе интересно. Ваши письма ко мнѣ интересны. Письма же Щедрина къ тетенькѣ мнѣ не интересны. Впрочемъ, я боюсь, что вы меня не совсѣмъ поймете, и потому прошу васъ не дѣлать никакихъ заключеній изъ этихъ моихъ словъ.

... При оцѣнкѣ моихъ изданій прошу васъ не упускать изъ виду одного обстоятельства: то, что книжки эти печатаются не *исключительно* для одного такъ называемаго народа, но для всѣхъ людей грамотныхъ (изъ которыхъ, само собой разумѣется, *большинство* малограмотно). То, что я считаю для *себя* хорошимъ, то и передаю въ своихъ изданіяхъ другимъ людямъ. Въ этомъ отношеніи я не пропагандистъ и ничего не хочу преднамѣренно проводить «*въ народъ*». Я смотрю на это дѣло такъ. У людей существуетъ потребность читать. Я вижу большой спросъ на книги среди населенія Россіи (лубочная торговля). Книги предлагаются скверныя. Я, какъ человѣкъ, получившій на счетъ этого населенія Россіи образованіе и развитіе, считаю себя отчасти отвѣтственнымъ за то, что народу предлагаются скверныя книги. Я съ своей стороны берусь въ этомъ отношеніи помочь народу и предлагаю ему книжки въ наиболѣе для него доступной формѣ изложенія и изданія. Какія же я предлагаю ему книги? Да, разумѣется, тѣ самыя, которыя предложилъ бы каждому, обратившемуся ко мнѣ, брату ли, другу ли, простому ли знакомому. Если меня спроситъ человѣкъ, мало или ничего еще не читавшій, что ему, по моему мнѣнію, читать? — кто бы ни былъ этотъ человѣкъ, я скажу ему: Изъ собственнаго опыта я знаю, какъ извращается наша природа и всѣ наши понятія отъ чтенія «литературнаго», хотя бы только сочиненій, признанныхъ хорошими интеллигенціею, т.-е. учителями гимназій и рецензентами. Прочтенія любой самой лучшей, образцовой хрестоматіи достаточно, чтобы лишить непосредственнаго человѣка чистой дѣвственности своего отношенія къ жизни и — лишить безвозвратно. А потому прежде,

чѣмъ сказать вамъ, что̀ читать, скажу вамъ, чего не читать. Не читайте *ничего* такого, для чтенія котораго вы не имѣете положительнаго несомнѣннаго основанія. Какъ было бы безразсудно, подходя къ лавкѣ, отдать лавочнику нѣкоторую сумму денегъ и попросить его за эти деньги дать вамъ изъ его лавки, что̀ ему вздумается или что̀ чаще покупается и больше всего цѣнится людьми, одѣтыми въ такой же костюмъ, какъ и вы (шаблонная оцѣнка литературы, слѣпо воспринимаемая вообще культурными людьми), — такъ же точно и еще болѣе нелѣпо тратить свое время и вниманіе на чтеніе какихъ-нибудь книгъ только потому, что ихъ *принято* считать хорошими, *принято* читать ихъ среди людей «своей» среды, хотя бы профессорской или генеральской. Я сказалъ бы тому, кого люблю: читай только то, изъ чего ты можешь узнать то, что тебѣ нужно, или же то, что тебѣ совѣтуетъ прочесть человѣкъ, которому въ этомъ отношеніи довѣрять ты имѣешь основаніе. Если ты имѣешь основаніе довѣрять именно мнѣ (а разъ ты спрашиваешь, то слѣдовательно довѣряешь), то вотъ изъ всѣхъ книжекъ я могу посовѣтовать тебѣ только эти двѣ-три книжки, потому что онѣ согласны съ моимъ пониманіемъ жизни, съ моими убѣжденіями. И такъ какъ во всякомъ дѣлѣ я желалъ бы не отступать отъ своихъ убѣжденій, то если бы я сталъ продавать книги людямъ вообще, я опять-таки продавалъ бы только эти двѣ-три книги. Такъ я и дѣлаю съ «Посредникомъ». Я задался цѣлью не проповѣдывать, но только отвѣчать на спросъ на книжки. Отвѣчая же на этотъ спросъ, какъ и во всѣхъ дѣлахъ моей жизни, я могу дѣйствовать только согласно моимъ убѣжденіямъ, и потому предлагаю только тѣ книги, которыя самъ, справедливо или несправедливо, считаю хорошими. Это я дѣлаю не ради пропаганды, а ради добросовѣстности. И если личность моя отражается въ выборѣ предлагаемыхъ мною книгъ, то вѣдь я и признаю, что цѣль существованія всякой *личности* и заключается въ томъ, чтобы она отражалась въ окружающей жизни, а не пропадала бы безслѣдно.

В. Г. Черткову.

25 іюля 1888. Хуторъ на Грязнушкѣ.

Конечно, перепечатывайте и берите все, что вамъ угодно изъ моихъ писаній, дорогой мой Владимиръ Григорьевичъ, разъ это вамъ покажется нужнымъ и полезнымъ. Я въ этомъ случаѣ весьма охотно отрѣшаюсь отъ своихъ правъ и преимуществъ. Но дать вамъ совѣтъ, что именно годится для «Посредника» изъ моихъ «Записокъ степняка», ей Богу затрудняюсь. Отъ нихъ изрядно «воняетъ литературой», какъ сказалъ когда-то Тургеневъ, отзываясь о романахъ французскихъ реалистовъ. Много тамъ описаній, много ненужныхъ, чисто-субъективныхъ настроеній и чувствъ. Однимъ словомъ, музыка разсчитана на «воспитанное» или, по-вашему, на «испорченное» ухо. Это я говорю о формѣ. Что касается содержанія, то я, разумѣется, и теперь не отступлюсь отъ него, потому что, мнѣ кажется, чувства оно должно возбуждать добрыя. Изъ всѣхъ «Записокъ степняка» любимый мой разсказъ — «Офицерша», но и онъ врядъ ли пригоденъ для «Посредника». Лучше посмотрите сами. Покупать книгу подождите, я, можетъ-быть, пришлю вамъ изъ Твери, если достану. Надѣюсь достать.

Вѣроятно, я не такъ выразился, если вы поняли мой отзывъ о послѣднихъ изданіяхъ «Посредника» въ томъ смыслѣ, что эти изданія не отвѣчаютъ цѣлямъ «пропаганды». Я тоже не думалъ, хороши они или нѣтъ въ смыслѣ пропаганды извѣстныхъ мыслей и воззрѣній. Меня интересовало просто впечатлѣніе отъ книгъ, и это впечатлѣніе получилось именно такое,

о которомъ я вамъ писалъ. Конечно, жаль, что сейчасъ нѣтъ досуга *доказать* мнѣ это свое впечатлѣніе, скажу только нѣсколько словъ о первой попавшейся книгѣ — о царевнѣ Мелинѣ. Форма сказки вообще одна изъ самыхъ труднѣйшихъ формъ «творчества». Выросшая путемъ непосредственнаго, наивнаго, младенческаго творчества, сказка, если и доступна поддѣлкѣ, какъ то показали у насъ Л. Толстой и Гоголь, то доступна лишь очень большимъ талантамъ и непремѣнно съ однимъ условіемъ: чтобы въ основѣ «поддѣлочной» сказки лежала подлинно народная тема, легенда или преданіе. Когда это условіе соблюдено, то-есть, когда писатель заимствуетъ сюжетъ изъ такъ называемой «устной словесности» — онъ овладѣваетъ воображеніемъ читателя путемъ простѣйшихъ и читателю уже извѣстныхъ образовъ и ситуацій. Такъ поступилъ Толстой въ сказкѣ объ Иванѣ-дуракѣ. Онъ оставилъ нетронутымъ традиціонный характеръ «дурака», оставилъ нетронутымъ и характеръ простоватаго русскаго чорта — онъ только сопоставилъ эти персонажи иначе, потому что имѣлъ иную отъ старыхъ сказокъ цѣль. На мой взглядъ, это искусство поразительное. Но и самъ Толстой въ сценѣ съ башней и съ чортомъ, работающимъ головою, по моему мнѣнію, вдался въ область произвольной выдумки и не уберегся отъ нѣкоторой искусственности. А искусственность, произвольность — злѣйшій врагъ наивному и спокойному тону сказки, — гораздо злѣйшій, нежели другимъ формамъ писанія. Теперь посмотрите же, какъ пишетъ свои сказки «Котъ-Мурлыка». У него, напримѣръ, есть такая, положимъ, совершенно правильная мысль: ложный стыдъ — нехорошо, и смѣяться надъ людьми — нехорошо. Если бы Левъ Толстой захотѣлъ подобную мысль, или, лучше сказать, подобный взглядъ на вещи, облечь въ форму сказки, онъ прямо поискалъ бы въ той же «устной словесности» готовыхъ и живыхъ, сросшихся съ сознаніемъ народа, образныхъ представленій и распредѣлилъ бы ихъ по своему плану. Вагнеръ дѣлаетъ не такъ. Онъ начинаетъ изъ собственной головы выдумывать приличный костюмъ для своей мысли о ложномъ стыдѣ, напрягаетъ воображеніе, вымучиваетъ образы почуднѣе и постраннѣе (вѣдь

сказка!), и, въ концѣ-концовъ, у него является такая нелѣпая, дѣланная, натянутая фантазія, какъ появленіе надъ площадью хорошенькаго мальчика (ст. 4-я) и послѣдующіе поступки этого аллегорическаго мальчика. Вѣдь это неловко звучитъ, но на самомъ-то дѣлѣ сказка вовсе не есть безпорядочная толчея странныхъ образовъ и неправдоподобныхъ сценъ въ родѣ летанія искръ изъ головы мальчика «на камни, на ословъ, на лошадей, коровъ, свиней, людей» — и безпричиннаго смѣха по поводу этихъ самыхъ искръ. У сказки есть своя логика, свое строго обозначенное правдоподобіе — и только у «чепухи» нѣтъ никакихъ законовъ, а есть полнѣйшая произвольность и выдумка. Но на то она вѣдь и чепуха. Послѣ этого можетъ ли служитъ утѣшеніемъ, что подъ формою чепухи скрывается правильная и хорошая мысль? Наврядъ ли. Я полагаю, что плохое художественное произведеніе весьма легко убьетъ всякую хорошую мысль, которую хотѣли бы этимъ плохимъ произведеніемъ доказать и показать. Это вѣдь все равно, что картина. Передъ истинно хорошей картиной забываешь о краскахъ; передъ тобой встаетъ сама жизнь, тѣмъ, однако, имѣющая преимущество надъ текущей жизнью, что художникъ взялъ въ ней дѣйствительно поучительный и дѣйствительно важный моментъ, освѣтилъ этотъ моментъ высокимъ ли умомъ, горячимъ ли сердцемъ. Но если онъ моментъ-то жизни взялъ вѣрно, а въ картинѣ представилъ его такъ, что носы вышли зеленые, глаза красные, волосы синіе, облака какъ птицы, деревья точно карандаши, то какъ бы ни былъ вѣренъ и многозначителенъ взятый имъ «моментъ», зритель, однако, равнодушно и даже съ пренебреженіемъ прошелъ бы мимо картины.

Мнѣ кажется, никакъ нельзя успокоиваться на томъ, что книга, хотя и плоха по формѣ, но зато безусловно нравственна. Мнѣ кажется, форма и содержаніе должны быть слиты въ единую и цѣльную композицію. Это, конечно, въ идеалѣ; но на практикѣ желательно бы возможное приближеніе къ этому идеалу. Книги же, подобныя «Царевнѣ Меллинѣ», — не приближеніе, а отдаленіе отъ идеала.

Простите, если я въ этомъ коротенькомъ отзывѣ выказалъ нѣкоторую приверженность къ рѣзкимъ и грубымъ опредѣленіямъ. Это потому, что такія опредѣленія больше исключаютъ всякую двусмысленность и вообще менѣе способны плодить недоразумѣнія.

Мой проектъ объ арендѣ земли все еще находится въ зачаточномъ состояніи; я не получалъ отвѣта отъ владѣльца земли. Очень мнѣ будетъ жаль, если подтвердится ваше сомнѣніе въ удачѣ проекта. Мы такъ прилѣпились къ этой надеждѣ, что будетъ тяжело разстаться съ нею и снова возвращаться въ нервическую сутолоку городской жизни.

Я только теперь соображаю, что отнимаю у васъ слишкомъ много времени своими не въ мѣру длинными письмами. Вы скажете, если это такъ?

Милый мой! вы говорите, что я «ищу разногласія между нами», но вѣдь это оттого, что я полюбилъ васъ, и отсюда желаніе сказать вамъ, что такое-то ваше мнѣніе неправильно, такое-то убѣжденіе — ошибочно. Ибо мнѣ кажется, что неправильныя мнѣнія и ошибки рано или поздно причинятъ боль. О многихъ вашихъ мысляхъ и взглядахъ не могу же я сказать, что они вѣрны, и не могу оставаться равнодушнымъ, видя, что они не вѣрны, а вы ихъ утверждаете и слѣдуете имъ. Что же касается до того, въ чемъ мы согласны съ вами,— я не ищу этого, но всѣмъ моимъ существомъ чувствую это и буду стараться проявить на дѣлѣ, что чувствую это и сознаю.

Ему же.

5 августа 1888. Хуторъ на Грязнушѣ.

Я прочиталъ присланныя вами три книжки, милый Владимиръ Григорьевичъ. «О родахъ» мнѣ очень понравилась: и языкъ хорошій, и изложено все, что идетъ къ дѣлу. И еще мнѣ понравилось въ этой книжкѣ — это ужъ въ особомъ, въ спеціальномъ, такъ сказать, смыслѣ, — послѣсловіе, гдѣ толкуется, что такое докторъ и почему его надо слушаться, — потому что «онъ не изъ своей головы выдумываетъ, а помогаетъ такъ, какъ обученъ знающими людьми, книгами и своею опытностью». Въ устахъ издателей «Посредника» это дорогія слова, — дорогія для ихъ друзей, потому что этимъ друзьямъ больно и тяжело слышать нареканія на «Посредникъ» — справедливыя иногда — въ томъ, что «Посредникъ» отрицательно относится къ наукѣ. Положимъ, что тутъ дѣло идетъ только объ одной отрасли науки — о медицинѣ, но я увѣренъ, что когда появятся изданія «Посредника» по другимъ отраслямъ науки — по физикѣ, химіи, астрономіи, физіологіи и т. д. — въ «послѣсловіяхъ» тѣхъ изданій опять-таки будетъ повторенъ этотъ призывъ слушаться ученыхъ людей, ибо вѣдь «они не изъ своей головы выдумываютъ, а научены знающими людьми, книгами и своей опытностью». — Я сказалъ, что нареканія на «Посредникъ» бывали иногда справедливы. Чтобы доказать это, надо опять обращаться къ сказкѣ Л. Н—ча объ Иванѣ-дуракѣ, и именно къ той ея части, о которой я отозвался въ прошломъ моемъ письмѣ, какъ о нехудожественной — къ «работѣ головою»... Но это завело бы

насъ слишкомъ далеко и опять поставило бы ребромъ наши несогласія. Лучше перейдемъ къ другой книжкѣ — къ «Цвѣтнику». Мнѣ и эта книжка нравится. Правда, я несогласенъ съ предисловіемъ или, лучше сказать, *не совсѣмъ* согласенъ: я думаю, что помимо нравственнаго воздѣйствія на читателя, — что, кажется, неразрывно съ *настоящимъ* искусствомъ, — искусству принадлежитъ и другая, очень важная роль: расширеніе сознанія не въ одномъ только нравственномъ смыслѣ. Въ этомъ смыслѣ глубокое и правильное изображеніе характеровъ, изображеніе быта, типовъ, историческаго состоянія людей, изображеніе страстей и ихъ злыхъ и добрыхъ движеній мнѣ кажется желательнымъ ничуть не менѣе тѣхъ нравственныхъ задачъ, которыя тоже должны преслѣдоваться искусствомъ. Разумѣется, въ высшемъ-то своемъ типѣ искусство должно неразрывно соединять въ себѣ и то, и другое, то-есть надъ сумятицей изображаемой жизни, надъ всѣмъ зломъ и добромъ этой сумятицы, надъ ея красотою и безобразіемъ, непрестанно долженъ носиться «духъ Божій», непрестанно должно слышаться напоминаніе о томъ, что есть правда, есть добро, есть красота; что есть непререкаемое мѣрило всей этой нестройности жизни, всей этой толчеи и какъ будто безсмысленной и неуловимой пестроты жизненныхъ явленій. И у великихъ художниковъ *это* всегда есть. Есть у Толстого, у Шекспира, у старыхъ греческихъ трагиковъ, у Гёте (въ Фаустѣ). За этими слѣдуютъ иные писатели; тутъ уже не всегда встрѣтимъ надлежащую цѣльность и надлежащую широту горизонта: у иного живость изображенія заслоняетъ «духъ», у другого — самый «духъ» носится надъ тусклою и не убѣдительною картиною жизни. Грѣшный человѣкъ, изъ этихъ второстепенныхъ писателей я предпочитаю первыхъ. Вѣдь, если у читателя есть свой «духъ», своя вѣра въ Бога (если обозначить терминомъ «Богъ» все вѣчное и непреложное), то ему ужъ не такъ нужна въ этомъ помощь художника; но далеко не у всякаго читателя есть изумительная способность къ изображенію жизни, къ глубокому проникновенію въ тайны человѣческаго характера, человѣческихъ страстей — и вотъ тутъ-то читателю нужна

помощь хотя бы и односторонняго художника. Лишь бы у такого художника хватало смѣлости и серьезности изображать жизнь, какъ она есть, не пользоваться своимъ талантомъ для того, чтобы служить явной похоти или явному соблазну. Я укажу здѣсь, какъ на такихъ одностороннихъ писателей, съ сильнымъ талантомъ изображенія, но почти съ совершеннымъ отсутствіемъ Бога — на французскихъ реалистовъ: Золя, Мопассана, Флобера и Додэ. Разумѣется, ихнихъ произведеній не нужно давать дѣтямъ (кромѣ нѣкоторыхъ вещей Додэ), разумѣется, въ этомъ мутномъ и неприглядномъ морѣ человѣческихъ страстей, пороковъ, зла, глупости и ошибокъ нужно странствовать съ своимъ собственнымъ компасомъ — съ недремлющимъ Богомъ въ своей душѣ; разумѣется, тутъ возможны для читателя и соблазны, какъ возможны они и въ настоящей жизни, — но зато, какое расширеніе сознанія, какой опытъ, какое наглядное доказательство всего вреда, происходящаго отъ извращенія ума, страстей и чувствъ; какое знаніе новыхъ обстоятельствъ въ нравственной, исторической, бытовой, физіологической жизни человѣчества. *Любой* нравственный человѣкъ, если пойдетъ впотьмахъ, — расшибетъ себѣ лобъ; Богъ... да, это великій свѣтъ, но если мы согласимся въ томъ, что согласная съ его законами жизнь есть жизнь среди людей, посреди ихъ страстей, привычекъ, заблужденій, предразсудковъ, ихъ благородства и зла, жестокости и любви, ошибокъ и правды, то нужно согласиться намъ и въ томъ, что въ *этихъ* потемкахъ, въ этой путаницѣ, толчеѣ и пестротѣ необходимъ особый фонарь, который помогъ бы разобраться и осмотрѣться. Вы скажете: для этого есть принципъ. Но вѣдь прилагать-то, прилагать-то его, принципъ-то этотъ, надо къ людямъ, а не къ отвлеченнымъ единицамъ. Вѣдь что ни человѣкъ — то разное: разныя страсти, разные характеры, разные взгляды на вещи, самый языкъ, самый способъ выраженій — разные. Вѣдь этотъ матеріалъ нужно изучить, чтобы принципъ-то былъ приложенъ какъ слѣдуетъ. Здѣсь разскажу про одинъ случай, недавно мнѣ сообщенный, за достовѣрный. Въ Усманскомъ уѣздѣ была извѣстная своими добродѣтелями помѣщица, г-жа Сн—ва. Тоже на основаніи

«принципа» (она была вѣрующая, какъ говорили про нее: настоящая христіанка) она стремилась всячески помогать людямъ, и, между прочимъ, ихъ лѣчила. Именно во время «лѣченія» въ ея передней произошла такая сцена. Стоятъ трое: барыня, горничная изъ дворовыхъ и мужикъ, пришедшій попросить лѣкарства «отъ живота». Необходимо уяснить, какая именно у мужика боль.

— У *васъ* есть запоръ? — смѣло спрашиваетъ барыня.

— Чаво?.. Ну, матушка, какой тамъ запоръ! Клинушкомъ заткнешь, вотъ тебѣ и запоръ весь.

— Какъ — клинушкомъ?

— Тихо у насъ, матушка, тихо... воровъ-то не слыхать... не слыхать этого. Заткнешь клинушкомъ, вотъ тебѣ и запоръ.

— Нѣтъ, я не о томъ васъ спрашиваю... (нѣсколько затрудняется). Ходите ли вы на дворъ?

— А какъ же, матушка. Хожу, хожу... Одинъ вѣдь я, работника не держу, ну и выходишь иной разъ. Собаки забрешутъ, али что... хожу, хожу, матушка.

Барыня окончательно затруднена. Вмѣшивается горничная.

— Сударыня, дозвольте мнѣ его выспросить: они вашихъ словъ понимать не могутъ!

И выспросила, что надо.

Вотъ вамъ и принципъ!

Однако я сдѣлалъ ошибку, распространившись такъ: у меня мало мѣста для полнаго объясненія моихъ взглядовъ, а неполное, боюсь, не привело бы къ недоразумѣніямъ. Вы вотъ сейчасъ можете сказать: какъ же мнѣ выйти изъ путаницы и суеты съ помощью какого-нибудь Золя, когда и въ его описаніяхъ изображена только *одна* эта путаница и суета жизни? — Отвѣтъ: у него изображена жизнь неизвѣстнаго вамъ народа, бытъ его, его нравы, его исторія, — «дѣла и дни» французской деревни, французскихъ углекоповъ, буржуа, художниковъ, политикановъ и т. д. И изображена такъ, что въ микроскопически малыхъ зеркальцахъ отражается огромная область жизни. — Вопросъ: Но что мнѣ за дѣло, что совершается во Франціи, за 2, за 3 тысячи верстъ отъ Ржевска? А что совершается въ Ржевскѣ, въ Лизиновкѣ, въ Россошахъ,

я и безъ Золя знаю, и это мнѣ нужно знать. — Отвѣтъ: Можетъ-быть, вы были бы и правы 2 или 3 тысячи лѣтъ тому назадъ, но теперь, когда неизмѣннымъ ходомъ событій интересы людей, живущихъ въ различныхъ частяхъ земли, все болѣе и болѣе соединяются и дѣлаются общими, когда «событіе» или «взгляды» во Франціи тотчасъ же находятъ свой отголосокъ въ Россіи, въ Америкѣ, въ Германіи — вездѣ, и «событіе» и «взгляды» нужно знать, чтобы соотвѣтственно *и* познаніямъ располагать свои дѣла. Я намѣренно подчеркнулъ «и», потому что, разумѣется, не одни познанія должны руководить дѣлами, но объ этомъ не стоитъ и говорить, такъ какъ мы согласны въ этомъ пунктѣ.

За всѣмъ тѣмъ, искусство не для того только, чтобы *научать*, но и для того, чтобы жизнь вмѣщала и наслажденіе искусствомъ. Эту сторону я, однако, опущу, потому что опять нужно говорить много и долго.

Теперь обратимся къ другого рода одностороннимъ писателямъ: къ тѣмъ, которые слабо и тускло изображаютъ жизнь, но переполнены готовностью учить людей добру и проводить такъ называемыя нравственныя тенденціи. Откровенно сказать, я не люблю такихъ писателей: сладко-то иногда сладко, но черезчуръ приторно. Въ числѣ извѣстнѣйшихъ приторностей въ такомъ родѣ укажу на «Хижину дяди Тома» цѣломудреннѣйшей мистрисъ Бичеръ-Стоу, на «Векфильдскаго священника» и на сказки Кота-Мурлыки профессора Вагнера. Авторъ предисловія въ «Цвѣтникѣ» говоритъ: «чтобы была правда въ томъ, что описываешь, надо писать не то, что есть, а то, что должно быть, описывать не правду того, что есть, а правду царствія Божія, которое близится къ намъ, но котораго еще нѣтъ». Вотъ именно по этому рецепту и поступаютъ односторонніе писатели занимающаго насъ разряда, и притомъ поступаютъ *буквально*, потому что я увѣренъ, что за буквой рецепта у автора скрывается другая мысль, не нашедшая правильнаго и яснаго выраженія. Весь вопросъ теперь въ томъ, достигаютъ ли эти, несомнѣнно «смиренные», но не «мудрые» авторы своихъ цѣлей, описывая «не правду того, что есть, но правду царствія Божія». Вы вотъ пишете о впечатлѣніи,

которое дѣлаетъ «Царевна Меллина»; вспоминаю, какъ очень плохія вещи вліяли въ томъ или другомъ отношеніи на читателей, принося несомнѣнно сильный подъемъ неизвѣстныхъ чувствъ и мыслей. Значитъ, достигаютъ цѣли эти односторонніе писатели?

Вѣроятно, достигаютъ, но позволительно сомнѣваться, чтобы такой успѣхъ былъ проченъ и оставался бы надолго. Это — точно плохой, но дешевый товаръ. Изъ него можно сшить такую же одежду, какъ и изъ дорогого товара, такая же выйдетъ поддевка, такая же шуба, рубашка, но то, что сшито изъ дорогого товара, проносится годы и все-таки будетъ крѣпко, а дешевка быстро разлѣзется и расползется по всѣмъ швамъ. Сравненіе нѣсколько вульгарное — охотно сознаюсь въ этомъ, но думаю, что оно какъ нельзя болѣе подходитъ къ дѣлу. Я думаю, что «описывать правду царствія Божія» — не значитъ воображать и выдумывать изъ своей головы, какъ выдумываетъ Бичеръ-Стоу отчаянно добродѣтельныхъ негровъ и неистово злыхъ плантаторовъ, а это значитъ описывать жизнь подлинными жизненными чертами и вести читателя сквозь вереницу злыхъ и добрыхъ человѣческихъ дѣлъ и поступковъ — къ добрымъ и благороднымъ мыслямъ и чувствамъ, какъ это постоянно дѣлаетъ Диккенсъ въ лучшихъ своихъ романахъ. Послѣднее будетъ настолько же прочнѣе, а значитъ, и благотворнѣе перваго, насколько прочнѣе уроки жизни передъ уроками, вынесенными посредствомъ сонныхъ видѣній. Вѣдь это только въ разсказѣ крестьянина Семенова «Сонъ Максима» сны такъ быстро и съ такой стремительностью измѣняютъ взгляды и поступки людей; въ жизни это бываетъ такъ рѣдко, что подобные сны изстари причисляются къ своего рода чудесамъ. Вліяютъ сны очень мало, и вліяніе это скоротечно. Увидѣвшій умилится, разскажетъ сосѣдямъ; тѣ тоже умилятся, вздохнутъ, можетъ-быть, задумаются на двѣ минуты, и затѣмъ преспокойно разойдутся по своимъ житейскимъ дѣламъ и забудутъ разсказанное имъ видѣніе. А это оттого, что во снѣ жизнь отражается неправильно, произвольно, странно, тускло и неопредѣленно. Спора нѣтъ, на особенно нервическія и воспріимчивыя натуры и сны могутъ вліять потрясающимъ образомъ, но съ

видѣніями ли сравнить какое-нибудь дѣйствительное событіе, блещущее красками, живое, правдивое, логичное, — такое, которое отпечатывается въ воображеніи и въ памяти читателя, какъ все равно гербъ на растопленномъ воскѣ, и сопровождаетъ его всю жизнь. Всѣ мы отлично помнимъ такія дѣйствительныя и чѣмъ-нибудь замѣчательныя событія, которыхъ были свидѣтелями десять, двадцать, пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ; но многіе ли изъ насъ помнятъ сны не только прошлаго года, но и нынѣшняго, хотя какой-нибудь изъ этихъ сновъ, можетъ-быть, растрогалъ и умилилъ насъ и даже заставилъ задуматься о жизни въ свое-то время? Это о *событіяхъ* въ жизни и во снѣ. Еще больше разница, когда жизнь даетъ намъ поученіе не какимъ-либо событіемъ, а просто тѣмъ, что живетъ на свѣтѣ человѣкъ съ такимъ-то характеромъ, съ такими-то привычками, съ такимъ-то нравственнымъ обликомъ; тутъ ужъ трудно что-нибудь равнозначущее увидать во снѣ — ибо въ произвольныхъ, тусклыхъ и неопредѣленныхъ видѣніяхъ никогда не можетъ обрисоваться ни характера, ни типа, ни даже хорошей фотографіи. — Между тѣмъ мы знаемъ, что «описывать не то, что есть» — значитъ описывать произвольно, какъ намъ вздумается, сочинять, фантазировать, вдаваться въ странности. Т.-е., иными словами, грезить. А съ другой стороны, мы знаемъ, что изображеніе «того, что есть» можетъ до такой степени возстановлять жизнь, до такой степени играть красками жизни и переполняться ея содержаніемъ, что въ нашемъ воображеніи не отдѣляется даже такое изображеніе отъ настоящей, нами испытанной жизни. Вѣдь, не правда ли, вы присутствовали, когда Каренинъ совѣщался съ адвокатомъ о разводѣ? вы видѣли, какъ адвокатъ все ловилъ рукою моль? Вы вѣдь были вмѣстѣ съ Гриневымъ въ «Капитанской дочкѣ», когда Гриневъ пріѣхалъ въ свою крѣпостишку и представлялся храброй капитаншѣ? Вамъ вѣдь трудно отдѣлить эти впечатлѣнія «книги» отъ впечатлѣній вашей жизни? Потому что все написано въ вашей памяти съ одинаковой яркостью и выразительностью.

Такимъ образомъ, я признаю, что «Хижина дяди Тома» и т. п. можетъ имѣть успѣхъ, можетъ дѣлать отрадное впеча-

тлѣніе на читателя, можетъ умилить его, растрогать и даже подвигнуть на благородные поступки (послѣднее признаю менѣе охотно), но такъ какъ это сонъ, а не жизнь, такъ какъ все въ этихъ произведеніяхъ выдуманное, произвольное и фантастическое, то и вліяніе ихъ равняется вліянію сновидѣній. Писать такія вещи — отчего не писать; печатать — отчего не печатать, но нужно помнить, что это дешевый, скоротечный товаръ, и что производить его только и нужно, что за отсутствіемъ товара прочнаго, дорогого. А успѣхами его рѣшительно нельзя восхищаться, т.-е. нельзя восхищаться въ томъ опять смыслѣ, что это де прочный успѣхъ, что это де такой же успѣхъ, какъ и успѣхъ Толстого, Пушкина, Достоевскаго, Некрасова. Въ самомъ дѣлѣ. Вотъ передо мною одно сновидѣніе — книжка г. Семенова; я прочиталъ ее и сознаю, что послѣ чтенія ясный совершился во мнѣ подъемъ хорошихъ мыслей и чувствъ. Т.-е. не во *мнѣ* совершился такой подъемъ — я слишкомъ «критически» читаю, но въ комъ-нибудь. И этотъ же кто-нибудь прочиталъ разсказъ Мармеладова въ «Преступленіи и наказаніи». И, въ свою очередь, въ немъ получился подъемъ хорошихъ мыслей и чувствъ. До сихъ поръ какъ будто обѣ книги одинаковое сдѣлали дѣло. Но вотъ гдѣ начинается разница. Книжку Семенова я отложилъ и забылъ о ней; забылъ даже, какъ называются его разсказы, забылъ фабулу, лица... Однимъ словомъ, видѣлъ «нравоучительный» сонъ, вздохнулъ, подумалъ минутку и пошелъ въ банкъ рѣзать купоны. Но Мармеладова я уже не забуду. И за купонами не забуду. У меня, можетъ-быть, исчезнетъ изъ памяти самый разсказъ, подробности, нюансы, но страдальческое лицо Мармеладова, сердце его, истекающее кровью, видъ его несчастный я ужъ не могу забыть. Потому что я его видѣлъ, этого пропойцу, я его слышалъ, ощущалъ... И не могу забыть. О, я не хочу сказать, что всякій, прочитавшій Достоевскаго, броситъ рѣзать купоны и пойдетъ стезею спасенія. И пусть, пусть онъ продолжаетъ рѣзать свои купоны, но образы, но правда «того, что есть», изображенная съ неподражаемой силою хотя бы въ этомъ романѣ, не дастъ ему, рѣжущему купоны человѣку, отдыха, зажжетъ недовольство въ его душѣ,

нарушитъ его скотоподобную цѣльность, переполнитъ его безпокойствомъ за его счастье, за его зоологическіе идеалы. Конечно, это случится не всякій разъ; можетъ-быть, въ одномъ случаѣ изъ ста тысячъ станется это; но одинъ случай расплодитъ сотни, тысячи случаевъ, потому что Мармеладовъ-то вѣдь не умретъ, а будетъ жить и гулять по свѣту сотни лѣтъ и всегда будетъ готовъ оказать свое содѣйствіе мало-мальски ощутившей безпокойство душѣ. Теперь посмотрите, какъ рискованно предположить, чтобы книжка Семенова произвела хотя одинъ такой случай «безпокойства», — и это потому, что она не описываетъ того, что есть, а описываетъ тусклыя фантазіи на тему: «Судиться скверно и *невыгодно*», «Дѣлать другому зло нехорошо», «Спасеніе не въ жертвѣ, а въ милости».

Однако я еще ничего не сказалъ о содержаніи «Цвѣтника». Я ужъ сказалъ, что книжка мнѣ нравится. Дѣльно — съ толкомъ и со *вкусомъ* выбраны мѣста изъ житій святыхъ и легенды. Особенно хорошо, на мой взглядъ, то, что представлены достойные люди и достойныя стороны не одной христіанской религіи, но и еврейской, магометанской, буддійской (Конфуцій), даже якутской. По живости и силѣ мнѣ чрезвычайно понравились «Жаба» и особенно «Волки». Чьи это? Конечно, есть и плохія вещи. Такова холодная аллегорія: «Выборъ креста». Но это теряется среди многаго хорошаго. Что бы II томъ такого же сборника? Жаль, что сборникъ стихотвореній далеко не такъ удаченъ.

Вы, можетъ-быть, удивитесь, что я собираюсь къ вамъ и наканунѣ поѣздки пишу такое длинное письмо. Это оттого, что я на словахъ далеко хуже изъясняюсь, чѣмъ на бумагѣ, а между тѣмъ мнѣ хотѣлось сказать вамъ о книгахъ и о моихъ взглядахъ на искусство. И то сказалъ далеко не все.

Ал. Эртель.

Ему же.

17 августа 1888. Хуторъ на Грязнушкѣ.

Дорогой Владимиръ Григорьевичъ!

По возвращеніи отъ васъ меня встрѣтило не малое огорченіе: еще на станціи мнѣ сказали, что дочка больна. Оказалось, что на второй день моего отъѣзда у ней сдѣлался жаръ и рвота, а затѣмъ поносъ, и жаръ, и разстройство желудка продолжались до сихъ поръ. Маруся совсѣмъ измучилась; пока привезли доктора, она передумала Богъ знаетъ что; а когда докторъ сказалъ, что это лихорадка, и съ этой стороны нѣсколько успокоилъ — наступили тягостныя заботы ухода, даванія хины и слабительнаго. Надо вѣдь знать, какъ мучительно заставлять такихъ крошекъ принимать лѣкарство. Но главное — сердце разрывается смотрѣть на больного ребенка. Я это испыталъ, какъ пріѣхалъ, и испытываю вотъ до сего дня, хотя теперь, слава Богу, полегчало. Наташёнка такъ мнѣ обрадовалась, такъ трогательно и нѣжно лепетала, обхватывая меня ручонками: «папа, папочка милый!» и вмѣстѣ съ тѣмъ такая она была худенькая и блѣдненькая, что было ужасно больно и жалко. — Я вамъ говорилъ, что люблю дѣвочку, кажется, слишкомъ сильно, какъ, можетъ-быть, и не слѣдуетъ любить; и вотъ, когда она больная, не могу ничего ни дѣлать, ни думать посторонняго, я самъ становлюсь боленъ и умомъ, и воображеніемъ. Впрочемъ, я уже сказалъ, что сегодня ей было легче и весь день температура была почти нормальная (немного ниже); вчера, хотя и былъ жаръ, но все-таки она была весела и все

болтала, такъ что не было очень болѣзненнаго впечатлѣнія. Такимъ образомъ, хотя я за работу и не могъ приняться, но все-таки читалъ «Критику догматическаго богословія» и просмотрѣлъ съ пятаго на десятое газеты.

Записокъ г-жи Ремюза нѣтъ въ тѣхъ книгахъ «Вѣст. Европы», которыя имѣются у меня. Книга Тэна о Наполеонѣ первоначально появилась, если не ошибаюсь, въ «Revue des deux Mondes».

Дорогою (кстати сказать, она была преотвратительна: вагоны биткомъ набитые, и всю ночь мнѣ не пришлось спать)— дорогою я нѣсколько разъ возвращался къ вашему мнѣнію о несвободѣ воли и о томъ, что истиннаго познанія нѣтъ, а есть только условное (помните? — «Можетъ, я сплю и вижу сонъ, можетъ-быть, на самомъ дѣлѣ ничего этого нѣту»)... И попрежнему не могъ съ вами согласиться. Относительно послѣдняго вашего взгляда, то-есть объ условности познанія, я припомнилъ слова св. Августина, которыя и выписываю здѣсь (изъ книги П. А. Бакунина «Основы вѣры и знанія»). Мнѣ кажется, что эти слова, несмотря на ихъ грубоватую и схоластическую постройку, очень вѣрно опредѣляютъ ту державу, на которой смѣло и спокойно можетъ опираться познаніе. Вотъ: «А что, если ошибаешься? — Если ошибаюсь, то есмь. Ибо кто не есть, тотъ и ошибаться не можетъ: слѣдовательно, есмь, если ошибаюсь. И поелику есмь, если ошибаюсь, то какъ бы могъ я ошибаться въ томъ, что есмь, когда вѣрно, что есмь, если ошибаюсь? И такъ какъ я былъ бы тотъ самый, кто ошибается, если бы я ошибался, то несомнѣнно, что, зная себя сущимъ, я въ этомъ не ошибаюсь. Отсюда слѣдуетъ, что, зная себя сущимъ, я не ошибаюсь, ни въ томъ, что знаю, что есмь, ни въ томъ, что я это самое знаю».

И въ самомъ дѣлѣ. Если ничто не гарантируетъ правильность познанія, если не существуетъ твердой увѣренности въ томъ, что есть только *одна* правда, *одни*, для всѣхъ обязательные, законы разума, если можетъ быть правъ *всякій для себя*, — если все это можетъ быть, мы непремѣнно ввергаемся въ смуту, изъ которой нѣтъ выхода. Мнѣ же думается, что

если я мыслю сообразно съ дѣйствительностью, что если образъ моего мышленія точно совпадаетъ съ образомъ дѣйствительности — это и есть, это и значитъ, что мышленіе мое строится не на пескѣ, а на полной и несомнѣнной увѣренности, что «я есмь». Затѣмъ это значитъ, что разумъ, которымъ мыслю, не можетъ быть призрачнымъ или фальшивымъ орудіемъ, ибо, совпадая съ тѣмъ, что я называю «дѣйствительностью», онъ тѣмъ самымъ совпадаетъ съ тѣмъ источникомъ разума, которымъ эта дѣйствительность сотворена и движется, то-есть съ Богомъ. Это отношеніе моего маленькаго, человѣческаго разума къ Богу, то-есть къ великому разуму, мнѣ представляется такъ: шелъ человѣкъ по дорогѣ и увидалъ странный и невиданный имъ прежде механизмъ. Человѣку неизвѣстно, кто его сдѣлалъ, и неизвѣстно, съ какимъ назначеніемъ сдѣланъ механизмъ. И вотъ онъ начинаетъ изучать его, и начинаетъ съ такихъ частей механизма, которыя всего ему доступнѣе. И вотъ человѣкъ видитъ, что устроены колеса, и что колеса устроены такъ, чтобы цѣпляться другъ за друга и своимъ сцѣпленіемъ приводить въ движеніе шестерни, блоки, рычаги, коромысла, валики. Но общее устройство механизма слишкомъ сложно, у человѣка не хватаетъ ума, чтобы понять общій смыслъ, назначеніе механизма, но изъ того, что онъ понялъ, изъ того, что понять у него хватило ума, ему уже извѣстно, что въ основу этого общаго смысла механикъ положилъ принципъ цѣлесообразности. Ибо все — отъ колеса къ колесу, и отъ шестерни къ валику, къ рычагу, къ коромыслу — все находится въ зависимости другъ отъ друга и все направляется къ какой-то неизвѣстной человѣку, но единой цѣли. Затѣмъ человѣкъ, разсмотрѣвъ и обсудивъ то, что было доступно его уму, начинаетъ соображать, кто же таковъ механикъ. И во всей полнотѣ онъ не въ силахъ сообразить этого, но онъ увѣряется, что въ немъ, въ человѣкѣ, есть нѣчто общее съ неизвѣстнымъ механикомъ и общее это разумъ, посредствомъ котораго одинъ сотворилъ механизмъ, а другой понялъ его частичное устройство и догадался о принципѣ цѣлесообразности. И выходитъ такъ, что разумъ человѣка однороденъ съ разумомъ механика, что такимъ же законамъ

подчиненъ и тотъ, и другой разумъ, то-есть, не подчиненъ: это слово нейдетъ сюда, — а тотъ и другой одинаковыя имѣютъ выраженія, — но что въ количественномъ отношеніи разумъ человѣка относится къ разуму механика, какъ единица къ безконечно великому числу.

Поставьте вмѣсто механизма вселенную, человѣка назовите Ньютономъ, Христомъ, Шекспиромъ, и вы поймете, что̀ мнѣ мерещится въ этомъ представленіи. Вотъ я и думаю, что если разумъ мой дѣйствительно совпадаетъ съ тѣмъ, что есть; дѣйствительно проникаетъ въ разумные законы вселенной; дѣйствительно сообразуется съ волею, а слѣдовательно и съ разумомъ, Бога; то другого критерія его правильности и не нужно, ибо ничто уже не въ состояніи опровергнуть эту правильность. А что разумъ мой совпадаетъ, проникаетъ, сообразуется — въ этомъ мнѣ порука тѣ же вышеназванные три человѣка, ибо всѣ трое открыли и показали людямъ законы физической и нравственной природы, то-есть *люди* поняли, какимъ путемъ, какой работой разума открыты тѣ законы, то-есть люди оказались въ состояніи понять своимъ конечнымъ разумомъ дѣло разума безконечнаго.

Такимъ образомъ, мыслить правильно, мыслить не фантастически, не произвольно, значитъ мыслить такъ, чтобы образъ мышленія моего совпадалъ съ образомъ дѣйствительности, и это будетъ безошибочно, ибо Безконечный Разумъ, изъ котораго проистекаетъ дѣйствительность, не можетъ ошибаться. Отсюда понятно, что трудно избавиться отъ ошибокъ, мысля въ сферѣ «нравственной» дѣйствительности, то-есть мысля о добрѣ и злѣ, о людскомъ, о человѣческомъ, и что несравненно легче сохранить безошибочность въ другой сферѣ мысли — въ сферѣ «физической» дѣйствительности — въ сферѣ звѣздъ, химіи, физики, механики. Одно — сложнѣе, другое — проще. Тѣмъ не менѣе, хотя первое и трудно, но все-таки достижимо, ибо въ ученіи того же Христа мы видимъ проявленія несомнѣнно правильнаго и безошибочнаго разума, хотя и не во *всемъ* его ученіи, какъ склонны думать это нѣкоторые изъ его сторонниковъ и почитателей.

Слѣдовательно, гарантія того, что разумъ утвержденъ на незыблемой и несомнѣнной державѣ, — эта гарантія есть, и она заключается въ томъ, чтобы разумъ мой непрестанно находилъ созвучіе съ разумомъ, разлитымъ во вселенной, съ разумомъ Божества. Все, что звучитъ диссонансомъ, — неправильно, то-есть неразумно. А чтобы было созвучіе, нужно изощрять и упражнять человѣку другую его способность, способность служебную разуму, — вниманіе, ибо если разумомъ дѣйствительность постигается и опредѣляется, то это возможно лишь потому, что у человѣка есть другая способность — вниманіе. И съ этой послѣдней способностью нужно обращаться съ великой добросовѣстностью, ибо безъ вниманія разумъ превращается въ фантазію, то-есть въ произвольную игру.

Боюсь, не кажусь ли я вамъ слишкомъ скучнымъ, дорогой мой. Самъ сознаю, что плохо, неясно выражаюсь. Я слишкомъ мало обращался въ сферѣ тѣхъ вопросовъ, о которыхъ говорю теперь, а главное то — слишкомъ мало изъяснялся объ этихъ вопросахъ, и вотъ мнѣ трудно изъясняться легко и понятно.

Извинился, изъявилъ боязнь, что наскучаю, и все-таки перейду къ вопросу о свободной и несвободной волѣ... Прямо скажу — этотъ вопросъ мнѣ теменъ, и я не знаю, какъ его рѣшить. Я знаю, что воля непремѣнно должна опредѣляться законами необходимости — съ этимъ я не могу спорить; я знаю, что дѣйствующіе въ моемъ тѣлѣ законы химіи, физики, механики, физіологіи, опредѣляютъ точными и ясно ограниченными предѣлами всѣ мои и душевныя, и тѣлесныя способности; я знаю, что и умъ мой, и воля, и такъ называемыя страсти, склонности, память, воображеніе — что все это не на бѣломъ листѣ бумаги написалось, а написалось на исчерканной, испачканной, исправленной и переправленной корректурѣ, и что надъ корректурой этой тѣ же непреложные и необходимые законы работали въ моемъ отцѣ, дѣдѣ, прадѣдѣ, въ моей матери, бабкѣ, прабабкѣ и т. д. И вотъ, зная все это, я говорю: да, воля несвободна, ибо подчинена законамъ необходимости, детерминизма. И, соглашаясь съ этимъ, я говорю: человѣкъ невмѣняемъ, онъ ни въ чемъ не виноватъ;

если онъ убійца — онъ иначе не могъ; если онъ развратникъ — онъ иначе не можетъ, какъ развратничать; однимъ словомъ, если онъ злой человѣкъ — онъ таковъ, а не иной, не по своей винѣ, ибо у него нѣтъ свободы дѣлать доброе и разумное, ибо его волю, независимо отъ его разума, толкаютъ такіе-то и такіе-то законы детерминизма. — Я, впрочемъ, не такъ выразился — «не по своей винѣ»; слово *вина* напоминаетъ осужденіе, наказаніе, и это сюда нейдетъ; скажу такъ: тщетно злому по природѣ своей человѣку стремиться къ благу и добру, ибо какъ бы онъ ни захотѣлъ этого разумомъ, такіе-то и такіе-то законы не позволятъ, не допустятъ, не разрѣшатъ его волѣ слѣдовать за его разумомъ. И у такого, по природѣ злого человѣка, всегда найдется оправданіе: я бы радъ дѣлать доброе, но законы, воля въ рабствѣ чего-то неотвратимаго и неизбѣжнаго, не допускаютъ меня дѣлать это. И вотъ я золъ. И да будетъ проклятъ сотворившій меня, ибо онъ сдѣлалъ меня необходимо злымъ, направилъ мою волю на необходимо злыя дѣла, и я тутъ ничего не подѣлаю. И когда злой человѣкъ скажетъ это, вы должны согласиться съ нимъ и, въ свою очередь, сказать Богу: ты, сотворившій вселенную и разлившій въ ней безконечный твой разумъ, обнаружившій въ ней благость, любовь, красоту, — что же ты дѣлаешь, жестокій? ты дѣлаешь зло несвободной волею этого злого человѣка, *ты* мучаешь, убиваешь, казнишь, насилуешь, растлѣваешь, лжешь, клевещешь...

Но позвольте, не кощунственно ли такъ думать и такъ взваливать на Бога?

Думаю, что кощунственно. И затѣмъ я полагаю, что думать такъ — значитъ мыслить неправильно, несообразно съ дѣйствительностью, значитъ — не только кощунственно, но и неразумно. Ибо мы постоянно видимъ, и въ жизни отдѣльныхъ людей, и въ исторіи — въ жизни цѣлыхъ обществъ, что именно такое-то сознаніе, такая-то работа разума направляютъ волю людей, опредѣляютъ ихъ поведеніе. Мы, напримѣръ, въ жизни Маріи Египетской видимъ волю, устремленную на то, чтобы развратничать, и затѣмъ видимъ, какъ воля эта, устремленная на развратъ, внезапно подчиняется просвѣтленному

разуму, влечется и направляется этимъ просвѣтленнымъ разумомъ на путь лишенія, на путь истязанія плоти, на путь, рѣшительно противоположный первому пути. Такимъ образомъ ясно, что не одни законы необходимости повелѣваютъ волею, но и разумъ.

До какихъ же предѣловъ простирается власть разума надъ волею? Я думаю, что до тѣхъ самыхъ предѣловъ, до которыхъ разумъ въ состояніи правильно и законосообразно работать. Тутъ какъ бы дѣйствуетъ принципъ государственности, какъ онъ понимается не мистической теоріей самодержавія («мы, Божіей милостью»), а теоріей революціонной: «Управляй по закону; и до тѣхъ поръ, покуда управляешь по закону, мы тебѣ подчиняемся, но когда ты нарушишь законъ — мы тебя свергнемъ».

Разумѣется, это не общее правило: знаемъ, что иногда воля отказывается подчиняться самымъ законнѣйшимъ велѣніямъ разума, и, наоборотъ, подчиняется неразумію, но и въ первомъ, и во второмъ случаѣ я полагаю, что мы имѣемъ дѣло съ извращеніемъ, съ болѣзнью человѣческаго организма; затѣмъ знаемъ также, что воля работаетъ и безсознательно, внѣ разума и его повелѣній.

Но это пусть, пусть! Вѣдь я уже и сказалъ, что воля опредѣляется двумя факторами: законами необходимости и разумомъ, и чѣмъ тусклѣе и неправильнѣе горитъ въ человѣкѣ свѣтъ разума, тѣмъ шире и могущественнѣе овладѣваютъ волею «законы необходимости»; въ животныхъ это видно: тамъ все опредѣляетъ законъ необходимости и ничего разумъ; тамъ воля совершаетъ лишь то, что требуется этими законами, на что толкаютъ ее эти законы; тамъ есть полное подчиненіе законамъ вещества (т.-е. *полное* до условной степени, по сравненію съ человѣкомъ).

И вотъ, въ началѣ своей исторіи, человѣческая воля также почти всецѣло подчинена законосообразнымъ процессамъ вещества: хочется ему ѣсть — онъ убиваетъ для этого ребенка; загорается похоть — онъ удовлетворяетъ ее съ сестрой, съ матерью, со скотомъ, съ чѣмъ угодно; и это совершенно со-

гласуется съ процессами вещества. Но по мѣрѣ того, какъ сознаніе просвѣтляется, разумъ крѣпнетъ, мысль пріучается работать связно, послѣдовательно — это сознаніе, этотъ разумъ, эта мысль, въ свою очередь, начинаютъ вліять на волю и направлять ее. И могутъ направлять до тѣхъ поръ, пока сами сообразны съ тѣмъ, что есть въ дѣйствительности (т.-е. не въ той суетящейся, безтолковой, пестрой дѣйствительности, которая изо дня въ день развертывается передъ нами, но въ той закономѣрной, разумной, ясной, въ которую проникаютъ великіе ученые, мудрецы и художники).

Такимъ образомъ, мнѣ дѣло представляется такъ. Воля — не свободна и не несвободна; ни одно, ни другое опредѣленіе не годятся здѣсь, или, лучше сказать, недостаточны. Но если сдѣлать уступку такой терминологіи и примириться съ ея недостаточностью и неопредѣленностью, то я скажу: да, воля несвободна. Съ одной стороны, она опредѣляется (сознательно и безсознательно для человѣка) законами вещества, причинности, детерминизма, съ другой стороны — разумомъ, который проявляетъ себя опять-таки въ законосообразныхъ и закономѣрныхъ формахъ мышленія. И послѣднее опредѣленіе, разумъ — настолько можетъ владычествовать надъ волею, что этого совершенно достаточно для блага человѣка: это мы опять-таки видимъ на примѣрѣ многихъ людей, и въ этомъ — утѣшеніе и выходъ изъ смуты.

Предвижу нѣкоторое возраженіе. Могутъ сказать: какъ же вы утверждаете, что разумъ управляетъ волею только въ тѣхъ предѣлахъ, покуда онъ самъ правильно отправляетъ свои функціи, когда доподлинно извѣстно, что онъ и тогда управляетъ волею, когда работа его завѣдомо неправильна, когда, напримѣръ, онъ заставляетъ человѣка сколько-то лѣтъ стоять на столбѣ, замуровываться въ пещеры, зарываться въ землю съ подвернутымъ къ гортани языкомъ, съ ушами и ртомъ, замазанными воскомъ, и т. д. и т. д.? — Отвѣчаю: все это не отъ разума, ибо разуму не свойственно ошибаться; все это отъ той шелухи безсознательнаго, отъ той стихійности вещества, отъ тѣхъ вліяній матеріи, которыя нѣкогда всецѣло владѣли человѣкомъ, какъ владѣютъ онѣ имъ и доселѣ, если

онъ находится въ состояніи бушмена или ново-гвинейца, какъ владѣютъ онѣ животными. Вся исторія человѣчества въ томъ и заключается, что онъ изъ вѣка въ вѣкъ освобождаетъ свою способность разумѣнія изъ этой шелухи матеріальнаго вещества, что онъ годъ отъ году выходитъ изъ тумановъ несознанной матеріи въ область свѣтлаго разума.

Я представляю себѣ, что стою на вершинѣ горы и вижу внизу сквозь дымку тумана невообразимую сумятицу исторіи...

Въ туманахъ — замки, пѣсенъ звуки,
Благоуханіе цвѣтовъ
И хохотъ, полный адской муки...
И будто гдѣ-то я затерянъ въ морѣ дальномъ —
Все тотъ же гулъ, все тотъ же плескъ валовъ,
Безъ смысла, безъ конца, не видно береговъ;
Иль будто грежу я во снѣ безъ пробужденья,
И длинный рядъ бѣсовъ мятется предо мной;
Фигуры дикія, тяжелаго томленья
И злобы полныя, враждуя межъ собой,
Въ безвыходной и безконечной схваткѣ
Волнуются, кричатъ и гибнутъ въ безпорядкѣ.
И такъ за годомъ годъ идетъ, за вѣкомъ вѣкъ,
И дышитъ произволъ, и гибнетъ человѣкъ.

Но вотъ въ этомъ хаосѣ страстей, преступленій, отчаянія, вражды, насилія, смѣха, слезъ, рыданій, крови, звуковъ оружія, проклятій; но вотъ въ сѣдой, смутно волнующейся пеленѣ тумана, въ которой происходитъ вся эта неистовая трагикомедія, — я вижу тамъ и сямъ яркія точки свѣта; и я вижу, что дальше, въ темь вѣковъ, эти точки свѣта очень рѣдки, едва замѣтны, и ближе сюда къ моей горѣ — онѣ чаще и замѣтнѣе. И я вижу, что свѣтъ вокругъ каждой точки сливается съ свѣтомъ другой точки, и такимъ образомъ, что ближе къ горѣ этотъ рядъ точекъ становится похожимъ на млечный путь. И затѣмъ я вижу, что тамъ, гдѣ свѣтлѣется, народъ идетъ въ лучшемъ порядкѣ: меньше криковъ, проклятій, крови, слезъ, меньше звука оружія и его зловѣщаго блеска... А тамъ, вдали, куда направленъ путь этого народа и куда клонится линія свѣтовыхъ точекъ, — тамъ словно солнце загорается и

развертывается несказанно свѣтлая даль. Эти точки суть — Сократы, Платоны, Христы, Будды, Галилеи, Ньютоны, и т. д. и т. д.

Зачѣмъ исторія такова, а не иная? Зачѣмъ она походитъ на домъ сумасшедшихъ? Зачѣмъ страданія и ненужныя муки? Однимъ словомъ, зачѣмъ Прометей прикованъ къ скалѣ и его терзаетъ коршунъ? — Я не знаю, ибо «пути Божіи неисповѣдимы». Я знаю только про себя и этимъ долженъ удовлетвориться, если не хочу безплодно и наивно бунтовать противъ Господа Бога.

Иначе я пока не понимаю, какъ опредѣляется воля.

Но довольно философіи, если можно назвать такъ тотъ ходъ мыслей, который я такъ, можетъ-быть, безтолково изложилъ здѣсь. Я это сдѣлалъ потому, что мнѣ интересно думать объ этомъ, а думаю я легче всего, когда пишу, а пишу охотнѣе всего — вамъ. Значитъ, вы и виноваты въ томъ, что получите такое, затруднительное для пониманія, письмо.

Охотно сознаюсь, я слишкомъ, слишкомъ мало знаю, и, наконецъ, самое устройство ума моего не отвѣчаетъ тѣмъ условіямъ, которыя необходимы для философскаго разсужденія. Я всю свою жизнь больше жилъ впечатлѣніями, нежели самостоятельной работой мысли; мнѣ легче вообразить, представить себѣ въ видѣ картины извѣстное положеніе вещей, нежели правильно, шагъ за шагомъ, обдумать его.

Тѣмъ не менѣе, возвращусь еще на минутку. Какимъ образомъ примирить получающійся изъ сопоставленія разума и матеріи дуализмъ, тотъ дуализмъ, который испоконъ вѣка мучилъ и умъ, и воображеніе людей, тотъ дуализмъ, который отразился во всѣхъ религіяхъ, во всѣхъ легендахъ, разсказывающихъ о возникновеніи міра? тотъ дуализмъ, который заставлялъ Эсхила подымать знамя бунта противъ Зевеса, и Ивана Карамазова — противъ Господа Бога? Прометей Эсхила укралъ у боговъ искру безсмертія, искру божественнаго разума, и передалъ ее людямъ, и боги приковали Прометея къ скалѣ «необходимости» — детерминизма, законосообразной матеріи. Для меня мучительно объ этомъ думать, ибо я не

вижу примиренія, ибо я не вижу, зачѣмъ столько жестокостей, столько изувѣрства, зла — зачѣмъ все это нужно Богу, въ рукахъ Котораго всегда было и есть и будетъ средство избавленія отъ всего этого — разумъ и любовь? Смерть я понимаю, потому что знаю, что «любовь выше смерти» и разумъ выше смерти, но зачѣмъ муки несказанныя, зачѣмъ возмущающая душу жестокость людей къ людямъ — это трудно понять. Двойственнаго начала въ твореніи быть не можетъ — это для меня такъ же ясно, какъ дважды два — четыре...

Но тогда откуда же эта непрестанная борьба двухъ началъ — добра и зла, Бога и дьявола, Ормудза и Аримана? Неужели тутъ и есть только одинъ исходъ:

Смиренье въ душу вложимъ
И въ ней затворимся, — безъ желчи, если можемъ.

Т.-е. не смущаться кажущимся безсмысліемъ исторіи и держаться лишь за то, что знаешь про себя.

Ну, довольно объ этомъ. Если вы думали объ этомъ — вы непремѣнно думали, — разскажите мнѣ.

Я уже сказалъ, что читалъ «Критику догматическаго богословія». Два тома почти окончилъ. Тягостное и утомительное чтеніе. Не подумайте, что я хотѣлъ сказать это о критикѣ, о мнѣніяхъ Льва Николаевича. О, я вполнѣ раздѣляю эти мнѣнія. И притомъ мнѣнія эти выражены блистательно, съ рѣдкой убѣдительностью, съ силою, съ страстью — даже, можетъ-быть, слишкомъ «съ страстью», но то, что разбирается, что критикуется, что возбуждаетъ въ критикѣ негодованіе — о, какъ тягостно и утомительно это читать! Я, крещеный въ православной вѣрѣ, въ сущности-то никогда не зналъ, въ чемъ состоятъ догматы этой вѣры, т.-е. слышалъ, что есть такіе, читалъ о нихъ въ Символѣ вѣры, но никогда серьезно объ этомъ не думалъ, и имѣлъ ихъ въ себѣ только механически, только въ памяти. Затѣмъ позднѣе, когда вѣра погасла подъ наплывомъ исключающихъ вѣру знаній, свѣдѣній и соображеній, мнѣ пришлось перелистывать «Догматическое Богословіе»: все тамъ читать было скучно, непереносно, но тамъ и сямъ

я прочиталъ съ тѣмъ любопытствомъ и съ тѣмъ невольнымъ изумленіемъ передъ..... человѣческою..... И вотъ я теперь встрѣтилъ человѣка, который не только что оспариваетъ Поприщиныхъ и доказываетъ имъ, что луна дѣлана вовсе не въ Гамбургѣ, но даже сердится на нихъ за то, что они увѣряютъ, что луна сдѣлана въ Гамбургѣ. Я отлично знаю подвигъ этого терпѣливаго и страстнаго человѣка: подвигъ заключается въ томъ, что онъ вооружился противъ сумасшедшихъ сильныхъ, соблазняющихъ, вносящихъ смуту и зло среди вѣрящихъ и подчиняющихся имъ людей. И это хорошо, что онъ дѣлаетъ это въ интересахъ вѣрующихъ людей. Но лично мнѣ нѣсколько утомительно смотрѣть на эту тягостную работу, слѣдить, какъ шагъ за шагомъ изъ пушки бьютъ по жалкому и гнилому плетню. Мнѣ думается, что все это наивное хитросплетеніе скорѣе могло бы послужить предметомъ комедіи во вкусѣ Аристофана, чѣмъ серьезнаго и страстнаго изслѣдованія. Мнѣ даже мерещится тема такой комедіи... Въ первомъ дѣйствіи я бы вывелъ трехъ боговъ, жестоко скучающихъ отъ своего бездѣлья, и вотъ они говорятъ: давайте сотворимъ по образу нашему и подобію, — и т. д. Что касается до «Исповѣди», «Евангелія», «Церкви и государства» — это для всѣхъ интересно и важно, особенно «Исповѣдь» и «Евангеліе». Тутъ авторъ доискивается законовъ разума, общихъ и обязательныхъ для всѣхъ. «Исповѣдь» же, кромѣ того, имѣетъ и глубокій психологическій интересъ — о чемъ, впрочемъ, не стоитъ и упоминать: такъ это обще-признано.

Хотѣлось бы еще поговорить съ вами, но нужно удержаться, потому что такія письма отнимаютъ много времени, и не столько процессомъ писанія, сколько тѣмъ, что мысли, этимъ письмомъ взволнованныя, заслоняютъ и отодвигаютъ на задній планъ тѣ мысли и картины, которыя мнѣ нужны для текущей работы. Я работаю весьма медлительно; тѣ подъемы духа, во время которыхъ пишется легко и съ наслажденіемъ (въ старину это называлось «вдохновеніемъ»), у меня не часты, и тѣмъ рѣже, чѣмъ я болѣе даю ходу мыслямъ, постороннимъ работѣ. Чувствую, что надо наложить на себя нѣкотораго рода эпитимью и писать меньше писемъ такихъ, какъ къ вамъ, т.-е.

надо перестать на время баловать себя — говорю баловать, потому что писать вамъ составляетъ для меня большое удовольствіе. За сцены Полушина еще не принимался: вотъ, думаю приняться, какъ кончу это письмо, хотя, съ другой стороны, и французскій языкъ — «La terre» Zola — влечетъ къ себѣ. Ахъ, выдержки нѣтъ, вотъ въ чемъ бѣда.

Да вѣдь и скучно съ выдержкой, какъ вы думаете?..

Я прочиталъ заключеніе «Критики догматич. богословія». Какая прелесть это заключеніе!

Ему же.

Неоконченное письмо отъ 19 августа 1888.

Я читалъ «Исповѣдь» Толстого очень давно, и вотъ теперь, только что перечитавши ее, спѣшу написать вамъ, дорогой Владимиръ Григорьевичъ, что я зря и наобумъ выразилъ удивленіе тому, что Толстой предпринялъ изслѣдованіе явнаго бреда и очевиднѣйшей безсмыслицы. Удивляться этому нечего, ибо въ «Исповѣди» весьма логично показано, какъ онъ былъ приведенъ къ такому изслѣдованію «Догматическаго богословія». Что касается до самой «Исповѣди», впечатлѣніе получается отъ нея потрясающее... Тѣмъ не менѣе, въ ходѣ мыслей писателя мѣстами чувствуется нѣкоторая натяжка, которую онъ, безъ сомнѣнія, не сознавалъ, когда писалъ. Во-первыхъ, странно то, что онъ, съ особенной заботливостью цитируя Шопенгауера, Будду, Экклезіаста, при каждомъ удобномъ случаѣ называя этихъ людей величайшими мудрецами человѣчества, т.-е. мудрецами въ области метафизики, совершенно игнорируетъ другой типъ мыслителей, Платона, Декарта, Спинозу, Гегеля. Между тѣмъ эти послѣдніе, въ свою очередь, могли бы дать отвѣты Л. Н—чу въ пору его мучительныхъ исканій Бога [1]), и отвѣты одинаково непохожіе какъ на отвѣты вышеназванныхъ пессимистовъ, такъ и на приведенные имъ отвѣты матеріалистической философіи. Нѣтъ сомнѣнія, что и ихъ отвѣты не совсѣмъ удовлетворили бы Толстого, ибо, утвер-

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

ждая существованіе Бога, они, тѣмъ не менѣе, не даютъ яснаго понятія объ отношеніи человѣка къ этому Богу (я говорю это *приблизительно* вѣрно, ибо знакомъ съ ними изъ вторыхъ и третьихъ рукъ, а самъ читалъ только «Методъ» Декарта, да кой-что Платона), но тогда, мнѣ думается, у него не было бы такихъ поводовъ къ истязанію себя. Ибо что онъ, въ концѣ-концовъ, нашелъ въ ученіи Христа? Узналъ ли онъ «зачѣмъ»? И «почему»? Онъ узналъ только то, что съ этимъ ученіемъ удобнѣе висѣть на помочахъ между двумя безднами (см. «Сонъ»), но почему онъ виситъ, зачѣмъ кому-то понадобилось помѣстить его въ такомъ мучительномъ положеніи,— это вѣдь опять-таки неизвѣстно. Я сначала думалъ, что онъ потому не упоминаетъ объ отвѣтахъ «идеалистической» философіи, что Кантъ совершенно разочаровалъ его въ этихъ отвѣтахъ, но, оказывается, нѣтъ, ибо когда онъ былъ въ лѣсу и думалъ о Богѣ, и когда ему пришла мысль, что, соглашаясь съ Кантомъ, что понятіе о Богѣ — категорическій императивъ, онъ все-таки можетъ найти Бога своимъ разсужденіемъ (откуда же появился этотъ императивъ?) — онъ призналъ тогда основу идеалистической философіи, т.-е. призналъ независимую силу разума. И съ тѣхъ поръ, какъ онъ призналъ это, мнѣ ужъ становится непонятнымъ, почему онъ пришелъ къ православію[1]). Несомнѣнно, въ православіи есть истина, такъ же, какъ и во всякой религіи, несомнѣнно, что эта истина выражается въ знакахъ, наиболѣе пригодныхъ для тѣхъ, кто въ эти знаки вѣруетъ, но я не понимаю, почему онъ, признавъ истину, призналъ и знаки, которые въ его глазахъ были безсмыслицей и ничѣмъ инымъ не могли быть.

Однимъ словомъ, мнѣ представляется, что онъ, отправившись прямою дорогою, ни съ того, ни съ сего сдѣлалъ большой крюкъ.

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

Ему же.

28 августа 1888. Хуторъ на Грязнушкѣ.

Я очень радъ, что вамъ понравились мои «Двѣ пары». Мнѣ думается, вы правильно резюмировали «смыслъ» повѣсти. Что же касается до вашего взгляда на отношеніе Марьи Павловны къ мужу, то я ихъ никакъ не могу раздѣлить. Мнѣ неловко защищать мои воззрѣнія на этотъ счетъ, потому что легко можетъ быть, что въ этой защитѣ я могу показаться адвокатомъ *лично* за самого себя. Потому я оставляю эту матерію; скажу только въ двухъ словахъ и по возможности отвлеченно: *нормальное, естественное, божеское* дѣло — бракъ неразрывный и чистый; это законъ; затѣмъ нарушенія этого закона могутъ быть или *большимъ несчастіемъ*, или *большимъ грѣхомъ*. Замѣтьте, я не сказалъ: могутъ быть чьими-нибудь *правами*, но или *несчастьемъ*, или *грѣхомъ*. Несчастьемъ я называю такое нарушеніе закона, когда этотъ законъ (отъ несовершенства людей, отъ ложности ихъ быта, образа жизни и т. п.) непосиленъ для людей, его принявшихъ; во *истину* непосиленъ, по *совѣсти* непосиленъ; когда изъ того, что они, во что бы то ни стало, рѣшаются не нарушать свой бракъ, получается сугубѣйшее зло, безъ сравненія великій соблазнъ, — и вотъ, борясь съ этимъ, сколько могутъ, они нарушаютъ законъ. Это я называю *несчастьемъ*. И когда законъ нарушается ради похоти, ради денегъ и т. п., я это называю грѣхомъ. Мнѣ думается, моя Марья Павловна несчастна, но не грѣшна. Вѣдь «раціональное животное», ея первый мужъ, рѣшительно умерщвлялъ ея живую душу, рѣ-

шительно превращалъ ее въ самку. Вѣдь тѣмъ, что она бросила его, она выразила тоску свою по душѣ пропадшей, по смыслу жизни, потерянному столь либерально. А вы хотите заставить ее мучиться тѣмъ, что она оставила случную конюшню, «раціональныя» приспособленія для половой жизни[1]). Если же она попала въ этомъ отношеніи изъ огня да въ полымя,— въ этомъ не ея вина. Мнѣ хотѣлось только показать, что умный и порядочный человѣкъ не можетъ быть счастливъ въ бракѣ, хотя бы заключенномъ при очень хорошихъ *внѣшнихъ* условіяхъ, если *отношенія къ людямъ мужа и жены не одинаковы*, если нѣтъ между ними полнаго единенія, т.-е. въ главномъ, въ существенномъ единенія.

Впрочемъ, слишкомъ довольно объ этомъ. Я знаю, что съ вами по этому дѣлу мы рѣшительно разныхъ мнѣній, и лучше не надо говорить.

Вашъ А. Эртель.

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

30 августа 1888.

... О Марьѣ Павловнѣ вы меня не поняли. Я не вмѣнялъ ей въ *грѣхъ* ея поступокъ. Такой поступокъ былъ бы грѣхомъ, напримѣръ, съ моей стороны, если бъ я такъ поступилъ; но не могъ быть грѣхомъ съ ея стороны. Я чувствую только, что «случная конюшня» не прекращается, а только усиливается тамъ, гдѣ женщина бросаетъ одного мужа изъ-за *личнаго* увлеченія другимъ человѣкомъ и его предполагаемыми, но не существующими «идеями». И сдѣлавъ такую ошибку, въ особенности *въ первый разъ*, я думаю и чувствую, что, разочаровавшись во второмъ самцѣ, *женственность* женщины должна заставить ее на первыхъ порахъ очень страдать и вспоминать перваго мужа и въ особенности прижитого ребенка съ сожалѣніемъ, что она ихъ покинула не ради того, что̀ одно могло бы служить оправданіемъ въ ея собственныхъ глазахъ.

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

Ему же.

7 сентября 1888. Хуторъ на Грязнушкѣ.

Я положительно «залпомъ» прочиталъ Терновскаго... И любопытно, и удивительно, что у насъ читалось это съ каѳедры, да еще въ духовной академіи. Впрочемъ, я сѣлъ написать вамъ эти нѣсколько строкъ вовсе не для того, чтобы восторгаться авторомъ. Книга хорошая, и это сказать за глаза достаточно. Но мнѣ хотѣлось передать вамъ тѣ мысли, которыя возникли у меня отъ чтенія книги Терновскаго. По-настоящему, и мыслямъ-то этимъ самое настоящее мѣсто въ дневникѣ, такъ онѣ безсистемны и отрывочны, но дневника я не веду и потому пишу вамъ.

Мнѣ сдѣлалось яснѣе, чѣмъ когда-либо, что никакое религіозно-нравственное ученіе, какъ бы оно ни было высоко и разумно, не достаточно для блага людей безъ союза съ наукой и искусствомъ. Вотъ былъ Христосъ и далъ именно такое высокое и разумное ученіе; посмотрите же, что съ этимъ ученіемъ сдѣлали люди, которые, по выраженію Гамлета, и башмаковъ еще не износили послѣ Его смерти. Надо вѣдь правду сказать: божественность Христа утверждена несомнѣнно самими очевидцами Христа (Іоанномъ, напримѣръ) и ужъ въ концѣ I вѣка пользовалась всеобщимъ довѣріемъ. Столь же быстро возникли вѣрованія въ искупленіе, въ догматъ Троицы, въ таинства евхаристіи и крещенія, — однимъ словомъ, не успѣлъ загорѣться огонь, какъ усерднѣйшіе ученики и почитатели устремились гасить его; и если не погасили до Константина, если живое и дѣйственное пламя ученія все-таки дѣлало свое дѣло,

соединяя въ любви и братствѣ огромное количество народа, то, конечно, благодаря гоненіямъ, благодаря казнямъ, тюрьмамъ, пыткамъ, поруганіямъ, въ которыхъ усердствовалъ старый міръ. Лишь только гоненія утихли, лишь только люди входили въ обычную норму жизни, такъ сейчасъ же погасало пламя ученія, и съ какимъ-то необыкновеннымъ рвеніемъ зачинались богословскіе споры «про то, чего не вѣдаетъ никто», «догматическія потасовки», церковное домостроительство, мощи, иконы, реликвіи, чудеса; зачиналась какая-то жизнь сумасшедшихъ, которую трудно даже и понять, если не смотрѣть на нее, какъ на жизнь сумасшедшихъ (вѣдь, право же, потасовки изъ-за filioque не что иное, какъ остро выраженная душевная болѣзнь). Отчего же такъ? Вѣдь въ сущности-то люди были какъ люди и ничуть не больнѣе нынѣшнихъ. А оттого, что христіанство съ первыхъ же своихъ временъ пренебрегло наукой и искусствомъ древняго міра, и плюнуло на нихъ, какъ на дѣла дьявола. Почему же оно плюнуло и подумало, что это дѣла дьявола? Потому что попало въ руки простецовъ, людей невѣжественныхъ и переполненныхъ предразсудками. Да, нѣтъ сомнѣнія, что великія нравственныя истины, возвѣщенныя Христомъ, съ наибольшей готовностью и горячностью усвоены были вначалѣ исключительно «простецами», и нѣтъ сомнѣнія, что это очень говоритъ за «простецовъ» и противъ «интеллигенціи» того времени. Но нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что «простецы» не смогли уберечь ученіе во всей его чистотѣ, и поневолѣ (потому что не могли) отказались отъ содѣйствія классической науки и искусства. Послѣдствія извѣстны: не только воинствующая, но и убивающая, проклинающая, покупающая, продающая церковь, и затѣмъ тьма среднихъ вѣковъ, истребленіе классической образованности, насильственный перерывъ преемственности знанія и искусства, тысяча лѣтъ всякаго зла, невѣжества, инквизиціи, крестовыхъ походовъ, процессовъ вѣдьмъ, истребленіе альбигойцевъ, мавровъ, перувіанцевъ. Между тѣмъ были и евангелія, и опредѣленія ап. Павла, что такое любовь, и великій завѣтъ ап. Іоанна: «любите другъ друга», и проповѣдь на горѣ. А людьми подвигало зло. Почему же? Только и только потому, что насильственно была

погублена классическая образованность, истреблены «идолы», разбиты Фидіасовы статуи, похоронены на сотни лѣтъ остатки отъ сочиненій ученыхъ и художниковъ античнаго міра. А все это случилось только потому, что христіанство вышло изъ среды хотя и глубоко нравственныхъ и искренно-сердечныхъ людей, и очень разумныхъ въ смыслѣ непосредственнаго, Богомъ отъ рожденія даннаго разума, но людей невѣжественныхъ и простыхъ. Вѣдь какъ тамъ ни говорите, а какъ-то смѣшно сравнивать, ну, хоть бы апостола Іоанна и эпикурейца Лукіана, — смѣшно сравнивать въ смыслѣ знанія: Іоаннъ написалъ «откровеніе» — чепуху и бредъ, — и во всякомъ случаѣ искренно вѣрилъ въ чудеса и во всякаго рода нелѣпости..... между тѣмъ какъ Лукіанъ въ своемъ «наставленіи, какъ писать исторію» стоитъ на точкѣ зрѣнія едва ли не современнаго, очень образованнаго человѣка. Вы скажете: тѣмъ не менѣе, истина была на сторонѣ Іоанна. О, я съ этимъ совсѣмъ, совсѣмъ не спорю, я только хочу сказать, что слишкомъ жаль, что тысячелѣтіе цѣлое изъ бреда и чепухи Іоанна вытекало зло и что книги Лукіана все это тысячелѣтіе лежали неизвѣстно гдѣ, похороненныя отъ свѣта и людей; потому что если бы не случилось этого съ книгами Лукіана, шелуха и всякая нелѣпица несомнѣнно спали бы съ ученія Іоанна гораздо раньше, чѣмъ спадываютъ, и, пожалуй, не случилось бы того прискорбнаго обстоятельства, которое происходитъ теперь съ этимъ отпаденіемъ шелухи: вмѣстѣ съ шелухою отпадаетъ и ядро, ибо немного вѣдь найдешь охотниковъ, чтобы ломать зубы на такой твердой и корявой стѣнкѣ, и очень много охотниковъ выброситъ скорлупу совсѣмъ съ ядромъ. Вы понимаете, конечно, что подъ видомъ апостола и эпикурейца я беру вѣру въ смѣшеніи съ предразсудками и знаніе, соединенное съ метафизикой того времени.

Мнѣ дѣло представляется такъ. Вотъ Христосъ пришелъ не 1800 лѣтъ тому назадъ, а въ царствованіе нашего незабвеннаго Николая, и не въ Іудеѣ, а у насъ, въ Россійской имперіи. И вотъ на его призывъ, на его проповѣдь о блаженствахъ, съ горячностью откликнулись: замученные кантонисты, задавленные крѣпостные люди, засѣченные солдаты, всѣ клей-

меные, поротые, битые кнутомъ, палками, фухтелями, кулаками, — острожники, каторжники — униженные и оскорбленные. Въ высокомъ подъемѣ сладостнаго и умилительнаго чувства, въ надеждѣ наступающаго царства Божія, — всѣ эти поруганные и оплеванные люди станутъ жить, какъ братья другъ съ другомъ, прощать врагамъ, любить ненавидящихъ ихъ, не знать ни твоего, ни моего, — однимъ словомъ, станутъ жить и вѣровать, какъ первые христіане. Тѣмъ временемъ Христа схватили, осудили, повѣсили. Митрополитъ Филаретъ всенепремѣнно составилъ подробнѣйшій актъ, гр. Блудовъ съ Іаковомъ Ростовцевымъ умыли руки, гр. Алексѣй Орловъ съ Бенкендорфомъ и Клейнмихелемъ свили веревку, кн. Меншиковъ сочинилъ кощунственный анекдотъ на потѣху двора. Однимъ словомъ, все совершилось, какъ слѣдуетъ, и какъ непремѣнно должно было случиться. И вотъ апостолы убитаго Христа — мужички въ родѣ Сютаева, да два-три полуобразованныхъ человѣка, нахватавшихся верхушекъ образованности, читавшихъ съ пятаго на десятое Гегеля, Декарта, Шопенгауера — люди на манеръ Павла и Іоанна (тотъ, что на манеръ Павла, непремѣнно со 2-го, а то и съ 1-го курса юридическаго факультета) разносятъ «благую вѣсть». Все это крупные и очень умные люди по своей нравственной цѣлости, по *прирожденному* уму, но... «простецы». Отрицая «міръ», они отрицаютъ съ тѣмъ вмѣстѣ и науку міра, и его искусство; все сводятъ къ нравственной жизни, къ тому, чтобы жить по простотѣ и по истинѣ, которую преподалъ Христосъ. И такъ какъ «простецовъ» больше, такъ какъ непремѣнно больше униженныхъ и оскорбленныхъ, то христіанство быстро растетъ въ Россіи. Наконецъ становится преобладающимъ, и вотъ оно беретъ силу и... непремѣнно попадаетъ въ руки какого-нибудь . . . . . въ родѣ Константина Равноапостольнаго, или Наполеона I, или Бисмарка — все равно. Я говорю потому — *непремѣнно* попадаетъ, что иначе не можетъ и быть, когда люди съ омерзѣніемъ отвернулись отъ науки и искусства, когда они водятся только ненадежнымъ подъемомъ чувства и предразсудками. А они отвернулись. Университеты разогнаны, галлереи сожжены, Менделѣевы, Бутлеровы, Тимирязевы, Кавелины, Тургеневы, Чер-

нышевскіе, Писемскіе, Салтыковы разогнаны, заточены, сосланы; можетъ-быть, истреблены и книги въ гомерическомъ количествѣ... однимъ словомъ, преемственность знанія и искусства прекращена; все должно вылупиться вновь изъ дикаго и непосредственнаго зародыша. Думаете ли вы, что отъ такого положенія дѣлъ благо людей увеличится?

Точь въ точь такое совершилось 1.400 лѣтъ тому назадъ, и мы всѣ ясно видимъ, что благой *нравственный* законъ споспѣшествовалъ тысячелѣтнему мраку и ужасу, потому только, что презрѣлъ союзомъ съ образованностью. Ибо если бы онъ не презрѣлъ, развѣ мыслимы были бы вселенскіе соборы, мощи, чудеса, крестовые походы, гоненія, деспотизмъ церкви, задушавшій всякую свободу въ сферѣ мысли?

Я, конечно, дѣлаю эти предположенія вовсе не затѣмъ, чтобы узнать: «какой толщины должна быть скорлупа, если бы слоны рожались въ яйцѣ», — я вовсе не хочу вдаваться въ философію Кифы Мокіевича—я хочу только нагляднѣе и, такъ сказать, аляповатѣе выставить свою мысль: нравственное ученіе, какъ бы оно ни было высоко, слишкомъ недостаточно для блага людей безъ знанія и искусства. Согласенъ, что нравственное ученіе въ ужасно рѣдкихъ, въ какихъ-нибудь феноменальныхъ случаяхъ ведетъ *какого-нибудь* одного человѣка ко благу и безъ пособія науки и искусства: вспоминаю Акима въ драмѣ Толстого; согласенъ, что такое нравственное ученіе въ эпоху труднаго первоначальнаго устроительства, въ эпоху гоненій и преслѣдованій, затѣмъ, *можетъ-быть*, въ эпоху чрезвычайныхъ физическихъ бѣдствій, и безъ помощи науки и искусства можетъ вести ко благу цѣлыя общины, тысячи, даже сотни тысячъ людей. Но при нормальномъ порядкѣ жизни, при томъ порядкѣ, который долженъ быть, высокіе подъемы чувства вездѣ и всегда ослабляются, и, если нравственное ученіе не имѣетъ у себя настражѣ науки и искусства, наслоеніе суевѣрій, предразсудковъ, невѣжества быстро покрываетъ его, и до такой даже степени, что оно едва замѣтно. Такъ, по крайней мѣрѣ, это случилось съ ученіями Будды, Конфуція, Христа и даже Магомета.

Я знаю, что вы до сихъ поръ соглашаетесь со мной, ибо не даромъ же вы издаете и несомнѣнныя произведенія искусства и популярныя научныя книжки [1]).

Но я пойду дальше, и въ этомъ знаю, что мы не согласимся съ вами. Но пусть. Я пишу къ вамъ, точно заношу въ дневникъ то, о чемъ упорно думается.

Что если бы всѣ люди перестали лгать?

Что если бы всѣ люди перестали убивать другъ друга?

Что если бы всѣ люди стали любить другъ друга? Помѣшало ли бы это чему-нибудь? Повредило бы это чему-нибудь? Погасило бы это что-нибудь очень важное и нужное для людей?

Нѣтъ.

Ибо это было бы согласно съ добромъ, съ красотою и съ истиною.

Торжествовалъ бы нравственный законъ.

Безпрепятственно и еще съ большимъ успѣхомъ преуспѣвала бы наука.

Безпрепятственно и съ гораздо большимъ содержаніемъ развивалось бы искусство.

Отсюда для меня ясно: нужно не лгать, не убивать, любить.

Ибо это не противорѣчитъ ни моему благу, ни благу всѣхъ людей.

Затѣмъ другой рядъ вопросовъ.

Что если всѣ люди откажутся отъ собственности?

Что если всѣ люди сразу и безповоротно отринутъ раздѣленіе труда?

Что если всѣ люди бросятъ города и станутъ жить «по-Божьи», по идеалу Ильяса?

Что если всѣ люди согласятся упразднить государственность и ея формы, — охрану закономъ бѣднаго, слабаго, больного?

Помѣшало бы это чему-нибудь? Повредило бы это чему-нибудь? Погасило бы что-нибудь очень важное и необходимое для людей?

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

Да.

Ибо, согласуясь съ объективнымъ нравственнымъ закономъ, это рѣшительно не согласуется съ тѣмъ, безъ чего мертвъ и холоденъ нравственный законъ, потому что: безъ досуга нѣтъ ни науки, ни искусства, а досуга нѣтъ безъ собственности. По крайней мѣрѣ, при условіяхъ той исторической дѣйствительности, о которой идетъ рѣчь.

Безъ раздѣленія труда невозможны ни наука, ни искусство, опять-таки въ современныхъ условіяхъ науки и искусства.

Безъ городовъ и по Ильясову типу «мерзость запустѣнія» возникнетъ въ странѣ. (Это — парадоксъ, но я бы могъ развить это и не въ парадоксальной формѣ.)

Безъ государственности и ея формъ будетъ то, что Гоббсъ называлъ «Homo homini lupus», и сильный пожретъ слабаго.

Отсюда для меня ясно:

Не отказываться отъ собственности.

Не отрицать раздѣленіе труда.

Не жить по Ильясу.

Не бѣжать отъ государственности.

Потому что, если бы я все это продѣлалъ, то это, можетъ-быть, и составило бы мое личное благо, но въ ущербъ благу другихъ людей. Однако, не отказываясь отъ этихъ устоевъ нынѣшней цивилизаціи — отъ государственности, собственности и раздѣленія труда, не отказываясь потому, что знаю, что на этихъ устояхъ держатся необходимыя для блага человѣчества наука и искусство, — я не могу не помнить, что это не согласно съ требованіями нравственнаго закона, что *лучше* безъ собственности, безъ раздѣленія труда и безъ государственности, что безъ этихъ преградъ *легче* любить и говорить правду и не убивать. И вотъ я, по мѣрѣ моихъ силъ, буду ослаблять эти противонравственные институты, буду стремиться къ тому, чтобы наука и искусство не опирались бы на нихъ, а опирались бы на нѣчто другое. Приведу примѣры.

Что дѣлаютъ въ университетѣ?.. Читаютъ молодежи, въ какомъ состояніи обрѣтается та или иная наука, въ чемъ она состоитъ, какими средствами владѣетъ, чему и на основаніи

чего учитъ; затѣмъ, кромѣ этихъ чтеній, дѣлаютъ и показываютъ опыты трупосѣченія, демонстрируютъ больныхъ въ клиникахъ и т. д.

По существу все это есть добро и нужное для блага людей. Но такъ какъ университетъ содержится на счетъ государства, такъ какъ живы въ его устройствѣ многіе предразсудки стараго времени, то здѣсь и много зла: экзамены, дипломы, чины, несвободная, но вмѣстѣ съ тѣмъ обязательная наука, развращеніе профессоровъ наградами, повышеніями и т. д. и т. д.

И такъ какъ я не въ силахъ сразу пойти и уничтожить это зло, то-есть то, что университеты существуютъ въ условіяхъ государственности, собственности и раздѣленія труда, я буду, по мѣрѣ силъ и возможности, стараться о томъ, чтобы скорѣе осуществилась мысль «вольнаго университета», ну, хоть того, о которомъ въ 60-хъ годахъ проектировалъ Костомаровъ.

Въ другомъ, въ третьемъ, въ четвертомъ случаѣ я буду точно такъ же стараться о томъ, чтобы колебать въ сознаніи людей эти «устои цивилизаціи» и въ своей частной жизни, елико возможно, болѣе находить себѣ опору въ другомъ и, елико возможно, менѣе находить опору въ собственности, въ раздѣленіи труда и въ государственности. Однимъ словомъ, я буду сообразоваться здѣсь не съ своимъ личнымъ благомъ, а съ благомъ людей, и буду помнить, что, какъ бы ни возсіялъ во мнѣ нравственный законъ, но если я допущу погибнуть наукѣ и искусству, гнушаясь ихъ современной постановкой, то всегда можетъ явиться какой-нибудь Аѳанасій Александрійскій, который изъ моего возсіянія сдѣлаетъ на пагубу людей какую-нибудь неудобомыслимую чепуху.....

Не умѣя сохранять картофель, плоды и цвѣты, необходимые для продолженія и для прелести существованія, люди многими вѣками пришли къ тому, что выстроили дорогія оранжереи и теплицы и стали растить и сохранять въ оранжереяхъ и теплицахъ всѣ эти необходимо нужныя имъ и драгоцѣнныя для нихъ растенія. И вотъ я вижу, что это стоитъ огромнаго труда; что гораздо проще разсадить растенія каждому

на свой огородъ; что теперь для топки, для садовниковъ, на стекла, на кадки, на уходъ уходитъ пропасть силъ, люди благодаря этому не доѣдаютъ и не досыпаютъ, и вмѣстѣ съ этимъ почти и не видятъ и не ѣдятъ то, что съ такой для себя потерей лелѣютъ. И я не стану ломать оранжереи и теплицы, потому что, если будутъ онѣ сломаны, неоткуда будетъ взять ростковъ, сѣмянъ и отводковъ, а я и словомъ, и дѣломъ стану проводить въ сознаніе людей ту мысль, что лучше разсадить по огородамъ и не тратиться на дорогія теплицы. Потому что знаю, какъ было въ исторіи время, когда разрушили теплицы, погубили сѣмена, ростки и отводки и вывели на огородахъ крапиву и чертополохъ.

Разумѣется, когда я думаю обо всемъ этомъ, я ни минуты не забываю одной неоспоримой, но иногда плохо сознаваемой истины: люди не одинаковы, люди не ангелы, люди есть результатъ наслѣдственныхъ пороковъ и добродѣтелей, болѣзней и здоровья. И я беру ихъ всѣхъ вмѣстѣ, когда воображаю, что вотъ упразднена собственность, упразднена государственность, нѣтъ больше раздѣленія труда: тутъ и болѣзненно порочные люди, и хищники по самой натурѣ своей, и люди съ закостенѣлыми предразсудками... Что это подымется за бойня, за грызня, какое будетъ пиршество зоологическихъ инстинктовъ и страстей, и только оттого, что согласно требованіямъ нравственнаго закона будутъ уничтожены тѣ нормы, которыя, худо ли, хорошо ли, но до извѣстной степени нивеллируютъ страсти и инстинкты, и худо ли, хорошо ли, даютъ почву наукѣ и искусству.

Вы скажете, что вѣдь этого никогда не можетъ быть, что сразу возьмутъ да и упразднятъ эти нормы и дисциплины. Вѣрно. Но мнѣ приходитъ въ голову такое соображеніе: правиленъ ли такой ходъ мыслей, который, если бы осуществился сразу и во всемъ мірѣ, причинилъ бы несомнѣнное зло. О томъ, что слѣдуетъ любить другъ друга, не лгать, не убивать, я знаю, что это правильный ходъ мыслей, потому что зла отъ него не можетъ быть ни при какихъ условіяхъ, но чтобы не участвовать въ государственности, я не знаю, будетъ ли это правильно.

Вы скажете, что нельзя любить, будучи собственникомъ, участвуя въ отправленіяхъ государственности, имѣя у себя людей на послугахъ во имя раздѣленія труда. Я съ этимъ не соглашусь, я скажу, что, дѣйствительно, въ этихъ условіяхъ нельзя любить безразсудно, какъ иногда любитъ мать своего ребенка, но *съ разумомъ* можно любить. Любить съ разумомъ, это значитъ любить не только того человѣка, съ кѣмъ въ данную минуту имѣешь дѣло, но и всѣхъ людей, которыхъ въ данную минуту и не имѣешь передъ глазами. Положимъ, я Менделѣевъ; у меня необходимая для моихъ ученыхъ работъ лабораторія, которая стоитъ добрыхъ 5.000 рублей; если я неразумно люблю людей, я при каждой встрѣчѣ съ человѣкомъ, который нуждается въ чемъ-нибудь, буду продавать свои тигли, реторты, горны; такимъ образомъ въ годъ, два, три я лишусь лабораторіи, мнѣ негдѣ работать, все разошлось на различныя нужды людей, нужды временныя, а между тѣмъ тѣ же люди лишились, можетъ-быть, весьма важныхъ открытій въ области химіи, то-есть осталась неудовлетворенною ихъ *вѣчная* нужда. О, я знаю, что есть въ моей аналогіи нѣчто, съ чѣмъ никакъ не можетъ помириться сердце; я знаю, что, можетъ-быть, Менделѣевъ въ двадцать тысячъ разъ выигралъ бы въ моихъ глазахъ, если бы продалъ свои лабораторіи и на эти деньги накормилъ бы голодныхъ. Но, другъ мой, сердце часто бываетъ плохой судья безъ руководительства разума. Хирургъ дѣлаетъ жестокую операцію для спасенія жизни больного. Сердце мое возмущается этой жестокостью, а между тѣмъ въ данномъ случаѣ эта жестокость есть благо.

Однимъ словомъ, и мое благо, и благо людей зависятъ не отъ одного только нравственнаго закона, а и отъ условій исторической необходимости. Если я не хочу вступать въ соглашеніе съ этой исторической необходимостью, если я хочу во всей чистотѣ проводить въ своей личной жизни требованія нравственнаго закона, я лично могу быть счастливымъ, но съ непремѣннымъ условіемъ удалиться въ Ѳиваиду и не думать о томъ, что будетъ на свѣтѣ завтра. Это, можетъ-быть, мудрость, но граничащая съ жестокимъ эгоизмомъ; это мудрость затворниковъ, пустынниковъ, столпниковъ. Иная, и на мой взглядъ

несравненно важнѣйшая мудрость — провести лежащій въ душѣ моей нравственный законъ въ *условіяхъ той исторической необходимости*, среди которой я живу.

Затѣмъ основа и центръ всего нравственнаго закона — *любите другъ друга*. Отсюда слѣдующія посылки: не судись, не убивай, не лги, не прелюбодѣйствуй, не сердись и т. д. Смѣю думать, что однѣ изъ этихъ посылокъ болѣе, другія менѣе важны, однѣ рѣшительно необходимы для соблюденія первоначальной заповѣди «не убивай, не лги», другія только дѣлаютъ эту заповѣдь удобопроводимѣе. Однѣ прямо обязательны, другія обязательны настолько, насколько возможны въ средѣ исторической необходимости.

И скажу. Жить по Эпиктету, освобождаться отъ всего до тѣхъ поръ только разумно, пока я освобождаюсь, не противорѣча благу людей. Я, напримѣръ, освобожусь отъ собственности, освобожусь отъ возможности покупать книги, поѣхать туда и сюда, чтобы видѣть жизнь людей въ ея разнообразнѣйшихъ проявленіяхъ, чтобы научиться и узнать многое, чему я не могу научиться и чего не могу узнать, сидя у себя, на Грязнушѣ; освобожусь отъ возможности купить красокъ, полотна, устроить мастерскую, купить костюмы, поѣхать «на этюды», посмотрѣть галлереи въ Дрезденѣ, въ Москвѣ, въ Римѣ; освобожусь отъ возможности имѣть лабораторіи, дѣлать опыты, путешествовать, купить инструменты, телескопъ и т. д. И вотъ, въ первомъ случаѣ я ужъ не могу быть полезнымъ для людей писателемъ, во второмъ — художникомъ, въ третьемъ — ученымъ. Не спорю, я, *лично*, можетъ-быть, и буду испытывать благо, отрѣшившись отъ всѣхъ этихъ возможностей расширять и воспитывать мой талантъ; буду десять тысячъ разъ подъ рядъ описывать Грязнушу, крестьянъ, около нея живущихъ, буду рисовать виды Грязнуши и дѣлать этюды съ крестьянскихъ стариковъ и ребятишекъ, буду, подобно древнимъ, сидѣть на крышѣ и простыми глазами наблюдать звѣзды и дѣлать простѣйшіе опыты; этимъ я удовлетворю присутствующую во мнѣ потребность узнавать природу, писать, рисовать. Но люди-то, люди-то что выиграютъ отъ этого моего освобожденія?

Я сказалъ только о художникахъ и ученыхъ, потому что тутъ рѣзче бросается въ глаза непримѣнимость Эпиктета, но затѣмъ освобожденіе отъ собственности не ученыхъ и не художниковъ настолько вредно, насколько собственность обезпечиваетъ прочныя и никогда не умирающія блага человѣчества. И настолько желательно это освобожденіе, насколько собственность служитъ похотямъ владѣльца. Я думаю, что со временемъ такъ и будетъ: будетъ государственная или общественная собственность, и будутъ пользоваться ею тѣ, кому она нужна для поддержанія существованія своего и своей семьи; все излишнее отъ этого будетъ идти на общее благо — на всѣ тѣ возможности быть хорошимъ писателемъ, художникомъ, музыкантомъ, ученымъ, докторомъ, о которыхъ я говорилъ выше. Но это долгая пѣсня, а пока осторожнѣе надо обращаться съ Эпиктетомъ и со Христомъ, дабы не согрѣшить и не ввергнуться въ тьму среднихъ вѣковъ.

Если бы было доказано, что одинъ нравственный законъ достаточенъ для блага людей, если бы было доказано, что съ нимъ не нужно ни Галилеевъ, ни Ньютоновъ, ни Дэви, ни Лавуазье, тогда смѣло можно было бы плюнуть на все то, что мѣшаетъ полному и всестороннему осуществленію нравственнаго закона. Но это не такъ. Только потому, что не было науки, не извѣстно было устройство вселенной, не извѣстно было, отчего гремитъ и убиваетъ громъ и блещетъ молнія, только поэтому ученіе Христа обременено было тѣмъ..... который теперь разрываетъ и раскидываетъ Левъ Николаевичъ. Вѣдь не то что образованные люди, но даже гимназисты шестого класса засмѣяли бы теперь разсужденія св. Аѳанасія о Троицѣ или постановленія вселенскихъ соборовъ. А тогда если и оспаривали Аѳанасія, то въ томъ только отношеніи, что свойства Троицы, или свойства Отца, или Сына, или Духа, не совсѣмъ таковы, какъ утверждаетъ Аѳанасій и за нимъ соборъ, а вотъ какія свойства.

Одна бѣда: наука и искусство, осуществляясь, требуютъ денегъ, между тѣмъ нравственный законъ не требуетъ денегъ при своемъ осуществленіи. Подъ деньгами я разумѣю ту необходимость нѣкотораго «накопленія», безъ которой немыслимы

ни наука, ни искусство. Со временемъ, можетъ-быть, все общество будетъ давать на это часть своего накопленія, теперь же это «накопленіе» составляется историческимъ ходомъ вещей, и надо съ этимъ до извѣстной степени мириться. А до какой степени — пусть указываютъ разумъ и совѣсть каждаго, но непремѣнно до такой, чтобы «накопленіе» не исчезало и преемственность искусства и знанія не нарушалась бы.

Нечего и говорить, что, съ другой стороны, искусство и наука безъ нравственнаго закона — мѣдь звенящая и кимвалъ бряцающій, и какіе-нибудь Маккарты и Ферри стòятъ Тертулліановъ, Іеронимовъ и Аѳанасіевъ, а Бисмаркъ и Кавуръ смѣло потягаются во злѣ съ Константинами и Юстиніанами. Одинъ мой знакомый говаривалъ: «Истина, добро и красота въ ихъ цѣлостности и неразрываемости суть Богъ, коимъ живы люди, но и къ истинѣ, и къ добру, и къ красотѣ приставлено по дьяволу, и отсюда лжеистина, лжедобро и лжекрасота, и сихъ духовъ зла нужно остерегаться, ибо въ нихъ великій соблазнъ и великое искушеніе». Я думаю, что тутъ есть правда.

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

17 сентября 1888.

... На ваше письмо по поводу сочиненія Терновскаго мнѣ многое хотѣлось бы вамъ отвѣтить, но не имѣю возможности. А потому постараюсь конспектно намѣтить то, что хотѣлъ бы сказать вамъ. Если будетъ неясно что-нибудь — при свиданіи скажу полнѣе; а до тѣхъ поръ прошу васъ только объ одномъ — толкуйте неясное въ моихъ словахъ въ ту сторону, которая *ближе* къ вашимъ собственнымъ взглядамъ. Это и будетъ ближе къ тому, что я думаю, такъ какъ во всемъ, что вы говорите, я больше согласенъ съ вами, чѣмъ несогласенъ. Вообще, всѣ выражаемыя вами мысли производятъ на меня впечатлѣніе мозаики, въ которой отдѣльные камушки я и съ своей стороны признаю не только справедливыми, но и сродными мнѣ. Общій же узоръ, составляемый вами изъ нихъ, не то, что противорѣчитъ моимъ убѣжденіямъ, но представляется мнѣ недостаточно опредѣленнымъ и цѣль-

нымъ, послѣдовательнымъ. Быть-можетъ, это оттого, что я по своему характеру требую отъ себя категоричности и доведенія мысли до ея послѣднихъ логическихъ выводовъ, между тѣмъ какъ вы, также по вашему характеру, предпочитаете не опредѣлять съ педантичною точностью послѣднюю, слишкомъ далеко отстоящую точку. Однако вотъ вамъ конспектъ моихъ не то возраженій, не то оговорокъ къ выраженнымъ вами мыслямъ:

I. Говоря о религіозно-нравственномъ, или, вѣрнѣе, христіанскомъ ученіи, я всегда разумѣю извѣстное отношеніе къ жизни въ самомъ полномъ и широкомъ смыслѣ этого слова, и потому не понимаю, какъ можно отдѣлять христіанское ученье отъ, напр., науки и искусства. Вѣдь ученіе, подобное ученію Христа, невмѣстимо въ какую-нибудь «рубрику» наподобіе науки, искусства, индустріи и т. п. Оно даетъ извѣстное направленіе, извѣстный тонъ *всей* жизни и *всему* житейскому, которымъ оно пользуется, какъ орудіемъ. И потому ваше сопоставленіе христіанства съ наукой и искусствомъ или Христа съ Ньютономъ и Шекспиромъ для меня такъ же непонятно, какъ было бы страннымъ сопоставленіе, напр., сельскаго хозяйства съ агрономіею и скотоводствомъ. Первое понятіе родовое, совмѣщающее въ себѣ остальныя два видовыя понятія.

II. Ученіе Христа, Самого Христа, никогда не отрицало и не могло отрицать ни науки въ истинномъ смыслѣ слова, ни искусства. Тотъ, кто умѣлъ понять и оцѣнить поступокъ грѣшницы, повидимому, безразсудно, но изъ чистаго, святого побужденія разбившей бутылку дорогого елея, тому, безъ всякаго для меня сомнѣнія, была доступна и сродна вся область эстетики. Да и изъ жизни и словъ Христа ясно видно, что Онъ былъ не только человѣкъ дѣла въ полномъ смыслѣ, но и великій художникъ въ душѣ.

III. Нельзя жалѣть о томъ, что въ первые вѣка ученіе Христа было понято такъ, а не иначе. Оно было понято такъ, какъ только могли понимать его люди того времени. Если они при ихъ тогдашнемъ развитіи могли бы понять его вполнѣ, то это только значило бы, что ученіе это не общечеловѣческое ученіе, которое съ вѣками умственнаго прогресса человѣчества будетъ постоянно пониматься глубже и глубже, а узкое и частное ученіе, годное только для одной ступени развитія человѣчества.

IV. Не христіанство возникало отъ гоненій, а гоненія отъ христіанства. Гоненія всегда утихали при выцвѣтаніи христіанства. Примѣръ: при Константинѣ, когда христіанство отрек-

лось отъ самого себя — и гоненія моментально прекратились; а потомъ, какъ и въ наше время, оно начинается всегда *вслѣдствіе* подъема въ людяхъ христіанскихъ началъ. Самый современный примѣръ: лишь только у насъ въ народѣ крестьянинъ начинаетъ серьезно и искренно проводить въ своей жизни ученіе Христа — возникаютъ противъ него гоненія.

V. Вражда между наукою и искусствомъ и христіанствомъ была вражда съ *ложнымъ* христіанствомъ, и компрометируетъ одинаково ту и другую сторону, а не одну — ложнохристіанскую. Побитію статуй *предшествовало* убіеніе и истязаніе христіанъ. Если первые неразвитые христіане были слишкомъ глупы, чтобы понять мысль Христа въ ея чистотѣ, то вѣдь и представители тогдашней культуры не были достаточно умны, чтобы пополнить этотъ пробѣлъ. Первые, по крайней мѣрѣ, поняли и осуществили то, что могли, изъ ученія Христа, хотя и исказили его; послѣдніе же вовсе не сумѣли оцѣнить мысли Христа, несмотря на то, что, какъ болѣе образованнымъ людямъ, имъ съ вашей точки зрѣнія легче было понять самую суть этого ученія и предохранить ее отъ суевѣрныхъ наслоеній. И въ наше время, если мысль Христа возрождается въ большей чистотѣ, то кто принимаетъ большее участіе въ этомъ святомъ дѣлѣ — люди ли науки или темные крестьяне-духоборцы и остальные сектанты-раціоналисты, которыми руководитъ не знаніе, а чувство?

VI. Теперь достовѣрно дознано, что Іоаннъ никогда не писалъ откровенія. Вѣроятнѣе всего, что оно было написано при гоненіяхъ Нерона для ободренія погибавшихъ христіанъ, и всѣ аллегоріи относятся именно до этого гоненія.

VII. Охотники выбрасывать со скорлупкою и ядро ученія Христа всегда были и суть представители науки такъ называемой. Теперь ядро не выбрасывается, но изслѣдуется и возстановляется, но опять-таки *не* людьми науки.

VIII. Наука и искусство одно время процвѣтали подъ крыломъ церкви, напр., въ средніе вѣка и въ древней русской исторіи.

IX. Дѣйствительно, собственность и государство можно признавать при любви къ ближнему и непризнаніи убійства только въ томъ случаѣ, если закрывать глаза на истинныя основы собственности и государства.

X. Чего же бояться, что при ослабленіи государства сильный станетъ пожирать слабаго, когда мы повсемѣстно видимъ, что это пожираніе слабаго сильнымъ процвѣтаетъ именно при

государственной формѣ, не исключая и самыя совершенныя формы, конституціонныя и республиканскія?

XI. Въ дѣйствительномъ университетѣ, а не идеальномъ, читается то, что приказываетъ правительство. Университетъ сейчасъ возможенъ только на основаніи обиранія массы; и университетъ не можетъ себя отрицать, — отрицать то, на чемъ онъ держится, а потому онъ оправдываетъ грабежъ.

XII. Въ настоящее время отсутствіе университетовъ и академій послужило бы не упадку, а возрожденію науки и искусства. Слабый примѣръ: кружокъ передвижниковъ.

XIII. Народъ и безъ ложной науки умѣетъ воздѣлывать картофель и хлѣбъ и кормитъ всѣхъ образованныхъ людей.

XIV. Нравственный законъ не требуетъ внезапнаго уничтоженія чего бы то ни было.

XV. Я съ вами согласенъ относительно разумной любви и въ подтвержденіе этого шлю вамъ выписку изъ моихъ «Бесѣдъ съ самимъ собою», которыя я отъ времени до времени записываю. Но вообще я замѣчалъ, что руководитъ-то не разумъ сердцемъ, а наоборотъ: что человѣкъ *хочетъ* себѣ доказать, то онъ и доказываетъ.

XVI. Идти наперекоръ исторической необходимости я физически *не могу:* она мною владѣетъ, и я весь — ея результатъ. Она не была бы необходимостью, если бъ ее можно было обходить; и потому я считаю весьма празднымъ занятіемъ изученіе исторической необходимости, которое разныхъ людей постоянно приводитъ къ противоположнымъ выводамъ. То, что есть, во мнѣ ли, во всемъ ли окружающемъ, и есть несомнѣнный результатъ исторической необходимости.

XVII. Во многомъ, что вы говорите, какъ вы думаете въ пользу науки и искусства, вамъ приходится расходиться съ тѣмъ, въ чемъ между собою согласны мудрѣйшіе и просвѣщеннѣйшіе представители истиннаго просвѣщенія, какъ, напр., Эпиктетъ, Сократъ, Будда, Паскаль и др.

XVIII. Слова вашего знакомаго, приведенныя вами въ заключеніе вашего письма, резюмируютъ и мое отношеніе къ этому вопросу, что опять доказываетъ, что мы болѣе согласны, чѣмъ вамъ кажется.

В. Г. Черткову.

21 сентября 1888, ст. Графская, Коз.-Вор. жел. дор.

Насчетъ «некатегоричности» моихъ мнѣній и всего прочаго послѣ; можетъ-быть, вы отчасти и правы. Рѣшительно не соглашаюсь, что современная университетская наука учитъ лишь теоріи насилія и оправдываетъ зло, которымъ кормится. Очевидно, мы разногласимъ въ самомъ опредѣленіи науки. Вы какъ бы разумѣете подъ этимъ словомъ одинъ только юридическій факультетъ; я же, главнымъ образомъ, не такъ называемыя «гуманитарныя» науки, а точныя: физику, химію, астрономію, физіологію, патологію и т. д. Эти-то ужъ никакъ не могутъ ни оправдывать, ни охуждать зло. Да и «гуманитарныя» не такъ ужъ оправдываютъ зло, какъ вы думаете. Скажу нѣсколько словъ о политической экономіи. Вѣдь Л. Н—чъ заблуждается, называя ее апологіей насилія и рѣшительно отрицая въ ней признаки науки. Это до извѣстной степени можно было сказать о такъ называемой «школѣ манчестерцевъ», о буржуазныхъ экономистахъ. Но ужъ никакъ не приложимо къ писателямъ-соціалистамъ: главнымъ образомъ, разумѣется, къ Марксу. Всѣмъ извѣстно: основной камень, основное положеніе его историческаго изслѣдованія о капиталѣ — капиталъ есть кристаллизированный трудъ. Развѣ вы думаете, что этимъ положеніемъ оправдывается насиліе? Укажу затѣмъ на его анализъ производства и обмѣна, на его теорію «прибавочной стоимости», на теорію ренты, заимствованную имъ у Рикардо. Нѣтъ, какая тутъ апологія насилія! Правда, Марксъ не принадлежалъ къ университетскимъ ученымъ, но я заговорилъ о немъ съ

тою цѣлью, чтобы указать, что въ нашихъ университетахъ насчитываются уже единицы «манчестерцевъ» (въ родѣ извѣстной продажной души Антоновича въ Кіевѣ) и много профессоровъ, излагающихъ свои курсы по Марксу (Иванюковъ въ Петровской академіи, Чупровъ въ Московскомъ университетѣ и другіе). То же можно сказать и о наукѣ права. Вѣдь вы знаете, разумѣется, о новомъ движеніи въ этой наукѣ, о такъ называемыхъ «позитивистахъ въ уголовномъ правѣ», объ итальянскомъ ученомъ Ломброзо и другихъ. Знаете, какъ пала въ наукѣ «теорія такъ называемаго возмездія», теорія «злой воли» и тому подобныя средневѣковыя нелѣпости. У насъ насчитывается уже много послѣдователей этого новаго движенія, и притомъ очень оригинальныхъ. Назову молодого ученаго Д. А. Дриля. Правда, Дрилю не дали каѳедры, правда, Московскій университетъ отвергъ его диссертацію, и онъ принужденъ былъ защищать ее въ Харьковѣ; тѣмъ не менѣе эти мысли начинаютъ прорываться у любого профессора права, кромѣ самыхъ закоренѣлыхъ и заплѣсневѣлыхъ. Относительно права гражданскаго, государственнаго, исторіи можно сказать то же самое. Напримѣръ, лекціи Ключевскаго по русской исторіи весьма далеки отъ того, чтобы славословить насиліе. Конечно, развратъ заключается здѣсь въ томъ, что о многомъ профессора принуждены говорить мимикой, намеками, недомолвками, аллегоріями, усмѣшечкой, анекдотомъ, но это ужъ другое дѣло. Я скажу смѣлую вещь, съ которой, знаю, вы не согласитесь, но въ которую я вѣрю, какъ въ непреложную истину: всякій истинный ученый, всякій профессоръ-химикъ, юристъ, политико-экономъ, физіологъ суть не менѣе апостолъ Христа, чѣмъ Іоаннъ, напримѣръ. Христосъ пришелъ и выкорчевалъ пни, обозначилъ планъ нивы, напередъ сказалъ, что̀ будетъ произрастать на ней, и въ какихъ условіяхъ можетъ произрастать хорошо — всѣ же истинные ученые, истинные художники и мыслители разрыхляютъ эту Ниву, удобряютъ ее, дѣлаютъ хорошими условія для роста злака. Я согласенъ съ вами, что ничего новаго послѣ Христа не сказали ни Марксъ, ни Ломброзо, ни тысячи другихъ, но они, идя совершенно различнымъ путемъ отъ Христа, иногда даже враждуя

съ нимъ и ненавидя его, дѣлаютъ его же дѣло, обосновываютъ на тысячу новыхъ ладовъ его положенія, въ свое время только сказанныя интуитивно, безъ доказательства, безъ точнаго анализа, т.-е. въ душѣ-то своей онъ, конечно, и подвергъ ихъ анализу, но для людей-то это осталось въ большинствѣ скрытымъ и неяснымъ. Прибавлю здѣсь слова того же моего знакомаго, о которомъ говорилъ въ прошломъ письмѣ: «На мой взглядъ, знаменитѣйшій и полезнѣйшій отецъ Церкви — это Вольтеръ». Мнѣ думается, тутъ есть правда. А за всѣмъ тѣмъ ужасно много и балласту. Но кто же скажетъ, что въ евангеліи... нѣтъ его? Ибо все человѣческое несовершенно. Довольно, однако. Хотѣлъ просто написать, что получилъ ваше письмо, а вышло — опять заговорился. Въ оправданіе скажу — это только почти съ вами однимъ я такъ говорю.

Слова Л. Н — ча о спектральномъ анализѣ! Живи онъ во времена Галилея, не сказалъ бы онъ и тогда: «Что ты, Галилей, на пустяки время проводишь: корпишь надъ вычисленіями, наблюдаешь звѣзды, а между тѣмъ дѣло твое одно: паши землю и живи трудами рукъ своихъ». Между тѣмъ смѣю думать, что безъ Галилея и Христосъ бы не въ авантажѣ оказался, окончательно потонувши въ мистической игрѣ воображенія, свойственной невѣжественному человѣчеству въ средніе вѣка.

До свиданія, дорогой мой, обнимаю васъ.

Ал. Эртель.

Нѣтъ ли у васъ твореній св. Исаака Сирина и собранія сочиненій И. В. Кирѣевскаго (2 тома)? Очень бы обязали, приславши мнѣ эти книги. Выдержку изъ вашихъ «Бесѣдъ съ самимъ собою» я не получалъ. Я никогда не сомнѣвался въ критическомъ чутьѣ Л. Н. Толстого и особенно убѣдился въ немъ нынче весной въ разговорѣ съ нимъ о французскихъ писателяхъ.

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

18 октября 1888.

... Я былъ очень радъ узнать отъ васъ, что число представителей науки, съ той или другой стороны под-

тверждающихъ ту или другую частичку ученія Христа, нѣсколько больше, чѣмъ я думалъ. Оно и вполнѣ естественно, и число это, я въ томъ увѣренъ, будетъ постоянно возрастать по мѣрѣ того, какъ человѣчество будетъ становиться все болѣе и болѣе способнымъ понимать всю силу и глубину ученія Христа въ примѣненіи къ жизни. Если люди доходятъ до нѣкоторыхъ выводовъ, вытекающихъ изъ этого ученія, другимъ путемъ, нежели Христосъ, то и этому я радуюсь, хотя и не могу не пожалѣть объ усиліяхъ, потраченныхъ на длинныя путешествія по обходнымъ путямъ, когда такъ ясно уже указанъ самый прямой и короткій путь къ той же цѣли. Но я жалѣю, что, какъ вы говорите, многіе научные люди, стремясь къ этой цѣли, враждуютъ съ Христомъ и ненавидятъ Его. Это очень узко и односторонне и, главное, непрактично. Одно дѣло — полусловами и намеками указывать съ каѳедры казеннаго заведенія на такіе выводы науки, которые приближаются къ системѣ жизни, обоснованной Христомъ; совсѣмъ другое дѣло — помогать людямъ осуществлять эти выводы; и вотъ это-то осуществленіе, я въ томъ глубоко убѣжденъ, мыслимо только путемъ, найденнымъ, опредѣленнымъ, указаннымъ и *на дѣлѣ* обнаруженнымъ Христомъ. Неразумно стремиться къ какой-нибудь цѣли, откинувъ, вслѣдствіе своего предубѣжденія или ограниченности, самыя удобныя средства для достиженія этой цѣли. Средства же, указанныя Христомъ, мнѣ представляются не только наиболѣе удобными, но единственными дѣйствительными; и притомъ они таковы, что, примѣняя ихъ, нѣтъ никакой надобности тратить время и силы на опредѣленіе цѣли: достаточно примѣнять къ жизни средства Христа по мѣрѣ крайняго разумѣнія и крайнихъ силъ, и всегда наивозможнѣйшее въ данную минуту и при данныхъ обстоятельствахъ будетъ достигаться на пути къ самой конечной, идеальной цѣли, которая только возможна и которая во всей своей обширности всегда останется недоступною опредѣленію путемъ какихъ-либо научныхъ изслѣдованій или умозаключеній.

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

13 ноября 1888.

Спасибо вамъ сердечное, дорогой другъ, что подѣлились со мною главою изъ вашей теперешней работы [1]). Я прочелъ ее съ большимъ интересомъ, какъ и не могло быть иначе, такъ какъ вы коснулись той особенной стороны русской народной жизни, которая, къ сожалѣнію, пока *одна* мнѣ хорошо извѣстна, т.-е. не только черезъ посредство литературы, но и собственнымъ непосредственнымъ общеніемъ со всевозможными представителями различныхъ современныхъ религіозныхъ подпочвенныхъ теченій въ русскомъ народѣ. Этому способствовали отчасти мои близкія сношенія съ кружкомъ Пашковцевъ, среди котораго я росъ и который навѣщали всякіе сочувствующіе и несочувствующіе сектанты самыхъ разнообразныхъ направленій и оттѣнковъ, а главное — мой личный интересъ ко всѣмъ тѣмъ «духовнымъ» вопросамъ и движеніямъ, которые волнуютъ въ настоящее время народное море. Вообще, какъ вы вѣрно уже замѣтили, я избѣгаю разногласія съ вами и ищу одного — сходиться, въ чемъ только могу. Но въ данномъ случаѣ я признаю, что затронутый вами вопросъ слишкомъ коренной важности, чтобы мнѣ не высказать вамъ прямо и откровенно, въ чемъ вы, какъ мнѣ кажется, ошибаетесь. Но раньше выскажу, въ чемъ я съ вами согласенъ, и не только согласенъ, но и благодаренъ вамъ: я отъ всей души радуюсь вашему счастливому настроенію духа, сподобившему васъ такъ удачно выставить все то прекрасное, святое, что свѣтится въ душѣ вашего Ивана Ѳедотыча. Весь его разговоръ съ Николаемъ на обратномъ пути прекрасенъ, а мѣстами великолѣпенъ. Великолѣпны и нѣкоторыя отдѣльныя черты въ его бесѣдѣ съ Ареѳіемъ. Чего стоитъ,

---

[1]) Рѣчь идетъ о романѣ А. И. Эртеля «Гарденины».

напр., одно это мѣсто въ связи съ пропагандистическою безсердечною горячностью Ареѳія: Ареѳій горячится, бьетъ по головѣ текстами въ духѣ Аксаковской мѣткой шутки: «Люби ближняго, сукинъ ты сынъ!», а Ив. Ѳед. задумчиво повторяетъ *тотъ же* текстъ, куда-то далеко улетая мыслями: «Да да... всего надѣется, всего...» Вѣдь это онъ прилетѣлъ въ мою душу, въ вашу — въ нашу общую душу! И много у васъ тамъ такихъ великолѣпныхъ штриховъ, но... но... какіе проскочили диссонансы, нарушающіе художественность, т.-е. правдивость, реальность этого типа! Вы, очевидно, никогда еще не окунались въ глубину этого волнующагося моря современной духовной жизни русскаго народа. А судить по волнамъ на поверхности нельзя о томъ, что дѣлается тамъ внизу. Вы затронули *глубокій* вопросъ, не достаточно глубоко его изслѣдовавъ. Типъ Ареѳія очень вѣренъ и выдержанъ хорошо. Это — то тѣсто, изъ котораго слагается начетчикъ-старообрядецъ, самые ярые пропагандисты Пашковцы изъ крестьянъ; есть экземпляры подобнаго же пошиба и среди духоборцевъ-раціоналистовъ, когда они застрянутъ на первомъ періодѣ потребности неотлагательнаго воздѣйствія на другихъ. Но Иванъ Ѳедотычъ не только не выдержанъ, но прямо тенденціозенъ въ настоящемъ, предосудительномъ смыслѣ этого слова. Такого человѣка нѣтъ и не *можетъ быть* на Руси. Вы ему вложили нѣкоторыя ваши собственныя воззрѣнія и ощущенія, которыя могутъ быть присущи и другимъ людямъ вашей среды и вашего культурнаго колорита, но несовмѣстимы въ человѣкѣ изъ русскаго простонародья. Такой человѣкъ, сознающій значеніе евангельской любви, думавшій о неопредѣлимости Божества и вообще чувствующій и мыслящій такъ тонко и проницательно, какъ Ив. Ѳед., не можетъ, глядя на золотые кресты и слушая колокольный звонъ, воображать себѣ, что они олицетворяютъ «бесѣду земли съ Богомъ». Онъ, такъ тонко понявшій Ареѳія, отлично изъ-подъ занавѣски видитъ ноги Побѣдоносцевыхъ и компаніи, дергающихъ за шнурки этихъ маріонетокъ. Ив. Ѳед., какъ человѣкъ изъ простого народа, не можетъ раздѣлять вашъ Ренановскій историческо-пейзажный взглядъ на церковь. Для простого человѣка, не глядящаго, какъ вы, на эти блестящія колокольни съ высоты птичьяго полета, но ходящаго исповѣдываться, т.-е. выливать свою душу передъ этими пьяными попами и своими боками знающаго все несоотвѣтствіе содержанія съ наружною церковною формою,—для такого человѣка церковь одно изъ двухъ: или суевѣріе, въ которомъ онъ мнитъ обезпечить себѣ спасеніе, или же мишура, которой онъ не можетъ любоваться, какъ

и вы не любовались бы, если бъ попы имѣли право и у васъ и у вашей семьи отбирать послѣдній кусокъ хлѣба, или если бъ вы близко видѣли жертвъ этого церковнаго обмана — людей, ищущихъ правды и преслѣдуемыхъ, выживаемыхъ со свѣта за это тѣми самыми, въ пользу кого звонятъ эти колокола, — и тысячи, сотни тысячъ людей, готовыхъ искать истину, но обманутыхъ золотыми куполами и таинственностью богослуженія, театрально обставленнаго и поддерживаемаго властями и дѣдами. Воля ваша, а вы сдѣлали изъ Ив. Ѳед. невозможнаго въ дѣйствительности человѣка съ вполнѣ несовмѣстимыми противорѣчіями. Какъ можетъ, напримѣръ, одинъ и тотъ же человѣкъ говорить: «Всякая вѣра правая, какая бы она ни была. И у жидовъ, и у турокъ» и т. д., и рядомъ съ этимъ ссылаться на анаѳемы вселенскихъ соборовъ! Не можетъ также Ив. Ѳед. говорить молодому человѣку: «Рано тебѣ въ Божественное вникать». Это скажетъ гимназическій законоучитель, а не мыслящій и чуткій русскій мужикъ. Если вы хотѣли противопоставить Ареѳію симпатичный типъ, свободный отъ его односторонняго фанатизма, то надо было въ Ив. Ѳед. изобразить любовную терпимость, никогда не желающую воинственно нападать на церковную обрядность и въ данномъ случаѣ не желавшую оскорбить присутствующихъ, не готовыхъ критически относиться къ вѣками засидѣвшейся святынѣ. Если вы чувствовали потребность сойтись съ Достоевскимъ въ самой слабой и несостоятельной области его убѣжденій, — въ его мистической идеализаціи отживающей церковной формы, то нужно было изобразить простенькаго, добродушнаго, кроткаго, ограниченнаго мужичка, наивно вѣрующаго въ колокола и вселенскіе соборы, потому что не рѣшается вообразить себя умнѣе своего дѣда или господина предводителя. При истинной внутренней кротости и такой человѣкъ правѣе Ареѳія, выражающаго, какъ онъ самъ иногда чувствуетъ, истину лживыми устами. Но отнесшись тенденціозно къ Ив. Ѳед., вы отступили отъ художественности и сдѣлали изъ него какую-то неопредѣленную смѣсь, нигдѣ въ природѣ не встрѣчающуюся. Вашъ Ив. Ѳед. очень въ руку Побѣдоносцеву, но мнѣ больно, что вы его исказили. Замѣтьте, дорогой другъ, что я не стараюсь разубѣждать васъ въ вашемъ отношеніи къ церкви, которое я дѣйствительно не могу раздѣлять. Если мои собственныя убѣжденія и просвѣчиваютъ въ томъ, что я написалъ, то это только къ слову. Высказать же вамъ я хотѣлъ только несообразность съ дѣйствительностью изображеннаго вами типа. Я хочу только сказать, что вашъ Ив. Ѳед. отчасти представляется мнѣ въ родѣ, напр., изображенія на картинѣ сельскаго

священника въ конногвардейскихъ кирасахъ поверхъ рясы. Впрочемъ, сравненіе это грубое и пришло мнѣ наобумъ. Ну, да это не важно. Это во всякомъ случаѣ неестественно, невѣрно, какой бы костюмъ зритель лично ни предпочиталъ, поповскій ли или кирасирскій. Я уже доведу до конца свою откровенность и признаюсь вамъ, что я уже подмѣтилъ въ васъ и по нѣкоторымъ другимъ вопросамъ существенной важности, какъ, напр., вопросъ о войнѣ, такое отношеніе къ нимъ, которое я не могу иначе опредѣлить, какъ именно «пейзажное отношеніе». И мнѣ потому бываетъ особенно больно и грустно видѣть это въ васъ, что я знаю, что по природнымъ вашимъ способностямъ вы вполнѣ въ состояніи глубже вникать, вникать въ сущность дѣла. Чтобы понять вопросъ по существу, надо его пережить или же проникнуться такою любовью, которая переноситъ въ положеніе тѣхъ, кто переживаетъ этотъ вопросъ. Вѣдь проницательность не есть какое-нибудь положительное свойство само по себѣ — главнымъ образомъ, она извѣстная степень любви, доходящей до проникновенія. И вотъ мнѣ кажется, что главный интересъ вашей собственной жизни очень далекъ отъ вопросовъ, затронутыхъ по поводу Ареѳія и Ив. Ѳед. То хорошее, что вы изобразили въ Ив. Ѳед., это вы нашли въ самомъ себѣ. Всепокрывающая любовь и терпимость вамъ самому близки. Но отношеніе народа къ православію — это вопросъ, меньше васъ интересующій, и потому только вы его и разрѣшаете пейзажно...

В. Г. Черткову.

18 ноября 1888. Хуторъ на Грязнушкѣ.

Только что прочиталъ ваше письмо. И смертельно некогда, и вмѣстѣ хочется вамъ отвѣтить. Оказывается, ни наши мысли, ни наши наблюденія надъ людьми и здѣсь не совсѣмъ совпали. Жаль, но буду пока отстаивать свои. Замѣтили ли вы, дорогой другъ, что описываемое время относится къ 70-му году? — Тогда еще не было того воинственнаго отношенія между попами и крестьянами, которое, несомнѣнно, есть теперь и которое вы описываете столь рѣзкими и справедливыми красками; тогда «золотые куполы и благовѣстъ колоколовъ» еще въ боль-

шей степени обозначали то, что имъ и нужно обозначать: преходящія формы той великой сущности, которая живетъ въ душѣ каждаго человѣка. Къ этимъ формамъ привыкали и сроднялись съ ними, въ нихъ находили особенную красоту даже такіе люди, которые способны были прозрѣвать, что все-таки это скорлупа, не болѣе. Я укажу на умницу и благороднѣйшаго Константина Аксакова. Затѣмъ рѣзкое нападеніе на эти формы, даже и въ такихъ людяхъ, производило чувство глубокой грусти. «Пейзажное отношеніе», какъ вы мѣтко выразились, имѣетъ болѣе важности и болѣе сродности даже съ не совсѣмъ дюжинной человѣческой природой, чѣмъ это вы предполагаете. Несомнѣнно, однако, что и такое «пейзажное отношеніе» отравляется явными разбойниками и волками, разъ они опакостятъ пейзажъ. Я говорю о попахъ и вообще о причтѣ церковномъ. Въ 70-хъ годахъ и въ той мѣстности, которую описываю (глушь степная), это пакощеніе едва зачиналось. И, конечно, какъ только зачалось — сейчасъ же отразилось на сѣрой, заурядной крестьянской массѣ, къ которой, напримѣръ, принадлежитъ Ареѳій. Но вы забываете, милый другъ, что Иванъ Ѳедотычъ *не мужикъ*; сохранивъ многія особенности подлиннаго крестьянскаго міровоззрѣнія, онъ все-таки *дворовый человѣкъ*, «любомудръ», поживающій въ экономическомъ отношеніи пока еще весьма благопріятно. Значитъ, съ этой стороны передъ нимъ еще не отравлена «пейзажная сторона». Онъ вовсе не живетъ одной жизнью съ *мужицкой* деревней; онъ себѣ особнякомъ; любитъ поговорить иногда о божественномъ, очень любитъ съ чувствомъ разсказать какую-нибудь «пріятную» исторію (кстати: онъ разскажетъ про «Червонецъ» и еще про «Фаустина Премудраго» — легенда о Фаустѣ съ тѣмъ любовнымъ и народно-мудрымъ концомъ, который такъ по душѣ Ивану Ѳедотычу; я его какъ-нибудь вышлю вамъ, этотъ разсказъ), очень хорошій человѣкъ и истинный христіанинъ въ тѣхъ отношеніяхъ съ людьми, которыя у него уже есть или завязываются случайно, иногда и независимо отъ него, но онъ немножко и даже безсознательно — мистикъ, натура вдумчивая, *уединенная*, до большой степени «созерцатель» (помните, у Крам-

ского?). Онъ любитъ иногда упражнять умъ и память, какъ, напримѣръ, въ разговорѣ съ Ареѳіемъ, но *ревности учить* — у него нѣтъ. Онъ не сектантъ, не догматизеръ — это особенно замѣтьте; онъ припоминаетъ анаѳематствованіе собора, но почему? — Потому, чтобы поставить его на видъ Ареѳію, ищущему именно въ книгахъ, *по документамъ*, свою вѣру. А на замѣчаніе Ареѳія: «Что ты мнѣ анаѳему-то сулишь?» сейчасъ же говоритъ: «Я-то не сулю»... и т. д. — Вы говорите, что онъ будетъ на руку Побѣдоносцеву. Мнѣ думается, это обидно, но не справедливо. Люди живой, дѣйственной, хотя бы и не особенно напряженной вѣры, врядъ ли на руку Побѣдоносцеву, то-есть тѣмъ людямъ, которые скрываются подъ ярлыкомъ Побѣдоносцева. Дальше — при особыхъ обстоятельствахъ — у Ивана Ѳедотыча тихій его огонь разгорится, но тогда и рѣчь особая.

За всѣмъ тѣмъ я, конечно, очень вамъ благодаренъ за ваши замѣчанія. Нѣкоторыя изъ нихъ дадутъ мнѣ поводъ пересмотрѣть 5-ю главу. Напримѣръ, Иванъ Ѳедотычъ не скажетъ при благовѣстѣ колокольномъ Ареѳію:... «и какъ подумаешь, о чемъ мы съ тобой здѣсь толкуемъ»... онъ просто скажетъ: мнѣ *жалко* этого. И тому подобное.

Что касается до моихъ личныхъ отношеній къ православію — вы опять нѣсколько не такъ говорите. Я могу сказать, какъ Иванъ Ѳедотычъ: «Мнѣ жаль этого», но съ другой стороны, я отлично вижу, что за *этимъ* сильно воняетъ, и, если ужъ нельзя иначе, пусть исчезаетъ и «пейзажъ»..... Въ этомъ отношеніи, пожалуй, на меня подѣйствовало прочитанное по пріѣздѣ отъ васъ «Догматическое богословіе» какого-то архимандрита Антонія, «Критика догматическаго богословія» и вотъ четырехмѣсячное пребываніе въ деревнѣ. Вонь отъ пейзажа доносится и до того затеряннаго въ глуши хуторка, въ которомъ живу теперь. Недавняя поѣздка на лошадяхъ и двухкратныя кормежки, одинъ разъ въ кабачкѣ, другой разъ у мужика, ярко возстановили предо мною *нынѣшнее* отношеніе прихода къ причту. Это нѣчто превосходящее вѣроятіе. Когда-нибудь передамъ вамъ разсказъ мужика — это было близъ кабака, у котораго мы кормили, — объ ихнемъ попѣ

и его коммерческо-разбойнической дѣятельности, и о томъ, какъ «завозился» съ нимъ одинъ мужиченко — срамилъ попа на паперти при самомъ архіереѣ, и о томъ, какъ все-таки изъ этого ничего не вышло, потому что попъ «закупилъ всѣхъ!» — А вотъ на-дняхъ посидѣла у насъ вечеръ «дурочка Параша» — старая дѣвка изъ сосѣдней деревни, извѣстная въ округѣ тѣмъ, что безбоязненно ругаетъ и бьетъ (да, да, бьетъ!) монаховъ и поповъ. Одного, напримѣръ, попа таскала за бороду въ то время, когда онъ ходилъ съ крестомъ по дворамъ; одного іеромонаха била кувшиномъ, другого — палкой. О ругани и говорить нечего. Все ей сходитъ съ рукъ, ибо она слыветъ блаженненькой и дурочкой. Такъ вотъ эта «Параша», изъ-за своей въ значительной степени напускной глупости, много показала мнѣ, до какой невѣроятной степени загаженъ «пейзажъ». И будьте увѣрены, что я это понимаю. Но... «мнѣ жалко *этого*», и я не радуюсь, что старое разваливается, а на его мѣстѣ предстоитъ сложная и во многомъ мнѣ не симпатичная работа хлопотливаго, разноголосаго, шумнаго созиданія. Ибо «созиданіе» споконъ вѣка дѣлалось «ревнителями», въ родѣ Ареѳія, а не людьми тихой и благостной вѣры, въ родѣ Ивана Ѳедотыча. Необходимо оговориться, что я называю здѣсь «созиданіемъ» тотъ новый культъ и тѣ новыя паутины «документовъ» и догматизированія, которые смѣнятъ этотъ подгнившій, старый культъ и эту старую паутину. А что *это* наступитъ, а не то, чему учитъ Левъ Николаевичъ, — по-моему, несомнѣннѣйшая истина. Льву Николаевичу придетъ время не скоро.

А вотъ насчетъ войны — ей Богу, не припомню, что вы говорите. Не сказано ли это было съ цѣлью отмѣтить дурное чувство фальшивой красоты, иногда удивительно живучее въ человѣкѣ? Мнѣ, по крайней мѣрѣ, въ рѣчи о Гаршинѣ публично случилось поставить ему въ великую заслугу, что онъ, по слѣдамъ Льва Николаевича, развѣнчивалъ эту звѣриную красоту и поэзію. И я категорически заявляю, что въ отношеніи къ войнѣ у меня нѣтъ того «пейзажнаго чувства», которое, можетъ-быть, есть еще по отношенію къ церкви. Я могу быть способенъ на взрывъ этого звѣринаго чувства —

не знаю, кто можетъ поручиться за таинственные процессы чувства, происходящіе въ области безсознательнаго? Во всякомъ случаѣ, не сравню церковь и войну. Церковь, какъ-никакъ, есть скорлупа, въ которой для великаго множества людей есть ядро, несомнѣнно доброе и важное. Въ войнѣ же и скорлупа, и ядро — все мерзость и все ложь. Впрочемъ, не буду спорить объ этомъ.

И вообще довольно о нашихъ разногласіяхъ.

Вашъ Ал. Эртель.

Еще словечко, хотя ужъ 4 часа ночи. Весь замыселъ романа въ томъ и состоитъ, чтобы показать подводное теченіе новыхъ мыслей и новыхъ понятій, воспрянувшихъ и забродившихъ въ нашей глуши послѣ великой реформы (разумѣю освобожденіе крестьянъ), мыслей и понятій хорошихъ и дурныхъ. Замыселъ романа — какъ эти новыя, и хорошія и дурныя, мысли возрастали и брали соки изъ старой дореформенной, униженной и развращенной крѣпостничествомъ почвы, и изъ почвы, и подъ ярмомъ рабства до великой степени сохранившей чистоту и цѣлостность. Иванъ Ѳедотычъ, Ареѳій — не болѣе, какъ эпизоды въ этой сумятицѣ новообразованій, — не спорю, можетъ-быть, наиболѣе примѣчательные и такіе, которыхъ я, по моей способности писать, не могу охватить достаточно глубоко. Я говорилъ уже, что попы были тогда не столь «озорные»,— какъ разъ въ началѣ этого времени, но позднѣе 5-й главы въ приходѣ появляется попъ новой формаціи, попъ-либералъ, въ шелковой рясѣ, на тройкѣ,— попъ, оцѣнивающій свою «должность» исключительно какъ оброчную статью и съ презрѣніемъ относящійся ко всему, что невѣжественно, то-есть не носитъ воротничковъ, сморкается въ руку и ходитъ въ лаптяхъ. Почти какъ разъ съ появленіемъ этого попа совпадаетъ большое бѣдствіе, бывшее въ то время въ нашихъ мѣстахъ, — холера. Попъ-либералъ, разумѣется, отнесется къ этому бѣдствію, какъ и слѣдуетъ, какъ къ новой оброчной статьѣ — и вотъ тутъ-то тихій огонекъ Ивана Ѳедотыча вспыхнетъ ярко.

Но, повторяю, это только эпизоды. Иначе невозможно и по цензурнымъ условіямъ, съ которыми — я не графъ Л. Толстой — необходимо придется считаться. Я, конечно, никогда не скажу что-нибудь въ угоду властямъ предержащимъ — это-то ужъ вѣрно, что никогда не скажу! — но о многомъ придется умолчать, многія и весьма характерныя черты опустить. Молю Бога лишь о томъ, чтобы удалось показать, какимъ образомъ въ сумятицѣ черной и во многомъ отвратительной работы созиданія (а во многомъ — доблестной!) пробивалась свѣтлая мысль, образовывались не ахти какія, но все же такія теченія, наблюдая которыя можно воскликнуть: Да, жить можно! — Вы видите эти свѣтлыя или, лучше сказать, это свѣтлое теченіе только въ одномъ: въ истинномъ христіанствѣ, въ жизни по Христу, то-есть въ стремленіи такъ жить, — я же не въ этомъ одномъ вижу хорошій признакъ жизни людей, я вижу его вездѣ, гдѣ есть дѣятельность на пользу общую, дѣятельность, подвигаемая любовью къ людямъ, дѣятельность безъ наскоку, безъ нахрапу, облагороженная широкой терпимостью къ людямъ и нетерпимостью ко злу[1]). А тамъ хоть ты будь самый отчаяннѣйшій атеистъ или не знай и имени Христа. Разумѣется, лучше знать Христа и не быть атеистомъ, но это уже другое дѣло; я только говорю, когда наблюдаешь въ обществѣ и такія теченія — это хорошій признакъ. А нетерпимость суть отъ дьявола, это ужъ вѣрно! въ какіе бы она ни нарядилась наряды — въ «принципы ли 89 года», во Христа ли. Впрочемъ, я ужъ, кажется, начинаю говорить праздно: мы, кажется, во всемъ этомъ согласны съ вами, т.-е. вотъ насчетъ терпимости-то. — Да! чортъ бы подралъ! согласны, согласны, а съ какимъ бы удовольствіемъ я иной разъ расщелкалъ и Побѣдоносцева, и компанію — на обѣ корки! То-есть съ грязью бы смѣшалъ! — Вамъ не приходитъ въ голову столь грѣховное желаніе?

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

В. В. Лесевичу.

7 февр. 1889 [1]).

Если бы я захотѣлъ изложить исторію моего развитія, мнѣ трудно было бы ссылаться на авторитетъ той или иной науки, той или иной философіи. И по складу моего ума, и по тому, какъ происходила эта исторія, мнѣ не пришлось систематически, шагъ за шагомъ, кирпичикъ за кирпичикомъ, возводить основы моего міровоззрѣнія. Оно вырастало и слагалось путемъ самыхъ разнообразныхъ и отрывочныхъ впечатлѣній, представленій и мыслей, въ числѣ которыхъ были, конечно, и не мои — и даже очень много не моихъ! — но никогда (если не считать временъ юности) я не заимствовалъ этотъ чужой матеріалъ въ видѣ какой-нибудь компактной массы. Такъ, напримѣръ, изъ *системы мыслей* Н. К. Михайловскаго я заимствовалъ нѣчто для моей постройки, точно такъ же, какъ и изъ другихъ системъ (въ томъ числѣ и Л. Н. Толстого), но заимствовалъ ту только частичку системы, ту дробь «компактной массы», которая соотвѣтствовала плану моей постройки, моему собственному пониманію жизни. Разумѣется, я не хочу этимъ сказать, что «общій видъ» моего міровоззрѣнія стройнѣе, цѣлостнѣе, сообразнѣе всѣхъ другихъ, но я не могу иначе понимать жизнь,

---

[1]) Въ записной тетради А. И. Эртеля копіи этого и слѣдующаго за нимъ письма помѣщены тотчасъ послѣ черновой того автобіографическаго письма къ В. Г. Черткову, которое напечатано въ началѣ настоящей книги, и рукою А. И. сдѣлана помѣтка: «Нижеслѣдующее письмо (т.-е. именно это письмо къ Лесевичу отъ 7 февр. 1889) служитъ дополненіемъ къ этому» (т.-е. къ автобіографіи).

какъ именно въ этомъ видѣ, и буду такъ понимать до тѣхъ поръ, пока сама же жизнь не докажетъ мнѣ ошибочности моего пониманія. Такимъ образомъ, я рѣшительно не могу заявить о себѣ, что принадлежу къ штату какого-нибудь «собственнаго имени», будь это имя Толстой или Спенсеръ, Контъ или Гегель и т. д. и т. д.

Затѣмъ. Кромѣ различныхъ «чужихъ» мыслей философскаго, обобщающаго характера я, конечно, не могъ не заимствовать мыслей и фактовъ изъ области точныхъ наукъ. Но и это заимствованіе совершалось такъ, что я, напримѣръ, рѣшительно не въ состояніи сослаться на кого-нибудь, почему для меня безспоренъ фактъ непрестанной эволюціи, непрестаннаго «теченія вещества», строго неукоснительной законосообразности явленій, единства силъ и т. д. Я заимствовалъ это не изъ какихъ-либо систематическихъ курсовъ, не путемъ спеціальныхъ занятій и изслѣдованій, а опять-таки изъ той, изъ другой книги, отъ того или отъ иного человѣка, и такимъ же безсистемнымъ способомъ провѣрялъ и убѣждался, что это де правильно.

Вотъ именно, благодаря такому способу постройки, я могу изложить мое міровоззрѣніе только догматически. Я отлично понимаю недостаточность такого изложенія и, можетъ-быть, крайнюю его неубѣдительность, но въ данномъ случаѣ я вѣдь никого и не желаю убѣждать, а только желаю познакомить съ собою съ полнѣйшей откровенностью и искренностью.

Меня, какъ, вѣроятно, и всякаго другого, для кого убѣдителенъ фактъ «текучести», въ разныя времена и на разные лады мучительно занимала мысль, въ чемъ же состоитъ та «держава» (держава — не въ «государственномъ» значеніи этого слова, а въ плотническомъ), которая давала бы мнѣ опору въ этомъ стремительномъ потокѣ вещества и всего, что коренится и зиждется въ веществѣ. Все течетъ, нѣтъ ничего безусловнаго; и впереди — въ устьѣ, и назади — у истока, стоятъ неизбѣжныя заставы, на которыхъ начертано: «Входъ разуму воспрещается». Нѣтъ абсолютнаго добра, нѣтъ абсолютной истины, ничего нѣтъ «навѣки нерушимаго», какъ пишется въ солдатскихъ письмахъ. Что же остается?

Остается, если не считать разнаго рода *физіологическихъ* «державъ» — слѣпого стремленія жить и т. п. — вѣра въ безусловный прогрессъ... Вѣра въ то, что, несмотря на всякія современныя гадости и мерзости, всякую тяготу и патологію, когда-то и кому-то будетъ до извѣстной степени хорошо.

Я не намѣренъ оспаривать здѣсь подобнаго рода «державы»; кратко только скажу, что съ вѣрованіемъ въ безусловный прогрессъ я не то что согласенъ, — это было бы неправильно, — но считаю его недостаточнымъ, чтобы опредѣлить личное поведеніе, чтобы дать не человѣчеству, а мнѣ, вамъ, Ивану, Петру, смѣлость жить.

Чтобы узнать дѣйствительно настоящую «державу», мнѣ казалось правильнымъ прослѣдить историческимъ путемъ и путемъ своихъ и чужихъ наблюденій надъ жизнью, съ помощью какихъ особенностей всего легче, всего свободнѣе и счастливѣе жилось и живется человѣку, при наличности какихъ условій онъ легко переноситъ самыя неизбѣжныя страданія и смерть. Мнѣ думалось, что если такія особенности и такія вытекающія изъ нихъ условія могутъ быть найдены — значитъ, они-то и есть та «держава», которая придаетъ смыслъ моему положенію щепки, уносимой въ неизмѣримую и неизслѣдованную бездну, имя которой *иксъ*. Затѣмъ мнѣ еще думалось, что непремѣнно эти искомыя «особенности» должны совпадать съ моими, хотя пока и безсознательными, но завѣтнѣйшими и чистѣйшими стремленіями, которыя за кучей всякаго мусора и грязи я непрестанно чувствовалъ за собою, которыя и въ безсознательномъ ихъ видѣ давали мнѣ самое интенсивное удовлетвореніе. Это мнѣ потому думалось, что я всѣмъ существомъ своимъ отвращался отъ возможности того, чтобы подлинный смыслъ жизни расходился съ моимъ самымъ лучшимъ и чистымъ. Въ минуты отчаянія мнѣ представлялось, что можетъ совсѣмъ не быть смысла, но никогда не представлялось, что смыслъ жизни совпадаетъ съ моими худшими стремленіями.

Я отлично знаю, что этимъ объясненіемъ я даю какъ бы психологическую нить къ моему исканію «державы», даю сильный аргументъ, чтобы обвинить меня въ субъективизмѣ, въ томъ, что я «подтянулъ теорію» и т. д. Но не упоминая

уже о томъ, что всякое *искреннее* міровоззрѣніе непремѣнно выростаетъ (отчасти, конечно) на почвѣ личныхъ склонностей, личнаго склада ума и характера — я оговорю, что *не доказываю*, а *разсказываю*, и потому нимало не опасаюсь, что, можетъ-быть, даю аргументъ противъ себя.

Не буду подробно останавливаться, какіе факты, какія свои и чужія мысли и чувства заставили меня утвердиться на томъ, что мнѣ представляется теперь несомнѣннѣйшей истиной. Остановиться подробно — значило бы изложить свою біографію, описать всю жизнь, по крайней мѣрѣ, съ 1879 года. Для этого у меня нѣтъ ни времени, ни желанія, да оно и не нужно, ибо я не *доказываю*.

Истина кажется мнѣ въ томъ, что смыслъ жизни и всего человѣчества, и отдѣльной личности достигается въ неразрывномъ сплетеніи и упражненіи двухъ способностей: способности *любить* и способности *познавать*. При этомъ я особенно настаиваю на *неразрывности*, въ ней вижу центръ моего міровоззрѣнія. Потому что:

1. Способность познавать, безспорно и главнѣйшимъ образомъ, обусловливаетъ различіе человѣка отъ животныхъ, его стремленіе къ сообществу, его развитіе, его неимовѣрные успѣхи въ борьбѣ съ природой, съ мракомъ несознательнаго и стихійнаго. Но я не встрѣтилъ указаній ни въ жизни обществъ, ни въ жизни отдѣльнаго человѣка, чтобы одна работа этой способности обусловливала благо. Правда, въ жизни отдѣльнаго человѣка и при одномъ господствѣ разума можно было найти нѣкоторые признаки блага, но это при одномъ условіи: если разсматривать такую жизнь внѣ связи съ людьми. Несомнѣнно, можетъ показаться плѣнительнымъ хотя бы такой идеалъ жизни:

Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа,
Не все ли мнѣ равно. Богъ съ ними. Никому
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья, —
Вотъ счастье!

Но при малѣйшей попыткѣ связать такую счастливую, однимъ только разумомъ, жизнь съ жизнью другихъ людей, съ обществомъ — нитки рвутся, получается что-то фальшивое, исключительное, благо «не въ примѣръ прочимъ», отъ котораго тянетъ страшнѣйшимъ холодомъ и мертвечиной. То же самое и въ общественной жизни, когда тонъ дается ей исключительно способностью познаванія. Тогда могутъ преуспѣвать открытія, изобрѣтенія, вообще науки, можетъ происходить быстрое и успѣшное расширеніе сознанія, можетъ выражаться въ грандіознѣйшихъ формахъ борьба съ природой, но за всѣмъ этимъ холоднымъ блескомъ легко и легко упраздняется смыслъ жизни, ибо способность познаванія нисколько не мѣшаетъ, чтобъ человѣкъ человѣку былъ волкъ.

2. Способность любить вноситъ особую теплоту, особую бодрость и жизнерадостность въ человѣческія отношенія; въ личной жизни она по преимуществу даетъ силу переносить страданія и смерть, даетъ силу во всякую минуту, — въ горчайшія времена жестокости, звѣрства, человѣконенавистничества, — чувствовать прелесть жизни, сознавать блаженство существованія. Но не даромъ сказано, хотя и по другому поводу, что любовь безъ разума — бѣда. Расчлененная съ способностью познаванія она, въ свою очередь, приводитъ къ самой унылой безсмыслицѣ. И опять-таки, можно найти примѣры, какъ и расчлененная она составляла благо отдѣльныхъ людей, и какъ, опять-таки, невозможно связать это съ благомъ общества. Тутъ та только разница, что зло отъ одного кривобокаго развитія наносится эгоизмомъ, отъ другого — глупостью.

Итакъ, я особенно настаиваю на неразрывности, на совмѣстномъ дѣйствіи этихъ способностей.

Понимаемый такимъ образомъ «смыслъ» опредѣляетъ и «точку зрѣнія», съ которой я отношусь къ явленіямъ жизни — отрицаю и утверждаю. Отсюда, напримѣръ, вытекаетъ «безкровный» принципъ борьбы, т.-е., что нужно бороться со всѣмъ, препятствующимъ любви и разуму, не штыками, не казнями, тюрьмами и ссылками, не кинжаломъ или динамитомъ, а утвержденіемъ въ своемъ сознаніи и въ сознаніи другихъ людей здравыхъ понятій, пробужденіемъ «чувствъ добрыхъ». Отсюда

вытекаетъ безусловное уваженіе передъ «настоящей» наукой, и отсюда же безграничное благоговѣніе передъ фактами самоотверженія, передъ «хорошей жизнью» и «хорошей смертью». Все то добро и все красно, что укрѣпляетъ «державу» — развиваетъ способность любить и способность познавать; и наоборотъ, все, сдвигающее «державу», достойно отрицанія и борьбы, ибо опустошаетъ душу, превращаетъ жизнь въ безсмыслицу. Наука, въ ея истинномъ и серьезномъ значеніи, мнѣ думается, неизбѣжно присуждена укрѣплять «державу», ибо даетъ средства вооружать любовь соотвѣтственнымъ пониманіемъ, мѣшаетъ чувству любви впадать въ односторонность, руководиться безсознательными порывами, выводитъ ее изъ сферы простыхъ рефлексовъ. Съ этой точки зрѣнія *чистая* наука не подлежитъ ни ограниченію, ни осужденію, ни, тѣмъ болѣе, какому-нибудь отрицанію. Но понятно, что такое отношеніе къ наукѣ я не могу переносить и на такъ называемыхъ «людей науки» или на организацію того либо другого ученаго института, или, наконецъ, на приложеніе науки въ текущей жизни. Тутъ каждый частный поводъ вызываетъ частное же отношеніе.

Остановлюсь нѣсколько подробнѣе на томъ, какъ понимаю «борьбу», потому что чувствую, что это и есть главный пунктъ нашихъ разногласій. Борьба насиліемъ отчасти представляется мнѣ тѣмъ, что уже давно отвергнуто криминалистами: «бить нещадно, дабы другимъ было неповадно». Но, съ другой стороны, я отлично знаю, что есть болѣе просвѣщенные «насильники», которые, совершенно отбрасывая архаическій принципъ «возмездія», руководствуются другими принципами: «устраненія» и «принужденія». Съ первымъ изъ этихъ просвѣщенныхъ принциповъ я настолько же *рѣшительно* несогласенъ, насколько онъ рѣшительно расходится съ безспорнымъ для меня значеніемъ любви; со вторымъ согласенъ до тѣхъ его предѣловъ, пока онъ не расходится. Такъ, напримѣръ, манифестъ 19 февраля или декретъ о національзаціи земли, если бы таковой случился, несомнѣнно, содержатъ въ себѣ скрытый принципъ насилія: предполагаютъ «принужденіе», — но это, по моему мнѣнію, нимало не противорѣчитъ любви. И не потому только, что этимъ «принужденіемъ» обезпечиваются вопіющія

нужды большинства, но еще и потому, что обида, наносимая меньшинству, здѣсь только фиктивная, призрачная обида, а на самомъ-то дѣлѣ меньшинство поставляется въ иныя, лучшія, болѣе здоровыя и справедливыя условія жизни. Вы скажете, что «скрытый принципъ принужденія» легко можетъ перейти и въ самое настоящее насиліе, напримѣръ, если бы нашихъ помѣщиковъ потребовалось стрѣлять и усмирять штыками... Да, однако, этого не случилось. И по моему глубокому убѣжденію, никогда не можетъ случиться, если «скрыто-принудительная» мѣра опирается на ясно-сознанныя большинствомъ здравыя и справедливыя понятія. Тогда только можетъ быть вотъ что: въ единичныхъ, въ исключительныхъ случаяхъ, то тамъ, то здѣсь появится странный, закостенѣвшій въ отжившихъ привычкахъ человѣкъ, который во что бы то ни стало и всякимъ «средствіемъ» будетъ противиться измѣненіямъ. Такого человѣка я, не обинуясь, призналъ бы либо душевно-больнымъ и въ этомъ случаѣ считалъ бы позволительнымъ сдѣлать съ нимъ все то, что дѣлается съ душевно-больными, когда они находятся въ бреду или въ припадкѣ бѣшенства, либо человѣкомъ на уровнѣ ребяческихъ понятій и представленій, и, значитъ, требующимъ примѣненія къ нему той или иной педагогической мѣры. Такимъ образомъ, весь вопросъ сводится къ тому, чтобы и въ личномъ поведеніи, и въ общественныхъ мѣропріятіяхъ до тѣхъ только предѣловъ вести борьбу, пока она не становится «возмездіемъ» или «устраненіемъ», или до тѣхъ поръ, пока допускаемое мною «принужденіе» не затрогиваетъ неотъемлемыхъ правъ человѣка, не подавляетъ тѣхъ его свойствъ, которыя онъ можетъ употребить во славу разума и любви (если онъ самъ не хочетъ употреблять ихъ съ этой цѣлью, это ужъ его дѣло). Такъ, напомню вамъ объ извѣстномъ «картофельномъ бунтѣ» въ сѣверныхъ губерніяхъ. Разсуждая въ отвлеченіи, введеніе картофеля — дѣло благое и полезное, но припоминая обстоятельства этого введенія: ссылки, экзекуціи, плети, возбужденіе звѣрскихъ чувствъ въ средѣ вводителей и въ средѣ не желающихъ введенія, я не могу не признать, что лучше бы погодить съ картофелемъ, ибо, какъ онъ ни полезенъ, онъ не стоитъ и сотой доли тѣхъ стра-

даній и тѣхъ загубленныхъ и извращенныхъ жизней. Соотвѣтственно съ картофелемъ, съ моей точки зрѣнія, будетъ любое подобное же «введеніе» любого блага и любой полезности. Вообще, мнѣ думается, что «человѣческой крови — цѣны нѣтъ», съ какой бы наивозвышеннѣйшей цѣлью она ни проливалась, и не только нельзя въ буквальномъ смыслѣ «пролить кровь», но и нельзя опустошать и извращать душу человѣческую, отнять даже у одного человѣка способы, служащіе ему для упражненія его благороднѣйшихъ и чистѣйшихъ способностей (хотя бы онъ въ данное время вмѣсто того, чтобы упражнять эти способности, упражнялся у Доминика или у какой-нибудь Альфонсинки).

До сихъ поръ я, главнымъ образомъ, имѣлъ въ виду такую борьбу, которая какъ бы подразумѣваетъ *наступленіе*. Теперь постараюсь формулировать мои отношенія къ *оборонительной* борьбѣ. Сознаюсь, что это гораздо труднѣе. Я, напримѣръ, склоненъ думать, что и такая борьба должна вестись тѣми же средствами; но вмѣстѣ съ тѣмъ отлично знаю, что бываютъ положенія, въ которыхъ трудно не прибѣгнуть къ инымъ. Оправдывать эти «иныя средства», желать ихъ я не могу, но чувствую, что временами не гарантированъ отъ невольнаго къ нимъ сочувствія, и вообще не могу поручиться, что бы я сдѣлалъ, находясь въ одномъ положеніи съ тѣми, которые прибѣгаютъ къ «инымъ средствамъ», будучи *вынуждены* защищаться. Необходимо оговориться, что «защиту» я понимаю въ самомъ узкомъ ея смыслѣ, во всякомъ случаѣ не осложненную принципомъ «возмездія», а если и прибѣгающую къ «устраненію», такъ не въ силу какого-либо принципа, а въ силу неистребимаго чувства самосохраненія и жалости къ близкимъ людямъ.

Что касается до Л. Н. Толстого, — я съ нимъ расхожусь тамъ, гдѣ онъ сходитъ съ исторической почвы, гдѣ онъ явно отрицаетъ необходимую послѣдовательность, связь, а стало-быть, и неизбѣжность общественныхъ явленій, — однимъ словомъ, гдѣ онъ рекомендуетъ, вмѣсто того, чтобы тихо и «законосообразно» сойти съ кручи по безчисленнымъ ступенькамъ, взять да и вообразить, что есть крылья, и, стало-быть, можно

слетѣть во мгновеніе ока. Но, разумѣется, несмотря на такое несогласіе, я никогда не примкну къ хору его неразборчивыхъ порицателей. (*Васъ* я не считаю неразборчивымъ порицателемъ, хотя мнѣ думается, что вамъ недостаетъ желанія узнать ближе Л. Толстого: узнать *все*, что онъ написалъ, и дополнить написанное личнымъ наблюденіемъ надъ его характеромъ, складомъ его ума и, вообще, надъ всей его, прямо скажу, удивительной натурою.)

Вотъ, кажется, и все, что я могъ изъяснить вамъ въ предѣлахъ письма и того времени, которое оказалось у меня свободнымъ. Вы, конечно, извините мнѣ и несистематичность изложенія, и нѣкоторую «беллетристическую» свободу въ выборѣ терминовъ и, можетъ-быть, происходящую отсюда неясность. Впрочемъ, что касается послѣдней, я всегда могу дать объясненіе и разъясненіе, если бы мнѣ по тому или иному поводу предложили опредѣленный вопросъ. Больше всего, однако, желаю, чтобы вы съ свойственной вамъ искренностью и добросовѣстностью каждое такое «неясное мѣсто» истолковали съ точки зрѣнія вашего собственнаго міровоззрѣнія, то-есть приняли бы его за согласное съ вашимъ мнѣніемъ. Такъ, напр., поступите, гдѣ употребленное мною слово дастъ вамъ поводъ заподозрѣть меня въ метафизическомъ пониманіи («душа», «неотъемлемыя права» и т. п.). А главное, пожалуйста, пожалуйста, не забудьте, что я не доказываю, а разсказываю, что я предъявляю «психологическую картину», а не философское ученіе, и что я всегда, всегда готовъ учиться и «вопрошать жизнь» во всѣхъ ея комбинаціяхъ и при всѣхъ возможнѣйшихъ освѣщеніяхъ. У меня органическое отвращеніе ко всѣмъ талмудамъ, ко всѣмъ замкнутостямъ, высокомѣрностямъ и окоченѣлостямъ.

Теперь два слова о П. А. Бакунинѣ. Я съ вами не совсѣмъ согласенъ. Можетъ-быть, оттого, что знаю его ближе, чѣмъ вы. Я не хочу этимъ сказать, что философія, которой онъ служитъ выразителемъ, геніальна... Но я хочу сказать, что взятый со всѣми его традиціями — съ этой неуловимо-привлекательной закваской 40-хъ годовъ, съ этой непрестанной «выспренностью» мысли, съ наклонностью обобщать, осмысли-

вать, одухотворять явленія, съ стройностью и хотя бы только внѣшнимъ благообразіемъ міровоззрѣнія, со всегдашнимъ благодушіемъ въ спорахъ, — взятый со всѣми этими традиціями, онъ, по моему мнѣнію, право же, нѣчто болѣе крупное, чѣмъ простая замѣна сплетни, картъ и выпивки.

Тутъ кстати будетъ прибавить о метафизикѣ. В. М. Гаршину пришлось однажды написать послѣ того, какъ онъ читалъ Спинозу, сдѣлавшаго на него нѣкоторое впечатлѣніе:... «Однако со временемъ впечатлѣніе ослабѣло: слишкомъ теорія отвлеченна и слишкомъ мало связана съ жизнью. Такъ что осталось воспоминаніе о прелестномъ симпатичномъ художественномъ произведеніи, а примѣненія системы къ объясненію жизни не вышло ни на грошъ. Чтобы быть спинозистомъ, нужно быть Спинозой и жить такъ, какъ онъ. Нужно не *думать* такъ, какъ онъ, а жить такъ». — Эти слова мнѣ представляются глубоко справедливыми. Отсюда — я не согласенъ съ тѣми (и съ вами, конечно), которые приговариваютъ метафизику къ совершенному упраздненію, обвиняютъ ее въ непремѣнномъ помраченіи умовъ, въ томъ, что она есть поборница всяческаго застоя и мракобѣсія. Разумѣется, нужно гнать ее изо всѣхъ силъ оттуда, гдѣ ей не мѣсто, нужно, елико возможно, обуздывать ея притязанія, но упразднять ее, сдавать въ архивъ, мнѣ кажется, столько же неосновательно, сколько изгонять роль воображенія въ наукѣ, роль гипотезъ, или желать исчезновенія тѣхъ «метафизическихъ» размышленій и обобщеній, которыя сплошь и рядомъ найдутся въ произведеніяхъ Шекспира, Гёте, Байрона... Мнѣ представляется, что произведенія великихъ метафизиковъ (въ смыслѣ историческихъ величинъ — великихъ): Платона, Декарта, Спинозы, Гегеля, Шопенгауэра и другихъ, никогда не перестанутъ имѣть свойственное имъ обаяніе на умы и на чувства людей, какъ не перестанутъ имѣть обаяніе «Фаустъ», «Манфредъ», «Гамлетъ», «Война и миръ». Съ этой точки зрѣнія въ высшей степени было бы интересно прочитать вмѣстѣ съ критикой извѣстнаго ученія строго-научное, то-есть безпристрастное, изслѣдованіе жизни, характера, свойствъ ума автора такого ученія. Тутъ бы открылись любопытнѣйшія аналогіи мыслей, представленій, самаго метода —

съ психо-физіологической почвой, и вмѣстѣ съ тѣмъ открылся бы секретъ воздѣйствія ученія на людей. Я думаю, или, лучше сказать, подозрѣваю, что этотъ секретъ объясняется не дикостью мыслей, свойственныхъ невѣжественнымъ людямъ, не тѣмъ, что люди мало и плохо думаютъ, если увлекаются Шопенгауэромъ или Гегелемъ, а тѣмъ же, чѣмъ объясняется воздѣйствіе крупнаго художественнаго произведенія, чѣмъ объясняется, что человѣкъ одного склада и одного положенія приверженъ къ Шекспиру, другого—къ Гёте, третьяго — къ Байрону.

А все это я веду къ тому, что хотя П. Бакунинъ далеко не великій и не оригинальный метафизикъ — все жъ таки производитъ и своей фигурой, и своей философіей благородное и чистое воздѣйствіе, хотя бы на тѣхъ людей, въ натурѣ которыхъ есть родственныя совпаденія съ *тономъ* и *предметомъ* его философіи.

Но, чувствую, сколько ни пиши — все равно, обо всемъ не переговоришь; все равно, письмо произведетъ впечатлѣніе незаконченности. Мысли и соображенія ползутъ со всѣхъ сторонъ; вспоминаю, что и то нужно бы добавить, и это разъяснить, и объ этомъ поговорить... Ей Богу, конца не предвидится. А потому и закончу просьбой и пожеланіемъ. 1) Просьба. Пожалуйста, пришлите мнѣ остальные оттиски вашихъ статей о «научной философіи», у меня есть два первые. Очень меня обяжете этимъ. «Русской Мысли» я не получалъ и не получаю, а слѣдовательно, и статей вашихъ не читалъ. 2) Пожеланіе. Не относитесь ко мнѣ хуже теперь, когда узнали меня ближе, чѣмъ прежде, потому что, серьезно говоря, мнѣ очень больно терять себя во мнѣніи такихъ людей, какъ вы, хотя бы я и считалъ себя правымъ. Вообще я съ гораздо большей охотой ищу, въ чемъ бы можно согласиться, въ чемъ бы можно идти рядомъ, рука въ руку, нежели тѣ пункты, на которыхъ неизбѣжно разногласіе, неизбѣжна борьба, раздѣленіе, рознь, воинственное отношеніе другъ къ другу. Разумѣется, если пункты въ *данное время* не существенны.

Ал. Эртель.

Еще нѣсколько словечекъ. Въ началѣ письма я сказалъ: «И впереди, и назади стоятъ заставы, на которыхъ написано: входъ разуму воспрещается». Изъ сопоставленія этихъ словъ съ тѣмъ, что у меня сказано о метафизикѣ, выходитъ какъ бы противорѣчіе. Но это именно «какъ бы противорѣчіе». Я думаю, что доказательна для *всѣхъ* людей только *одна* философія: та, которая руководится строго-научнымъ методомъ; если она можетъ предъявить аргументы, равные по силѣ аргументамъ физики или химіи, то тутъ ужъ, конечно, ничего не подѣлаютъ ни отдѣльныя склонности ума, ни индивидуальныя особенности темперамента. Но всякое *точное* знаніе необходимо замыкается въ извѣстный кругъ, предѣловъ котораго не преступаетъ и не можетъ преступить, не утрачивая точности. Это, однако, отнюдь не значитъ, чтобы запросы человѣка какъ разъ совпадали съ той областью, которая доступна строго-научному, то-есть для всѣхъ равно доказательному изслѣдованію. Запросы человѣка гораздо шире, и я отказываюсь признать незаконность этого, отказываюсь желать, чтобы они были введены въ границы «совпаденія». Да и никогда не будетъ этого. И именно то, что этого никогда не будетъ, и есть raison d'être искусства и метафизики, raison d'être религіи. Къ этимъ «тремъ» отрицательное отношеніе можетъ и должно существовать именно въ виду обузданія различныхъ ихъ незаконныхъ притязаній и гордыхъ нашествій на область точныхъ знаній; но, мнѣ думается, у нихъ есть своя область, гдѣ они царствуютъ по праву и откуда быть вытѣсненными никакъ не могутъ. Въ своей области они никогда не перестанутъ увлекать, никогда не перестанутъ вызывать въ человѣческой душѣ родственныя имъ созвучія; и не будучи въ состояніи предъявлять научныя доказательства, всегда останутся доказательными на тотъ или иной ладъ для всѣхъ, запросы которыхъ не вмѣщаются въ области, доступной точному познанію. Это потому, что есть различный родъ доказательствъ: научная теорія познанія предполагаетъ такой, который, какъ $2 \times 2 = 4$, равно убѣдителенъ для *всѣхъ*; другой родъ доказательствъ я бы назвалъ «скрытымъ», «органическимъ», непреодолимо вытекающимъ изъ точнѣйшаго

совпаденія тѣхъ или иныхъ индивидуальныхъ особенностей человѣка съ тѣмъ или инымъ религіознымъ ученіемъ, произведеніемъ искусства, или съ той, съ другой системой метафизическихъ утвержденій. Что такія доказательства существуютъ и въ огромной степени непреодолимы, въ этомъ могутъ убѣдить насъ повседневныя наблюденія и въ любой средѣ, какъ бы она ни стояла высоко въ умственномъ развитіи. Я склоненъ думать, что способствуютъ этому не какія-либо отжившія привычки, а коренныя, неистребимыя свойства духа человѣческаго. И вреда отъ этого нисколько нѣтъ, если человѣкъ переходитъ въ область «скрытыхъ доказательствъ», съ добросовѣстностью исчерпавши «научныя».

А. Эртель.

Ему же[1]).

10 февраля 1889 г.

Я безконечно виноватъ передъ вами, искренно уважаемый Вл. Вик. Дѣло въ томъ, что я, просматривая въ свое время ваши статьи, читалъ съ надлежащимъ вниманіемъ только тѣ, которыя касались литературныхъ темъ: о Лессингѣ, о Данте, объ испанскомъ романѣ, и оставлялъ другія до «болѣе удобнаго времени». Такимъ образомъ, я, напримѣръ, совсѣмъ не читалъ вашихъ двухъ статей о Милославскомъ. Но вчера, уже отправивши, къ сожалѣнію, письмо свое, мнѣ пришлось по одному частному поводу взять вашу первую статью изъ «Рус. Мысли» («Что такое научная философія?») и... вся ночь напролетъ, до утра прошла у меня въ томъ, что я перечиталъ все, что у меня есть вашего, и что исключительно относится къ философіи. Особенное наслажденіе доставили мнѣ статьи о Милославскомъ и «Что такое научная философія?» Я не могу, конечно, сказать, что вы переубѣдили меня въ нѣкоторыхъ моихъ взглядахъ (въ нѣкоторыхъ переубѣдили), но мнѣ, во всякомъ случаѣ, сдѣлалось ясно, что многихъ мнѣній моихъ я не долженъ былъ высказывать *въ той формѣ, въ которой высказалъ,* ибо точно такую же форму мнѣній вы уже имѣли случай препарировать (напр., о гипотезахъ и метафизикѣ), и я обязанъ былъ знать это. Затѣмъ. Въ общихъ чертахъ мнѣ

---

[1]) См. примѣчаніе къ предыдущему письму. Въ записной тетради А. И. Эртеля помѣчено здѣсь: «Сюда же нужно присовокупить письмо мое къ В. В. Лесевичу, написанное на другой день послѣ предыдущаго». Такимъ образомъ, по мысли А. И., эти три письма: автобіографическое письмо къ В. Г. Черткову и письма къ В. В. Лесевичу отъ 7 и 10 февраля, должны были составлять какъ бы одно цѣлое.

были извѣстны сущность научнаго міровоззрѣнія, его различіе отъ такъ называемаго «позитивизма», что такое означалъ въ Германіи «поворотъ къ Канту», и также въ общихъ чертахъ ваша философская добросовѣстность и т. д.[1]). Но... остается множество «но», которыя попрежнему вносятъ несогласія между нами, и, вѣроятно, эти несогласія придется причислить къ разряду «органическихъ». Тотъ смыслъ моей жизни, который я не могу не искать и который ищу всѣми силами моего существа, — не однимъ умомъ, а именно всѣми силами существа — весьма легко даетъ трещины и прорѣхи, если его подвергнуть анализу, исходящему *только* отъ разума. «Смыслъ жизни» — пріѣвшееся выраженіе, которое я съ удовольствіемъ бы отбросилъ — есть та теорія положительной нравственности, которая необходима, чтобы утвердиться среди измѣнчивости и текучести всего существующаго. Теперь вопросъ: возможно ли обоснованіе такой необходимой «державы» путемъ только научнаго метода? Все, что я знаю объ этомъ методѣ, о границахъ той области, въ которой честь ему и мѣсто, рѣшительно говоритъ противъ возможности такого утвержденія. Онъ (методъ) мнѣ представляется до тѣхъ поръ дѣйствительнымъ, пока онъ «разлагаетъ» и «констатируетъ», пока утверждаетъ объективныя понятія, то-есть не объективируетъ понятія, а замыкаетъ ими извѣстный рядъ представленій и сводитъ ихъ въ законы, въ родовыя понятія. Но этого мало для установленія той «истины, которая всего дороже». И вотъ, мнѣ думается, здѣсь-то неотвратимо выступаетъ соединенная роль чувства и разума — роль «скрытыхъ доказательствъ», за которыя я крѣпко держусь. Иначе, мнѣ кажется, придется открыть двери самому горчайшему пессимизму, признать, что «жизнь есть безсмысленная шутка».

А. Эртель.

---

[1]) Здѣсь я говорю о томъ, что благодаря его статьямъ я многое узналъ въ подробности, — особенно изъ первой статьи о Милославскомъ, и что для меня стало неоспоримо превосходство научнаго метода надъ метафизическимъ: «сила перваго метода, надлежащимъ образомъ употребленная, представляется мнѣ неопровержимой», говорю я.

Прим. А. И. Эртеля.

В. Г. Черткову.

12 марта 1889, Тверь.

...Въ моихъ «философическихъ» соображеніяхъ обозначается нѣкоторый поворотъ, дорогой мой; разумъ-то, оказывается, вовсе не такая сила: это, напримѣръ, совершенно недостаточное орудіе, чтобы «сыскать Бога»; то, что мы называемъ Богъ, вовсе недоступно разуму. Такимъ образомъ, вѣра въ Него слагается совсѣмъ, совсѣмъ не отъ разума; теоріи такъ называемаго «идеализма» (Платонъ, Декартъ, Гегель) идутъ въ разрѣзъ съ природой разума, приписываютъ ему сверхъестественныя свойства, оперируютъ съ произвольными посылками, строятъ зданія «на песцѣ». Мнѣ ужасно было досадно, когда я убѣдился, что напрасно пренебрегалъ тѣмъ, что нынѣ называется «научной философіей». Правда, эта философія въ сущности только острый критическій ножъ, и сама по себѣ не даетъ никакихъ утвержденій (а если даетъ, такъ или глупыя, или пессимистическія), но этотъ ножъ необходимъ въ дремучемъ лѣсу всякихъ предразсудковъ и безсознательно или односторонне усвоенныхъ понятій. Въ связи съ тѣмъ, что я узналъ изъ этой-то области, мнѣ стало ясно, что въ ходѣ умствованій Л. Н — ча никогда онъ не былъ такъ близокъ къ истинѣ, какъ въ «Исповѣди», и весьма приблизился къ произволу и мистицизму въ своемъ сочиненіи «О жизни». То-есть, тамъ, гдѣ касается дѣло «міроразумѣнія». Во всякомъ случаѣ, одно безспорно: никогда не надо думать, что пора поставить точку [1]).

Вашъ А. Эртель.

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

22 марта 1889.

... Я очень согласенъ съ вами въ томъ, что никогда не надо думать, что пора поставить точку, и особенно люблю китайскую пословицу: «Возобновляй себя каждый день сначала, и опять сначала, и всегда сначала». Но я не раздѣляю того значенія, которое вы придаете «научной философіи», какъ орудію отрицательному. Мнѣ кажется, что для своего собственнаго обихода всякій мыслящій человѣкъ обладаетъ достаточно острымъ ножомъ для отдѣленія предразсудковъ и условныхъ понятій. Человѣкъ, искренне ищущій истины, всегда сумѣетъ откинуть все ненужное уже по одному тому, что оно не дастъ ему искомаго удовлетворенія,—разумѣю исканіе *раціональной* истины. Во всякомъ случаѣ про Л. Н—ча скажу, что отрицательная сторона его писаній не дала мнѣ почти ничего, между тѣмъ какъ его пониманіе положительной стороны ученія Христа многое во мнѣ подтвердило, поддержало, расширило. Но положительная сторона этого ученія вообще усваивается только при одномъ непремѣнномъ условіи — при наличности сильнѣйшей и большею частью мучительнѣйшей и безпокойнѣйшей отрицательной дѣятельности своей собственной души и своего разума, т.-е. тогда, когда человѣкъ разочаровался въ себѣ, недоволенъ своею жизнью, своими стремленіями и понятіями. Отрицательная же сторона всякаго ученія легче всего усваивается; усваивается она даже при поверхностномъ, непроникновенномъ ознакомленіи съ нею—тогда, когда человѣкъ интересуется ею только ради развлеченія или, что почти то же самое, ради расширенія своего кругозора, развитія себя. Положительная сторона ученія Христа сопряжена съ неизбѣжностью такихъ *дѣлъ*, на которыя большинство вовсе несогласно. И будучи не готовы къ новой жизни, люди, сами не замѣчая того, поддаются инстинктивному чувству самосохраненія, и либо просматриваютъ положительное, либо тутъ же, на мѣстѣ, во время воспріятія, разубѣждаютъ себя въ его разумности, выковыривая и раздувая то несовершенное и ошибочное, что всегда имѣется во всемъ, что связано съ человѣческимъ умомъ и сердцемъ. Отрицательная же сторона болѣе отвлеченна и мало связана съ практическими обязательствами. Вотъ, какъ мнѣ кажется, главная причина того, что отрицательная сторона ученія Христа легче и охотнѣе воспринимается и вызываетъ

больше сочувствія и согласія въ большинствѣ людей. Зато я опять согласенъ съ вами въ вашемъ умаленіи значенія разума. Я думаю такъ: ученіе Христа тѣмъ и сильно и жизненно, что оно согласуетъ дѣятельность разума съ дѣятельностью сердца. Человѣкъ, управляемый только своимъ сердцемъ, безразсуденъ; управляемый однимъ разумомъ, онъ безсердеченъ. Въ жизни и ученіи Христа находится счастливое сочетаніе *разумной* жалости и *добрыхъ* мыслей. Считать, что для руководства своего въ своей жизни я долженъ давать предпочтеніе разуму или жалости, значитъ не понимать и не чувствовать ученія Христа. Разница между неразумною жалостью, съ одной стороны, и холодною разсудочностью—съ другой, съ изумительною глубиной обнаружилась въ сознаніи Христа о необходимости любви къ Богу всею душою, всѣмъ сердцемъ и всѣми помышленіями и любви къ ближнему, какъ къ самому себѣ. Любовь къ Богу выражается моимъ служеніемъ тому сознанію Истины и Добра, которое живетъ въ моей душѣ, и которое и есть для меня тотъ Богъ, котораго я долженъ любить всѣмъ сердцемъ, всею душою, всѣми помышленіями. Эта любовь къ Богу есть не что иное, какъ беззавѣтное влеченіе къ добру и правдѣ, овладѣвающее всѣмъ моимъ духовнымъ существомъ. Другая любовь — любовь къ ближнему — есть чувство жалости, которое должно быть управляемо моею любовью къ Богу. У человѣка, духовная природа котораго не извращена, въ сознаніи развивается разумѣніе одновременно съ тѣмъ, какъ его природное чувство жалости отзывается на окружающее его страданіе ближняго. Для такого человѣка вся жизненная дѣятельность проявляется во внутреннемъ согласованіи этихъ двухъ движеній ума и сердца и во внѣшнемъ осуществленіи этого согласованія въ его поступкахъ. Въ этомъ, какъ мнѣ кажется, и лежитъ вся сила и глубина двухъ главныхъ заповѣдей Христа. Отступленія бываютъ и въ ту, и въ другую сторону. Человѣкъ одинаково разъединяетъ эти заповѣди, какъ тогда, когда онъ разуму жертвуетъ жалостью, такъ и тогда, когда онъ изъ жалости совершаетъ неразумный поступокъ. Главная работа христіанина должна быть въ томъ, чтобы постоянно и по возможности непрерывно согласовать разумъ съ жалостью и жалость съ разумомъ. Вся работа его жизни заключается въ приближеніи къ тому, чтобы обѣ эти заповѣди о любви къ Богу и къ людямъ сливались въ немъ въ ту одну, больше которой, по утвержденію Христа, нѣтъ.

М. Н. Чистякову.

19 апрѣля 1889 г. Тверь.

Только что получилъ я ваше письмо, дорогой Матвѣй Николаевичъ, и убѣдился изъ онаго, что вы такой же неукротимый, какъ и прежде. Отчасти это дѣлаетъ вамъ честь, разумѣется, а съ другой стороны, совсѣмъ не дѣлаетъ чести. *Тонъ* вашихъ разговоровъ съ Ел. Ив.—тонъ, которымъ и письмо ваше проникнуто, мнѣ рѣшительно не нравится. Съ какой стати вы предъявляете къ ней такія требованія, то-есть, чтобъ она дѣлала добро по-вашему, а не по своему? Замѣтьте, я не говорю, что вашъ способъ дѣлать добро хуже, я только говорю, что она-то не виновата, если не видитъ преимущества за вашимъ способомъ, а видитъ его за своимъ. Если бы ея взгляды на христіанство были одинаковы со взглядами В. Г—ча или вашими, а она все-таки держалась бы за N.,—это другое дѣло, но въ томъ-то и штука, что ея взгляды на это совсѣмъ особенные отъ вашихъ. И винить ее за это нельзя, а стало-быть, нельзя и говорить съ ней такимъ тономъ, нельзя на нее и сердиться. Помните, Иванъ Петровъ утверждалъ, что своими глазами видѣлъ дьявола! Подите, потолкуйте съ нимъ — сердитесь на него, презирайте его! Фактъ останется фактомъ: Иванъ Петровичъ вѣруетъ въ дьявола. Я хочу этимъ напомнить вамъ, какимъ сложнымъ способомъ созидаются убѣжденія и какъ они бываютъ крѣпки, несмотря на ихъ вопіющую нелѣпость — и хочу напомнить, какъ ничего тутъ не подѣлаешь гнѣвомъ и презрѣніемъ. Съ нашей точки зрѣнія, Ел. Ив. не права, мы считаемъ это наше мнѣніе за истину; въ томъ, что это истина, убѣждаютъ насъ такія-то и такія-то доказательства. Съ своей

точки зрѣнія Ел. Ив. считаетъ себя правою, а насъ въ заблужденіи, и тоже убѣждается въ этомъ такими-то и такими-то доказательствами. Она, напримѣръ, по всей вѣроятности, убѣждена, что главное-то вовсе не въ томъ, чтобы мужики имѣли дешевые выпасы и землю, а въ томъ, чтобы насаждалось «истинное христіанство»; чтобы проповѣдовать это «истинное христіанство»; чтобы оно зарекомендовывало себя такими «добрыми дѣлами», которыя совершались бы «наверху горы», то-есть видны были бы всюду. Вы напрасно думаете, что «литавры» нужны для самой Ел. Ив. — это не такъ. «Литавры» нужны для цѣлей «религіи»; а затѣмъ и помимо всякихъ «литавровъ», она привыкла дѣлать добро въ извѣстной средѣ и съ извѣстными пріемами — и *въ этихъ условіяхъ*, дѣйствительно, добрый и прекрасный человѣкъ. Однимъ словомъ, вотъ сошлись люди съ противоположными убѣжденіями, и каждый думаетъ, что онъ представляетъ истину; и вмѣсто того, чтобы доказывать каждому, почему онъ считаетъ такое-то утвержденіе истиной, набросились бы другъ на друга съ гнѣвомъ и презрѣніемъ, стали бы заподозрѣвать другъ друга въ неискренности, въ «литаврахъ» и т. п. Какъ вы думаете, убѣдили бы они другъ друга, или разошлись бы врагами? Конечно, разошлись бы врагами.

Какъ! У человѣка рядомъ поколѣній, кровными, впитанными съ молокомъ матери традиціями, вѣрованіями, привычками, невольными склонностями, создалось такое-то міровоззрѣніе, и вы въ одинъ день хотите опровергнуть его, сердитесь, что васъ не слушаютъ, удивляетесь, что сердятся на васъ, заподозриваете въ неискренности несдающагося человѣка. — Богъ съ вами! Вѣдь всякое органически сложившееся міровоззрѣніе весьма туго, а то и совсѣмъ не поддается доводамъ разума — оно поддается всѣмъ разнообразнѣйшимъ впечатлѣніямъ жизни, и по чуточкѣ, съ страшной медленностью. Наскокомъ, «съ бацу» тутъ ничего не подѣлаешь. Разумъ — ножикъ-то острый, да вотъ бѣда — ножикъ не все рѣжетъ, булыжникъ не поддается ножу. Міровоззрѣнія я бы сравнилъ съ массой, сердцевина которой по крѣпости подобна булыжнику, а окраины все мягче и мягче. Ножикъ — разумъ отлично можетъ управиться съ

окраинами, но чѣмъ дальше вглубь, къ серединѣ, онъ становится все безполезнѣй и безполезнѣй, и, наконецъ, его нужно совсѣмъ бросить и обратиться къ другимъ орудіямъ, размягчить сердцевину, сдѣлать такъ, чтобъ она вывѣтрилась, и тогда уже опять за ножикъ браться и докончить начатое. Вы, мнѣ думается, сдѣлали ошибку, не опредѣливши хорошенько, что́ во взглядахъ Ел. Ив. сердцевина, и что окраины. Предложивши ей совершенно измѣнить способъ помощи, способъ добрыхъ дѣлъ, — вы, по моему мнѣнію, коснулись сердцевины, и какъ бы ни былъ остеръ вашъ ножикъ, какъ бы ни были убѣдительны ваши доказательства — это ни къ чему не могло привести, потому что, повторяю вамъ, по глубокой вѣрѣ Ел. Ив., не важны временныя, земныя страданія людей, а важно насажденіе «истиннаго христіанства». Для насажденія же христіанства нужны большія средства, которыя и даетъ ей N. Съ этой позиціи Ел. Ив. не сбить никакими статистиками или личнымъ опытомъ.

И, по-моему, человѣка надо брать такъ, каковъ онъ есть — надо брать отъ него то, что онъ можетъ дать. Иные въ положеніи Ел. Ив. мы знаемъ, что такое за гуси. Однакоже она несравнима ни въ какомъ случаѣ съ этими «гусями». И слава Богу. Сердиться на нее, что она Ел. Ив., а не святая, нельзя, да и не хорошо, несправедливо. А посодѣйствовать тому, чтобы Е. И. проявила всѣ свои добрыя свойства, всѣ великодушныя намѣренія, къ которымъ способна, — это нужно, и это хорошо и справедливо. Раздражать же ее, возбуждать въ ней нехорошія чувства — врядъ ли будетъ значить помочь ей быть доброй и великодушной.

Такимъ образомъ, по моему мнѣнію, ни вы, ни Вл. Гр. не правы. То-есть вы правы въ вашихъ взглядахъ на организацію помощи, но не правы, раздражая Ел. Ив. и предъявляя къ ней такія требованія. Нужно было убѣждать ее ровно настолько, насколько она могла выслушать, не приходя въ ожесточеніе и не раздражаясь; нужно было завоевать частичку ея расположенія къ вашимъ взглядамъ, потому что «частичка» все-таки плюсъ, между тѣмъ какъ «ожесточеніе» — минусъ и очень печальный. Она входила въ союзницы въ ваше маленькое предпріятіе — и отлично, надо было брать то, что она считала воз-

можнымъ дать. Я не говорю, что на этомъ слѣдовало и остановиться. Нимало. Нужно неутомимо дѣйствовать на нее, но отнюдь не «съ бацу». Вы возразите, что невозможно стерпѣть, когда видишь кругомъ столько несчастныхъ, нищихъ, голодныхъ и раздѣтыхъ. Я на это скажу, что если вы не стерпите, то докажете этимъ свое доброе сердце, но нисколько не благоразуміе. Развѣ мы не видимъ кругомъ картинъ жестокаго произвола, грубости, дикости, попранія всякаго рода правъ, эксплуатаціи? А если видимъ, отчего же не поступаемъ подобно тѣмъ, которые съ нахрапу, съ наскоку, съ бацу лѣзли на стѣну, выступали на площади, хотя бы ихъ было одинъ человѣкъ противъ тысячи? Оттого не поступаемъ такъ, что это неразумно, что это ни къ чему не поведетъ, и скорѣе даже повредитъ добру, чѣмъ поможетъ. Развѣ на нашихъ глазахъ не повредила добру такая борьба теряетъ свой благородный смыслъ и становится источгорячихъ сердцахъ, о честныхъ и великодушныхъ стремленіяхъ.

Нужно твердо памятовать вотъ что: борьба нужна только для торжества добра надъ зломъ. Разъ въ эту борьбу вмѣшиваются страсти, вмѣшивается игра личнаго самолюбія, разъ упускается изъ виду единственно-разумная и достойная цѣль борьбы — торжество истины, осуществленіе добра — тогда борьба теряетъ свой благородный смыслъ и становится источникомъ зла, источникомъ разъединенія между людьми, даетъ новый поводъ къ раздраженію, къ ненависти. Нужно избѣгать *такой* борьбы, дорогой мой. Цѣль всякой истинно-человѣческой, а не звѣриной борьбы — присоединить къ себѣ людей, а не оттолкнуть, примирить ихъ, а не раздражить; иными словами, брать отъ нихъ то, что они могутъ дать, и не винить ихъ, потому что вѣдь въ сущности-то никто, рѣшительно никто не виноватъ. Въ условіяхъ *личной* борьбы только, значитъ, и можно *убѣждать и доказывать*, и въ малой мѣрѣ можно ставить противника въ такія условія жизни, въ среду такихъ впечатлѣній, которыя, въ свою очередь, могутъ видоизмѣнить его взгляды въ желательномъ смыслѣ. Только и доступно *личной* борьбѣ. Борьбѣ общественной, борьбѣ, исходящей отъ совокупности личныхъ силъ — отъ государства, доступно большее.

Общественная борьба съ гораздо большимъ могуществомъ властна поставить личность въ такія условія, которыя измѣнили бы взгляды и міровоззрѣніе этой личности. Напримѣръ, человѣкъ въ частной своей жизни могъ бороться съ крѣпостниками и достигать этой борьбою кое-какихъ крупицъ; но государство сразу поставило этихъ крѣпостниковъ въ такія условія жизни, что вотъ 25 лѣтъ спустя, навѣрное, 90% изъ нихъ измѣнили свои взгляды и свои убѣжденія. Я увѣренъ, что такъ же произойдетъ со временемъ и по отношенію къ владѣнію землею. Идея такъ называемой національзаціи земли, то-есть идея о томъ, чтобы земля была ничья, или, лучше сказать прекрасными словами Корана: «кто оживитъ землю мертвую, то земля та принадлежитъ ему» — и принадлежитъ, покуда онъ «оживляетъ ее»,—эта идея занимаетъ мало-по-малу довольно прочное мѣсто и въ наукѣ, и въ общественномъ сознаніи, и со временемъ, конечно, осуществится посредствомъ такой же общественной мѣры, какъ и упраздненіе крѣпостного права. И вотъ тогда воззрѣнія и убѣжденія нынѣшнихъ землевладѣльцевъ, конечно, измѣнятся весьма быстро и самымъ кореннымъ образомъ въ три, въ четыре поколѣнія. Личность, и теперь убѣжденная въ истинѣ хотя бы вышеприведенныхъ словъ Корана, конечно, не должна сидѣть сложа руки въ ожиданіи вожделѣнной общественной реформы, но въ распоряженіи личности только и есть тѣ средства, о которыхъ было говорено выше. И если она не будетъ довольствоваться этими средствами — если поведетъ борьбу неразумно, то рискуетъ гораздо больше повредить истинѣ, нежели помочь.

Всѣ эти теоретическія соображенія я излагаю, опять-таки имѣя въ виду вашъ инцидентъ съ Ел. Ив.

Ему же.

20 іюля 1889.

Сегодня только получилъ твое извѣстіе о смерти Люси... Господи, какъ мнѣ ихъ жалко и до чего больно за нихъ! И развѣ есть утѣшеніе, кромѣ того «ключа забвенья, который слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ?..»

...Такъ мнѣ жутко отъ этой маленькой смерти — то-есть жутко за Ч — хъ. Напрасно ты спорилъ съ В. Г. о С — вѣ. Я въ то же время, когда договаривалъ свои слова о С — вѣ, чувствовалъ свою неправоту. То-есть не то, что убѣдился въ ошибочности моего мнѣнія о С — вѣ, а убѣдился въ томъ, что не надо мнѣ было говорить то, что я сказалъ. Не даромъ же испытываешь родъ какой-то непріятной оскомины, когда наговоришь лишнее, — и на языкѣ-то дѣлается ощущеніе чего-то гадкаго! — вотъ именно эту оскомину я почувствовалъ послѣ того разговора на террасѣ. Вотъ почему мнѣ думается, что В. Г. *правъ*, находя меня *неправымъ*... О людяхъ злое можно говорить, но съ однимъ условіемъ: или когда даешь полную картину того человѣка, о которомъ говоришь, или когда говоришь съ тѣмъ, кто и безъ тебя отлично знаетъ того человѣка, значитъ, можетъ къ твоему *злому* прибавить для полноты картины все то доброе, что знаетъ про человѣка. Говори мы съ тобой вдвоемъ о С — вѣ тѣ же самыя слова, которыя говорили В. Г — чу, это бы ничего, отъ этого С — въ не прибавился бы, а главное, не убавился бы въ нашемъ мнѣніи, но мы говорили не вдвоемъ, и это совсѣмъ, совсѣмъ напрасно. А ужъ про то, что сказалъ Л. Н. Т., и рѣшительно не слѣдовало упоминать: мнѣ стыдно, что я упомянулъ про то.

Но это все вздоръ. Теперь особенно бережно, особенно нѣжно нужно относиться къ В. Г — чу, не говоря уже объ А. К. Давать чувствовать людямъ, что любишь ихъ — это иногда самая большая помощь, которую можешь оказать имъ, особенно въ пору невзгоды. Бываетъ и наоборотъ, но мнѣ думается, что это «наоборотъ» вещь болѣзненная.

«Чистая правда», какъ ты пишешь, вещь хорошая, но опять-таки не всегда. Хороша она, когда содѣйствуетъ любви, но въ томъ и горе, что зачастую не содѣйствуетъ, а препятствуетъ. Нужно твердо знать тактъ, вотъ что нужно. Не рекомендую этими словами *ложь*, но рекомендую молчаніе, которое — золото, въ противоположность слову — серебру. Конечно, есть обстоятельства, когда обязанъ говорить, но въ томъ и дѣло, что легко иной разъ злоупотребляешь этой обязанностью...

В. Г. Черткову.

20 іюля 1889.

Братъ мой милый! Другъ мой хорошій!.. Я знаю, что утѣшенія бываютъ безплодны, и не утѣшать тебя хочу... Всѣ логическія разсужденія на эту тему одинаково убѣдительны и одинаково праздно звучатъ въ ушахъ страдающаго. Я это испыталъ... Я видѣлъ, какъ безсильна логика передъ лицомъ такого страшнаго горя... Но мнѣ бы хотѣлось, чтобы и ты, и бѣдная, дорогая, милая Анна Константиновна нашли хоть крошечное, капельное утѣшеніе въ томъ чувствѣ боли, жалости, любви, которое мы испытываемъ и къ вамъ, и за васъ. Мнѣ бы хотѣлось, дорогой другъ мой, въ эту тяжелую для тебя минуту съ особенной искренностью, съ особенной настойчивостью напомнить тебѣ, какъ я глубоко, какъ горячо люблю тебя, — а если ты въ силахъ вызывать такую любовь даже въ такихъ людяхъ, какъ я, — ищи въ этомъ утѣшеніе и найдешь его... Голубь мой чистый! Словъ-то я не найду, чтобы выразить все, что кипитъ въ душѣ... Жалко, больно, и еще больше люблю тебя, и еще больше ты мнѣ дорогъ... Крѣпись, милый братъ! Давай примѣръ Аннѣ Константиновнѣ, въ душу которой мнѣ и заглянуть страшно. Охъ, жгучее и трудное это горе... Дай вамъ Богъ доблестно и по-человѣчески, по совѣсти перенести его. Рвусь васъ увидать, друзья мои, но врядъ ли скоро увижу... Ахъ, Люся, Люся!.. Цѣлую крѣпко.

А. Эртель.

М. Н. Чистякову.

3 августа 1889, ст. Графская КВР.

Милый Матвѣй Николаевичъ, я получилъ письма и отъ тебя, и отъ В. Г. Письмо В. Г — ча такъ же хорошо и глубоко, какъ хороша и глубока его натура, и неизъяснимо трогательно. Работу мысли, которую ты въ немъ примѣчаешь теперь, мнѣ кажется, угадать не трудно: эта работа разрѣшится еще большимъ стремленіемъ жить для другихъ, потопить свое *я* въ жизни *общаго*. Я не согласенъ съ крайнимъ выраженіемъ этого принципа; на меня вѣетъ отъ него аскетизмомъ, мученичествомъ; я думаю, что жизнь потеряетъ многое изъ своей прелести, если признать эту норму желательною для всѣхъ людей. Затѣмъ эта норма противорѣчитъ и личному складу моего характера, моего ума. Однимъ словомъ, если согласиться съ Гейне, что родъ людской дѣлится на эллиновъ и іудеевъ, то мнѣ придется причислить себя къ эллинамъ. За всѣмъ тѣмъ я не могу не чувствовать самаго горячаго благоговѣнія къ тѣмъ «іудейскимъ» или буддійскимъ особенностямъ въ натурѣ В. Г., которыя столь сильно руководятъ его душою, заставляютъ его строить свои отношенія къ людямъ такъ, а не иначе. По моему глубокому убѣжденію, вложить всю жизнь, жизнь всѣхъ людей въ «эпиктетовскія» или въ «буддійскія» нормы не только невозможно, но и не надо, такъ же какъ невозможно и не надо, чтобы она нормировалась, напримѣръ, ученіемъ Эпикура. Жизнь шире всякихъ нормъ, и это хорошо, что она шире. Однако часто бываетъ, что отдѣльная личность въ чудной стройности воплощаетъ ту

или иную норму жизни, и это опять-таки хорошо. Жизнь всѣхъ людей, міровая жизнь мнѣ представляется огромнымъ оркестромъ. Оркестру назначено играть одну пьесу. У каждаго инструмента своя партія въ этой пьесѣ. И значительность, сложность каждой партіи строго соразмѣрена съ значительностью и сложностью того или иного инструмента. Иному инструменту назначены подмывающе-граціозныя ноты, иному — важныя, строгія, иному — даже трагическія, и опять веселыя, жизнерадостныя, плѣнительныя въ неисчислимомъ разнообразіи оттѣнковъ и содержанія. Вся задача инструментовъ заключается лишь въ томъ, чтобы не фальшивить, не «вламываться» въ чужую партію, не брать чужихъ нотъ. И когда это условіе соблюдено — жизнь даетъ все, что можетъ дать. Жить въ современныхъ условіяхъ потому бываетъ иногда тяжело, наблюдать ее потому грустно, что черезчуръ много фальши въ инструментахъ, что слишкомъ часто играютъ, не соображаясь съ общимъ содержаніемъ пьесы, забываютъ, что это содержаніе опредѣляется «благомъ всѣхъ людей, благомъ на землѣ». Тяни самую развеселую ноту, будь Анакреономъ, Оффенбахомъ даже — это ничего, разъ ты тянешь *свою*, а не чужую партію, это хорошо; но если ты въ этой своей партіи начинаешь врать, т.-е. противорѣчить *общему* содержанію пьесы — это худо, отъ этого зло. А вовсе не оттого, что не всѣ играютъ по Христу, или по Буддѣ, или по Эпиктету. Отсюда тебѣ станетъ понятно, что не раздѣляя, напримѣръ, воззрѣній В. Г., т.-е. нѣкоторыхъ его воззрѣній, я не могу не умиляться передъ его стремленіями и его жизнью: онъ свою партію играетъ по совѣсти, и, кромѣ того, партія эта значительна и важна въ общемъ содержаніи пьесы. То же могу сказать и о Л. Н — чѣ Толстомъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы ярче выразить мою мысль, прибавлю: я вижу стройность и въ игрѣ такой скрипки, какъ покойный М. Е. Салтыковъ, а съ нѣкоторыми ограниченіями вижу ее и въ писательской дѣятельности А. Фета, хотя, конечно, «игра» послѣдняго не идетъ и въ примѣръ по своей значительности съ «игрою» Толстого или Салтыкова...

В. Г. Черткову.

10 сентября 1889, ст. Графская, Коз.-Вор. ж. д.

Что сказать тебѣ на твои грустныя новости?.. Сердце болитъ за тебя, а нѣтъ иного слова, какъ «надо жить, надо терпѣть». Сколько я ни думалъ, я не могу согласиться съ тѣмъ выходомъ «изъ безсмысленнаго положенія приговоренныхъ къ смерти», который видишь ты [1]; я не считаю правильнымъ то полнѣйшее отреченіе отъ своего я, которое грезится, какъ благо, Л. Н — чу. Самоотреченіе мнѣ представляется такимъ же «преломленіемъ естества», какъ, напримѣръ, представляется преломленіемъ естества жизнь Аѳанасія Ивановича съ Пульхеріей Ивановной, жизнь для утробы... Все въ мѣру, все въ мѣру, другъ! Мнѣ кажется, что жизнь каждаго человѣка должна совершаться въ томъ же постепенствѣ роста, цвѣтенія и созрѣванія, какъ и жизнь растенія, и чѣмъ правильнѣе совершается такой процессъ жизни, тѣмъ увеличивается общая сумма того, что краситъ міръ — увеличивается благо людей. И когда нѣтъ этого постепенства, когда отдѣльная личность, не завершивши своего личнаго круга, растворяется въ *общемъ* — мнѣ больно за нее, я не согласенъ, что это такъ и нужно, что въ этомъ цѣль жизни. Кругъ личной жизни, — съ исключительными привязанностями, съ отсутствіемъ безразличія, — по-моему замыкается только смертью, и этимъ самымъ совершеніемъ личнаго своего круга отдѣльный

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

человѣкъ и усиливаетъ общее благо, — результаты его *личной* жизни сами собой растворяются въ *общемъ*. Героизмъ въ смыслѣ самоотреченія, въ смыслѣ жертвы, на мой взглядъ, такъ же не доказываетъ, что въ немъ и есть цѣль жизни, какъ уродливо развитое *я* не доказываетъ, что оно — цѣль жизни. То и другое объясняется лишь ненормальностью тѣхъ условій, въ которыхъ живутъ люди. Не даромъ же люди этихъ противоположныхъ типовъ особенно выростали во времена тяжкія, во времена жесточайшаго преуспѣянія зла, дикости, озвѣрѣнія. Конечно, я не скажу, что Христосъ и Будда не достойны глубочайшаго благоговѣнія — разумѣется, достойны! — но я съ рѣшительностью отметаю въ ихъ ученіи все то, что выросло на современной имъ исторической почвѣ, что созрѣло въ условіяхъ ненормально приподнятаго чувства, въ условіяхъ того, о чемъ мы говоримъ, — самоотреченія. Какъ ни толкуй, какъ ни утѣшай себя — сѣмя разума возрастаетъ на физіологической почвѣ; здорова эта почва, соединено въ закономѣрной пропорціи вещество, ее составляющее,—хорошо горитъ огонь разума, не трещитъ, не мигаетъ, хотя, конечно, у одного горитъ сильно, у другого — слабѣе, смотря по тому, какое вложено зерно. И вотъ представляется мнѣ, что посѣяно хорошее сильное зерно; и человѣкъ поставилъ себя въ такія условія жизни, въ которыхъ немыслимо правильное образованіе почвы; и вспыхнулъ огонь ярче, чѣмъ у другихъ людей, освѣтилъ весь мятущійся во злѣ и ошеломленный міръ... Но освѣтилъ фантастическимъ, такимъ, который не можетъ быть свойственъ всѣмъ людямъ, свѣтомъ. Вотъ Христосъ. Роль этого героическаго свѣта благотворна; великое благо, что былъ Христосъ... Но скажу дерзость: грядущее мнѣ рисуется только тогда въ утѣшительномъ свѣтѣ, когда я не предполагаю возможнымъ дальнѣйшее появленіе такихъ жертвъ, такого героическаго освѣщенія. Невозможность появленія такихъ жертвъ, конечно, докажетъ и полнѣйшее паденіе людей, но я говорю не о паденіи, я говорю о томъ, что правильно устроенная жизнь людей исключаетъ необходимость такихъ жертвъ. Во время войны, когда свирѣпствуютъ ужасы, путь освѣщается огромными кострами; мирный и благоустроенный городокъ обходится не-

сравненно болѣе дешевымъ и несравненно удобнѣйшимъ освѣщеніемъ: множествомъ маленькихъ фонариковъ и тѣмъ свѣтомъ, который льется изъ жилищъ, гдѣ мирно, покойно протекаетъ семейная жизнь. «Положить душу за други» — великое дѣло, но не ежедневное дѣло, не такое, котораго, во что бы то ни стало, надо добиваться; встрѣтится такое дѣло на твоемъ пути — покладай душу, не встрѣтится — не искушай Господа Бога, не ищи отдать себя въ жертву, ибо это опять-таки противно естеству. Кто-нибудь да гдѣ-нибудь гибнетъ — это фактъ; однако, если мы будемъ шнырять по бѣлу-свѣту и искать, гдѣ бы погибнуть за гибнущихъ, изъ этого выйдетъ одна «донъ-кихонада», и, напротивъ, выйдетъ хорошее и разумное дѣло, если мы будемъ влегать въ свой хомутъ и проводить по совѣсти борозду на своей собственной нивѣ. Умирая, Донъ-Кихотъ понялъ это...

Борозда же заключается въ томъ, чтобы совершить, опять-таки по совѣсти, тотъ кругъ, предѣлы котораго столь ясно очерчены... И въ противорѣчіе съ тобою скажу: этотъ кругъ исключаетъ безразличное отношеніе къ людямъ. Что ни толкуй Христы, Будды, Толстые, Эпиктеты, я никогда не повѣрю, чтобы я могъ любить одинаково своего ребенка и чужого, свою жену и первую встрѣчную женщину или перваго встрѣчнаго мужчину, тебя и какого-нибудь Ивана Ивановича или Петра Петровича. На меня вѣетъ холодомъ, мертвечиной отъ такого требованія одинаковой любви, да это и не бываетъ, и не можетъ быть, — не даромъ же легенда упомянула о преимущественной любви Христа къ Іоанну. Если же въ жизни Будды какъ будто есть намекъ на такое безразличіе, а въ его ученіи и прямое указаніе (Нирвана), то это-то въ особенности говоритъ, что огонь его разума — фантастическій огонь, что нельзя *жить* его ученіемъ, что оно, можетъ-быть, весьма мудро, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень холодно. Это альпійская вершина. Видно оттуда слишкомъ далеко, оріентироваться оттуда легко — вся бѣда только въ томъ, что не успѣешь насмотрѣться и оріентироваться — замерзнешь!

Какъ же выйти «изъ безсмысленнаго положенія приговоренныхъ къ смерти»? Да очень просто: во-первыхъ, терпѣть,

во-вторыхъ, не думать, что положеніе это безсмысленно. Вѣдь о книгѣ отзываются только тогда, когда дочитаютъ ее до конца... Какъ же ты хулишь ее, когда именно конца-то тебѣ и не дано прочитать? «Зачѣмъ смерть? Почему мы приговорены къ ней?» А тебѣ какое дѣло? Пусть думаетъ объ этомъ тотъ, кто написалъ книгу. Потому что поставь вопросъ иначе, вообрази, что мы были бы присуждены не къ смерти, а къ тому, чтобы вѣчно жить. «Зачѣмъ вѣчно жить? Почему мы приговорены къ этому непрестающему и утомительному процессу жизни?» Отвѣтъ получится опять такой же: «Мы находимся въ безсмысленномъ положеніи приговоренныхъ къ вѣчной жизни». Ахъ, другъ, игрушка забавна, пока еще нова, а потомъ... Терпѣть, какъ терпятъ зубную боль, вѣрить, что только тотъ вѣдаетъ смыслъ смерти, кто посылаетъ ее, жить такъ, чтобы радость жизни одинаково была открыта глазамъ, какъ и горечь жизни — вотъ выходъ. А тамъ разберутъ!.. [1])

Мнѣ кажется, что въ томъ страданіи, которое ты теперь выносишь, утѣшительны не тѣ мысли о безсмертіи, которыми ты замѣняешь первобытное вѣрованіе въ безсмертіе, и которыя мнѣ отнюдь не кажутся убѣдительными, а утѣшительно то состраданіе, которое ты видишь въ людяхъ, утѣшительно, что ты не одинъ съ своимъ горемъ, что ты и вблизи, и вдали окруженъ любящими и сочувствующими тебѣ людьми. Объ этомъ стоитъ подумать. Ты этого наплыва любви, этого особаго подъема чувствъ къ тебѣ никогда бы не испыталъ, не страдая, и никогда бы не страдалъ, если бы относился и къ женѣ, и къ дѣвочкѣ, какъ ко всѣмъ людямъ. Крестъ нести тяжко — зато много выказывается любви несущему крестъ... Надо это помнить. Что говорить — Нирвана покойнѣе; въ той печали, которая истекаетъ изъ нея, нѣтъ острой боли, нѣтъ такого ѣдкаго чувства страданія — «вселенское», отвлеченное, алгебраическое горе куда какъ легче личнаго, непосредственнаго горя, но съ Нирваной ты невольно отдаляешься отъ людей, ты обрываешь тотъ ростокъ жизни, который только и питается

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

личными страданіями и *личными* радостями, и какъ оборвется ростокъ, людямъ станетъ холодно около тебя, ибо они почувствуютъ, что ты отъ иного міра.

Въ мѣру, другъ, въ мѣру!

Разумѣется, ты не заподозришь меня въ томъ, что я проповѣдываю такъ называемое «мѣщанское счастье»; я только говорю, что неестественно отрекаться безъ остатка; что правильно поставленныя личныя отношенія не только не препятствуютъ служенію людямъ, но, напротивъ, содѣйствуютъ ему, что личныя радости и личныя скорби есть какъ бы пуповина, привязывающая человѣка къ міровой радости, къ міровой скорби, что, не имѣя особенно близкихъ людей — семью, друзей,—человѣкъ и не имѣетъ возможности знать, что такое страданіе, что такое радость... То-есть не узнаетъ этихъ чувствъ въ полной мѣрѣ.

Но ты скажешь, есть же примѣры, когда міровая скорбь овладѣвала людьми до такой степени, что они только и жили ею, съ необыкновенной живостью соболѣзнуя всему живущему. Ты укажешь на Будду, у котораго хватало любви и для собаки, изъѣденной червями, и для червей, ѣвшихъ собаку, и для людей. На это я опять-таки повторю: героизмъ не есть норма человѣческой жизни, это извращеніе въ одну сторону, какъ себялюбіе какого-нибудь Наполеона—извращеніе въ другую сторону. Надо благоговѣть передъ героизмомъ перваго рода, ибо онъ истекаетъ изъ благородныхъ сторонъ человѣческой природы и въ «военное время» играетъ роль огромнаго костра, и ненавидѣть героизмъ второго рода, ибо онъ только содѣйствуетъ тому, что «военное время» длится слишкомъ долго. Въ сущности ни то, ни другое не годится для повседневнаго употребленія.

Затѣмъ. Бываютъ, конечно, случаи, когда ростокъ личной жизни самъ собою отпадаетъ у человѣка. И даже много бываетъ такихъ случаевъ. И въ любыя времена исторіи люди понимали это и признавали, что такимъ людямъ нуженъ какой-нибудь выходъ; отсюда возникновеніе институтовъ монашества, рыцарства... По всей вѣроятности, подобнаго рода институты, хотя и подъ другими названіями, всегда останутся. Но

это опять-таки не норма, а просто отдушина, клапанъ, въ который выходитъ тотъ паръ, который не переработанъ *личной* жизнью. Великолѣпный образчикъ людей съ такимъ не переработаннымъ паромъ далъ намъ опять-таки Л. Толстой въ лицѣ m-lle Вареньки («Анна Каренина») — типъ, конечно, не героическій, зато такой, который всего чаще встрѣчается.

Но думать, что этотъ ростокъ нужно отрывать насильственно, что жизнь безъ этого ростка и есть самая настоящая жизнь, думать такъ, мнѣ кажется, горькая и вредная ошибка.

А умирать съ отболѣвшимъ или оторваннымъ росткомъ личной жизни, разумѣется, легче. Настолько же легче, насколько легче вырвать зубъ, умертвивши сначала нервъ... Такъ умиралъ Андрей Болконскій (въ «Войнѣ и Мирѣ»). Да въ сущности природа почти всегда и умерщвляетъ нервъ. Смерть, *какъ она должна быть*, представляется мнѣ постепеннымъ отпаденіемъ привязанностей, постепеннымъ угасаніемъ личныхъ чувствъ, безболѣзненнымъ (нравственно безболѣзненнымъ) отдыхомъ отъ здоровой и хорошей усталости. Нужно только, пока живешь, запасаться именно этимъ чувствомъ *здоровой* усталости. Потому что, если устанешь отъ вздора, отъ того, что возился всю жизнь съ чурбаномъ, какъ мартышка въ баснѣ, — страшно и тоскливо умирать.

Итакъ, я думаю, что не для чего умирать прежде времени, что, если хорошо сумѣешь прожить, сама природа наградитъ тебя въ твой смертный часъ благотворнымъ чувствомъ Нирваны, что ничего здѣсь нѣтъ ни безсмысленнаго, ни ужаснаго.

А о томъ, что будетъ въ смыслѣ безсмертія, судить не намъ. Книга отымается у насъ «на самомъ интересномъ мѣстѣ»... Одно только скажу: все можетъ быть. Но ужъ если вѣрить въ это «можетъ быть» — лучше вѣрить, какъ Елизавета Ивановна, нежели въ то алгебраическое безсмертіе, которое придумалъ Левъ Николаевичъ. Ибо его безсмертіе въ сущности только перестановка словъ и никогда не удовлетворитъ жажды человѣка жить въ иномъ прекраснѣйшемъ мірѣ, жить своею, индивидуальною жизнью, а не такъ, чтобы быть разлитымъ въ міровомъ пространствѣ.

Надо жить, надо подчиняться и не предвосхищать событій. Все идетъ своею чередою — истина въ томъ, чтобы не торопить предустановленнаго и не отставать отъ него.

Естественно, что Анна Константиновна чувствуетъ теперь это отпаденіе ростка личной жизни: она такъ много выстрадала... Но будетъ противно естеству, если, выздоровѣвши, она станетъ дѣлать усилія, чтобы ростокъ не отживѣлъ, чтобы сохранилось то чувство печальнаго безразличія, то ощущеніе Нирваны, которое теперь владѣетъ ею или грозитъ овладѣть. То же и о тебѣ.

Знаю, что ты во многомъ, если не во всемъ, не согласишься со мною. Мнѣ очень непріятно, что въ такое трудное время я иду съ тобою врозь, думаю иначе, чѣмъ ты[1]). Но мнѣ казалось недобросовѣстнымъ въ отвѣтъ на твои мысли не высказать своихъ, дать тебѣ поводъ подумать, что я согласенъ съ тобою, т.-е. дать тебѣ поводъ ошибиться. Какъ это ни странно, но съ тѣхъ поръ, какъ я узналъ тебя, я все болѣе и болѣе замѣчаю, что мы разно мыслимъ, въ разномъ видимъ истину, не одинаково чувствуемъ, и вотъ по мѣрѣ того, какъ я замѣчаю это — я все болѣе и болѣе люблю тебя, ты мнѣ становишься гораздо дороже, чѣмъ тогда, когда теоретическія наши разногласія были для меня не столь ясны. Это какой-то психологическій кунштюкъ, въ сущность котораго я еще не проникъ, да и не хочу проникать. Вѣдь чаще бываетъ наоборотъ: люди становятся ближе, когда все болѣе и болѣе сходятся мыслями.

То-есть, я не говорю, что наши мысли во всемъ противоположны и во всемъ несогласимы: отрицаемъ, напримѣръ, мы *почти* одинаково, но есть большая разница въ томъ, что ты и я считаемъ положительной стороною жизни. Одна изъ этихъ «разницъ» — наши взгляды на самоотреченіе.

Лучше всего, однако, поступать такъ, какъ ты написалъ мнѣ когда-то: «Не искать, въ чемъ мы несогласны, а искать,

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

въ чемъ согласны». Эти слова я часто повторяю себѣ и стараюсь примѣнять ихъ теперь въ моихъ отношеніяхъ къ людямъ. Сильно помогаетъ.

Принялся я за «Будду», но сильно боюсь, что задача мнѣ не по силамъ... Удержаться на лезвеѣ ножа, уберечься отъ вульгарности и тѣхъ «ерническихъ» оборотовъ рѣчи, которые столь свойственны барину, когда ему захочется поговорить съ мужикомъ «по-душѣ» и вмѣстѣ сохранить величественную простоту и ясность первыхъ двухъ главъ — ужасно трудно. Дальнѣйшее изложеніе, хотя и свободно отъ упомянутыхъ мною недостатковъ, мѣстами же и хорошо, но въ общемъ слишкомъ книжно, не выдерживаетъ первоначально взятаго тона. И вотъ я пока не чувствую, чтобы настоящій тонъ былъ найденъ мною, и боюсь... И тѣмъ болѣе боюсь, что понимаю всю важность книги, понимаю, что она должна быть изложена съ тою же трогательною простотою и наивностью, какъ ходитъ въ устахъ народа. Но гдѣ ее взять, эту наивность? Вѣдь она неразлучна съ крѣпкою вѣрою въ то, что все такъ и на самомъ дѣлѣ происходило... Правда, возможна нѣкоторая имитація и въ этой сферѣ творчества, но она подъ силу такимъ только эпическимъ талантамъ, какъ талантъ Льва Николаевича, напримѣръ. Отъ другихъ попытокъ въ этомъ родѣ почти всегда «воняетъ литературой», какъ выразился Тургеневъ. За всѣмъ тѣмъ доведу дѣло до конца; тамъ видно будетъ.

Все лѣто прошло у меня пребезобразно — въ томъ хлопотливомъ бездѣльѣ, отъ котораго, въ концѣ-концовъ, чадъ въ головѣ да разстроенные нервы. Постройка, мелкія работы, неурядица, возня съ корректурами, — все насыщало воздухъ чѣмъ-то раздражающимъ, переполняло душу никуда негоднымъ, нестройнымъ и безпокойнымъ хламомъ.

P. S. Очень меня интересуетъ твоя работа надъ сочиненіемъ Л. Н—ча «О жизни». По совѣсти говоря, я вижу въ этой книгѣ много неясностей и натяжекъ и буду очень радъ, если ты поможешь мнѣ разобраться въ нихъ. Впрочемъ, я читалъ книгу только одинъ разъ и, можетъ-быть, безъ достаточнаго вниманія. На досугѣ пересмотрю еще со всѣмъ вниманіемъ, на которое способенъ.

Еще о Христѣ. Я употребилъ рѣзкое выраженіе, что его ученіе не годится для повседневнаго употребленія, такъ же, какъ и ученіе Будды. Не смущайся этимъ выраженіемъ. Я хотѣлъ имъ только сказать, что ученіе этихъ двухъ, заключая въ себѣ еще никѣмъ не превзойденную мудрость, заключаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ много такого, что свойственно личному складу ихъ душевной природы, и что возросло изъ тѣхъ особенныхъ условій жизни, въ которыхъ они были поставлены. И вотъ, мнѣ думается, то, что есть мудраго въ ихъ ученіи — годится для всѣхъ, а то, что есть исключительнаго въ ихъ ученіи и жизни, принадлежитъ только имъ и не можетъ быть нормою для всѣхъ людей. Такимъ исключительнымъ представляется мнѣ самоотреченіе. Я его понимаю, но понимаю только какъ *подвигъ*, а не какъ норму; норма есть въ той серединѣ, когда ростокъ личной жизни цвѣтетъ и зрѣетъ въ полной силѣ, не заглушая вмѣстѣ съ тѣмъ любви ко всему живущему. Мнѣ представляется въ высшей степени естественнымъ, что мои чувства къ людямъ выражаются все въ уменьшающейся прогрессіи и находятся въ ихъ минимумѣ, когда обращены за предѣлы человѣчества. Это нормальное распредѣленіе чувствъ я могъ бы выразить въ такой схемѣ:

Я
|
1. Дѣти, жена.
|
2. Отецъ, мать.
|
3. Друзья, родные.
|
4. Люди симпатичные по мыслямъ
и вообще по ихъ натурѣ.
|
5. Иванъ, Петръ, вообще человѣкъ той національ-
ности, къ которой я самъ принадлежу.
|
6. Человѣкъ, принадлежащій къ одной со мною расѣ,
т.-е. къ европейской.
|
7. Все остальное человѣчество.
|
8. Все живущее, природа.

По Христу выходитъ, что 1 — 7 должны быть слиты въ знакъ равенства, по Буддѣ всѣ 8 степеней сливаются въ знакъ равенства. Ни съ тѣмъ, ни съ другимъ я не согласенъ, да и не можетъ этого быть. Или можетъ быть, но тогда это будетъ *подвигъ, геройство,* нимало не обязательное для людей. Я же думаю, что здѣсь важно одно: чтобы чувство справедливости непрестанно было насторожѣ въ моихъ отношеніяхъ къ людямъ и къ природѣ, чтобы оно непрестанно контролировало чувство любви. Тщетно я буду усиливаться любить какого-нибудь Ахметку въ равной степени съ плотникомъ Ларивономъ, или дочку бушмена одинаково съ моей Наташкой, — но чувство справедливости удержитъ меня отъ того, чтобы прирѣзать Ахметку ради выгодъ плотника Ларивона, или обидѣть бушменку потому, что это будетъ пріятно моей дочкѣ. Вотъ. Но если я дѣлаю добро сообразно степенямъ любви, т.-е. сначала Наташкѣ и ужъ подъ конецъ собакѣ, которую ѣдятъ черви,— мое чувство справедливости не возмущается этимъ нимало. Конечно, нельзя поведеніе располагать по табличкѣ — случится, такъ сложатся обстоятельства, что всѣ степени перемѣшаются, но тогда ужъ верховодитъ случай, и я объ этомъ не говорю. Но въ общемъ, мнѣ думается, что именно по такой схемѣ должны быть расположены отношенія къ людямъ. И если степени смѣшиваются не случаемъ, не безсознательнымъ движеніемъ сердца, а въ силу предвзятой теоріи или не въ мѣру приподнятаго чувства — я называю это подвигомъ, передъ которымъ иногда можно благоговѣть, но слѣдовать которому нельзя. Т.-е. нельзя по этой нормѣ слагать жизнь всего общества. Подвижники тѣмъ дороги и тѣмъ важны въ исторіи человѣчества, что они будятъ дремлющую совѣсть, тревожатъ часто забываемое чувство справедливости — хвала имъ, — но этимъ пробужденіемъ совѣсти, этимъ напоминаніемъ, мнѣ думается, и ограничивается ихъ великая роль. Безъ нихъ люди, можетъ-быть, были бы еще склоннѣе уединяться въ своемъ собственномъ *я,* доводить это *я* до предѣловъ уродства, но это не значитъ, что хорошо всѣмъ людямъ отрекаться вовсе отъ своего *я,* какъ это дѣлали подвижники. (Христосъ и Будда не только подвижники, но и мудрецы; я, однако, здѣсь имѣю въ виду исключительно *по-*

движническую сторону ихъ ученія и ихъ жизни. Въ Сократѣ, напримѣръ, ея почти нѣтъ, въ Діогенѣ опять много, въ Платонѣ, въ Кантѣ, въ Спинозѣ опять-таки нѣту. А какой-нибудь Филаретъ Милостивый — весь подвигъ, и не претендовалъ, да и не можетъ претендовать на мудрость.) Или, лучше сказать, этого не можетъ быть, да и не требуется для блага человѣчества. Разумное соединеніе индивидуальности и общаго, личныхъ запросовъ жизни и общечеловѣческихъ — вотъ въ чемъ вопросъ. Отклоненія и въ ту, и въ другую сторону не могутъ стать принципомъ обыкновенной, средней жизни, и тщетно желать этого, напрасно къ этому стремиться. А для подвига законъ не писанъ.

Я намѣренно ставлю вопросъ на такъ называемую принципіальную почву, а не по отношенію къ тебѣ или ко мнѣ. Мнѣ кажется, что я имѣю поводъ для этого въ твоемъ отзывѣ о сочиненіи Л. Н — ча и въ твоихъ словахъ, что и нужно жить въ тѣхъ понятіяхъ отчужденности отъ плотскаго, въ которыхъ ты чувствуешь, что живешь теперь съ твоей женой[1]). Если бы ты сказалъ, что для тебя лично представляется такое міровоззрѣніе вполнѣ согласнымъ съ запросами твоей душевной и физической природы, тогда дѣло другое, но вѣдь ты утверждаешь, что это и есть настоящее міровоззрѣніе, — настоящее для всѣхъ, и вотъ тутъ-то я не согласенъ съ тобою и съ Л. Н — чемъ, разумѣется.

Все сводится къ тому, что нужно жить по собственной своей совѣсти. Помимо прирожденныхъ своихъ основъ, совѣсть утверждается и на сознаніи. И вотъ, если мы говоримъ о *нормѣ* поведенія, т.-е. о томъ поведеніи, которое должно было бы быть свойственнымъ всѣмъ людямъ, ибо въ немъ истина, мы въ особенности должны стараться, чтобы сознаніе наше не впало въ погрѣшности. Мы должны представить въ своемъ воображеніи тотъ типъ средняго человѣка, который совершенно соотвѣтствовалъ бы дѣйствительности, а не воображать того ангелоподобнаго человѣка, который сдѣлалъ бы пищу го-

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

лоднымъ червямъ изъ своего собственнаго живого мяса. И наоборотъ, если сознаніе мое доразвилось до такой степени, что я не могу оставлять голодными хотя бы и червей — и совѣсть моя не отстаетъ отъ этого сознанія — я и буду кормить своимъ мясомъ червей; но это будетъ мое личное, нравственное ученіе, которое вовсе не есть истина для моего сосѣда. Самоотреченіе можетъ быть истиной для меня (если я не ошибаюсь), но никогда нельзя сказать, что оно есть истина и для другихъ людей, для всѣхъ людей. Л. Н — чъ, пріурочивая только къ самоотреченію безсмертіе, мнѣ думается, дѣлаетъ ошибку. Нужно только вспомнить, до какой степени жизнь обязана индивидуализму, чтобы отвратиться отъ той теоріи, которая готова стереть его съ лица земли. Мнѣ кажется, что прежде чѣмъ признать извѣстное нравственное ученіе за истину, нужно строго разобрать въ самомъ себѣ: не потому ли оно представляется мнѣ истиной, что мои личныя склонности ужъ очень совпадаютъ съ нимъ. И въ особенности, если я собираюсь повѣдать міру, что вотъ такое-то утвержденіе есть истина, въ особенности нужно строго разобраться въ самомъ себѣ. Это я прямо говорю о Л. Н — чѣ. Напримѣръ, рекомендуя интеллигентнымъ людямъ пахать и удаляться отъ такъ называемой «общественности» (ну, хотя бы отъ земства), мнѣ кажется, онъ дѣлаетъ ту ошибку, что воображаетъ видѣть всѣхъ людей съ такими же точно склонностями къ пахотѣ и къ удаленію отъ общественности, какъ и самъ. То же и въ отношеніи къ самоотреченію. А между тѣмъ дѣйствительность вовсе не соотвѣтствуетъ такому его представленію о людяхъ. Я не говорю, что пусть бы онъ подлаживался подъ дѣйствительность, но я говорю, что то, что истина для Л. Н — ча, не можетъ быть истиной для всѣхъ, и потому не надо ему утверждать, что это истина для всѣхъ. И вотъ, не будучи пророкомъ, легко предсказать: останется навѣчно то, что Л. Н. сказалъ и написалъ дѣйствительно мудраго, т.-е. то, что дѣйствительно соотвѣтствуетъ дѣйствительному состоянію вещей, останутся навѣчно тѣ факты добра и подвижничества, которые представляетъ его личная жизнь, но, можетъ быть, слишкомъ скоро забудется все утопическое въ его ученіи, все по-

добное морали въ текстѣ «Братья и золото», въ крайностяхъ его утвержденія о «непротивленіи злу», въ его призывахъ къ физическому труду (опять-таки въ крайностяхъ его призывовъ), въ его отрицаніи государственныхъ формъ и т. д.

Вонъ оно куда пошло!.. Я вовсе не думалъ касаться мыслей Л. Н — ча въ этомъ письмѣ, но меня взволновало то, что ты считаешь нормальнымъ твое теперешнее состояніе души, и по связи мыслей я пришелъ къ утвержденіямъ Л. Н — ча.

А для подвига опять-таки законъ не писанъ. Подвигъ мнѣ представляется такъ: гнули, гнули люди палку въ одну сторону, да такъ согнули, что и жить невмочь, и вотъ тѣ изъ людей, которые чувствуютъ въ себѣ силы на подвигъ, ухватились за палку съ другой стороны и стали ее тянуть въ другую сторону; и давно ужъ выпрямилась палка, а подвижники еще готовы тянуть... Правда, на самомъ дѣлѣ палка не только не слишкомъ перегнута подвижниками, но и не выпрямлена, но это оттого, что мало подвижниковъ; будь ихъ больше, возьми они первенствующій тонъ въ общежитіи, палка давно была бы перегнута въ другую сторону, и быть-можетъ, опять до такой степени, что жить стало бы невмочь. Ибо трудно полагаться, что подвижники удовлетворились бы прямизною палки, ибо въ самомъ стремленіи къ подвигу заложена тенденція крайности и своего рода фанатизма. Въ доказательство того, что мои соображенія не совсѣмъ фантастичны, я напомню тебѣ тѣ маленькіе примѣры «распрямленія палки», которые имѣли и имѣютъ мѣсто въ нѣкоторыхъ сектантскихъ общинахъ. Вотъ палку выпрямили до тѣхъ даже поръ — перестаютъ замки вѣшать на дверяхъ, что мое — то твое, пьянства нѣтъ, торговли нѣтъ... Все прекрасно. Но подвижники тянутъ еще. Духъ пуризма воцаряется въ общинѣ, дѣвки и парни ходятъ съ опущенными долу глазами, слова исходятъ изъ устъ размѣренно, осторожно, благоразумно, бесѣды ведутся все о превозвышенномъ, о хорошемъ, даже яркія краски и тѣ изгоняются изъ одежды... И, ахъ, какая воцаряется скука, какая благочестивая и благоразумная то-

ска! И правъ, тысячу разъ правъ тотъ отчаянный индивидуалистъ, который въ одинъ прекрасный вечеръ выйдетъ на средину этой благочестиво-тихой улицы, заломитъ шапку набекрень и что есть мочи затянетъ:

Не шатайся, не качайся
Въ полѣ, ковыль-травка, —
Не тоскуй, не горюй по молодчику,
Красная дѣвка...

Ибо жизнь нельзя ввести въ оглобли.

В. А. Гольцеву.

15 октября 1889, ст. Графская, К.-В.-Р.

...Ты замѣчаешь кое-какіе недостатки и въ замыслѣ, и въ исполненіи[1]). Ахъ, друже, неужто думаешь, что я не замѣчаю оныхъ? Назову главнѣйшіе: нестерпимая тягучесть дѣйствія, излишняя погоня за деталями, мало характерный языкъ. Это въ исполненіи. Что касается недостатковъ замысла — ихъ тьма. Не въ оправданіе, а въ объясненіе разскажу, какъ писался романъ. Я задумалъ рядъ очерковъ «Послѣдніе барскіе люди»; мнѣ хотѣлось вспомнить кое-какія фигуры изъ собственнаго прошлаго; мнѣ думалось, что въ этихъ фигурахъ найдется много поучительнаго, и, стало-быть, онѣ стоятъ, чтобы вспомнить о нихъ «публично». И вотъ, по мѣрѣ того, какъ писались эти очерки, перспектива воспоминаній все раздвигалась передо мною. Въ воображеніи и въ памяти возникли характеры, дѣла, ситуаціи... Все это и жаль, и трудно было вмѣстить въ «очерки», все просилось въ широкую рамку. Тогда я рѣшился писать «романъ».

Мнѣ хотѣлось изобразить въ романѣ тотъ періодъ общественнаго сознанія, когда перерождаются понятія, видоизмѣняются вѣрованія, когда новыя формы общественности могущественно двигаютъ ростъ критическаго отношенія къ жизни, когда пускаетъ ростки иное міровоззрѣніе, почти противоположное первоначальному. И рядомъ съ этимъ мнѣ хотѣлось изобразить свободное и независимое отъ внѣшнихъ формъ обще-

---

[1]) Рѣчь идетъ о романѣ А. И. «Гарденины».

ственности теченіе мысли, провиденціальное тяготѣніе человѣка къ свѣту, независимо отъ того, рабъ ли онъ, какъ Эпиктетъ, или царь, какъ Маркъ Аврелій. Мнѣ думалось (и думается), что это тяготѣніе къ свѣту, т.-е. къ правдѣ, къ добру, глубоко вложено въ душу человѣческую и неистребимо, но — увы! — немного людей, которые могли бы выражать его, ничѣмъ не смущаясь. И для этихъ немногихъ людей дѣйствительно неважны внѣшнія формы общественности: въ состояніи рабства они такъ же способны блистать мудростью и добродѣтелями, какъ и въ состояніи внѣшней свободы, ибо для нихъ поистинѣ «идѣ же духъ Господень, ту свобода». Иное дѣло — большинство людей: зачатки добра развиваются въ нихъ съ усиліемъ, требуютъ культуры, нуждаются въ заботливомъ уходѣ, въ благопріятномъ складѣ внѣшнихъ формъ общественности. Вотъ эти-то «типы» развитія мнѣ хотѣлось выразить съ возможною полнотою въ двухъ фигурахъ романа: въ столярѣ Иванѣ Ѳедотычѣ и въ Николаѣ Рахманномъ. Мнѣ хотѣлось показать, что во взаимодѣйствіи этихъ типовъ развитія — залогъ наибольшей прочности, наибольшаго успѣха всякихъ преуспѣяній правды (или сказать по-газетному — прогресса). Вотъ «красная нить» романа.

Однако многое, что вспоминалось и что цѣлой толпой одолѣвало мое воображеніе (въ связи съ описаніемъ «Послѣднихъ барскихъ людей»), было ненужно для этой «нити» романа, могло испортить его цѣльность, повредить его внутренней стройности. Слѣдовало бы обуздать себя: отстранить ненужные пока образы. У меня не налегла рука совершить такое кровопролитіе. Отсюда кажущаяся неопредѣленность плана, безпорядочность ситуацій, погрѣшности въ архитектурѣ... Я расплылся; я соблазнился и этнографіей, и коннозаводствомъ, и даже отчасти исторіей (въ разсказѣ наѣздника о Рыканьевыхъ), и этимъ загромоздилъ до такой степени руководящую нить романа, тотъ внутренній огонь, который освѣщаетъ фигуру въ волшебномъ фонарѣ, что нужно предположить въ читателѣ большую чуткость и большую симпатію къ автору, чтобы угадать эту нить, увидѣть едва мигающій свѣтъ огня изнутри. Вмѣсто романа въ настоящемъ значеніи этого слова

вышла хроника и, можетъ-быть, достаточно скучная. Къ тому же мнѣ страшно пришлось лавировать: печальная тѣнь цензуры густо легла на многое, многое сдѣлала неудобь-вразумительнымъ для читателя, помѣшала мнѣ развить фигуры Элизы Гарденинoй, Ефрема и сектанта Ареѳія.

Вообще же съ болью сознаю, что слѣдовало подержать рукопись у себя, что нужно было дать остыть разнымъ непосредственнымъ чувствамъ и, когда остынутъ, переработать весь романъ. Но какъ было сдѣлать это? Что кушать тѣмъ временемъ? Вотъ и вышелъ не романъ, а матеріалъ для романа.

Охаявъ такимъ образомъ свое дѣтище, я, разумѣется, отнюдь не оправдываю Л. и Р., вѣроятно, набившихъ на моемъ романѣ мозоли отъ ножницъ. Дѣлая купюры, Л. и Р. слишкомъ мало руководились художественнымъ тактомъ и чувствомъ уваженія къ автору и слишкомъ много посторонними соображеніями. Такъ нельзя. Въ сущности вѣдь купюры не только не помогли цѣльности романа, но еще больше извратили ее, иногда до безсмыслицы. Въ качествѣ «хроники», право же, онъ не заслуживалъ столь жестокой расправы. И въ этомъ качествѣ, право, «Русская Мысль» не потеряла бы, помѣстивъ два-три листа сверхъ «смѣты»... Впрочемъ, негодовать заднимъ числомъ тщетно, а обвинять и подавно.

Затѣмъ поставлю себѣ кое-что и на «приходъ». Мнѣ кажется, что нѣкоторыя фигуры романа достаточно жизненны; что въ лицѣ Ивана Ѳедотыча выдержанъ и характеръ, и языкъ (не даромъ получено высокое одобреніе Л. Н. Толстого за исторію о «Фаустинѣ премудромъ»); что письмо «народника» Ефрема не лишено достоинствъ (не въ журналѣ, впрочемъ); что наѣзды въ этнографическую область и область спорта изрядны; что фигуры Рукодѣева и станового Ѳомы Ѳомича и ёрника Агафокла удачны. Вотъ эти частности (насколько онѣ сообразованы съ руководящей нитью романа — другой вопросъ), эти счастливыя частности, говорю я, нѣсколько примиряютъ меня съ «Гарденинымн»: благодаря имъ, романъ мнѣ еще не опротивѣлъ, какъ опротивѣло большинство моихъ прежнихъ писаній.

Повѣришь ли, раскрылъ я какъ-то на-дняхъ «Записки Степняка»: сколько лишняго! Сколько противнаго, искусственнаго, фальшиваго, приподнятаго! Нѣтъ, нѣтъ, какъ ни плохи «Гарденины», но все-таки не могу думать, что это шагъ назадъ, а не впередъ. Говорю это со всѣмъ присущимъ мнѣ чувствомъ безпощадности къ своимъ работамъ. Говорю это, памятуя, что «Гардениныхъ» слѣдовало бы вновь переписать, что 30 листовъ этого левіаѳана не стоятъ одного листа В. Короленки,— разумѣется, такого листа, отъ котораго не «воняетъ литературой» (выраженіе Тургенева о Додэ), въ которомъ талантъ В. Г—ча мало того, что силенъ, но и глубокъ и правдивъ. (Дѣлаю эту послѣднюю оговорку, дабы не быть обвиненному въ излишней скромности.)

И еще, если пошло на откровенность: иногда я удивляюсь, какъ это случилось, что «Записки Степняка» доставили мнѣ, хотя и не ахти-какое, но все-таки имя. Тутъ есть какое-то недоразумѣніе, подъ стать къ тому, благодаря которому выросла и увяла слава Мачтета. По совѣсти говоря, я склоненъ приписать весь эффектъ «мыслямъ добрымъ», остальное же — отъ лукаваго... Изъ этого опредѣленія нужно исключить не болѣе трехъ-четырехъ разсказовъ.

Итакъ, будемъ надѣяться, что преуспѣемъ. Въ этой надеждѣ подкрѣпляетъ меня и то обстоятельство, что къ фигурамъ особенно жизненнымъ вовсе нельзя отнести тѣхъ, которыхъ я изображалъ почти фотографически. Собственно говоря, *полныхъ* фотографій въ романѣ нѣтъ. *Почти* полная — одинъ Рукодѣевъ; все остальное — въ томъ числѣ и Агафоклъ, и Иванъ Ѳедотычъ, и конюшій, и «княжой наѣздникъ», и конторщикъ-вольтерьянецъ — суть плоды воображенія, комбинацій, тамъ и сямъ разсѣянныхъ черточекъ, — черточекъ, разумѣется, подвергавшихся моему наблюденію, но вовсе не въ томъ видѣ цѣльныхъ фигуръ, какъ это является въ романѣ. Это вѣдь по психологіи признаки творчества? То-то же! Вообще я грѣшенъ въ фотографіи не болѣе пяти-шести разъ. Вотъ вышеупомянутый Рукодѣевъ, да m-me Ш., да m-me Я., да m-lle М., да m-lle З. въ «Минеральныхъ Водахъ», да въ «Бабьемъ Бунтѣ» фотографіи мѣстныхъ обывателей,

да въ «Запискахъ Степняка» два или три пасквиля — тоже мѣстные обыватели. Да не зачтется сіе мнѣ въ вину, ибо во всѣхъ этихъ преступленіяхъ противъ искусства я только одинъ разъ совершилъ мерзость, т.-е. подвигнутъ былъ личнымъ чувствомъ: когда рисовалъ скотоподобную Ш. Но въ этомъ я чистосердечно раскаиваюсь.

А пока что, занятъ я теперь любопытной работой: излагаю жизнь и ученіе Будды. Роль моя чисто служебная. Книга составлена другими отчасти по указаніямъ Лесевича, мое же дѣло — привести все это въ систему и изложить. Книга предназначается для простого читателя, однако для такого, который уже заинтересованъ въ «умственности», искусился въ чтеніи хотя бы св. писанія. И такъ какъ мысль составителей книги та, что Будда одинъ изъ великихъ провозвѣстниковъ правды, и что легенда о его жизни столь же поучительна и важна, какъ и легенда о жизни Христа, напримѣръ, — мысль, которую я совершенно раздѣляю, — то въ соотвѣтствіи съ этимъ нужно было выбрать и тонъ изложенія. Самымъ подходящимъ мнѣ казался тонъ Ветхаго завѣта: великолѣпнѣйшая наивность, пышная образность и вмѣстѣ какая-то дѣтская прозрачность мысли. Вотъ и я занятъ теперь, что поддѣлываю языкъ Экклезіаста, Исаіи и книги объ Іовѣ. Книжку врядъ ли пропустятъ: ужъ очень бьетъ аналогія со Христомъ, но, несмотря на это, я работаю съ удовольствіемъ, испытываю наслажденіе въ этомъ мірѣ эпической мудрости и эпической красоты. Разумѣется, выбранный мною тонъ весьма трудно поддается имитаціи, выдержать его строго — невозможно, но искать его, а иногда и находить, читать Библію, пропитываться звуками и красками этого прелестнаго языка, этихъ простыхъ и вмѣстѣ яркихъ образовъ—хорошо даже безъ отношенія къ цѣли работы.

На ряду же съ этимъ задумываю небольшую повѣсть. Названіе «Ночи безумныя»..., содержаніе — секретъ, посвящу тебѣ. Впрочемъ, скажу и содержаніе, но только совсѣмъ въ общихъ чертахъ: какъ родилась, какъ разрослась даже до неистовства и увяла любовь. Тема старая, какъ міръ... Надѣюсь, однако, что мнѣ удастся обставить ее довольно интересно и придать ей нѣкоторое общественное значеніе...

П. А. Бакунину.

31 декабря 1889, хуторъ на Грязнушѣ.

Дорогой Павелъ Александровичъ!

Какъ далеко мы другъ отъ друга! Какъ давно не видали другъ друга! Но вѣрьте или нѣтъ — въ важныя минуты жизни, въ тѣ минуты, когда жизнь не обычной рябью, а глубокимъ волненіемъ отражается на душѣ, вѣрьте, я чувствую тотъ слѣдъ, который вы оставили во мнѣ, я съ признательностью вспоминаю наше знакомство. И ужъ за одно это люблю васъ, какъ близкаго, какъ родного мнѣ человѣка... И это ничего не значитъ, что вотъ вы такъ далеко отъ насъ,— говорю отъ насъ, потому что Маруся совершенно раздѣляетъ мои чувства къ вамъ, — то-есть, это очень, очень много значитъ для чувства: такъ бы иногда хотѣлось очутиться на Секретарской, послушать васъ, поговорить съ вами, какъ три-четыре года тому назадъ, — но для духа разстояніе, насъ раздѣляющее, къ счастью, не столь важно. Вы, еще тогда, еще давно, сумѣли настроить наши бѣдно и односторонне звучащія душевныя струны на тотъ высокій ладъ, который такъ свойственененъ вамъ. Что грѣха таить, я явился въ Тверь во многихъ отношеніяхъ дикимъ человѣкомъ; политико-экономическія и иныя нормы почти цѣликомъ исчерпывали мое міровоззрѣніе; тѣ вопросы, которые представляются теперь мнѣ неизмѣримо важными, сполна казались тогда не стоющими вниманія; «Богъ, Богъ, Богъ!» какъ это странно и смѣшно звучало въ моихъ ушахъ... И вотъ, благодаря вамъ, все измѣ-

нилось; какая-то перестановка совершилась въ душѣ, въ жизни засквозило невѣдомое дотолѣ значеніе; простое и тусклое превратилось въ сложное и захватывающее; вѣра въ экономическіе и правовые рецепты отступила туда, гдѣ ей и быть надлежитъ: на второе, на третье мѣсто.

О, было бы лицемѣріемъ утверждать, что я согласенъ со всѣми подробностями вашей системы, — и теперь, напримѣръ, я не согласенъ съ нею болѣе, чѣмъ когда-нибудь. Сказать ли? Мнѣ думается, что существованіе Бога не можетъ быть доказано отъ разума, и *вообще* не можетъ быть доказано, тоже и о личномъ безсмертіи. Да, я думаю, что *это* не можетъ быть доказано. Но что изъ того? Вѣдь я знаю, что есть вѣра въ *это*, и знаю, что тамъ только и цвѣтетъ жизнь, гдѣ есть вѣра въ *это*. То-есть, цвѣтетъ не внѣшнимъ образомъ, не посредствомъ Эйфелевой башни и тому подобныхъ чудесъ, а цвѣтетъ тѣмъ цвѣтомъ, безъ котораго «заглохла бъ нива жизни». И вы, вы впервые научили меня различать этотъ часто едва замѣтный «цвѣтъ жизни» и придавать ему все то значеніе, которое онъ имѣетъ. И вотъ, провидя это огромное значеніе, и самъ начинаешь вѣрить... О, не разумомъ, а какъ-то всѣмъ существомъ, и вовсе не твердо вѣрить, а просвѣтами, мгновеніями, и съ надеждою на то, что когда-нибудь, можетъ-быть, даже только къ концу жизни, возсіяетъ настоящій свѣтъ. Однимъ словомъ, отрицательно убѣждаешься, что свѣтъ только одинъ, и что онъ есть.

Нужно ли добавлять, что тотъ болѣе высокій строй, который я почувствовалъ въ Твери и который я не перестаю съ тѣхъ поръ чувствовать, не повредилъ, а былъ полезенъ мнѣ и въ отношеніи моей писательской способности. Безъ ложной скромности говорю это. И мнѣ очень пріятно и по этому поводу повторить вамъ: нѣтъ мѣры моей признательности.

Вотъ видите, какъ въ сущности не важно, что вы далеко: вы не переставали быть очень близко, хотя часто эта близость не сознавалась, не сознается мною. И потому что часто не сознается — хочется увидать васъ, поговорить съ вами. Но это слабость, не правда ли? Ахъ, до какой ноющей боли я вспомнилъ, что нѣтъ васъ въ Твери, что то̀ прошло

уже и не возвратится... Недавно я былъ въ Твери; милые и дорогіе мнѣ люди живутъ еще тамъ, но такъ что-то засосало, когда вспомнилъ о васъ... Впрочемъ, такъ какъ это «слабость», то прекратимъ.

Посылаю вамъ свою книгу — «Гарденины». Какъ и въ авторѣ — въ ней цѣлая уйма недостатковъ; есть и достоинство: она болѣе похожа на самое себя, нежели въ «Русской Мысли»: то, что было оскоплено въ журналѣ, поставлено вновь на свое мѣсто. Книжка, кажется, имѣетъ нѣкоторый успѣхъ, — прибавлю съ гордостью: независимо отъ столичныхъ критиковъ: Буренинъ обошелся еще довольно милостиво, т.-е. принимая во вниманіе его собачій нравъ; Скабичевскій же (въ «Новостяхъ») обругалъ едва не «матерщиной». И, конечно, никто съ достаточной яркостью не выставилъ тѣхъ огромныхъ недостатковъ романа, которые я самъ отлично сознаю.

Пишите, пожалуйста. Нечего и говорить, какъ мы будемъ рады получить отъ васъ вѣсточку. Маруся шлетъ вамъ самый искренній, самый душевный привѣтъ. Кланяемся низко Натальѣ Семеновнѣ.

О Твери ничего не пишу. Вы, вѣроятно, уже освѣдомлены о тамошнихъ новостяхъ.

Я пробылъ два дня у Толстыхъ въ Ясной Полянѣ. Л. Н. снова возвращался къ вашей книгѣ и опять съ большими похвалами. Даже слогъ защищаетъ, а я, признаться, нападалъ на слогъ. А Лесевича, говоритъ, не понимаю. Вотъ поди же! Ну, позвольте крѣпко поцѣловать васъ. Съ Новымъ годомъ.

Ал. Эртель.

В. Г. Короленко — А. И. Эртелю.

11 февраля 1890.

Большое спасибо вамъ, Александръ Ивановичъ, за ваше письмо. Спасибо и за то, что написали его, и за то, что въ немъ написано. Вы работаете дольше меня и сдѣлали гораздо больше. Поэтому у меня есть больше данныхъ для того, чтобы опредѣлить, въ чемъ я съ вами согласенъ, и гдѣ пункты, въ которыхъ мы расходимся. Этихъ послѣднихъ пунктовъ не мало, и не скажу, чтобы они были на мой взглядъ незначительны. Если доведется когда, — то, безъ сомнѣнія, найдется у насъ, о чемъ поспорить. Но все же и я очень желалъ бы, чтобы случай, судьба или тамъ что бы то ни было, свели насъ съ вами поближе. Разногласіе и споры, при условіи искренняго и общаго преклоненія передъ извѣстными началами — конечно, не помѣха.

Одинъ изъ такихъ пунктовъ разногласія намѣтился даже и въ вашемъ письмѣ. Не для того, чтобы полемизировать, не для того, чтобы защищать свое произведеніе (далеко неважное, по моему искреннему убѣжденію), но лишь для выясненія того, на чемъ мы съ вами сильно расходимся, я скажу объ этомъ нѣсколько словъ. Нѣтъ, я никогда не возводилъ въ правило «цѣль оправдываетъ средства». Вы признаете, что бываютъ ситуаціи, оправдывающія средства, къ которымъ прибѣгаютъ по необходимости, такъ же, какъ иная ложь бываетъ гораздо лучше иной правды (чтобы не ходить далеко, укажу на такой случай, когда человѣкъ направляетъ убійцъ по ложному слѣду). Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, чтобы можно было ложь возводить въ правило. Но въ томъ-то и дѣло, что, совершенно отвергая очень многія средства борьбы (клевету даже на врага и т. п.), я не признаю силу чѣмъ-то дурнымъ самое по себѣ. Она — нейтральна и даже скорѣе хороша, чѣмъ дурна. Я вовсе не желалъ сказать моимъ разсказомъ, что не нужно вовсе

христіанской кротости и умѣнія прощать и подставлять ланиту. Но по-моему добродѣтель столь же разноцвѣтна, какъ и свѣтовые лучи. Я не могу считать насильникомъ человѣка, который одинъ защищаетъ слабаго и измученнаго раба противъ десяти работорговцевъ. Нѣтъ, каждый поворотъ его шпаги, каждый его ударъ для меня — благо. Онъ проливаетъ кровь? Такъ что же? Вѣдь послѣ этого и ланцетъ хирурга можно назвать орудіемъ зла.

В. Г. Короленкѣ [1]).

20 февраля 1890, ст. Графская, К.-В.-Р.

...Скажу искренно: меня нимало не трогаетъ то отчасти намѣренное непониманіе моихъ писаній, которое обнаруживаютъ гг. скабичевскаго и протопоповскаго жанра; когда они меня сваливаютъ въ одну кучу съ Л. Толстымъ, трактуютъ меня, какъ «толстовца», какъ поклонника и проповѣдника «восточныхъ началъ» и всякаго рода Ѳиваидъ, я пребываю совершенно равнодушенъ. Но иное дѣло, когда обо мнѣ судятъ нѣсколько превратно люди, которыхъ я глубоко уважаю, дѣятельность которыхъ я высоко цѣню, вижу въ ней самое дорогое для меня качество — искренность и самостоятельное исканіе правды. Къ такимъ людямъ, несомнѣнно, принадлежите и вы, Владимиръ Галактіоновичъ, и столь же несомнѣнно, — по крайней мѣрѣ, мнѣ такъ кажется, — вы судите обо мнѣ нѣсколько превратно.

Не буду отрицать того, что многое въ мысляхъ Л. Н. Т. представляется мнѣ вѣрнымъ и глубокимъ до поразительности, но я расхожусь съ нимъ въ его отношеніяхъ къ общественности, къ учрежденіямъ, къ средствамъ борьбы со зломъ, и до извѣстной степени — къ такъ называемой цивилизаціи. Затѣмъ надо добавить и слѣдующее: я смотрю даже на его парадоксы, на то, что мнѣ представляется ошибочнымъ въ его взглядахъ

---

[1]) Письмо въ такомъ видѣ, кажется, не было послано. На подлинникѣ рукою А. И-ча написано: «Передѣлать яснѣе».

и разсужденіяхъ, съ великимъ интересомъ. Въ этомъ отношеніи, мнѣ кажется, совершенно правъ былъ тотъ человѣкъ, который сказалъ, что ошибочное сужденіе изъ устъ мудраго драгоцѣннѣй истины, произнесенной глупымъ. Не спорю, можетъ-быть, я и потому очень высоко ставлю Т—го, что имѣю возможность судить его разностороннѣе, чѣмъ другіе: знаю его «дома», такъ сказать, въ сферѣ его личнаго поведенія, знаю его по письмамъ къ его близкимъ друзьямъ и отчасти по его интимному дневнику, и затѣмъ читалъ его писанія и говорилъ съ нимъ, задаваясь одной только цѣлью: безъ всякихъ полемическихъ намѣреній, по возможности глубоко проникнуть въ эту удивительную натуру, въ этотъ удивительный, необузданно смѣлый умъ. Всегда онъ меня привлекалъ не какъ «учитель», а какъ необыкновенно рѣдкое явленіе въ сферѣ ума и того, что называютъ талантомъ. Но само собою, то, что изъ его мыслей совпадало съ моимъ понятіемъ объ истинѣ, обязательно входило въ кругъ моего міровоззрѣнія, иногда комбинируясь съ мыслями и взглядами людей совершенно иного типа, чѣмъ Т. Чтобы уяснить, укажу на одинъ пунктикъ. Въ свое время у меня была достаточно инстинктивная, если можно такъ выразиться, мечта о правильномъ типѣ жизни. Эта мечта превратилась въ сознательный идеалъ (охъ, не люблю этого варварскаго слова!), когда я познакомился съ тѣмъ, что писалъ Н. К. Михайловскій о прогрессѣ. Но тотъ научный ходъ доказательствъ, который присутствуетъ въ статьяхъ М., далеко не казался мнѣ столь убѣдительнымъ, какъ рѣзкое, сильное, хотя, можетъ-быть, отчасти и одностороннее доказательство той же истины, того же зла, вытекающаго изъ спеціализаціи способностей, изъ пресловутаго «раздѣленія труда», которое встрѣчается у Л. Т.

Вообще мнѣ казалось ужаснымъ заблужденіемъ, что люди извѣстной партіи, извѣстнаго взгляда на порядокъ вещей, приняли въ отношеніи къ Толстому такой тонъ непримиримой вражды, который, кажется, и противъ Каткова не былъ принимаемъ. Я знаю, что тутъ много повредилъ Т—му Христосъ. Но самый фактъ того, что Христосъ *могъ* повредить, ужасно грустенъ. Вѣдь ни для кого не секретъ, что въ народѣ су-

ществуетъ огромное теченіе, которое я бы назвалъ «исканіемъ подлиннаго Христа», — теченіе важности чрезвычайной, хотя бы и потому, что оно нераздѣльно соединено съ исканіемъ и справедливыхъ общественныхъ нормъ. Пусть же сообразили бы, какъ богатъ арсеналъ, предъявленный Толстымъ на помочь этому теченію въ его «Критикѣ догматическаго богословія», въ подробномъ изслѣдованіи Евангелія и т. п. Мы же не соображаемъ, но только фыркаемъ и обливаемъ презрѣніемъ.

Впрочемъ, я, кажется, увлекся и слишкомъ много говорю о Толстомъ. Вѣдь въ вашемъ письмѣ даже имени его не упоминается, а я какъ будто отвѣчаю на ваше письмо.

Лучше скажу нѣсколько словъ о томъ, какъ смотрю на борьбу,—если не ошибаюсь, главный пунктъ нашихъ разногласій. Чтобы облегчить трудъ и не искать новыхъ выраженій для моихъ старыхъ мыслей на этотъ счетъ, позволю себѣ привести отрывокъ изъ письма, которое случилось мнѣ написать годъ тому назадъ [1]). «Борьба насиліемъ отчасти представляется мнѣ тѣмъ, что уже давно отвергнуто криминалистами: бить нещадно, дабы другимъ было неповадно. Но, съ другой стороны, я отлично знаю, что есть болѣе просвѣщенные «насильники», которые, совершенно отбрасывая архаическій принципъ «устрашенія» и «возмездія», руководствуются принципами «устраненія» и «принужденія». Съ первымъ изъ этихъ «просвѣщенныхъ» принциповъ я настолько же *рѣшительно* несогласенъ, насколько онъ рѣшительно расходится съ безспорнымъ для меня значеніемъ любви; со вторымъ согласенъ до тѣхъ его предѣловъ, пока онъ не расходится. Такъ, напримѣръ, манифестъ 19 февраля или декретъ о націонализаціи земли, если бы таковой случился, несомнѣнно содержатъ въ себѣ скрытый принципъ насилія: предполагаютъ «принужденіе», но это, по моему мнѣнію, нимало не противорѣчитъ закону любви. И не потому только, что этимъ принужденіемъ обез-

---

[1]) Изъ письма къ В. В. Лесевичу. Отрывокъ этотъ привожу цѣликомъ, потому что есть нѣкоторыя добавленія.

Прим. А. И. Эртеля.

печиваются вопіющія нужды обездоленнаго и порабощеннаго большинства, но еще и потому, что обида, наносимая меньшинству, здѣсь только фиктивная, призрачная обида, а на самомъ-то дѣлѣ меньшинство поставляется въ иныя, лучшія, болѣе здоровыя и справедливыя условія жизни. Вы скажете, что скрытый принципъ принужденія легко можетъ перейти и въ самое настоящее насиліе: напримѣръ, если бы нашихъ помѣщиковъ потребовалось стрѣлять и усмирять штыками... Однако не случилось же этого. И по моему глубокому убѣжденію, никогда не можетъ случиться, если скрыто принудительная мѣра опирается на ясно сознанныя большинствомъ здравыя и справедливыя понятія. Тогда только можетъ быть вотъ что: въ единичныхъ, въ исключительныхъ случаяхъ то тамъ, то здѣсь появится странный, закостенѣвшій въ отжившихъ привычкахъ человѣкъ, который во что бы то ни стало и всякимъ «средствіемъ» будетъ противиться измѣненіямъ. Такого человѣка я, не обинуясь, призналъ бы либо душевно-больнымъ, и въ этомъ случаѣ считалъ бы позволительнымъ сдѣлать съ нимъ все то, что дѣлается съ душевно-больными; либо человѣкомъ на уровнѣ ребяческихъ понятій и представленій и, значитъ, требующимъ примѣненія къ нему той или иной педагогической мѣры. Затѣмъ и еще есть выходъ. Вотъ насъ собралось въ достаточно тѣсной комнатѣ десять человѣкъ, и, чтобы предотвратить порчу воздуха, мы рѣшили не курить въ этой тѣсной комнатѣ; и одинъ или двое воспротивились рѣшенію, начали курить. Мнѣ представляется совершенно справедливымъ попросить этихъ господъ выйти изъ комнаты, а въ крайнемъ случаѣ, даже и силою заставить ихъ выйти. Конечно, это только аналогія со всѣми ея невыгодами, но я склоненъ сравнить комнату и собравшихся въ ней съ исторически сложившеюся общиною и думаю, что община имѣетъ право изгнать изъ своей среды тѣхъ, кто не захочетъ жить въ условіяхъ, признанныхъ общиною нужными и справедливыми. Весь вопросъ сводится къ тому, чтобы и въ личномъ поведеніи, и въ общественныхъ мѣропріятіяхъ до тѣхъ только предѣловъ вести борьбу, пока она не становится «возмездіемъ» или «устраненіемъ» (устраненіемъ въ смыслѣ казни или лишенія свободы),

т.-е. до тѣхъ предѣловъ, пока допускаемое мною «принужденіе» не затрогиваетъ того, что я называю святыней: не посягаетъ на жизнь и свободу и достоинство человѣка, не подавляетъ тѣхъ его свойствъ, которыя онъ можетъ употребить во славу разума и любви (если онъ самъ не хочетъ употреблять ихъ съ этою цѣлью, это ужъ его дѣло). Такъ, напомню вамъ объ извѣстномъ картофельномъ бунтѣ въ сѣверныхъ губерніяхъ. Разсуждая въ отвлеченіи, введеніе картофеля дѣло благое, но припоминая обстоятельства этого введенія: ссылки, экзекуціи, плети, возбужденіе звѣрскихъ чувствъ въ средѣ вводителей и въ средѣ не желавшихъ введенія, я не могу не признать, что лучше бы погодить съ картофелемъ, ибо онъ, какъ ни полезенъ, не стоитъ и милліонной доли тѣхъ страданій и тѣхъ загубленныхъ и извращенныхъ жизней. Соотвѣтственно съ картофелемъ будетъ съ моей точки зрѣнія любое подобное же «введеніе» любого блага и любой полезности. Вообще, въ противоположность извѣстнымъ стихамъ Некрасова, мнѣ думается, что «человѣческой крови цѣны нѣту», съ какою бы наивозвышеннѣйшей цѣлью она ни проливалась (я, конечно, не о хирургіи говорю)».

Я рѣшительно не понимаю, какъ можно цѣнить какія-либо блага цѣною загубленной жизни. Принято думать, что это пустяки, если погибнетъ Иванъ или Петръ — зато на его погибели создадутъ благо тысячи Петровъ и Ивановъ. Боже мой! да вѣдь этотъ самый Иванъ — Иванъ въ *единственномъ числѣ* вмѣщаетъ въ душѣ своей такой безконечный міръ, такой источникъ чувствъ, мыслей, понятій, такую жажду жизни, счастья, любви, и такая неизмѣримая важность для него въ томъ, что вотъ онъ живетъ, какъ другіе, и любитъ, и ищетъ по-своему счастья, и мыслитъ, и чувствуетъ, что все это разрушить, какъ карточный домикъ, извратить это, истребить во имя какихъ бы то ни было благородныхъ принциповъ... ахъ, какъ смѣло и какъ жестоко! А между тѣмъ господствующія нынѣ теоріи «борьбы», допуская въ свои программы войну, казни, лишенія свободы, именно пренебрегаютъ этимъ Иваномъ въ единственномъ числѣ, пренебрегаютъ участью отдѣльнаго существа, существа живого и сознающаго, ради тѣхъ

иногда алгебраическихъ Ивановъ, которые даже еще и не родились. И это все равно, какую теорію ни взять: Бисмарка ли или монтаньяровъ, Каткова ли или Желябова, «Вѣстника ли Европы» или Побѣдоносцева. Потому что всѣ онѣ съ нѣкоторыми только видоизмѣненіями признаютъ одинаковую *систему* борьбы, считаютъ именно такую систему условіемъ правильнаго историческаго развитія.

Что именно таково условіе правильнаго историческаго развитія... Да вѣрно ли это? И стоитъ ли жить, если пускай даже и существуетъ прогрессъ, но дается-то онъ цѣною непрерывныхъ и обязательно необходимыхъ злодѣйствъ, — только этой цѣною? Смѣю думать, что это не такъ. Истинный, настоящій прогрессъ, т.-е. то постепенное развитіе солидарности между людьми, то неперестающее расширеніе въ людяхъ сознанія, то нарастаніе гуманныхъ, а слѣдовательно, и справедливыхъ понятій, которое несомнѣнно происходитъ, всегда обусловливалось не злодѣйствами, а двумя благороднѣйшими способностями — разумомъ и любовью. Начала великой французской революціи *не потому* вошли въ сумму добра, въ число пріобрѣтеній прогресса, что дѣйствовалъ Конвентъ, что Робеспьеръ и Маратъ рѣзали аристократовъ, а Колло д'Ербуа истреблялъ ліонцевъ, а Гошъ — Вандею, но *несмотря на это*. Вѣдь знаменитая ночь 4 августа произошла раньше «злодѣйствъ» и произошла не по насилію, а потому, что *нельзя* было людямъ стараго порядка бороться дальше съ тѣми волнами новыхъ мыслей, новыхъ понятій и новыхъ чувствованій, которыя устремились на этотъ порядокъ и которыя возникли и укрѣпились не работой «насильниковъ», а работой людей разума и любви и, разумѣется, логикой вещей, нужно добавить. Но хотя бы вы и доказали, что такое-то насиліе вотъ въ такомъ-то случаѣ содѣйствовало добру, — ну, пользуясь выраженіемъ изъ вашего письма, — освободило бы рабовъ, я все-таки настаиваю, что вмѣстѣ съ добромъ такое насиліе непремѣнно внесло и зло, ибо нельзя допустить, что если я *сознательно* и *по системѣ* истреблю моего врага, то тѣмъ самымъ не внесу въ мою душу зла, т.-е. превратныхъ понятій о моемъ правѣ, о томъ, что можно убить, казнить, за-

точить и т. п. И вотъ, взвѣшивая то добро и это зло, я не знаю, что, въ концѣ-концовъ, пріобрѣло человѣчество: барышъ или убытокъ? Но навѣрное знаю, что это «барышъ», когда Христосъ отдаетъ себя палачамъ, и «убытокъ», когда Константинъ В. того же Христа беретъ подъ защиту своихъ легіоновъ и своихъ палачей.

Я намѣренно подчеркнулъ «сознательно» и «по системѣ» истребилъ врага. Потому что, если истребленіе происходитъ безсознательно, если люди убиваютъ другъ друга въ томъ состояніи, когда страсти совершенно погашаютъ разумъ, тутъ не мѣсто нравственному суду, тутъ только можно жалѣть или, если еще не поздно, стараться образумить, помѣшать. Но какъ ни грустно такое оживленіе звѣря въ человѣкѣ — оно далеко не такъ ужасно, какъ насиліе, приведенное въ систему, въ теорію, въ принципъ. На мой взглядъ то, что люди считаютъ справедливымъ послать сотни тысячъ безропотныхъ Ивановъ на войну съ турками, или казнить какого-нибудь Тропмана, гораздо ужаснѣе того звѣрства, которое теперь волнуетъ Варшаву, или того, за что былъ казненъ Тропманъ. Даже больше скажу: гораздо ужаснѣе варшавскихъ убійствъ то, что всѣ мы считаемъ хорошимъ, справедливымъ и нужнымъ эту акушерку Скублинскую, если не повѣсить, такъ сослать на каторгу, и всѣ мы убѣждены, что имѣемъ, мало того юридическое, но и нравственное право повѣсить или сослать эту Скублинскую, конечно, не сами собою, но посредствомъ органа нашего правосудія. И въ судѣ захлопаютъ въ ладоши, когда услышатъ приговоръ, а въ газетахъ будутъ говорить, что возмущенное нравственное чувство, наконецъ, удовлетворено... Вотъ что ужасно больше того ужаснаго преступленія, за которое будутъ судить Скублинскую!

Вы мнѣ простите, Владимиръ Галактіоновичъ, отрывочность и внѣшнюю безсвязность этого письма. Я вѣдь пишу не для публики и, конечно, не съ цѣлью убѣдить васъ въ правотѣ моихъ взглядовъ,—я только хочу, чтобы вы меня узнали ближе, и увѣренъ, что вы не поставите въ вину отрывочность изложенія, постараетесь найти въ немъ *внутреннюю* связность: не даромъ же вы настоящій художникъ, т.-е. не доктринеръ.

Мнѣ хотѣлось бы, чтобы вы поняли, какъ вотъ изъ этихъ отношеній моихъ къ вопросу о насиліи и о томъ, чѣмъ движется прогрессъ, самымъ естественнымъ образомъ проистекаютъ взгляды мои и на роль искусства, и на роль общественности.

Роль искусства слагается сообразно тѣмъ элементамъ, которые входятъ въ него. Отлично знаю, что въ числѣ этихъ элементовъ находится и красота. Знаю также, или, лучше сказать — *вслѣдствіе* того, что знаю о красотѣ — знаю и то, что роль искусства — доставлять наслажденіе людямъ. Но не только доставлять наслажденіе — если бы этимъ и ограничивалась роль искусства, не велика была бы штука, — главное же: помогать людямъ въ расширеніи ихъ сознанія, неустанно воздвигать передъ ними знамя правды, добра, истины. И не той преходящей правды, не того преходящаго добра, на коихъ стоитъ штемпель 1890 или иного года, а той правды и того добра, которыя пребудутъ дѣйствительны, пока существуетъ родъ человѣческій. Вѣдь съ точки зрѣнія добра временнаго, преходящаго, пожалуй, безспорно будетъ лучше, если мужичонку, укравшаго шкворень у кулака, посадитъ въ острогъ мировой судья, а не земскій начальникъ, но если искусство будетъ заниматься тѣмъ, что дѣятельность мирового судьи возведетъ въ перлъ созданія — не настоящее это будетъ искусство... Я не хочу этимъ сказать, что искусство должно жить въ эмпиреяхъ — имѣть только дѣло съ Фаустами да Манфредами, не вмѣшиваться въ текущую дѣйствительность, — напротивъ, необходимо, на мой взглядъ, вмѣшательство въ самую обыденную, въ самую будничную дѣйствительность, но изображая эту дѣйствительность, нужно творить судъ-то надъ нею во имя незыблемой, непреходящей правды. По-моему, только это и будетъ настоящимъ искусствомъ. И наши старые мастера знали это: знали и Гоголь, и Салтыковъ, и Достоевскій, знаютъ и Л. Толстой и Гл. Успенскій. — Н. К. Михайловскій, если не измѣняетъ мнѣ память, сказалъ въ своемъ некрологѣ Салтыкова, что, какъ писатель, онъ былъ выше партій, или шире, не помню точнаго выраженія. Это выраженіе очень правдиво. Да, настоящій, искренній, вдумчивый писатель-художникъ не долженъ вмѣщаться въ какую бы то

ни было партію, т.-е. поскольку онъ художникъ. Нѣтъ той партіи, которая не требовала бы отъ своихъ членовъ извѣстной политики, извѣстной дисциплины, и, по необходимости, условнаго отношенія къ явленіямъ жизни. Художникъ прежде всего долженъ быть свободенъ. Для него дисциплина опредѣляется только однимъ: требованіемъ безусловной правды, безусловной искренности. Думаю, что такой идеалъ писателя-художника до извѣстной степени приложимъ и ко всякому писателю. Не въ этомъ ли секретъ огромнаго нравственнаго вліянія, примѣръ котораго въ дѣятельности Добролюбова, напримѣръ? Онъ развѣнчивалъ Кавура, нападалъ на Пирогова, отнюдь не стѣсняясь тѣмъ, что въ его время и въ тогдашнихъ условіяхъ общественности добро-то заключалось въ томъ, чтобы апофеозировать Кавуровскій парламентаризмъ, всячески поддерживать такихъ сравнительно либеральныхъ дѣятелей, какъ Пироговъ. И вопросъ, дурно ли, что такъ сдѣлалъ Добролюбовъ, или хорошо? По-моему, хорошо. Впрочемъ, не буду спорить объ этомъ.

Роль общественности... Въ отличіе отъ Л. Н. Т. я признаю огромное значеніе за нею. Нѣтъ для меня ничего противнѣе, когда люди замыкаются въ себя, въ своей семьѣ, въ своемъ домѣ, или удаляются въ ѳиваиды того ли, иного типа, уходятъ путемъ самосовершенствованія столь далеко, что ихъ *я* заслоняетъ отъ нихъ насущные интересы и заботы мірскія. Къ слову сказать, самъ Т. отнюдь не принадлежитъ къ такимъ людямъ, но несомнѣнно, что въ его ученіи есть коечто, какъ бы одобряющее такой типъ жизни. Но оставимъ въ покоѣ Толстого. Итакъ, я признаю огромную роль общественности. Сообразно съ этимъ, я всегда радуюсь, когда люди участвуютъ въ общественныхъ дѣлахъ — не ради выгодъ, разумѣется, а съ искреннимъ желаніемъ добра.

Но за всѣмъ тѣмъ многое въ складѣ и въ функціяхъ современной общественности представляется мнѣ достойнымъ отрицанія. Я никакъ не могу забыть такихъ функцій, какъ полиція, уложеніе о наказаніяхъ, жандармы, ссылки, тюрьмы и т. п. Вѣдь всѣмъ этимъ вооружено современное государство, а подкладка, raison d'être всѣхъ этихъ вооруженій есть охрана

общественности отъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ. И вотъ мнѣ думается, что, отнюдь не убѣгая общественности, нужно примыкать къ такимъ общественнымъ группамъ, къ такимъ институтамъ и учрежденіямъ, которыя исключаютъ изъ своихъ программъ принципъ насилія, дѣйствуютъ въ сферѣ сознанія и добровольнаго соглашенія, т.-е. по возможности не входя въ противорѣчіе съ тѣмъ, что мнѣ представляется вѣковѣчной правдой. Такими группами, институтами и учрежденіями *могутъ быть:* журналисты, учителя, доктора, земство, городское самоуправленіе, парламентъ, гдѣ онъ есть, разнаго рода общества и союзы и т. д. (Во избѣжаніе недоразумѣнія прибавлю: почти всѣ органы самоуправленія и, тѣмъ болѣе, органъ представительства — парламентъ, отправляютъ свои функціи съ помощью грубой силы: земство — взыскивая недоимки, дума — издавая обязательныя постановленія, парламентъ — разрѣшая собирать деньги на войну, на тюрьмы и т. д. Но дѣло-то въ томъ, что я воленъ примкнуть къ тому или иному постановленію, а воленъ идти и противъ него, не утрачиваю свободу совѣсти, не дѣлаюсь виновникомъ безнравственной, съ моей точки зрѣнія, мѣры).

Я знаю, что мнѣ предстоятъ сильныя возраженія... А институтъ фабричныхъ инспекторовъ, скажете вы? Вѣдь институтъ этотъ — несомнѣнная охрана слабаго, а между тѣмъ дѣйствуетъ посредствомъ грубой силы: инспекторъ составитъ протоколъ, и нарушителя извѣстныхъ требованій посадятъ въ тюрьму? А судъ правый и милостивый? Вѣдь онъ защищаетъ карася, укрощаетъ жадную щуку, а чѣмъ? — опять-таки физической силой: тюрьмой, ссылкой.

Отвѣтъ у меня на это только одинъ. Я знаю, что лучше судъ, нежели произволъ, лучше инспекція, нежели полнѣйшая беззащитность, и всегда готовъ отстаивать *лучшее* противъ *худшаго;* но такъ какъ и лучшее и худшее одинаково опираются на насиліе, то самъ-то я не могу идти ни въ лучшіе, ни въ худшіе [1]).

---

[1]) Потому, что въ данное время и въ данномъ типѣ общественности есть еще болѣе *лучшее.* *Прим. А. И. Эртеля.*

Распространюсь нѣсколько подробнѣе. По-моему, типъ общежитія улучшается и прогрессируетъ, кромѣ усилій и поведенія отдѣльныхъ людей, цѣлою сѣтью институтовъ и учрежденій. Въ этихъ институтахъ и учрежденіяхъ, такъ же какъ и въ поведеніи отдѣльныхъ людей, благодаря историческимъ и инымъ условіямъ, много отжившаго и отживающаго, много такого, что мнѣ кажется несовмѣстимымъ съ *правдой*. Но въ одномъ типѣ поведенія, въ однихъ учрежденіяхъ и институтахъ этой несовмѣстности больше, въ другихъ — меньше, наконецъ, въ третьихъ совсѣмъ мало. Я глубоко вѣрю, что въ Римъ ведутъ и дурныя дороги, — что, напримѣръ, различныя военныя изобрѣтенія, всѣ эти мелиниты, динамиты, торпеды, въ свою очередь, ведутъ къ отрицанію войны; что огромная власть, вѣками накопленная въ извѣстномъ правительствѣ для чисто-разбойничьихъ цѣлей, послужитъ въ свое время для цѣлей прогрессивныхъ; что капитализмъ «обобществитъ» трудъ; что гласный судъ привьетъ до извѣстной степени уваженіе къ правамъ сосѣда, и т. д. Но самъ, лично, я по совѣсти не могу идти по этимъ все же извилистымъ дорогамъ, тѣмъ болѣе, что у меня и безъ того богатый выборъ болѣе прямыхъ путей.

Отсюда, конечно, слѣдуетъ вотъ еще что: отношенія мои къ той сѣти учрежденій и институтовъ, о которой говорю, такъ же, какъ и къ различнымъ типамъ поведенія, къ различнымъ усиліямъ отдѣльныхъ людей, отнюдь не безразличны. Они (отношенія) обусловливаются тою прямизною пути, которую я вижу или не вижу въ томъ, къ чему отношусь. Гладстонъ и Бисмаркъ, Буланже и Клемансо, Катковъ и Стасюлевичъ, Д. Толстой и Д. Милютинъ, прокуроръ Н. Муравьевъ и прокуроръ Вл. Жуковскій (по дѣлу и. Митрофаніи) для меня люди далеко не одного цвѣта и не одинаковыхъ симпатій, — такъ же какъ земство и департаменты, мировые судьи и земскіе начальники, судъ присяжныхъ и судъ коронный, система представительства и самодержавіе. Хотя обо всемъ этомъ я могу только сказать: «лучше», «хуже», т.-е. не такъ, какъ о Спинозѣ, о Ньютонѣ, о Гоголѣ, о Р. Оуэнѣ, о Л. Толстомъ, не такъ, какъ... ну, хотя бы о нашихъ первыхъ пропаганди-

стахъ-народникахъ и обществѣ «Краснаго Креста» и «лигѣ мира». — Нужно ли оговариваться, что все, что я говорилъ до сихъ поръ о своихъ взглядахъ, относится къ тому, что я *считаю* истиной, что я по совѣсти считаю обязательнымъ для себя и добромъ для всѣхъ, но это вовсе не значитъ, чтобы я въ своемъ поведеніи такъ-таки и слѣдовалъ этимъ взглядамъ. *Хочу* имъ слѣдовать, но у меня никогда не достанетъ смѣлости утверждать, что я достигалъ или достигну полнаго совпаденія моихъ дѣлъ съ моимъ словомъ...

Вотъ оно какое длинное вышло письмо! Боюсь, не наскучилъ ли я вамъ? Ну, на этомъ и закончимъ, хотя чувствую, какъ многое бы еще нужно сказать и въ объясненіе, и въ прибавленіе къ сказанному.

Преданный вамъ А. Эртель.

Прибавлю нѣсколько словъ о государственности. Нельзя не признавать ее, ибо она фактъ. Нельзя и удаляться изъ ея сферы, какъ это дѣлается иногда, ибо повиснешь на воздухѣ. Но съ другой стороны, необходима борьба съ нею, ибо правда-то въ томъ, что люди могутъ жить и безъ этой желѣзной скорлупы. Идеалъ — отсутствіе всякаго государства; жизнь общины должна опредѣляться свободнымъ союзомъ, — союзомъ, который смыкалъ бы своими функціями отдѣльныхъ людей въ отдѣльную общину, и отдѣльныя общины въ цѣлую группу общинъ. Такова организація, которая мнѣ представляется совмѣстной съ *правдой*, потому что только такая обезпечиваетъ каждому человѣку полный расцвѣтъ его индивидуальныхъ способностей и исключаетъ борьбу за существованіе, понимаемую въ ея грубомъ, въ ея зоологическомъ смыслѣ. Итакъ, необходима борьба... Но борьба опять-таки въ условіяхъ тѣхъ отношеній къ насилію, о которыхъ была рѣчь выше. Кто-то сказалъ: «отвлеченное начало, приложенное къ строенію человѣческихъ обществъ, одинаково разстраиваетъ отправленія духовнаго организма, какъ чистый химическій элементъ, введенный въ растительный организмъ. Чистымъ азотомъ погубишь растеніе, хотя азотъ и нуженъ для его жизни, и «правами человѣка» не выправишь государства, хотя «Декларація» о

нихъ и заключала въ себѣ истины». — Вотъ именно такого немедленнаго осуществленія отвлеченныхъ началъ никогда и не можетъ быть при той системѣ борьбы, которую я считаю единственно справедливой. Всячески расширять сознаніе людей; примыкать къ тѣмъ общественнымъ группамъ и учрежденіямъ, которыя, не прибѣгая сами къ зоологическимъ средствамъ, могутъ способствовать упраздненію зоологіи; всячески поддерживать тѣ мѣропріятія современнаго государства, которыя ведутъ къ той же цѣли; неустанно занимать позиціи, съ которыхъ историческимъ ходомъ вещей вытѣснена государственность — вотъ, мнѣ думается, желательный и справедливый типъ *общественнаго* поведенія. И такой типъ вполнѣ исключаетъ борьбу посредствомъ грубой силы. То-есть можетъ исключать.

Еще словечко по поводу вышеприведенной цитаты. Въ ней разумѣется принудительное приложеніе отвлеченныхъ началъ. Совсѣмъ другое получится, когда выработанное въ сферѣ «чистаго разума» совпадаетъ съ реальными интересами большинства, когда исторія успѣла вылѣпить ту Галатею, которую предстоитъ одухотворить. Представимъ себѣ, что идеалъ свободнаго союза общинъ внезапно декретированъ какимъ-нибудь Конвентомъ, ну, хотя бы у насъ въ Россіи. Нетрудно предсказать, что за суматоха воспослѣдуетъ, какое гибельное разложеніе общественности, какая дисгармонія силъ! Но когда такая же организація получится вслѣдствіе роста историческаго сознанія, когда она логически замкнетъ собою долгій рядъ посылокъ: постепенное ослабленіе централизаціи, развитіе областныхъ интересовъ, относительную свободу племенныхъ группъ и т. д. — тогда это будетъ нѣчто крѣпкое и прочное. На это могутъ возразить: тонко прясть — долго ждать, то-есть при условіи безкровной-то борьбы... Что же дѣлать — изъ исторіи такъ же не выскочишь, какъ не выскочишь изъ условій времени и пространства и *какъ нельзя безнаказанно выскочить изъ той сферы нравственныхъ понятій, совокупность которыхъ я не умѣю иначе назвать, какъ Правдой.*

М. Н. Чистякову.

18 марта 1890, ст. Графская, К.-В.-Р.

...Крѣпись, братъ, и не унывай. Смѣло говори — «повоюемъ»! Жизнь всячески хороша, хоть бери ее со всѣми тѣнями и ужасами. Тѣни и ужасы потому вѣдь не очень-то страшны, что есть кромѣ жизни — смерть. Такъ о чемъ же заботиться? Все, другъ, взвѣшено и нечего опускать голову. Нечего да и некогда: надо жить!

П. А. Бакунину.

5 ноября 1890, ст. Углянка Коз.-Вор. ж. д. Емпелево.

Дорогой Павелъ Александровичъ! Слишкомъ долго я не писалъ вамъ, но у меня есть серьезное оправданіе: все это время я былъ чрезмѣрно поглощенъ нѣкоторымъ tour de force въ моей личной жизни: переходомъ изъ положенія «дачника» и вообще «человѣка безъ опредѣленныхъ занятій» на стезю сельскаго хозяина, — не землевладѣльца, конечно, но арендатора. Много обстоятельствъ содѣйствовало сему; главное — потребность имѣть какое-нибудь постоянное и по возможности прочное мѣстожительство, а во-вторыхъ, меня давно уже тяготила та фантастическая, оторванная отъ настоящей, отъ повседневной дѣйствительности жизнь, которая слишкомъ десять лѣтъ была моимъ удѣломъ. Я отлично понимаю, что повседневная дѣйствительность чревата различной пошлостью и переполнена до краевъ и отталкивающими, и засасывающими мелочами, но мало боюсь этого, потому что настоящая моя профессія — профессія писателя — конечно, избавитъ меня отъ небходимости рабски подчиняться сельскохозяйственнымъ нормамъ, обычаямъ и заботамъ. Во всякомъ случаѣ, сдѣлаемъ опытъ... Имѣніе попалось мнѣ прехорошенькое: съ старымъ, плодовымъ садомъ, съ чистенькими прудами, съ порядочными постройками. Земли, разумѣется, немного — 114 десятинъ; нечего и говорить, что она представляетъ обычный у насъ глубокій черноземъ. Въ саду есть хорошая аллея, много вишеннику, малина, крыжовникъ, смо-

родина, 400 старыхъ яблонь и болѣе 150 молодыхъ насажденій. Станція желѣзной дороги въ 10 верстахъ, городъ Воронежъ — въ тридцати; деревушка тотчасъ же за садомъ. Хлопотъ было множество, да и сейчасъ онѣ не кончились; къ дому необходимо было дѣлать пристройку, — несмотря на отвратительную погоду работали плотники, печники, кровельщики; нужно было обзаводиться и тѣмъ, и другимъ, оріентироваться въ поляхъ, дѣлать наброски сѣвооборота на планѣ. Прибавьте къ сему, что предпріятіе пущено въ ходъ рѣшительно безъ гроша — помощью друзей да нѣкотораго кредита— и вы поймете, почему я не писалъ вамъ столь долго, чѣмъ наполнена была моя голова... Я и теперь еще не пришелъ въ себя, новая жизнь не вошла еще въ русло. И за письмо-то это взялся съ главною цѣлью сообщить вамъ нашъ новый адресъ.

Ему-же.

24 ноября 1890, Емпслево.

Съ интересомъ прочиталъ я ваше «предостереженіе», Павелъ Александровичъ, — эту перифразу щедринскаго «Монрепо», — и во многомъ не согласился съ вами. Начать съ того, что мое предпріятіе рѣзко отличается отъ предпріятій исключительно сельско-хозяйственныхъ: я не разсчитываю жить на счетъ «плодовъ земныхъ», я разсчитываю лишь на то, чтобы квартира мнѣ стоила не дороже городской, а семья, — и главное, дѣти, — были поставлены въ тѣ здоровыя условія жизни, которыя такъ осуществимы въ хорошей деревнѣ и такъ недоступны въ городѣ. Вотъ и все. Затѣмъ, конечно, придется и пахать и сѣять, — но, во-первыхъ, арена у меня весьма не обширная (пахотныхъ угодій 90 десятинъ), а во-вторыхъ, вы забываете, что я не новичекъ, что я и возросъ, и воспитался на лонѣ сельско-хозяйственныхъ процессовъ (отецъ мой былъ одинъ изъ образцовѣйшихъ «управляющихъ» и «натаскивалъ» меня «по своему дѣлу» съ десяти лѣтъ). Самое мудреное, разумѣется, «гуси», столь ехидно вами напоминаемые, иными словами говоря, отношенія съ крестьянами. Но и тутъ Богъ грѣхамъ терпитъ... Штрафовъ, конечно, брать не буду и плакать не буду подобно Фету, а если и случится что-нибудь въ родѣ потравы — такъ и быть. Надо вѣдь добавить, что потрава обыкновенно случается тамъ, гдѣ землевладѣльцы съ разными цѣлями стѣсняютъ крестьянъ въ кормахъ, а у меня этого не будетъ. Вообще

вы смотрите слишкомъ мрачно, и я не ошибусь, если скажу, что источники этой мрачности заключаются, во-первыхъ, въ томъ, что вамъ знакомо хозяйство при очень печальныхъ условіяхъ — хозяйство сѣверной полосы, на суглинкѣ, среди болотъ, подъ дождями и туманами, съ поздней весной, съ морозами въ концѣ мая и въ началѣ іюня, съ ранней и непогожею осенью, а во-вторыхъ, вы знаете хозяйство дворянское, помѣщичье, изстари зарекомендовавшее себя беззаботностью и безпомощностью. Помѣщики разоряются и у насъ, въ черноземной полосѣ — таково ужъ ихъ провиденціальное назначеніе, но на ряду съ этимъ тамъ и сямъ есть примѣры, что земля даетъ хорошій доходъ. Я не говорю о кулакахъ, а говорю о заботливомъ и разумномъ веденіи дѣла, не осложненномъ фантазіями и вѣчными непроизводительными наѣздами въ область «оборотнаго капитала». Впрочемъ, все это сказано мною къ слову. Самъ я, конечно, не собираюсь сдѣлаться образцовымъ хозяиномъ, да и не имѣю для сего средствъ; моя задача — выплатить 1000 рублей аренды литературнымъ заработкомъ, а что сверхъ сего — прожить не мудрствуя лукаво, но и не à la bohème. Жить въ качествѣ «богемы» хорошо, Павелъ Александровичъ, когда не угнетаетъ безпрестанная забота о кускѣ хлѣба, объ обѣдѣ на завтра, о платѣ за квартиру 1 числа, о томъ, что разорвались сапоги, а сшить ихъ не предвидится рессурсовъ въ ближайшемъ будущемъ. Къ сожалѣнію, я никогда не былъ свободенъ отъ такихъ заботъ, а вы не повѣрите, до чего онѣ наводняютъ жизнь пошлостью, до чего это пребываніе въ состояніи непрерывнаго испуга ожесточаетъ душу. Конечно, будь я одинъ — дѣло бы иное, но я не одинъ... Рисуя картину жизни въ Москвѣ, вы совершенно исключаете закулисную ея сторону; вы представляете себѣ не «богему», а «рантье», ибо только послѣднему можно безнаказанно созерцать «калейдоскопъ» и «творить свое любимое дѣло, высказывать свою любимую мечту»; а когда въ созерцаніе, и въ творчество, и въ мечту вплетаются жестокія заботы о квартирѣ, о дровахъ, о провизіи — выйдетъ не жизнь, но каторга. Не эта ли жизнь «богемы» въ значительной степени мѣшаетъ надлежащему рас-

цвѣту талантовъ въ средѣ нашихъ несчастныхъ писателей-разночинцевъ? Не она ли отчасти сгубила Помяловскаго, Рѣшетникова, Левитова, Слѣпцова и отзывается такъ нехорошо на работахъ Гл. Успенскаго и В. Г. Короленко? Я знаю эту жизнь не изъ прекраснаго далека, а воочію, выражаясь вульгарно, — на своей шкурѣ, а между тѣмъ я одинъ изъ «счастливчиковъ», мнѣ не приходилось брать съ бою мое мѣсто, не приходилось работать за гроши...

Впрочемъ, я разсуждаю такъ, какъ будто бы получилъ наслѣдство или выигралъ 200 т... О, я отлично знаю, что дѣла мои въ этомъ смыслѣ нимало не измѣнились, и что рессурсы остались у меня прежніе. Но видите ли, въ чемъ дѣло. Сейчасъ я усаживаюсь за большую работу и знаю, что въ теченіе, по крайней мѣрѣ, трехъ мѣсяцевъ мнѣ не предстоитъ надобности отравлять эту работу вопросомъ о квартирѣ, о провизіи, о сапогахъ и т. д. и т. д. Потому что, если эти вопросы и возникнутъ (кромѣ квартиры), то я не случайный здѣсь человѣкъ, не богема, а коренной житель, и какъ таковой, всегда найду достаточный кредитъ. Мало того я и аренду-то снялъ, воспользовавшись кредитомъ, между тѣмъ мнѣ въ Москвѣ квартиру въ кредитъ не сдали бы, а пожалуйте впередъ за мѣсяцъ. Я не говорю, что мое положеніе стало теперь идеальнымъ, но въ сравненіи съ положеніемъ моихъ собратій по работѣ, — по крайней мѣрѣ, большинства ихъ, — я считаю его идеальнымъ. А «калейдоскопъ» вездѣ совершаетъ свой кругъ— въ деревнѣ, въ уѣздномъ городѣ, въ Воронежѣ... И притомъ зачѣмъ же думать, что Москва, напр., сдѣлалась для меня недоступна. Напротивъ, доступнѣе прежняго, потому что я могу прожить въ ней нѣсколько недѣль и въ это время не мучиться тѣмъ, что вотъ завтра нужно платить за квартиру, за провизію, за дрова, ибо у меня гдѣ-нибудь на Самотекѣ двѣ маленькія дочки, да тетушка, да мать, да племянникъ, да жена. — Эхъ, Павелъ Александровичъ, не даромъ говоритъ пословица: чужую бѣду руками разведу. Ее надо «разводить» испытавши, да и тогда трудно.

Простите, что я занялъ все письмо «мелочами». Мнѣ и самому становится совѣстно. Но что подѣлаешь — очень ужъ

эти «мелочи» донимаютъ и донимали. — Я теперь начинаю повѣсть и, какъ только справлюсь съ первоначальными трудностями, такъ непремѣнно буду писать вамъ какъ слѣдуетъ. Мнѣ хочется познакомить васъ съ моей перепиской съ Иваномъ Ильичемъ и Анас. Сергѣевной [1]). Вчера кончилъ отвѣтъ мой на ихъ письма. Я фигурирую оптимистомъ, въ письмѣ Ив. Ил. звучитъ грустная и скептическая нотка. Рѣчь идетъ о нашей общественности и о томъ, возможно ли и въ какихъ смыслахъ вліять на нее, и что по этой части представляетъ жизнь въ Москвѣ.

---

[1]) Петрункевичами.

В. Г. Черткову.

1 декабря 1890, Емпелево.

Что касается до крайнихъ твоихъ выводовъ — о медицинѣ, о вивисекціи, о вегетаріанизмѣ — я съ ними, разумѣется, не согласенъ, но не согласенъ условно. Долго объ этомъ говорить, и къ сожалѣнію, теперь мнѣ некогда; скажу лишь вскользь, что твой взглядъ заслуживаетъ полнѣйшаго сочувствія, пока онъ представляетъ норму твоихъ *личныхъ* убѣжденій, *твоей* совѣсти, но когда ты распространяешь его въ формѣ *обязательнаго* идеала, когда ты предрѣшаешь *все* построеніе жизни только твоими убѣжденіями, твоею совѣстью, — ты, по моему мнѣнію, не правъ. Жизнь въ безконечномъ разнообразіи ея красокъ, звуковъ, явленій, мотивовъ невозможно привести къ одному знаменателю, хотя бы этотъ знаменатель былъ Христосъ или Сакья-Муни. Разумѣется, для человѣка только и возможенъ, только и плодотворенъ и дѣйствителенъ тотъ взглядъ на жизнь, который диктуется совѣстью, убѣжденіемъ, извѣстнымъ уровнемъ сознанія, но это при одномъ условіи: изъ «взгляда» не дѣлать регламентаціи для другихъ, изъ нравственнаго чувства — догматовъ, изъ религіи — катихизиса. Въ концѣ-концовъ, вѣдь все-таки остается вѣрнымъ — «я знаю то, что ничего не знаю». Какъ поступить въ этомъ случаѣ? Какъ въ другомъ? На это я еще могу отвѣтить для себя, и то не всегда! — съ грѣхомъ пополамъ для друга, и рѣшительно не могу въ огромномъ количествѣ случаевъ, имѣющихъ мѣсто въ средѣ остального человѣчества. Я могу только непрестанно взывать — есть добро! есть истина! Она тлѣетъ въ сердцахъ

вашихъ, не гасите ее, прислушивайтесь къ ней, руководитесь ею, идите за нею по сложной дорогѣ жизни и... благо вамъ будетъ. Но сказать, что истина, что добро заключается въ томъ, чтобы не обращаться къ врачамъ, пахать, жить цѣломудренно, т.-е. въ дѣвствѣ, непремѣнно самому шить одёжу, строить жилище, уклоняться отъ политики, — однимъ словомъ, предрѣшать все внѣшнее и внутреннее устроеніе жизни въ ея казуальныхъ, въ ея практическихъ проявленіяхъ — я бы не рѣшился, — не могу, считаю это утопіей и фантастическими притязаніями. На эти вскользь брошенныя мысли, конечно, легко возразить, но я ихъ набросалъ не съ цѣлью аргументировать, — хотя аргументировать въ этомъ смыслѣ мнѣ и хочется, — а съ цѣлью познакомить тебя, *какъ* я съ тобою не согласенъ. Сердечно тебѣ преданный

А. Эртель.

П. А. Бакунину.

14 декабря 1890, Емпелево.

Кажется, что письмо мое ввело васъ въ нѣкоторое заблужденіе, дорогой Павелъ Александровичъ. Вы въ немъ усмотрѣли признаки оптимизма, довольно мнѣ чуждаго. По всей вѣроятности, это произошло отъ того, что я отстаивалъ мою нынѣшнюю позицію съ преувеличеннымъ задоромъ, — съ тѣмъ чувствомъ затаенной горечи, которое осѣло во мнѣ, когда переживались неудобства позиціи вчерашней (à la bohème). Въ сущности я, рѣшительно такъ же какъ и вы, готовъ сомнѣваться въ успѣхѣ «всякаго начинанія, сулящаго человѣку счастье и радость», хотя, можетъ-быть, мы станемъ здѣсь отправляться отъ различныхъ точекъ зрѣнія. Вы склонны оправдывать свою недовѣрчивость суровыми условіями русской дѣйствительности, вашими годами, вашимъ настроеніемъ, — не даромъ же вамъ представляется, что по настоящему-то надо: «каждый новый день, каждое встающее утро привѣтствовать радостно», и что «радостно смотрѣть на Божій міръ есть великая сила и неизсыхаемый родникъ жизни, мысли, фантазіи, творчества». — Я же думаю, что «въ этой радости такъ грусти много»... и что правъ нашъ общій любимецъ, Пушкинъ, сказавшій:

На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля.

Нѣтъ счастья внѣ всякой зависимости отъ внѣшнихъ условій. Пусть до сихъ поръ въ значительной степени остается правъ Лермонтовъ, и съ нашей родиной весьма правдоподобно можно распроститься словами:

Прощай, немытая Россія,
Страна рабовъ, страна господъ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, имъ преданный народъ.
Быть-можетъ, за стѣной Кавказа
Сокроюсь отъ твоихъ пашей,
Отъ ихъ всевидящаго глаза,
Отъ ихъ всеслышащихъ ушей...

Пусть, съ другой стороны, окажутся правы Беллами и К°, предсказывая 20 вѣку осуществленіе неслыханныхъ благополучій, гарантій и свободъ, — все жъ таки и въ позолоченномъ орѣхѣ, и въ заскорузлой скорлупѣ сущность пребудетъ одинаковой. Жизни вѣчно останется присущей та «мышья бѣготня», то раздумье, тѣ неистребимыя влеченія встревоженнаго и недоумѣвающаго сердца, которыя столь несовмѣстны съ чистою, самодовлѣющею радостью и съ понятіемъ о счастьи въ его обычномъ словоупотребленіи. Радость была... Явила себя искрометнымъ блескомъ въ античной Элладѣ, задѣла суровый Римъ, отозвалась въ вѣкахъ Возрожденія и... кажется, отзвучала съ Рабле. Теперь же только влюбленные да дѣти, да народъ, ежели онъ сытъ, испытываютъ ея самодовлѣющую силу, — и сила эта дѣйствительно велика, но въ средѣ исключительнаго чувства, исключительной непосредственности, въ условіяхъ неразвитого, мало преуспѣвшаго или заслоненнаго сознанія. Что же касается «счастья», то вѣдь это въ большинствѣ случаевъ не что иное, какъ ощущеніе, и, подобно всякому ощущенію, слишкомъ склонно претерпѣвать метаморфозы.

Затѣмъ съ глубокимъ волненіемъ я перечиталъ ту вашу страничку, гдѣ вы говорите по поводу А. В. Никитенки. То-есть, самый поводъ можетъ подлежать спору. Есть въ дневникѣ штрихи, не особенно привлекательные для автора. Сквозь весь его умъ, всю его образованность и даже «совѣстливость» все-таки проглядываетъ аккуратненько выбритая фигурка, съ брюшкомъ, въ вицъ-мундирѣ, съ портфелью подъ мышкой. Но не объ этомъ рѣчь. Значеніе той «образованности», которую вы такъ удачно назвали *человѣчностью*, которая не есть только *любовь*, а и *пониманіе*, — значеніе

этой, органически сомкнутой съ пониманіемъ, любви я почитаю и превозношу очень высоко. Ибо что такое любовь? Однажды К. Аксаковъ чрезвычайно мѣтко перефразировалъ нѣкоторыя о ней проповѣди («люби, сукинъ ты сынъ!») И надо сознаться, что столь благородное чувство дѣйствительно можетъ утратить весь свой букетъ въ отвлеченіи отъ почвы, его питающей, и такъ же склонно превращаться въ теорію, въ абстракцію, въ фанатизмъ, какъ и любой изъ продуктовъ формальнаго мышленія. — И что такое пониманіе безъ любви, какъ не кимвалъ бряцающій?

Думаю, что Пушкинъ, отрицая наличность счастья, не былъ скептикомъ въ философскомъ значеніи этого слова, но неустойчивому понятію о счастьи противополагалъ непрестанно жившее въ немъ, живое и дѣйственное начало человѣчности. Я безраздѣльно съ этимъ согласенъ. Только оно, только это начало — мало доступное формальнымъ опредѣленіямъ и, въ предѣлахъ возможности, опредѣленное вами очень хорошо — составляетъ нервъ жизни, ея смыслъ, ея душу.

Но вопросъ, насколько оно совмѣстимо съ радостью, о которой вы говорите? Въ любви ко всему существующему, въ пониманіи жизни, въ отзвукахъ и отголоскахъ невозвратнаго и грядущаго, въ непрерывныхъ загадкахъ бытія — слишкомъ много грусти, дабы беззавѣтно радоваться и славословить. Невозможны классическая ясность духа и свѣжесть непосредственности, когда исторія уже внѣдрила въ человѣческое сознаніе такіе звуки, какъ, напр., звуки Байрона, а накопленіе новыхъ фактовъ, далеко идущія перспективы мучительства, страданій и всякаго рода несовершенствъ то и дѣло оправдываютъ эти звуки, предлагаютъ имъ огромный резонансъ.

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіяетъ, —

— вотъ вамъ одинъ изъ мотивовъ «образованности». Въ этомъ есть великая резиньяція и великое пониманіе, но одна изъ струнъ величественно взятаго аккорда, не правда ли, звучитъ какою печалью? И такъ вездѣ и во всемъ. Тотъ, кто былъ

преисполненъ высшею мѣрою пониманія и высшею мѣрою любви, *никогда* не смѣялся. Правда, разсѣянные въ мірѣ тоны, краски, звуки, мотивы, мысли, чувства — жизнь въ ея безконечномъ разнообразіи — къ одному знаменателю не приведешь, хотя бы этотъ знаменатель былъ Христосъ. Правда и то, что роковое назначеніе «Агнца, преданнаго на закланіе», постоянно приподнятый строй мыслей и чувствъ, неизбѣжный передъ лицомъ великой отвѣтственности «за грѣхи міра» — все это отбрасывало преувеличенно печальную тѣнь на дѣла и ученіе Христа — какъ, вѣдь, несовмѣстенъ подвигъ съ французской кадрилью, такъ немыслимъ олимпійскій хохотъ въ виду Голгоѳы, — за всѣмъ тѣмъ въ томъ фактѣ или преданіи, что Онъ *никогда* не смѣялся, есть большое предостереженіе. Во многой мудрости — много печали, Павелъ Александровичъ, а «образованность», человѣчность, правда, совпадаютъ съ мудростью.

И все-таки это единственная сила, способная приподнять насъ свыше мелочей, техники, пошлости и мертвечины.

Конечно, на первомъ планѣ и могутъ, и должны фигурировать жизнерадостныя функціи духа. Пусть кипитъ молодость, волнуется любовь, бьетъ ключомъ веселье, жажда знанія, труда, свободы, зрѣютъ и осуществляются великодушные планы общественнаго устроенія. Но, какъ въ природѣ рѣзкія краски смягчаются воздухомъ, такъ и въ жизни онѣ должны быть смягчены атмосферой евангельской любви и пониманія— Человѣчностью. Въ данномъ сравненіи вѣдь это значитъ помнить и сердцемъ, и умомъ, что̀ на той же самой сценѣ имѣло мѣсто и вчера, и вѣка тому назадъ, и что̀ схоронено за кулисами, тамъ, гдѣ сваленъ весь ненужный хламъ: полинявшія декораціи, заигранныя роли, ненужные костюмы... Безъ такого вѣдѣнія, безъ наличности печальной и любвеобильной ноты, сцена весьма можетъ превратиться въ грубый и жестокій фарсъ, и полный аккордъ — въ раздирающіе душу диссонансы.

И опять я согласенъ съ вами, что «беллетристика» (охъ, не люблю этого слова!) или, лучше сказать, вообще искусство, имѣетъ главное свое оправданіе вотъ именно въ подъемѣ жизнедѣйствующаго начала, въ томъ раскрытіи горизонтовъ, которые столь повседневно замыкаются періодически господ-

ствующими теоріями и предразсудками, или бываютъ заслонены, можетъ-быть, и радостною, но ужъ слишкомъ самодовлѣющею непосредственностью, можетъ-быть, и роковыми, но все жъ таки низменными заботами. *Только* къ этому искусство, разумѣется, сведено быть не можетъ, но въ *этомъ* его главное оправданіе. Л. Н. Т., говоря о моемъ романѣ и по его поводу о «Войнѣ и Мирѣ», справедливо сказалъ, что «факты, эпизоды, лица, характеры» — все это не что иное, какъ рама для картины, и что какъ ни блистай рама отдѣлкой и богатствомъ подробностей, но безъ картины она стоитъ немногаго, ибо въ значительной степени представляетъ изъ себя праздное и безполезное дѣло. Конечно, онъ добавилъ, что, по его мнѣнію, въ рамѣ «Войны и Мира» картина съ надлежащимъ содержаніемъ вставлена, а въ моей книгѣ вставлена лишь незначительная часть картины и многое осталось въ пятнахъ, набросках и пробѣлахъ. Впрочемъ, мнѣ въ утѣшеніе, вѣроятно, то же самое сказалъ и объ «Аннѣ Карениной» и затѣмъ весьма одобрилъ мою «раму»... Похвала двухсторонняя, какъ видите!

Возвращусь на минутку. Ваши слова о радости можно принять, но только весьма условно и съ многочисленными оговорками. Дѣло въ томъ, что понятіе радости, какъ и многое въ мірѣ, очень осложнилось. Я уже сказалъ, гдѣ можно встрѣтить осуществленіе этого понятія въ его чистомъ, въ его первоначальномъ смыслѣ. Но христіанство съ его первоисточникомъ, буддизмомъ, затѣмъ вся та среда, въ которой преломлялись лучи Христова ученія, Христовой личности — Его вдумчивой, поэтической и печальной души — все это видоизмѣнило эллинскую радость. Веселиться спасеніемъ грѣшника,— иначе говоря, торжествовать силу добра, одолѣніе свѣта, побѣду жизни надъ смертью, совсѣмъ не то, что «Эванъ, эвое!» и самодовлѣющая радость Олимпа... Тотъ смѣхъ уже Шекспиръ заключилъ въ каррикатуру, опозоривши и утопивши въ потокѣ срама Силена-Фальстафа! И намъ его не возстановить. То-есть, не возстановить рядомъ съ вершинами сознанія, ибо внизу, въ долинахъ — въ народѣ, въ средѣ дѣтей и влюбленныхъ, онъ вѣчно будетъ раздаваться... и благо имъ!

Да, Павелъ Александровичъ, многое осложнилось... Вскользь упомяну объ искусствѣ. Вы склонны утверждать, что античное искусство, а въ живописи — школа великихъ итальянскихъ мастеровъ, пребудутъ вѣчными образцами, полнѣйшимъ осуществленіемъ красоты, недосягаемымъ совершенствомъ, и сообразно съ этимъ склонны примѣнять къ современному искусству мѣрку нѣсколько пренебрежительной снисходительности. Я думаю, вы неправы. Изъ вѣка въ вѣкъ незыблемы только основныя задачи искусства, но способъ ихъ выполненія, мѣра ихъ приближенія къ совершенству въ осуществленномъ-то видѣ — все это дается не по лекалу, не по образцамъ, не по формѣ того или иного вѣка, той или иной школы, а образомъ и подобіемъ текущей дѣйствительности, ея запросами, ея уровнемъ сознанія, ея страданіями, ея радостью. И въ этомъ ничего нѣтъ безотраднаго, если вѣрить, подобно мнѣ, что именно текущая дѣйствительность, иногда столь грязная и засоренная на поверхности, несетъ въ своихъ глубинахъ гораздо большую сумму сознанія, нежели несла вчера или вѣка тому назадъ. Правда, въ искусствѣ бываютъ кризисы: иногда кажется, что и матеріалъ-то весь истощился, и даръ воспроизведенія, даръ творчества, изсякъ, — тогда обычны самыя зловѣщія предсказанія по адресу искусства; но это все вздоръ; это только значитъ, что отжили или не вмѣщаютъ въ себѣ какую-нибудь новую сложность, какое-нибудь небывалое разнообразіе, *формы* искусства, и происходятъ поиски за новыми формами. Разумѣется, если не умираетъ само общество, если не разлагается накопленная въ его средѣ мертвечина.

Впрочемъ, я жалѣю, что началъ сію матерію. У меня рѣшительно нѣтъ времени продолжать ее, а я чувствую, что мнѣніе мое является передъ вами слишкомъ неприкрытымъ, слишкомъ слабымъ, особенно если сообразить, что я противополагаю его мнѣнію *органически* возросшему на иной почвѣ и при иныхъ условіяхъ, и сильному не столько логическимъ антуражемъ, сколько этой органической крѣпостью. Довольно.

Пишу вамъ это письмо, пользуясь маленькимъ антрактомъ въ работѣ: сегодня отослалъ въ «Русскую Мысль» двѣ главы моего новаго романа, и завтра принимаюсь за третью.

Да, милый Павелъ Александровичъ, пишу романъ! Названіе ему — «Смѣна» и размѣры предполагаются солидные. Начало, быть-можетъ, появится въ январской книжкѣ «Р. М.», если редакція не испугается цензуры и не заставитъ меня дѣлать купюры. Подъ «Смѣною» разумѣется та, происходящая нынѣ, метаморфоза, силою которой сходятъ со сцены *интеллигентные* люди барскихъ привычекъ, барскаго воспитанія, съ ихъ нервами, традиціями, чувствами, и въ значительной степени — идеями, уступая свое мѣсто инымъ, далеко не столь утонченнымъ и даже грубоватымъ людямъ, но гораздо болѣе приспособленнымъ къ борьбѣ. Романъ долженъ захватить, по крайней мѣрѣ, сорокъ лицъ, изъ которыхъ пяти-шести предполагается дать центральное значеніе; войдемъ снова въ крестьянскую среду — съ иной стороны, нежели въ «Гарденинихъ»; проникнемъ въ помѣстно-дворянскую, въ земскую, въ новое tiers-état, среду образованныхъ разночинцевъ (образованныхъ въ бытовомъ значеніи слова), наконецъ, къ людямъ либеральныхъ профессій — на ихъ столичные «журъ-фиксы», въ ихъ экзотически-нервическое существованіе.

И, само собою разумѣется, что все это — «рама». Вамъ по секрету могу сознаться: есть претензія и на «картину», но что выйдетъ — Богу одному вѣдомо. Иногда чувствуешь такія силы, какъ будто все нипочемъ, а иногда и струсишь. Первыми главами я доволенъ, но это только остовъ «рамы», а на картину нѣтъ еще пока и намека.

П. А. Бакунинъ — А. И. Эртелю.

27 декабря 1890, Ялта.

...Съ тѣмъ, что вы пишете, я не спорю, — со всѣмъ согласенъ; но думаю, что многое мнѣ хотѣлось бы дополнить, т.-е. сказать или досказать еще сверхъ того, что вы сказываете. — По-моему, какъ пессимизмъ, такъ оптимизмъ воззрѣній представляютъ собою только складку на свободѣ души: гдѣ такую складку усматриваешь, тамъ всегда возникаетъ желаніе изгладить ее, чтобы она не искажала жизненной ткани

и свободы. Но радостное расположеніе, о которомъ я говорю, не оптимизмъ, не отпоръ противъ пессимизма, не эвое древняго міра, даже не лучезарная ясность греческихъ обществъ эпохи Перикла, — нѣтъ, это другое; это, если хотите, благорасположеніе человѣка (bienveillance) къ людямъ; это сознаніе силы жизни, которая не тяготится, не удручается возлагаемыми на нее тяжестями и трудностями. Отчаяніе есть острый пароксизмъ нетерпѣнія; гораздо ранѣе на душу, особенно въ наше время, нападаетъ уныніе, при которомъ вниманіе останавливается на мокрыхъ галкахъ, сидящихъ на заборѣ. — Уныніе считается однимъ изъ смертныхъ грѣховъ, и не даромъ. Ничто такъ не леденитъ душу, какъ видъ удрученія, съ которымъ человѣкъ встрѣчаетъ новое утро. Утренній привѣтъ, какъ восходъ солнца, долженъ быть радостнымъ, ободряющимъ весь домъ и людей, въ немъ живущихъ, къ новому труду, къ разрѣшенію предстоящей злобы и проблемы жизни: nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss! (Свобода и жизнь даются лишь тѣмъ, кто каждый Божій день беретъ ихъ съ боя), конечно, не безъ силы, — а если съ силою, то и съ радостью. Но радость эта, какъ заря, восходитъ одинаково надъ счастіемъ и несчастіемъ, надъ горемъ и бѣдою, надъ всѣмъ содержаніемъ жизни, и всегда сказывается сердечнымъ, великодушнымъ благоволеніемъ къ людямъ. Будущее неудержимо и непрестанно наступаетъ и въ смутной волнѣ несетъ съ собою всю темную матерію жизни, — всѣ горя, всѣ упованія, всѣ бѣды, всѣ вопросы, всѣ страданія, всѣ обстоятельства, всѣ вещи ея — весь нескончаемый потокъ или чадъ преходящаго: это преходящее со всѣмъ его содержаніемъ, со всею его смутою должно сгорѣть безъ остатка въ огнѣ жизни и обратиться въ ней въ ясный пламень тепла и свѣта, любви и смысла, чтобъ не было чада, а лишь одинъ чистый пламень жизни; этотъ чистый пламень собственно и есть радость жизни, въ которой исчезло всякое удрученіе, предъ которою улетѣли всѣ мокрыя галки. Радость есть бодрость духа, свидѣтельство жизни; бодрость есть свидѣтельство силы; сила есть обѣщаніе и надежда побѣды...

...Чему радоваться, когда кругомъ, куда ни взглянешь, только мерзость и запустѣніе! Много поводовъ къ такому воззрѣнію, но оно само въ себѣ противорѣчиво. Всякое зло и неправда виднѣются только на фонѣ добра и правды: значитъ, гдѣ видно первое, тамъ прежде всего видно второе; любовь къ нему, живая связь съ нимъ даетъ силу радости. Жаль, если Христосъ, какъ гласитъ преданіе, никогда не смѣялся;

это не богословское ли преданіе изъ среднихъ вѣковъ, когда точно смѣха не было.—Думаю, что поэтому и слѣдуетъ всѣ усилія и все сердце обратить на то, чтобы сдѣлать, чтобъ Христосъ, положимъ не разсмѣялся,—это было бы какъ будто неприлично, — но, по крайней мѣрѣ, любовно усмѣхнулся, радостно улыбнулся! Тогда и весь міръ сталъ бы ясною улыбкою.— Думаю, что уже и нынѣ эта улыбка есть сущая дѣйствительность, а плачъ и скрежетъ зубовный, который смущаетъ насъ,— не болѣе, какъ мрачныя грезы нашего преходящаго сна. Мы охвачены невѣжествомъ; его призраки мерещатся намъ, какъ дѣйствительные объекты, и пугаютъ насъ. Но если что проходитъ, то именно наше невѣжество и его мнимые объекты. Но мы, безъ сомнѣнія, проснемся и увидимъ истину, т.-е. жизнь, лицомъ къ лицу. Это ли не оптимизмъ!..

В. Г. Черткову.

19 декабря 1890, ст. Углянка, К.-В.-Р.

Твое письмо, въ значительной его части зачеркнутое, я получилъ, дорогой другъ. Ты напрасно благодаришь меня за «откровенный» отзывъ о статьѣ: я претендую на то, что всегда и вполнѣ откровенно высказываю свои мысли, когда мнѣ случается ихъ высказывать. Онѣ могутъ быть глупыми, вздорными, мало основательными, но это ужъ другой вопросъ. Думаю также, что ты не правъ, приписывая мнѣ особливое умѣніе «возражать противъ всего того, что подтачиваетъ пріятности жизни, которыми мы съ тобой пользуемся». Правда, я не согласенъ сводить жизнь къ схимѣ, къ самоотреченію, но это вовсе не потому, что самъ-то я не способенъ къ схимѣ или самоотреченію. Моя неспособность остается при мнѣ, но при мнѣ же остается способность различать воображаемое отъ дѣйствительности, ошибочное разсужденіе отъ правильнаго, — разумѣется, въ тѣхъ предѣлахъ, которые доступны моимъ умственнымъ средствамъ. Ты какъ будто хочешь сказать, что мое отрицательное отношеніе къ схимѣ опредѣляетъ и мое «умѣнье» «возражать» противъ нея. Мысль, взятая вообще, не нова... но и не вѣрна. Утверждать, что процессъ логическаго разсужденія мотивируется чувствомъ разсуждающаго лица, руководится его желаніями, окрашивается его слабостями и пристрастіями — утверждать эту мысль можно, но съ большими ограниченіями и поправками. Вѣдь тотъ процессъ разсужденія, въ результатѣ котораго получается, напримѣръ, что $2 \times 2 = 4$, врядъ ли обусловливается подспуднымъ вліяніемъ чувства. И

напрасно предполагать, что независимы отъ вліянія чувства лишь такъ называемыя научныя, математическія истины. Такая независимость вполнѣ доступна и въ другихъ сферахъ пониманія. Всякое логическое утвержденіе можетъ стать истиной при томъ условіи, когда оно доказывается міромъ дѣйствительности, міромъ существующаго, тождествомъ образа разумѣнія съ образомъ дѣйствительности. И тогда чувства, желанія, даже слабости и пороки разсуждающаго лица совершенно утрачиваютъ свой диктующій, суфлерскій характеръ.

Все это я веду къ тому, что удачное или неудачное мое возраженіе «противъ всего того, что подтачиваетъ пріятности жизни», отнюдь не нуждается въ томъ мотивѣ, что «мы съ тобой этими пріятностями пользуемся». Отчего же не признать, что намъ съ тобою можетъ быть дорога и самодовлѣющая истина — истина по существу, а вовсе не потому, что она соединена «съ пріятностями». Я за себя, по крайней мѣрѣ, смѣло и по совѣсти утверждаю это. И затѣмъ вотъ еще что скажу: коли дѣло пойдетъ на изслѣдованіе мотивовъ, на то, *почему* человѣкъ думаетъ такъ, а не иначе, то мы вѣдь въ каждомъ частномъ случаѣ рискуемъ прійти къ выводамъ и очень сомнительной точности, и весьма оскорбляющаго значенія. О, я не говорю, что мотивы человѣческихъ мыслей и поступковъ вовсе не нужно изслѣдовать, но, во-первыхъ, нужно за это браться, невступно руководясь *фактами*, а во-вторыхъ, и это главное — съ большимъ запасомъ любви.

Боюсь, что я прегрѣшилъ противъ любви, упрекнувъ тебя въ «догматизмѣ», да притомъ еще употребилъ это выраженіе безъ достаточной ясности. Съ величайшей готовностью беру назадъ мои мало обдуманныя и лѣниво подкрѣпленныя слова [1]). Прости меня, дорогой другъ. Важнѣе всего, что я очень люблю тебя, и что бы ни сказалъ тебѣ горькаго и непріятнаго, повѣрь, это сказанное никогда не истребитъ моего чувства къ тебѣ. Ради него, ради этого чувства я, конечно, не могу ду-

---

[1]) Или, лучше сказать, не слова беру назадъ, а ихъ обидный смыслъ, если онъ таковъ. Я не помню подлиннаго выраженія.

Прим. А. И. Эртеля.

мать иначе, чѣмъ думаю, не могу понимать иначе, чѣмъ понимаю, но какъ бы я въ этомъ ни расходился съ тобою, какъ бы ни были противоположны, а подчасъ и враждебны наши мысли и наши логическіе выводы, ты мнѣ всегда останешься братски дорогъ и близокъ.

Собственно, въ томъ понятіи, которое опредѣляется словомъ «догматизмъ», нѣтъ ничего укорительнаго. По-моему, «догматизмъ» будетъ тогда характеризовать образъ мыслей извѣстнаго человѣка, когда для него эти мысли претворятся въ плоть и кровь, сдѣлаются неотъемлемой частью существа, замкнутся въ какомъ-либо опредѣленномъ кругѣ, пріобрѣтутъ силу несомнѣнной и незыблемой истины. Такого рода догматизмъ есть непремѣнный спутникъ всякихъ искреннихъ убѣжденій и искреннихъ міровоззрѣній, когда пониманіе жизни, свойственное человѣку, изъ процесса мышленія становится вѣрою, отливается въ крѣпкія и законченныя формы. Такимъ образомъ, догматизмъ есть извѣстное состояніе мысли, и даже болѣе того — состояніе сознанія. Весь вопросъ только въ томъ, рано или поздно появилось такое состояніе, т.-е. правильныя или ошибочныя мысли оно завершило. Но, во всякомъ случаѣ, та система мнѣній, которая уже подверглась «одогматизированію», если можно такъ выразиться, мало доступна доводамъ отъ противнаго. Разложить ее, привести ее вновь въ состояніе броженія, придать оформленной неподвижности характеръ текучести, характеръ процесса, если и можно, если и удается иногда, такъ отнюдь не логическими разсужденіями, а логикою фактовъ, логикою дѣйствительности, всей цѣлокупностью подлинной жизни съ ея подчасъ поразительными аргументами.

Нѣкоторыя изъ твоихъ мнѣній я считаю не то, что догматическими, — это само собою разумѣется, разъ ты въ моихъ глазахъ искренній и убѣжденный человѣкъ, — но такими, которыя рано «одогматизировались»; и поэтому, хотя рѣшительно не раздѣляю ихъ, но затрудняюсь оспаривать. Вотъ въ этомъ смыслѣ я и употребилъ вскользь и, быть-можетъ, легкомысленно брошенное мною слово.

Твоя статья, сама по себѣ, въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ появилась въ печати, почти вовсе не вызываетъ моихъ

возраженій. Но твои дальнѣйшія посылки изъ нея, а также та система, которая включаетъ всѣ эти посылки — система мнѣній Л. Н. Толстого, вызываетъ весьма много возраженій. По различнымъ обстоятельствамъ публично я не могу предъявить ихъ, — хотя бы и вслѣдствіе того, что не желаю примыкать къ хору архіепископовъ Никаноровъ, Михайловскихъ, Протопоповыхъ et tutti quanti — и затѣмъ потому еще, что въ данное время невозможно съ надлежащей отчетливостью выяснить и подчеркнуть все великое, хорошее, доброе и «тождественное съ образомъ дѣйствительности» въ этой системѣ. А полемизировать письменно, съ тобою ли, со Львомъ ли Николаевичемъ, какъ я уже сказалъ, представляется мнѣ затруднительнымъ и безполезнымъ.

Въ перепискѣ съ другими моими друзьями я часто говорю о Л. Н—чѣ, и на-дняхъ еще такъ отвѣчалъ одному моему пріятелю по поводу его выраженія, что наше общество отличается дряблостью, и что «даже такая, поистинѣ огромная сила, какъ Л. Толстой, потерпѣла фіаско въ своихъ попыткахъ направить общественное теченіе, куда ему хотѣлось»:

...«Л. Толстой сдѣлалъ все, что могъ, и это хорошо. Если онъ не повернулъ общественнаго теченія, куда ему хотѣлось, такъ вѣдь это тоже хорошо. Ибо жизнь во всемъ ея объемѣ, во всемъ ея разнообразіи красокъ, тоновъ, выраженій не подлежитъ одному знаменателю, хотя бы этотъ знаменатель былъ не токмо Толстой, но даже Самъ Христосъ. Но Толстой лишній разъ и съ необыкновенною силою вдвинулъ въ общественное сознаніе понятіе о Правдѣ — и что тамъ ни дѣлай, какъ ни старайся зажать ему ротъ Побѣдоносцевъ съ К°, какъ ни компрометируй его мыслей архіепископы Никаноры и Михайловскіе своими нападками, Буренины и Суворины своею защитою, Правда останется; и въ безчисленномъ количествѣ казусовъ, въ безчисленныхъ проявленіяхъ человѣческаго духа сослужитъ свою великую службу. Л. Толстой потерпѣлъ фіаско въ той части своей дѣятельности, которая задавалась цѣлью создать и осуществить извѣстный практическій идеалъ, перестроить типъ общества по образу логическихъ категорій, свести все разнообразіе и богатство жизни къ единой схемѣ древле-

христіанской общины, фіаско неизбѣжное, если припомнить, что планы общественнаго устроенія отнюдь не осуществляются одною теоретическою работою мысли, ни даже однимъ личнымъ примѣромъ, а цѣлой совокупностью историческихъ условій и сложнымъ процессомъ общенароднаго сознанія. Но гдѣ Толстой отчасти выяснялъ и реставрировалъ, отчасти же воздвигалъ на невиданную еще высоту незыблемыя понятія любви, истины, и, добавлю, красоты, онъ имѣлъ и имѣетъ, и будетъ имѣть огромный успѣхъ. Правда, успѣхъ, мало уловляемый статистикой, какъ это всегда бываетъ съ таинственными процессами философской мысли и художественнаго творчества».

Вотъ еще одинъ отрывокъ изъ письма къ другому лицу:

...«Всѣмъ предписать земледѣльческій трудъ, какъ онъ (Л. Н. Т.) сдѣлалъ это въ предисловіи къ Бондареву [1]), предписать *жестокое* несопротивленіе злу, какъ онъ сдѣлалъ въ письмѣ къ Энгельгардту, цѣломудріе даже до скопчества (въ «Крейцеровой сонатѣ»), самоотреченіе до уничтоженія личности — въ книгѣ «О жизни», — все сіе, конечно, несомнѣнные продукты *формальнаго* мышленія [2]). Къ нимъ же я отнесу и полнѣйшее отрицаніе государственности, и включеніе всей науки въ узкое понятіе долга и пользы, и сухо-пуританское изгнаніе элемента самодовлѣющей красоты изъ понятія объ искусствѣ, и парадоксъ о деньгахъ. Однимъ словомъ, въ десяткѣ разнообразныхъ случаевъ Л. Н. вмѣсто того, чтобы обуздать и направить на прямой путь одичалую и ошалѣвшую лошадь, рекомендуетъ ее безъ дальнихъ разговоровъ прирѣзать... За всѣмъ тѣмъ всегда останутся драгоцѣнны его указанія, что лошадь одичала и ошалѣла, сбилась съ прямого пути. И въ этомъ его крупная историческая роль. Въ его характерѣ, въ его натурѣ много есть гордаго и вообще неукротимаго и, сообразно сему, много есть черствости, фантастичности и самоувѣренности въ его разсужденіяхъ; но эта столь подлежащая критикѣ сторона удивительно смягчается великимъ художественнымъ дарованіемъ и чуткостью, и вотъ по-

---

[1]) и [2]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

чему онъ такъ легко дѣлаетъ обаятельное впечатлѣніе. Прослѣдите эту двойственность хотя бы въ предисловіи къ Бондареву. Теорія, тамъ предлагаемая, груба, несообразна, ошибочна, но посмотрите, какіе мягкіе, поразительные, исторгнутые изъ самаго сердца звуки появляются тамъ, гдѣ онъ обращается къ чувству читателя, гдѣ онъ призываетъ жестокихъ и равнодушныхъ подумать о томъ, что дѣлается «за гардинами»! Это — перлъ высокой лирики и, насколько теорія хромаетъ, настолько же пребудутъ вѣчными эти страстные призывы къ любви, къ добру, къ справедливости... Такъ же хромаетъ теорія и въ «Крейцеровой сонатѣ», — и такъ же поразительна та сторона произведенія, гдѣ жестокіе и равнодушные призываются стать предъ лицомъ Правды.

Ну, довольно. Пожалуйста, не сердись, если я опять сказалъ что-нибудь легкомысленное и рѣзкое. Такой ужъ, видно, у меня нравъ.

Пишу теперь «романъ» — и большой, и очень меня захватывающій. Названіе ему «Смѣна». Начало, можетъ-быть, появится въ янв. книжкѣ «Рус. Мыс.», если цензура не положитъ препонъ...

Два слова о «Новомъ Времени», хотя бы по поводу моего выраженія, что Суворины и Буренины компрометируютъ своею защитою Л. Н. Тотъ фактъ, что мытари, блудницы и разбойники возлюбили Христа паче книжниковъ и мудрецовъ, не только не имѣетъ въ себѣ чего-нибудь прискорбнаго, но по справедливости вызываетъ умиленіе. Однако, что бы ты сказалъ, если бы они, на словахъ признавая ученіе Христа и даже вступая за него въ борьбу съ книжниками, продолжали бы, нимало не унывая, свое мытарское, блядское и разбойничье дѣло? А именно въ такомъ положеніи обрѣтаются и Буренинъ, и Суворинъ. Надо знать «Новое Время» за 1877 г., надо прослѣдить шагъ за шагомъ всю эту систему клеветы, подхалимства, ливрейныхъ изъявленій, разжиганій зловредныхъ аппетитовъ, внезапныхъ перемѣнъ фронта, науськиваній, нескончаемыхъ апоѳеозовъ насилія, позорныхъ пресмыкательствъ и столь же позорныхъ надругательствъ,—надо знать все это, чтобы понять, какой разлагающій факторъ представляетъ изъ

себя «Новое Время», до какой степени оно вносило и продолжаетъ вносить нравственную смуту въ наше мало устойчивое общественное сознаніе.

Вотъ почему я никакъ не могу согласиться съ тѣмъ, что тамъ возможно печатать свои статьи, напримѣръ, Л. Толстому или тебѣ.

На это существуетъ такой отвѣтъ: что мнѣ за дѣло, какихъ воззрѣній на Правду придерживается газета! Я пользуюсь ею, какъ органомъ для своихъ мыслей.

Неправильно.

Проповѣдывать о трезвости возможно и въ кабакѣ, разумѣется. Но когда искренность, чистота, талантъ проповѣдника привлекаютъ въ кабакъ все больше и больше народа; когда цѣловальникъ не только не прогоняетъ проповѣдника, но даже и самъ подчасъ пригорюнится и скажетъ со вздохомъ: «Охъ, грѣхи, грѣхи!» — а тѣмъ временемъ едва успѣваетъ наливать шкалики и не перестаетъ поощрять дѣвокъ соблазнять водкой народъ, — то воля твоя, проповѣднику непристойно оставаться въ кабакѣ.

Не подумай, что я высокомѣрно отношусь къ «цѣловальнику». Увѣряю тебя, если бы мнѣ предстояло знакомство съ Суворинымъ и Буренинымъ, я бы отнюдь не избѣгалъ его. Вполнѣ признавая, что tout comprendre — tout pardonner, я распространяю это и на нихъ, и въ сущности отношусь къ нимъ *лично* безъ всякой злобы, а если бы узналъ ихъ ближе, то, можетъ-быть, и полюбилъ бы. Но отсюда весьма далеко отъ участія въ ихъ публичномъ дѣлѣ, каковымъ, несомнѣнно, является газета. Надо всегда различать общеніе личное съ общеніемъ въ дѣлахъ. Я могу имѣть общеніе съ самымъ отъявленнымъ разбойникомъ, любить его, жалѣть, водить съ нимъ хлѣбъ-соль, но слѣдовать за нимъ на большую дорогу — не буду.

Въ Западной Европѣ, и по преимуществу во Франціи, довольно распространенъ такой индиферентизмъ. Тамъ Эмиль Золя, напр., безъ зазрѣнія совѣсти печатаетъ свои романы въ порнографическомъ «Жиль-Блазѣ». Но я считаю великимъ преимуществомъ нашихъ литературныхъ нравовъ, что у насъ

все жъ таки господствуетъ иное отношеніе къ печатному слову.

Разумѣется, я ни на одно мгновеніе не думаю сравнивать ни тебя, ни Л. Н. съ Э. Золя, — вы, во всякомъ случаѣ, не по индиферентизму считаете возможнымъ появляться въ «Новомъ Времени» — но съ глубокимъ убѣжденіемъ повторяю: ваши воззрѣнія ошибочны, ваше безразличіе вредно.

И тутъ вотъ еще что примѣшивается. Неужели Л. Н. не краснѣлъ, если ему доводилось читать статью Буренина о томъ неудачномъ водевилѣ, который носитъ столь неудачное названіе: «Плоды просвѣщенія»? И пасквиль Алексѣя Жасминова на Никанора и Побѣдоносцева, переполненный такимъ похабнымъ «востроуміемъ»? А если краснѣлъ, то тѣмъ болѣе не слѣдъ ему появляться подъ ручку съ авторомъ [1]).

Это мое мнѣніе.

Если ты подумаешь, что меня очень ужъ отвращаетъ «консерватизмъ» суворинской компаніи — ты глубоко ошибешься. Консерватизмъ, какъ всякое *убѣжденіе*, можетъ вызывать и почтительное къ себѣ чувство. Я не лишенъ такого чувства даже въ отношеніи къ Каткову, не говоря уже объ Ив. Аксаковѣ и Достоевскомъ. Но вѣдь въ данномъ-то случаѣ дѣло идетъ не о «консерватизмѣ», а о томъ, что «Новое Время», по удачному выраженію покойнаго Салтыкова, не что иное, какъ «помои».

А. Эртель.

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

30 декабря 1890.

... Я былъ радъ твоему послѣднему письму, изъ котораго яснѣе, чѣмъ раньше, отдалъ себѣ отчетъ въ твоемъ отношеніи къ тѣмъ взглядамъ, которые извѣстны подъ названіемъ, не вполнѣ вѣрнымъ, Толстовскихъ.

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

Пожалуйста, не думай, что ты меня сколько-нибудь обидѣлъ или оскорбилъ твоимъ замѣчаніемъ о догматизмѣ. Я слишкомъ сознаю и цѣню твое доброе, слишкомъ снисходительное отношеніе ко мнѣ, чтобы обижаться чему-либо, исходящему отъ тебя. Я только нахожу, что подобныя броскія, но голословныя словечки слишкомъ дешевый пріемъ для устраненія несочувственныхъ взглядовъ. Кромѣ того, мнѣ кажется твое примѣненіе этого слова особенно несправедливымъ въ данномъ случаѣ. Вѣдь если уже употреблять это церковное выраженіе, то, казалось бы, оно больше соотвѣтствуетъ такимъ взглядамъ, которые *покоятся* на вѣками установившихся положеніяхъ, поддерживающихъ современное положеніе вещей и въ глазахъ большинства получившихъ авторитетность аксіомъ, нежели такимъ, которые, наоборотъ, идутъ въ разрѣзъ со всѣми общепринятыми воззрѣніями и по этому самому являются во всякомъ случаѣ результатомъ напряженнаго и внимательнаго анализа и вызываются мучительнымъ сознаніемъ несоотвѣтствія существующаго порядка вещей и господствующихъ понятій съ требованіями разума и совѣсти. Ты говоришь, что для тебя убѣдительны лишь такія истины, которыя «доказываются міромъ дѣйствительности, міромъ существующаго, — тождествомъ образа разумѣнія съ образомъ дѣйствительности». Но, не говоря о томъ, что различіе между представленіемъ нашего разумѣнія и тѣмъ, что принято считать дѣйствительнымъ, есть различіе условное и подвергающееся сомнѣнію при болѣе внимательномъ проникновеніи въ сущность этихъ двухъ областей (напр., у насъ даже не имѣется подъ ногами почвы для безусловнаго признанія того, что такъ называемый нами *реальный* міръ болѣе дѣйствителенъ, нежели міръ представленій: никто не можетъ даже самому себѣ доказать того, что онъ самъ и все окружающее его здѣсь на землѣ дѣйствительно существуетъ, а не есть сновидѣніе, послѣ котораго послѣдуетъ пробужденіе къ истинной дѣйствительности), не говоря также и о томъ, что если уже дѣлать различіе между этими будто бы двумя мірами, то преобладающее значеніе по справедливости останется за образомъ *разумѣнія*, а не за образомъ *дѣйствительности*, ибо первый свободенъ, безпредѣленъ и безвремененъ, между тѣмъ, какъ послѣдній со всѣхъ сторонъ стѣсненъ условіями пространства и времени и эфемеренъ, какъ мыльный пузырь. Не касаясь всего этого, а разбирая вопросъ даже съ близорукой точки зрѣнія такъ называемаго матеріализма, никакое движеніе впередъ немыслимо, тормозится всякая творческая дѣятельность, если для признанія какой-нибудь новой идеи требуются доказательства, въ видѣ уже совершивша-

гося тождества образа разумѣнія съ образомъ дѣйствительности. Все, что движетъ впередъ человѣчество, все, что вызывается процессомъ человѣческаго творчества, всегда первоначально зарождается лишь въ сознаніи человѣка или человѣчества, и лишь потому оно потомъ и воплощается въ образъ дѣйствительности, что есть люди, которые готовы признавать истину за таковую еще раньше, чѣмъ она можетъ быть доказана, какъ ты того требуешь, міромъ дѣйствительности.

Мнѣ, глядя со стороны, кажется страннымъ твое отношеніе ко Л. Н—чу. Особенно рѣзко оно обрисовывается въ твоихъ словахъ о «предисловіи къ Бондареву». Въ такомъ цѣльномъ комкѣ мыслей и чувствъ, неразрывно не то что сплетенныхъ между собой, но вытекающихъ одна изъ другой такъ, что трудно опредѣлить, гдѣ начало, гдѣ конецъ, какимъ представляется мнѣ это предисловіе, ты разрозниваешь составные элементы, выковыриваешь самую сердцевину, и, ощупывая въ рукахъ это обезжизненное сердце, ты любуешься изяществомъ и остроуміемъ его устройства, порицая лишь ту роль, которую оно играло во всемъ организмѣ. Да вѣдь чувствительныхъ-то изліяній о «гардинахъ» бывало много и до Л. Н—ча. Его главное значеніе именно въ томъ, что эти чувствительные порывы чуткаго сердца онъ вывелъ изъ области платонической сентиментальности и приложилъ ихъ, какъ паръ въ локомотивѣ, къ механизму своей разсудочной дѣятельности, и получились выводы, не только не облеченные въ «образъ дѣйствительности», но почти неслыханные даже до сихъ поръ, — выводы, которые, я въ томъ увѣренъ, будутъ въ свое время осуществлены на практикѣ и которые *во всякомъ случаѣ* таковы, что ихъ примѣненіе *устранило бы* тѣ ужасы несправедливости и неправды, сознаніе которыхъ и вызвало тотъ горячій порывъ чувствъ, который тебѣ нравится въ этомъ предисловіи. А ты, — если позволишь мнѣ употребить грубое сравніе, — какъ гастрономъ, выковыриваешь трюфели изъ пирога и смакуешь ихъ; но дѣло-то въ томъ, что человѣкъ не пирогъ, въ который поваръ по своему произволу навалилъ все, что ему вздумалось. Душевный обликъ человѣка есть нѣчто самостоятельное, растущее изнутри, которое нельзя диссекировать и тѣмъ болѣе обнажать и отрывать сердцевину отъ всего, что на ней росло. И что же получилось послѣ твоей операціи? Нѣсколько лирическихъ возгласовъ, холостой зарядъ, который, какъ говорятъ французы, fait bien dans le paysage, или, какъ говоришь ты, прибавляетъ еще одинъ какой-нибудь полутонъ къ разнообразнымъ краскамъ жизни, но въ сущности ничего истинно жизненнаго не представляетъ и относится къ области

«изящныхъ чувствъ» или сентиментальности. Ты видишь у Л. Н—ча «лирику» тамъ, гдѣ у него бьетъ сама жизнь, и, я боюсь, бываешь и, наоборотъ, склоненъ видѣть жизнь тамъ, гдѣ одна только лирика. По крайней мѣрѣ, такъ мнѣ кажется, съ моей точки зрѣнія, разумѣется, субъективной.

Что же касается до «фіаско», который будто бы потерпѣлъ Толстой въ его «попыткахъ общественнаго переустроенія», то, во-первыхъ, здѣсь полное недоразумѣніе: онъ никогда ничего не пытался переустраивать и всегда, къ глубокому неудовольствію личныхъ его друзей, отстранялся отъ всякихъ попытокъ въ этомъ направленіи. Говоря, что жизнь людей видоизмѣняется «цѣлою совокупностью историческихъ условій и сложныхъ процессовъ общенароднаго сознанія», ты лишь повторяешь теперь, когда взглядъ этотъ получилъ право существованія, одну изъ завѣтныхъ мыслей Л. Н—ча, выраженную имъ въ «Войнѣ и мирѣ» тогда, когда мало кто былъ съ этимъ согласенъ, и когда на него нападали именно за выраженіе такой въ то время смѣлой мысли. Вольно жъ людямъ навязывать человѣку то, чего у него и въ мысляхъ не было, а затѣмъ считать за «фіаско» неосуществленіе того, что они сами ему навязали. Л. Н. никогда не задавался никакимъ переустройствомъ; онъ даже всегда отказывается, когда его спрашиваютъ, опредѣлять тѣ внѣшніе результаты, тѣ новыя формы жизни, которыя онъ желалъ бы видѣть осуществленными среди людей. Онъ только говоритъ, что такъ жить, какъ мы живемъ, не слѣдуетъ, и предлагаетъ себѣ и другимъ жить иначе, избѣгая по возможности то злое, что намъ раскрылось въ нашей жизни. Что же изъ этого выйдетъ, къ какимъ внѣшнимъ формамъ жизни оно приведетъ, объ этомъ онъ никогда не думаетъ. Это во-первыхъ.

А, во-вторыхъ, ужъ очень, позволь мнѣ выразиться откровенно, ребячески наивнымъ показалось мнѣ сужденіе твое съ твоимъ пріятелемъ о томъ, что если, спустя нѣсколько лѣтъ послѣ того, какъ Л. Н. высказалъ свои идеалы, современное общество не переустроилось, то это обнаруживаетъ безсиліе самихъ этихъ идеаловъ. Нельзя примѣнять эту точку зрѣнія хроникера еженедѣльной газеты или внутренняго обозрѣвателя ежемѣсячнаго журнала къ такимъ переворотамъ, которые, если имъ и суждено осуществиться, то могутъ совершаться лишь столѣтіями. Исторія намъ показываетъ, что измѣненія въ образѣ жизни людей, несравненно менѣе радикальныя, нежели тѣ, къ которымъ привело бы всеобщее признаніе идеаловъ, выставленныхъ Л. Н., совершались не въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и не десятилѣтіями даже, а именно

столѣтіями. Тѣмъ болѣе наивно судить по нѣсколькимъ годамъ (только потому, что они ближайшіе къ намъ самимъ) о неуспѣхѣ отраженія въ обществѣ такого міровоззрѣнія, которое борется не только противъ отсталыхъ внѣшнихъ формъ, но и противъ односторонности всей культуры данной эпохи. Если уже говорить объ успѣхѣ или неуспѣхѣ, то слѣдуетъ, наоборотъ, признать, что взгляды Л. Н. имѣютъ повсемѣстно, не въ одной только Россіи, успѣхъ такой, какого никто изъ насъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ не смѣлъ вообразить себѣ въ самомъ мечтательномъ настроеніи. Когда я, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, познакомился со Л. Н. и спросилъ его, много ли онъ знаетъ такихъ людей, которые съ нами согласны, то онъ со спокойной улыбкой отвѣтилъ, что нѣтъ, почти никого нѣтъ, развѣ вотъ такой-то и еще такой-то, и онъ назвалъ мнѣ двоихъ. Тогда не только въ печати, но и хорошіе его знакомые считали его сумасшедшимъ. Онъ же самъ готовился дожить до смерти въ такомъ же почти одиночествѣ душевномъ. Онъ и тогда вѣрилъ, что наступитъ возрожденіе ученія Христа; но думалъ, что ему не придется до этого дожить. А теперь, нѣсколько лѣтъ спустя, взгляды его признаны не сумасшедшими; съ ними считаются, и они въ самыхъ разнообразныхъ степеняхъ и оттѣнкахъ отражаются во всѣхъ областяхъ человѣческой мысли и дѣятельности. Духъ его пониманія ученія Христа, такъ сказать, наполняетъ атмосферу, и сами его противники, сами того не замѣчая, смягчаютъ и видоизмѣняютъ свои воззрѣнія подъ безсознательнымъ для нихъ вліяніемъ этой атмосферы. Въ этомъ я вижу одно изъ болѣе значительныхъ проявленій успѣха воззрѣній, высказанныхъ Л. Н. Объ этомъ, впрочемъ, ты, насколько я понимаю, и упоминаешь въ твоемъ письмѣ, только въ другихъ словахъ.

Въ-третьихъ, есть цѣлое движеніе среди молодежи въ направленіи сознательнаго осуществленія на практикѣ по возможности того образа жизни, которое вытекаетъ изъ взглядовъ, выраженныхъ Л. Н. Число молодыхъ людей, примыкающихъ въ ряды этого движенія, годъ отъ году увеличивается; и если печать и вообще люди, непричастные къ самому движенію, мало что про него знаютъ, такъ это единственно потому, что по своему существу оно и заключается въ изъятіи себя изъ того фокуса, куда направлено вниманіе культурнаго общества. Эти представители новаго движенія не заявляютъ о себѣ печатно и вообще избѣгаютъ обращать на себя вниманіе. Вначалѣ вопросъ этотъ былъ новый, сталъ временно моднымъ и про него прокричали, разумѣется, въ связи съ наиболѣе поверхностными, «показными» представителями этого движенія.

Потомъ, когда этимъ послѣднимъ надоѣло рисоваться, то прокричали, что движеніе потерпѣло фіаско, но литературные пустозвоны никогда и не видали самого движенія, которое зачалось вовсе не сразу въ такихъ размѣрахъ, какъ они вообразили, и которое не только не потерпѣло фіаско, но идетъ, неотступно прогрессируя. Еще недавно я имѣлъ случай познакомиться съ существованіемъ совсѣмъ для меня новыхъ и весьма радостныхъ участниковъ этого движенія.

Разумѣется, и въ этомъ дѣлѣ, какъ и во всякомъ, проявляются ошибки и промахи; но они ограничиваются какими-нибудь частными, внѣшними формами, которыя оказываются слишкомъ узкими для вмѣщенія всей разносторонности христіанскихъ стремленій. При этомъ надобно имѣть въ виду, что работа Л. Н—ча надъ выпутываніемъ и выясненіемъ первоначальнаго, столь затемненнаго ученія Христа все еще продолжается и подвигается впередъ, захватывая все болѣе и болѣе обширный районъ человѣческихъ понятій и дѣйствій. Осуществляются же на практикѣ, покуда заднимъ числомъ, только отдѣльныя стороны этого ученія, вслѣдствіе чего неизбѣжны тѣ крайности и односторонности, которыя отчасти замѣтны въ такъ называемыхъ «Толстовцахъ». Судить же объ истинномъ, всестороннемъ практическомъ отраженіи работы Толстого въ жизни людей будетъ возможно только тогда, когда онъ скажетъ свое послѣднее слово, т.-е. когда тѣло его умретъ и когда его пониманіе жизни станетъ извѣстно людямъ во всей своей совокупности и во всѣхъ своихъ отдѣльныхъ частяхъ. А это будетъ не скоро.

Хотѣлось бы много еще написать тебѣ въ отвѣтъ на твое содержательное письмо, но приходится отложить до другого раза или до личнаго свиданія.

Относительно возраженія на то, что идетъ въ разрѣзъ съ пріятностями жизни, я недостаточно опредѣленно высказался: я никогда не думалъ, что ты способенъ сознательно подгибать истину подъ то, что ты самъ въ состояніи или имѣешь желаніе осуществить. Это было бы просто такая недобросовѣстность мысли, къ которой, я хорошо знаю, ты не способенъ. Нѣтъ, я имѣю въ виду безсознательное свойство души человѣка, которое, если ты его не чуждъ, должно быть именно тебѣ менѣе замѣтно, нежели кому-либо другому.

Я недавно думалъ о томъ, что столь опошленныя церковью добродѣтели смиренія и покаянія имѣютъ въ сущности гораздо больше значенія, чѣмъ полагаютъ. Какъ это ни странно, а истинное свободомысліе неосуществимо безъ нихъ. Только тотъ, кто живо сознаетъ свою собственную мерзость и въ которомъ настолько смиренія, что въ каждую данную минуту

онъ готовъ признать ошибочнымъ каждый свой поступокъ въ прошломъ и настоящемъ, только человѣкъ, старательно выкапывающій въ своемъ прошломъ всѣ свои ошибки и скверные поступки, только такой человѣкъ имѣетъ возможность мыслить дѣйствительно свободно, не избѣгая инстинктивно и безсознательно для него самого тѣхъ путей мысли, которые должны привести его къ признанію своей гадости или несостоятельности въ прошломъ или настоящемъ. Въ противномъ случаѣ, т.-е. когда человѣкъ имѣетъ потребность сознавать свое *достоинство*, когда онъ считаетъ, что есть люди болѣе скверные и подлые, нежели онъ самъ, то онъ *не можетъ* мыслить свободно, какъ бы онъ того ни желалъ. Прошлыя ассоціаціи, воспоминанія пережитаго счастья, сознаніе напряженной борьбы или жертвъ, которыми то или другое было пріобрѣтено,— однимъ словомъ, все, все прошлое человѣка, не сознающаго себя въ положеніи «кающагося грѣшника», стоитъ въ его умственномъ мірѣ непроницаемою стѣною, не пропускающею такихъ мыслей, такой логики, которыя сколько-нибудь рискуютъ привести къ полной перемѣнѣ фронта въ міровоззрѣніяхъ человѣка, — къ тому состоянію, которое Л. Н. такъ ярко описываетъ въ началѣ «Въ чемъ моя вѣра»: «Мнѣ перестало хотѣться того, чего прежде хотѣлось, и стало хотѣться того, чего прежде не хотѣлось. То, что прежде казалось мнѣ хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мною случилось то, что случается съ человѣкомъ, который вышелъ за дѣломъ и вдругъ дорогой рѣшилъ, что дѣло это ему совсѣмъ не нужно, и повернулъ домой. И все, что было справа, стало слѣва, и все, что было слѣва, стало справа»...

Не говорю, чтобы прошлое каждаго человѣка необходимо требовало подобнаго переворота. Но хочу сказать, что для того, чтобы мыслить дѣйствительно свободно, необходимо быть въ состояніи и даже готовымъ охотно его совершить. А для этого необходимо быть въ состояніи признать свою полную прошлую и настоящую несостоятельность, т.-е., говоря попросту, покаяться во всѣхъ своихъ грѣхахъ и пожалѣть о всѣхъ своихъ заблужденіяхъ. Сохранилъ ли тотъ или другой человѣкъ способность къ этому, разумѣется, никто, кромѣ него самого, не можетъ сказать. И я хотѣлъ только въ общихъ чертахъ подѣлиться съ тобою этими мыслями, не относя ихъ ни въ томъ, ни въ другомъ смыслѣ именно къ тебѣ, хотя выраженіе ихъ и было случайно вызвано моимъ замѣчаніемъ о твоей способности возражать въ извѣстныхъ случаяхъ.

... Вспоминаю, что не отвѣтилъ тебѣ на твое сужденіи о помѣщеніи статей въ «Новомъ Времени». Ты *съ своей точки зрѣнія* совершенно правъ, но и я съ своей не могу думать иначе, чѣмъ думаю. Ты вѣдь вѣришь въ общественную жизнь и во всѣ тѣ графы и рубрики, на которыя она подраздѣляется. Въ числѣ ихъ имѣется и графа «общественное значеніе печати»; а въ этой графѣ рубрика — періодическая печать, «отражающая современныя теченія» и т. д. и реагирующая, въ свою очередь... и т. д. Въ этой рубрикѣ — подраздѣленіе: «Въ противоположность тѣмъ представителямъ прессы, которые, побуждаемые сознаніемъ своего человѣческаго достоинства и высокаго значенія печатнаго слова... и т. д. существуетъ, къ сожалѣнію, и...» и т. д. Съ этой точки зрѣнія, конечно, нужно помѣщать, что̀ имѣешь сказать, въ томъ «органѣ», который ближе соотвѣтствуетъ твоимъ симпатіямъ и убѣжденіямъ. Но я во все это не вѣрю, считаю всѣ эти рубрики условными и искусственными и думаю, что истинная жизнь человѣчества течетъ по совершенно другому и притомъ неуловимому руслу. Какой маленькій свѣтъ проходитъ черезъ насъ, мы должны его направлять туда, гдѣ глубже мракъ, не смущаясь тѣмъ, что зло будетъ стараться эксплуатировать его въ свою пользу. Это послѣднее всегда было и будетъ; но значеніе добра и правды отъ этого никогда не умалится. Это вообще. Кромѣ того, въ данномъ случаѣ прими въ соображеніе, до какой степени наше пониманіе жизни противорѣчитъ началамъ, признаваемымъ и производимымъ какими бы то ни было органами печати, хотя бы самыми такъ называемыми порядочными. И если ужъ признавать какое-нибудь серьезное вліяніе за газетами и журналами, то, конечно, для нашихъ взглядовъ гораздо опаснѣе «приличные» органы, въ родѣ «Рус. Мысли», нежели такія дѣйствительно помойныя ямы, какъ, напр., «Новое Время». Но, повторяю, я никакого спеціальнаго значенія не придаю періодической печати, и настолько вѣрю силѣ добра и правды, гдѣ бы они ни обнаруживались, что не сомнѣваюсь въ томъ, что они отразятся въ душахъ, ихъ ищущихъ, въ какомъ бы скверномъ сосѣдствѣ ни пришлось имъ появляться передъ глазами людей.

В. Г. Черткову.

5 января 1891 г., ст. Углянка, К.-В.-Р.

Дорогой другъ! Ты сдѣлалъ такіе выводы изъ моего письма, что при всемъ моемъ нежеланіи вдаваться въ «полемику» я вынужденъ сдѣлать это. Или, лучше сказать, я не полемизировать съ тобой хочу, а еще разъ со всею возможною для меня ясностью повторить то, что я писалъ тебѣ прежде.

Начну въ порядкѣ твоего письма.

1. Ты настаиваешь на томъ значеніи слова «догматизмъ», которое установилось за нимъ въ средѣ вѣрующихъ и богослововъ. Не даромъ же ты называешь этотъ терминъ «церковнымъ выраженіемъ». Отсюда выходитъ, что догматизмъ есть *качество* извѣстнаго душевнаго состоянія, синонимъ предразсудка, отсталости, суевѣрія. Я же беру терминъ не какъ церковное выраженіе, не какъ опредѣленіе *качества,* а въ обычномъ его словоупотребленіи, которое не имѣетъ ничего общаго съ ученіемъ какой бы то ни было церкви. Затѣмъ допустимъ, что я не правъ, что я употребилъ терминъ невѣрно, столъ назвалъ комодомъ, но я съ такою вѣдь подробностью описалъ то, что̀, по-моему, обозначается словомъ «догматизмъ», что никакъ не должно бы возникнуть сомнѣнію, что въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о столѣ, а не о комодѣ. «Дешевъ» ли или «дорогъ» такой «пріемъ», я не знаю, но увѣряю тебя, что онъ былъ сдѣланъ мною вовсе не «для устраненія несочувственныхъ взглядовъ». Я прибѣгнулъ къ этому «пріему» просто для того, чтобы высказать *мнѣніе,* — въ данномъ случаѣ мое

мнѣніе о твоемъ отношеніи къ нѣкоторымъ вопросамъ познанія. Употребляя это несчастное слово «догматизмъ», я говорилъ въ сущности вотъ что: твое отношеніе къ нѣкоторымъ вопросамъ познанія настолько представляется тебѣ *правильнымъ, безспорнымъ, безошибочнымъ,* что по *этимъ* вопросамъ напрасны будутъ всякія возраженія. Тотъ, кто сказалъ бы обо мнѣ то же самое, думаю, въ свою очередь, былъ бы совершенно правъ.

2. Ты вывелъ заключеніе, что для меня «убѣдительны *лишь такія* истины, которыя доказываются міромъ дѣйствительности, міромъ существующаго — тождествомъ образа разумѣнія съ образомъ дѣйствительности». Къ этимъ твоимъ словамъ требуется маленькая поправка: я говорилъ, что истины *внѣ этого тождества вовсе не можетъ быть.* Но это мое утвержденіе вовсе не значитъ, что «для признанія какой-нибудь новой идеи требуются доказательства въ видѣ уже совершившагося тождества образа разумѣнія съ образомъ дѣйствительности», — къ этимъ твоимъ словамъ нужна не маленькая, а огромная поправка. Дѣло вотъ въ чемъ. Даны, положимъ, три идеи. Первая — объ извѣстномъ общественномъ устроеніи, при чемъ въ основу этой идеи положено, что люди по своимъ умственнымъ, нравственнымъ и физическимъ силамъ совершенно равны. Вторая идея: все вышло прекраснымъ изъ рукъ Творца и все испортилось въ рукахъ человѣка (Руссо). Третья идея: идея *личнаго* Бога. Всѣ три образа разумѣнія, не обинуясь, назовемъ неправильными, ибо, какъ свидѣтельствуетъ образъ дѣйствительности, во-первыхъ, люди не равны въ своихъ силахъ; во-вторыхъ, «изъ рукъ Творца» весьма много вышло несовершеннаго, и, главное, самъ человѣкъ съ своею способностью «портить»; въ-третьихъ, идея личнаго Бога отрицается закономѣрностью и законосообразностью природы и яснымъ безсиліемъ разума въ сферѣ «непознаваемаго». Теперь, наоборотъ, дана такая идея: всѣмъ людямъ свойственно любить другъ друга, и 2-я — правильное развитіе духа и тѣла обусловливается гармоническимъ развитіемъ духовныхъ и тѣлесныхъ способностей (знаменитыя «Четыре упряжки» Л. Толстого); и 3-я — свобода рѣчи, свобода совѣсти есть необходимое условіе

здороваго и правильнаго общежитія. Всѣ эти идеи — несомнѣнная истина, потому что «образъ дѣйствительности» каждую изъ нихъ подтверждаетъ, несмотря на то, что *историческое состояніе* человѣчества до сихъ поръ страшно далеко отъ *осуществленія* такихъ истинъ.

Вотъ что значитъ «тождество образа разумѣнія съ образомъ дѣйствительности».

Отсюда, конечно, слѣдуетъ не *дуализмъ*, въ которомъ ты думаешь меня уличить, не противоположеніе человѣческаго сознанія, мышленія, творчества міру дѣйствительности, а самое строгое *единство*, органическая цѣльность *сознающаго* и *сознаваемаго*.

И отсюда же слѣдуетъ, что образъ разумѣнія отнюдь не свободенъ и не безпредѣленъ, если онъ хочетъ быть образомъ *разумѣнія*, а не образомъ фантасмагорій и абстракцій. Только библейскій Богъ творилъ изъ ничего... Правда, подражая сему божественно-невозможному акту, люди натворили тоже много, но изъ этого многаго, кромѣ мыльныхъ пузырей, ничего не вышло. Такъ, въ свое время, люди по всѣмъ законамъ *формальной* логики размышляли о воскресеніи Христа, о его второмъ пришествіи, о непорочномъ зачатіи и о безчисленномъ количествѣ таковыхъ же сюжетовъ — и это во-истину были процессы вполнѣ *свободнаго* и *безпредѣльнаго* мышленія.

3. Повторяя крайности Фихте и затѣмъ Беркли, ты говоришь, что «различіе между представленьемъ нашего разумѣнія и тѣмъ, что принято считать дѣйствительнымъ, есть различіе условное и подвергающееся сомнѣнію». На это отвѣчу. Какое оно ни будь условное, ты присужденъ считаться съ нимъ. Можетъ-быть, мебель въ той комнатѣ, куда я вошелъ, на самомъ-то дѣлѣ не мебель, а сонное мечтаніе, но, если я не хочу получить шишку на лбу, я долженъ поостеречься вонъ того шкапа, и, если не хочу растянуться на полу, не долженъ садиться на тотъ стулъ съ подломанными ножками. Все, о чемъ я мыслю, имѣетъ въ предметѣ только дѣйствительное, только существующее, — условно или нѣтъ, я не знаю, но важно то, что я не могу мыслить правильно *внѣ отношенія къ этому существующему*. Еще бы! Самая моя способность

мыслить-то потуда и способность, покуда я ѣмъ «условный» хлѣбъ, пью «условную» воду, т.-е. покуда я живу, поддерживая свое «условное» существованіе посредствомъ непрестаннаго общенія и взаимодѣйствія съ этою будто бы призрачною дѣйствительностью [1]). Ты хочешь сказать, что огонь есть, а горючій матеріалъ — одна видимость, призракъ, сонъ. Съ этимъ невозможно согласиться. Чтобы существовалъ міръ *представленій*, нужно, чтобы было что *представлять*...

4. О моемъ отношеніи къ Л. Н — чу говорить не буду. Развѣ увѣрять тебя, что я отношусь къ нему не какъ «гастрономъ»; не съ «наивной ребячливостью»; не такъ, что хочу видѣть въ немъ то, что fait le bien dans le paysage? Эхъ, другъ мой! Во всѣхъ этихъ рѣзкостяхъ я вижу только общій недостатокъ теоретически настроенныхъ людей: отсутствіе того, что по-французски съ такой выразительностью называется bienveillance...[2])

Впрочемъ, о «наивномъ ребячествѣ», т.-е. по поводу этого твоего выраженія, я кой-что скажу, такъ какъ тутъ замѣшанъ третій человѣкъ — мой пріятель. Мы, дѣйствительно, были бы не токмо наивны, но прямо глупы, если бы представляли себѣ, что признакомъ успѣха Л. Толстого было бы огромное количество общинъ, — пашущихъ людей, нищихъ по сознанію, по сознанію не прикасающихся къ женщинѣ и т. д. Но не о томъ шла рѣчь, дорогой мой [3]). Рѣчь шла о томъ, что, по мнѣнію моего пріятеля, нравственное и умственное *настроеніе* россійскаго общества пребываетъ въ томъ же самомъ видѣ, что оно такъ же дрябло, разношерстно и неустойчиво, какъ было до проповѣди человѣка съ обширнымъ умомъ и огромнымъ талантомъ. Что міровоззрѣніе даже такого человѣка было едва-едва въ состояніи всколыхнуть чуть примѣтной рябью умы и чувства. Этимъ доказывалось, какъ трудно вліять на нашу общественную среду [4]). Я же отвѣчалъ, что «фіаско» (выраженіе моего пріятеля) получилось тамъ, гдѣ по самой природѣ вещей оно должно было получиться, и затѣмъ указывалъ на признаки

---

[1]), [2]), [3]) и [4]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

успѣха огромные, хотя и «не уловляемые статистикой». Не знаю, что здѣсь наивнаго.

Затѣмъ ты стремишься доказать, что есть признаки и такого успѣха, который «уловляется статистикой»: новые и новые послѣдователи и т. д. Есть, конечно, но ты ихъ до крайности преувеличиваешь, это, во-первыхъ, а во-вторыхъ, не только ученіе Толстого, но даже секта «безсмертныхъ» въ Англіи имѣла и имѣетъ послѣдователей. Для яснѣйшаго представленія объ этомъ фактѣ нужно бы въ каждомъ данномъ случаѣ проникнуть въ природу того психологическаго процесса, который завершился *формальнымъ* пріобщеніемъ къ извѣстному ученію. При такомъ анализѣ весьма легко можетъ оказаться, что ученіе пріобрѣло послѣдователя не силою своей справедливости, безошибочности, истинности, а силою совпаденія своихъ достоинствъ и недостатковъ съ достоинствами и недостатками прозелита.

Насчетъ преувеличенія. Я согласенъ, что «литературные пустозвоны» могутъ ошибаться, не примѣчая того, что стоитъ внѣ сферы ихъ узенькихъ наблюденій. Но, съ другой стороны, легко ошибиться и тому, кто слишкомъ отдается «кружковой» жизни, кто находится въ фокусѣ того исключительнаго мірка, гдѣ сосредоточиваются свѣдѣнія, новости, письма, разговоры, интересы людей, одинаково мыслящихъ, одинаково увлеченныхъ однимъ и тѣмъ же ученіемъ. Какъ «за деревьями часто не видать лѣса», такъ сквозь призму «кружка» бываетъ не видно подлинной картины жизни.

5. Что лучшимъ критеріемъ правильнаго мышленія, лучшимъ предохраненіемъ этого мышленія отъ безсознательнаго вліянія чувственныхъ влеченій и пристрастій могутъ быть смиреніе и покаяніе — съ этимъ я рѣшительно несогласенъ. Покаяніе и смиреніе очень хороши, но ихъ роль иная. Я бы сказалъ, что съ ихъ помощью очищается нравственное чувство отъ постороннихъ примѣсей. Но для правильнаго мышленія, *къ сожалѣнію*, не необходимо быть святымъ. Вотъ что вѣрно: нравственное чувство можетъ понудить мыслить о томъ-то, а не о другомъ, напримѣръ, о способѣ наиболѣе любовнаго общежитія, а не о математическихъ сюжетахъ; но критеріемъ этихъ

мыслей, гарантіей ихъ правильности будетъ уже не нравственное чувство, не смиреніе и покаяніе, а тотъ же принципъ «тождества».

6. Ты напрасно думаешь, что только Л. Н—чу и его послѣдователямъ свойственно признавать «несоотвѣтствіе существующаго порядка вещей съ требованіями разума и совѣсти»[1]). Такое признаніе и вытекающая изъ него борьба со зломъ свойственны очень многимъ ученіямъ. Что касается до меня, я не знаю ни одного, включая и ученіе Толстого, которое удовлетворяло бы меня во всѣхъ частяхъ. Я вѣрю только въ силу добра, въ силу любви, въ силу справедливости или, назвать это однимъ словомъ, въ силу Правды. И вѣрю въ то, что все, что въ этихъ ученіяхъ правда, непремѣнно и неизбѣжно войдетъ въ сознаніе людей и поведеніе людей, и все, что теорія, абстракція, мечта, такъ же неизбѣжно будетъ извергнуто. «Лирическое мѣсто» въ предисловіи къ Бондареву есть правда, но, чтобы она выразилась собственноручной пахотою, это теорія. Въ одномъ случаѣ она выразится такъ, въ другомъ — иначе, въ третьемъ — еще иначе; въ четвертомъ, можетъ-быть, и пахотою; и всѣ эти формы выраженія будутъ хороши, потому что вытекутъ изъ самой жизни, а не изъ программы.

Неужели такой взглядъ напоминаетъ тебѣ гастронома?[2])

7. О «Новомъ Времени» не стоитъ толковать. Рубрики, такъ рубрики. Я только не понимаю, зачѣмъ ты ведешь «Посредникъ», коль не вѣришь въ силу «прессы», и зачѣмъ ведешь его въ строгомъ, единообразномъ направленіи, какъ и подобаетъ «органу печати». Вотъ въ каталогѣ, напримѣръ, пишешь: «При выборѣ книгъ мы ставили первымъ и главнѣйшимъ условіемъ, чтобы въ нихъ не было ничего вреднаго». Справедливо. Но не значитъ ли это, иными словами, но то же самое, что ты, иронизируя, написалъ мнѣ:

«Въ противоположность тѣмъ представителямъ прессы, которые, побуждаемые сознаніемъ высокаго значенія печатнаго слова..., существуютъ, къ сожалѣнію... и т. д.» Такимъ обра-

---

[1]) и [2]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

зомъ и выходитъ, что ты свое-то «печатное слово» оберегаешь съ великою ревностью и никакъ не пустишь подъ одной обложкой «Два старика» и какую-нибудь Манухинскую спекуляцію, а когда другіе выказываютъ ревность по отношенію къ чистотѣ «печатнаго слова» — ты шутки шутишь. Это ужъ непослѣдовательно [1]).

Довольно...

Ну, до свиданья, дорогой другъ. И, пожалуйста, прекратимъ споры. Какъ ни старайся, какъ ни сдерживайся, а нѣкоторый осадокъ горечи остается отъ нихъ. А это врядъ ли нужно. Мы другъ друга, вѣроятно, понимаемъ теперь достаточно, и если такъ же будемъ любить другъ друга, то это и все, что требуется доказать. Bienveillance, bienveillance... это главное...

P. S. Еще крошечное поясненіе. Поставляя на видъ, что мысль о томъ, что «жизнь людей видоизмѣняется цѣлою совокупностью историческихъ условій и сложныхъ процессовъ общенароднаго сознанія» есть одна изъ «завѣтныхъ мыслей» Л. Н—ча, ты ничего не говоришь мнѣ новаго. Я это хорошо знаю, такъ же, какъ и знаю личное отношеніе Л. Н—ча къ различнымъ попыткамъ «переустройства» (отношеніе не всегда, впрочемъ, равное). Я говорю вѣдь о его *теоретическомъ* планѣ «переустройства», о томъ планѣ, который, по-моему, явно исключаетъ «завѣтную мысль» самого Толстого, устанавливаетъ такія основы человѣческой жизни (хотя бы въ отдаленномъ будущемъ), которыя могутъ быть оправданы мечтательной работой воображенія, да путемъ уединенныхъ отъ подлинной жизни умозаключеній, но отнюдь не содержаніемъ самой этой *подлинной* жизни [2]).

Категорически оговариваюсь: я признаю плодами абстракціи *нѣкоторую* часть выставляемыхъ Л. Н—чемъ «основъ», и въ этомъ такъ же расхожусь съ тобою и съ твоими единомышленниками, какъ съ Н. К. Михайловскимъ и его единомышленниками. И вовсе не потому, что мнѣ *непріятны* такія «основы».

---

[1]) и [2]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

8 января 1891.

Только что получилъ твое письмо отъ 5 января, дорогой, милый другъ, и спѣшу тебѣ отвѣтить только на одно—главное, на твои слова о томъ, что «остается нѣкоторый осадокъ горечи». И такъ вышло, что въ то время, какъ ты мнѣ помогалъ дѣломъ, я тебя огорчалъ словами. Какая же я свинья! Никогда я такъ живо не чувствовалъ всего уродства празднаго обмѣна мысли на «интеллигентной» почвѣ, по крайней мѣрѣ, уродства этого для *меня*. Не даромъ же я всегда избѣгалъ этого. Будетъ же мнѣ это на всю жизнь хорошимъ урокомъ. Въ самомъ дѣлѣ — думаешь, что высказываешь мысли, обсуждаешь; а не замѣчаешь того, что впадаешь въ тонъ непріятный и даже огорчительный для твоего собесѣдника. Ужъ ты прости меня, милый братъ; и повѣрь, что хотя дѣйствительно къ людямъ вообще у меня мало bienveillance, но ты принадлежишь къ тѣмъ, къ сожалѣнію, немногимъ, къ которымъ оно у меня есть. И не приписывай отсутствію этого отношенія къ тебѣ то, что тебѣ было непріятно въ моихъ словахъ. Въ дѣйствительности мы относимся другъ къ другу совершенно одинаково по существу, но ты, какъ опытный писатель и сердечный человѣкъ, умѣешь облекать свою мысль въ болѣе деликатную форму, а я выражаюсь менѣе литературно, менѣе представляю себѣ впечатлѣніе собесѣдника и потому говорю рѣзче. Какъ я жалѣю теперь, что не сохранилъ того же воздержанія въ нашей перепискѣ съ моей стороны, которое я сумѣлъ же установить вначалѣ, когда не посылалъ тебѣ писемъ, въ которыхъ возражалъ тебѣ. Да — это все слова, словоблудіе. Кругомъ голодаютъ, выбиваются изъ силъ, работая на насъ; мы ѣдимъ ихъ тѣло, пьемъ ихъ кровь и черезъ ихъ головы разсуждаемъ между собой по почтѣ объ истинѣ, правдѣ, благѣ...

П. А. Бакунину.

6 января 1891, с. Емпелево.

Я не считаю «тратою времени» переписку съ вами, дорогой Павелъ Александровичъ, — и не только съ вами, но и со всѣми, въ комъ, такъ или иначе, живетъ потребность мысли, потребность сознательнаго отношенія къ міру. Лишь бы эта переписка происходила въ условіяхъ взаимнаго пониманія, и хорошо, если и взаимной симпатіи. «Безписьменность» нашего времени, нашего поколѣнія въ сущности глубоко огорчаетъ меня, и есть одна изъ причинъ, почему я думаю, что пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ во многихъ отношеніяхъ жилось производительнѣе нашего. Въ объясненіе у насъ принято ссылаться на то, что въ 30 — 40-хъ гг. принуждены были вслѣдствіе непомѣрной суровости режима изъясняться письменно. Объясненіе весьма неудовлетворительное. Тѣ предѣлы свободы, въ которыхъ дѣйствуетъ наша печать, относительно говоря, конечно, шире предѣловъ николаевскаго «попущенія», но все жъ таки они рѣшительно не въ состояніи вмѣстить все то, что мыслится и чувствуется современниками. Это—во-первыхъ, но это далеко не главное. Главное то, что печать по самой природѣ своей не можетъ замѣнить переписки. Печать — каѳедра, письмо — кабинетъ; печать — общественность, публичность, письмо — интимная сторона жизни. Отсюда большое и спеціальное значеніе переписки. Въ письмѣ процессъ мышленія, образъ чувствованій могутъ выражаться съ тою непосредственностью, которая невозможна въ печати — и эта непосредственность, встрѣчая такой же откликъ, необходимо будетъ плодотворна, ибо созвучіе родитъ мелодію, и соединеннымъ искрамъ свойственно разгораться въ пламя. Я не хочу этимъ предпо-

ложить, что люди, ведущіе переписку, согласны въ своихъ воззрѣніяхъ: иногда именно изъ одинаковыхъ-то воззрѣній и не происходитъ созвучія, но искренность, горячее стремленіе къ истинѣ, не сбиваемое съ толку оглядкою на цензуру, да на публику, да на редакцію, вотъ что должно быть одинаково. Классическія, сочиненныя письма, — письма-статьи, — конечно, принадлежатъ уже къ иному жанру, но я имѣю въ виду такія, въ которыхъ душа горитъ огнемъ самодовлѣющимъ, а не по отношенію къ той или иной «злобѣ дня», къ той или иной аудиторіи. Лично про себя я долженъ сказать, что именно переписка давала и даетъ моему сознанію наиболѣе внушительныя пріобрѣтенія, наиболѣе помогаетъ мнѣ разбираться въ моихъ чувствахъ и сужденіяхъ. И вотъ почему я не только не жалуюсь на «затрату труда и времени», но глубоко благодаренъ тѣмъ, кто своими письмами даетъ мнѣ поводъ ихъ затрогивать.

То, что вы называете bienveillance, и, думается, ваше собственное міровоззрѣніе пантеиста-романтика, очень хорошо выражено гр. А. Толстымъ, — этимъ холоднымъ и зачастую безсодержательнымъ пустозвономъ, но въ данномъ случаѣ поэтомъ истиннымъ. Помните?

Благословляю васъ, лѣса,
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю я свободу
И голубыя небеса.
И посохъ мой благословляю,
И эту бѣдную суму,
И степь отъ края и до края,
И солнца свѣтъ, и ночи тьму,

И одинокую тропинку,
По коей, нищій, я иду,
И въ полѣ каждую былинку,
И въ небѣ каждую звѣзду.
О, если бъ могъ всю жизнь смѣшать я,
Всю душу вмѣстѣ съ вами слить,
О, если бъ могъ въ мои объятья
Я васъ, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить.

И, можетъ-быть, еще опредѣленнѣе, хотя и съ оттѣнкомъ нѣкоторой исключительности, въ словахъ апостола Павла (Первое посланіе къ Коринѳянамъ, гл. XIII, 1—8).

Всѣмъ своимъ существомъ откликаюсь я на такое пониманіе жизни. Вѣрю, что только оно, подобно солнцу, согрѣвающему злыхъ и добрыхъ, въ состояніи примирить безчисленныя противорѣчія жизни, привести къ единству безчисленное разнообразіе... не къ формальному единству, о которомъ мечтаютъ утописты и на ряду съ ними и Л. Н. Т. (То-есть, оно въ состояніи не *упразднить* противорѣчія, не *сгладить* разнообразіе, а свести и примирить).

Но что я вамъ скажу, дорогой мой. Это «благоволеніе», эта «свобода», въ полной-то мѣрѣ доступны лишь мудрецу и нищему. Право, такъ. Тотъ «чадъ преходящаго», о которомъ вы пишете, съ такою назойливостью переполняетъ обычное существованіе, такимъ непроницаемымъ туманомъ залегаетъ въ сферѣ обычнаго общежитія, такъ осложняетъ формы этого общежитія: семью, собственность, государственность, и, наконецъ, съ такой неизбѣжностью окрашиваетъ искусство и науку, что отрѣшиться отъ него, претворить его въ плодотворное начало жизни, сжечь его въ пламени свободы, представляется мнѣ труднымъ, почти неосуществимымъ. То̀, что Дамаскинъ одинокъ, какъ перстъ, и свободенъ отъ всякихъ «союзовъ»; то̀, что онъ *нищимъ* произноситъ свой пантеистическій гимнъ — въ этомъ есть глубокій смыслъ. «Союзы» и вытекающія изъ нихъ коллизіи — отношенія къ природѣ, къ людямъ, къ правамъ сосѣда, къ его притязаніямъ, къ его даже законнѣйшимъ требованіямъ и запросамъ, — все это слишкомъ препятствуетъ радостному міровоззрѣнію. Намъ, людямъ средняго калибра, людямъ, замкнутымъ въ эти союзы, присужденнымъ къ этимъ коллизіямъ, остается утѣшаться только *просвѣтами* радости, *платоническимъ* «благоволеніемъ» и со всею силою тысячекратно обманутаго упованія обращаться въ досужее время въ тѣ «области заочны», гдѣ самодовлѣетъ подлинная человѣчность, блещетъ неограниченная свобода.

И вотъ почему мнѣ кажется, что Л. Н. Т. совершенно правъ, выставляя нищенство и отрицаніе союзовъ условіемъ *хорошей* жизни. Онъ въ томъ только неправъ, что хочетъ распространить этотъ идеалъ до степени нормы, возвести его въ схему общежитія, — въ законъ, въ программу. И забываетъ, что тò, чтò для Сакья Муни, Діогена Синопскаго, Дамаскина было непремѣннымъ условіемъ ихъ духовной свободы, чтò и теперь можетъ быть условіемъ свободы для такого-то «имярека» — можетъ стать зломъ и источникомъ сугубаго порабощенія для несмѣтнаго большинства людей. Не даромъ же въ нашей церкви существуетъ «молитва нищаго», гдѣ его физическое и душевное состояніе рисуется такими ужасными воплями:

«Исчезоша яко дымъ дни мои и кости моя яко сушило сосхошася. Уязвенъ быхъ яко трава. Отъ гласа воздыханія моего прильпе кость моя плоти моей. Уподобихся неясыти пустыннѣй, быхъ яко нощный вранъ на нырищи. Бдѣхъ и быхъ яко птица особящаяся на здѣ. Весь день поношаху ми врази мои и хвалящія мя мною кленахуся, зане пепелъ яко хлѣбъ ядяхъ и питіе мое съ плачемъ растворяхъ...» и т. д.

Какъ вы объ этомъ думаете, — т.-е. не о молитвѣ, а о томъ, что полное благоволеніе, чистая человѣчность несовмѣстны съ участіемъ въ «союзахъ»?

Я еще возвращусь къ этой темѣ, потому что она меня глубоко интересуетъ, и очень надѣюсь, что васъ не смутитъ та форма выраженія, къ которой я прибѣгнулъ въ этомъ письмѣ: самъ чувствую, что это не мысли, а намеки на мысль. Но надѣюсь, что вы-то поймете какъ надо, и отвѣтите по существу, а не по формѣ.

Ну, до слѣдующаго письма!

Душевно вамъ преданный А. Эртель.

Меня глубоко интересуетъ то, что скажете вы, съ вашимъ многостороннимъ и многолѣтнимъ опытомъ, съ вашими познаніями и съ столь «благоволѣющимъ» направленіемъ вашей мысли. То-есть, существо вашего мнѣнія я ужъ впередъ знаю, зная ваше почти религіозное отношеніе къ «союзамъ», но для меня важны подробности и возраженія.

П. А. Бакунинъ — А. И. Эртелю.

29 января 1891, Ялта.

...Теперь хочу сказать кое-что, сперва только вообще, по поводу вашего запроса; но такъ ли я понялъ его, съ той ли именно стороны, съ которой вы его ставите? Впрочемъ, въ одинъ разъ, однимъ образомъ и пріемомъ на него, какъ и на запросъ жизни, не отвѣтить. — Устранивъ особенности, исключенія, — по отношенію къ установившемуся общему строю большинства людей, по отношенію къ ихъ существующимъ союзамъ, къ внѣшнимъ условіямъ ихъ существованія — и Л. Н. Толстой, и вы, если я такъ понялъ, указываете, какъ въ старину указывалъ Ж. Ж. Руссо, на искусственность общественнаго строя, въ силу которой все существованіе людей обращается въ безобразіе, насиліе, ложь. Вы предлагаете вопросъ — совмѣстна ли благоволящая къ людямъ, спокойная, разумная, преисполненная правдою и любовью человѣчность съ установленнымъ, искусственнымъ складомъ людской жизни, — съ ея союзами, ея условными потребностями, ея борьбою за существованіе, ея политическими и гражданскими пререканіями и требованіями, ея неграмотными массами (народомъ), ея культурнымъ обществомъ, ея заведенными порядками, господствами, силами, властностью, ея промышленностью и мануфактурами? — Если бъ, имѣя въ умѣ мысль о піитикѣ и ея правилахъ, я указалъ на ея наличное осуществленіе въ поэмахъ Хераскова, Сумарокова, Тредьяковскаго и проч. и спросилъ о совмѣстности піитики и ея правилъ съ поэзіею, напр., въ произведеніяхъ Пушкина,—безъ всякаго сомнѣнія, отвѣтъ былъ бы утвердительный; но, конечно, для этого требуется, чтобъ и небеса, подъ которыми осуществляется поэзія Пушкина, осѣнялись его идеаломъ прекраснаго, а не идеалами Тредьяковскаго съ братіей. Сознаніе людей состоитъ изъ ограниченнаго знанія, безмѣрнаго незнанія и очень значительнаго невѣжества, которое есть мнимое знаніе. Соотвѣтствующимъ объектомъ перваго бываетъ нѣчто дѣйствительно сущее; второго — туманъ, безбрежное пространство мышленія и фантазіи; третьяго — пустые призраки, но которые сдаются, мнятся чѣмъ-то дѣйствительно сущимъ. Поэтому образъ міра, какъ онъ предстоитъ человѣку, есть частью дѣйствительность, частью туманъ, частью призракъ, обманъ. Призраки и обманы застятъ, заслоняютъ собою дѣйствительность, искажаютъ сущую истину, вслѣдствіе чего

многое невозможное представляется, какъ вполнѣ возможное и легко достижимое; и, наоборотъ, вполнѣ возможное и даже дѣйствительно сущее — невозможнымъ и мечательнымъ, чарующимъ обманомъ. Объективному содержанію дѣйствительности въ сознаніи соотвѣтствуютъ его субъективныя конкретныя понятія. Сущая въ дѣйствительности безконечность отражается въ сознаніи, какъ понятіе о святомъ. Изъ современнаго міровоззрѣнія понятіе о святомъ исключено, оно въ немъ отсутствуетъ, вслѣдствіе чего идеальное, вполнѣ возможное и дѣйствительно сущее, т.-е. совершённое, мерещится невозможнымъ: понятное дѣло — въ сферѣ, въ которой призраки и обманы принимаются и выдаются за дѣйствительное, вполнѣ неизбѣжно, чтобы и дѣйствительное принималось и выдавалось за призракъ, за обманъ. Такимъ образомъ, въ современномъ міровоззрѣніи святое обратилось въ призракъ, въ мечту, не заслуживающую вниманія людей серьезныхъ. А за утратою понятія о святомъ все искусственное построеніе, всѣ союзы общества обращаются неизбѣжно (въ сознаніи) въ безобразіе, въ насиліе, въ союзъ Позднышева, въ вирши Тредьяковскаго безъ малѣйшаго просвѣта въ безконечныя небеса, въ красоту, которая одушевляла Пушкина. Я не знаю, кто вѣритъ, кто можетъ вѣрить, т.-е. кто живетъ и дышетъ самою безконечностью, которая не находитъ себѣ мѣста въ современномъ, очень научномъ, но очень узкомъ міровоззрѣніи, — вѣрующіе, живые душою, конечно, есть, но я знаю, что съ сознаніемъ безъ Бога, какъ въ мірѣ безъ солнца, что съ сознаніемъ безъ религіи, какъ въ мірѣ безъ небесъ, вся земля и всѣ ея отношенія неминуемо обращаются въ хаосъ безсмыслія, насилія, борьбы за существованіе и торжества смерти.—Конечно, искусственность общественнаго строя не есть цѣль, не есть сущее само для себя: она исполнена противорѣчіемъ непростоты; отрѣшаясь отъ естественной, отъ абстрактной простоты животности, она не достигаетъ истинной человѣчной простоты, которая есть совершенная красота, та, о которой на всѣ лады, всѣми пріемами говоритъ искусство. Но неблагообразіе искусственности вовсе не резонъ, чтобъ идти вспять, домой, къ животности, но только побужденіе идти впередъ, гдѣ вся полнота благообразія, гдѣ сила вещей (насиліе) побѣждена силою смысла (свободою). Но сила смысла осуществляется не иначе, какъ черезъ посредство всей глубины и всего значенія святого или безконечнаго, т.-е. именно того, что отсутствуетъ въ матеріализмѣ вещей. Не знаю, сказалъ ли я что-нибудь на вашъ запросъ: онъ расходится, какъ вѣтви дерева, въ частности; я же на первый разъ могъ говорить только вообще...

А. С. Пругавину.

22 февраля 1891, ст. Углянка, К.-В.-Р.

...Очень вамъ благодаренъ за вашу книгу; съ живѣйшимъ удовольствіемъ просмотрѣлъ я статьи, правда, въ большинствѣ знакомыя мнѣ еще прежде, но въ сборникѣ производящія болѣе сильное впечатлѣніе. Книжка, несомнѣнно, должна стать «настольной» для всѣхъ, кто интересуется дѣломъ народнаго просвѣщенія. Читалъ я и статью Пыпина по поводу книги... Въ общемъ это — гелертерское брюзжаніе, не болѣе, но мнѣ показалось справедливымъ, что онъ иронизируетъ надъ терминами: «долгъ народу» и обязанности интеллигенціи». Т.-е. по существу Пыпинъ совсѣмъ неправъ и антипатиченъ даже, но дѣло въ томъ, что термины дѣйствительно имѣютъ то *юридическое* значеніе, которое никакъ нельзя приписать имъ. Въ правовомъ смыслѣ, въ юридическомъ, конечно, нѣтъ никакого *долга* и никакихъ *обязанностей*, потому что и интеллигенція, и народъ съ ихъ во многомъ противоположными міровоззрѣніями, запросами и нуждами возникли и опредѣлились не путемъ свободнаго и сознательнаго выбора, а путемъ сложнаго и частью безсознательнаго историческаго процесса. Въ этомъ отношеніи народническая терминологія, если не ошибаюсь, впервые получившая теоретическое утвержденіе въ «Историческихъ письмахъ» Лаврова, очень напоминаетъ терминологію Руссо въ «Общественномъ договорѣ»: послѣдняя тоже выводилась изъ того взгляда, что извѣстный порядокъ вещей есть слѣдствіе сознательныхъ *юридическихъ* отношеній. Нѣтъ спора, что для ясности такой взглядъ пред-

ставляетъ большія удобства, но, соотвѣтствуя яснымъ и простымъ *логическимъ* категоріямъ, онъ нимало не соотвѣтствуетъ подлинному содержанію исторіи. *Долгъ* и *обязанность* подразумѣваютъ, что тотъ, кто *долженъ* и *обязанъ*, получилъ и получаетъ — и притомъ съ своего согласія — нѣкоторую сумму несомнѣнныхъ благъ, за которую нужно расплатиться. На самомъ дѣлѣ этого не было и не бываетъ. Во-первыхъ, еще подлежитъ спору, что интеллигенція получила и получаетъ *благо* отъ своего кредитора — отъ народа. Тотъ анализъ цивилизаціи, который дѣлался съ незапамятныхъ временъ, а въ послѣднее время съ новою силою и доказательностью дѣлается Львомъ Толстымъ, ясно показываетъ, что обладаніе благами отнюдь не обусловливаетъ блаженства, что это въ нѣкоторомъ смыслѣ даръ коварный, что онъ въ самомъ себѣ заключаетъ горькое наказаніе. Во-вторыхъ, не было и свободнаго выбора, не было согласія кредитоваться... Принадлежность къ культурному слою, къ интеллигенціи, повторяю, всегда опредѣлялась глубокими и до извѣстной степени роковыми историческими причинами, и возникновеніе этого слоя теряется во мракѣ вѣковъ. Въ самомъ дѣлѣ, почему это мы *должны* именно *русскому* народу? Почему не идти дальше, не разыскивать первоначальныхъ кредиторовъ — тѣхъ кредиторовъ, на «ссудѣ» которыхъ воздвиглись античныя и великія восточныя цивилизаціи? Вѣдь наши «блага», наша цивилизація создались не потому только, что саратовскій или тамбовскій мужикъ работалъ и работаетъ съ зари до зари, а и потому, что нѣкогда работалъ съ зари до зари и греческій рабъ, и рабы Рима, Египта, Ассиріи, Индіи и т. д., до безконечности.

Нѣтъ, по-моему рѣшительно нужно разстаться съ этими тремя китами народничества: съ *долгомъ, обязанностями* и *расплатою*. Все это — метафизика, нимало не убѣдительная. Да въ ней нѣтъ и надобности, такъ же какъ нѣтъ надобности въ какомъ-либо формальномъ обоснованіи «народничества». Помните знаменитый разговоръ Н. К. Михайловскаго съ Н. Н. Златовратскимъ на квартирѣ у послѣдняго? Помните, какъ Златовратскій сказалъ, что народничество—это

настроеніе? Не будемъ разбирать, насколько былъ послѣдователенъ Н. Н., сказавши это, но согласимся, что онъ сказалъ чистую правду. Какъ доктрина, какъ партія, какъ ученіе — «народничество» рѣшительно не выдерживаетъ критики, но въ смыслѣ *настроенія* оно и хорошая, и вліятельная сила.

Въ концѣ-концовъ, наши отношенія къ народу вытекаютъ не изъ юридической догмы, а изъ той нравственной, которая болѣе тысячи лѣтъ тому назадъ установлена Христомъ, и изъ той раціональной, разумной, которая учитъ насъ, что «въ своемъ соку» легко задохнуться, что самодовлѣющее потребленіе плодовъ цивилизаціи — искусство для искусства, наука для науки, прогрессъ для прогресса — ведетъ къ гибели общества и къ вырожденію этой самой интеллигенціи въ нѣчто худосочное, безсильное и несчастное. Иныхъ мотивовъ я не признаю, и въ этомъ, къ сожалѣнію, рѣшительно расхожусь съ вами.

Не могу не добавить, что тотъ, кому вы посвятили книгу, отнюдь не руководствовался юридическими мотивами въ своей просвѣтительной дѣятельности. Отъ этого его дѣло не стало уже, а энергія, столь жестоко подавленная, сохранила, однако, свою интенсивность до смерти (хотя и безъ возможности проявляться въ прежнихъ формахъ). Новиковъ былъ не *народникъ*, а истинный *христіанинъ*, и этого было довольно.

Нужно ли оговариваться, что я вовсе не хочу возглашать ученія Христа, какъ исходную точку для заботъ интеллигенціи о народѣ? Жизнь со всѣми ея тонами, красками, мотивами, со всею ея безконечной сложностью, со всѣмъ разнообразіемъ ея содержанія къ одному знаменателю не приведешь, хотя бы этотъ «знаменатель» и былъ Христосъ. Я хочу только сказать, что Христосъ впервые и съ неслыханною до него силою утвердилъ ту нравственную догму, тотъ законъ любви, изъ котораго, какъ радіусы изъ центра, исходятъ всевозможныя дѣла на пользу ближняго, всѣ благородныя стремленія, всѣ великодушныя предпріятія и планы. Можно не признавать Христа и отвергать его ученіе, но нельзя не признавать не имъ открытый, но имъ утвержденный и обоснованный законъ любви. Затѣмъ и это неважно, кто утвердилъ. Важно то, что

именно этотъ законъ безпрерывно подтверждается и доказывается разумомъ, и что его совершенно достаточно для того, чтобы оправдать такъ называемое «народничество». И тѣмъ болѣе излишни юридическія оправданія... Мнѣ представляется, что для народника нужно: во-первыхъ, то, чтобы онъ вообще любилъ людей; во-вторыхъ, стремился бы помогать тѣмъ, кто наиболѣе нуждается въ помощи; въ-третьихъ, понималъ бы ту своеобразную прелесть и свѣжесть, которыя даются общеніемъ съ простыми людьми; и, въ-четвертыхъ, понималъ бы огромное значеніе народа въ томъ общественномъ союзѣ, который именуется государствомъ. Этихъ условій слишкомъ достаточно, а фиктивныя догмы только спутываютъ и даютъ поводъ разнымъ кабинетнымъ замухрышкамъ быть *справедливыми* въ *несправедливомъ* дѣлѣ. Затѣмъ добавлю, что самыя клички «народничество», «народникъ» весьма условны и врядъ ли нужны.

А. Эртель.

П. Ѳ. Николаеву.

6 марта 1891, Углянка, Коз.-Вор. ж. д.

...Хуже всего, конечно, болѣзни, но что съ этимъ подѣлаешь: земное приходится отдавать земному. Осиливать это земное — это вещество, намъ, людямъ, если и дано, такъ не въ буквальномъ смыслѣ, ибо никакой крѣпкій духъ не совладѣетъ съ процессомъ воспаленія... Ну, такъ что же? А все-таки вертится! Химія, механика, физіологія, то-есть ихъ законы — своимъ чередомъ, а свѣтъ разума, сила духа — своимъ, и да здравствуетъ грядущее! Такъ вѣдь и въ общественномъ тѣлѣ: своимъ чередомъ земскіе начальники и все имъ подобное — да что земскіе начальники и имъ подобные! — своимъ чередомъ великія катастрофы, мучительныя смѣны культуръ, цивилизацій, господствующихъ и командующихъ расъ — и своимъ Духъ любви, свободы, правды, а съ нимъ неоскудѣвающая сила творчества.

Дорогой мой! нечего и говорить, какъ я былъ порадованъ тѣмъ, что «Смѣна» сдѣлала на васъ впечатлѣніе, т.-е., я категорически говорю, что вы ошибаетесь въ размѣрахъ моей писательской способности: безъ всякаго ложнаго смиренія, а по сущей совѣсти я утверждаю, что недостоинъ «развязать ремень на ногѣ» тѣхъ крупныхъ, кого вы называете въ вашемъ письмѣ; мало того, я отлично вижу преимущества надъ собою В. Г. Короленки и Чехова, и, повѣрьте, съ самымъ сочувственнымъ любопытствомъ слѣжу за ними — за тѣмъ, напримѣръ, какъ В. Г. пріобрѣтаетъ все большія силы въ своихъ послѣднихъ вещахъ. Но это въ сторону. По существу говоря,

табель о рангахъ имѣетъ очень мало значенія. Большое значеніе имѣетъ то, что есть сила, которая равно доступна и титулярному, и тайному совѣтнику, которая и въ рукахъ мелкой сошки въ состояніи волновать сердца и давать умамъ нѣчто новое. Сила эта—Правда. То, что пишете вы, и то, что мнѣ довелось услыхать еще кое отъ кого (Гольцевъ мнѣ пишетъ, что Г. Ив. Успенскій далъ «въ высшей степени сочувственный отзывъ о «Смѣнѣ»), потому и радуетъ меня, право же, только титулярнаго совѣтника, что Правда есть, что она схвачена, что усилія мои приблизиться къ ней не напрасны. Это все, что для меня нужно. А пишу я слово *Правда* съ большой буквы не зря. Вы вотъ говорите о моемъ отношеніи къ княжнѣ Тибякиной, о томъ, что это отношеніе гуманное и полно кроткаго сожалѣнія... Да, я именно такъ отношусь къ ней и, въ лицѣ ея, какъ издыхающей культурѣ, — къ барскому періоду русской исторіи. И въ такомъ отношеніи вижу правду. Въ дальнѣйшемъ теченіи романа вы встрѣтите такое отношеніе и къ другимъ персонажамъ, къ другимъ явленіямъ, къ такимъ персонажамъ и явленіямъ, къ которымъ вы, по принципу, сочтете, можетъ-быть, нужнымъ иное отношеніе; но я все-таки *мое* отношеніе считаю за Правду и буду ужасно радъ, если, говоря математическимъ языкомъ, сумѣю доказать это. Въ сущности *никто не виноватъ*, вотъ въ чемъ дѣло. Правда заключается въ томъ, чтобы доказать это. Любовь между людьми слишкомъ затрудняется предразсудками и условностями; самое важное дѣло искусства—расшатывать эти предразсудки, давать условностямъ надлежащую оцѣнку. Не подумайте, что это «толстовщина»; то, что нѣтъ виноватыхъ, не исключаетъ борьбы, но въ борьбѣ не надо забывать человѣка, надо помнить, что Катковъ — итогъ такихъ-то воздѣйствій и обстоятельствъ, а Чернышевскій — иныхъ, но все жъ таки оба они «итоги», не болѣе... Конечно, въ практической жизни, въ сферѣ политики, напримѣръ, трудно удержаться на этой точкѣ зрѣнія; не даромъ же Кавуръ сказалъ кому-то изъ своихъ приспѣшниковъ: «Если бъ мы сдѣлали для *себя* то, что мы дѣлаемъ для Италіи, то были бы большими негодяями» (Se noi facessimo per noi, quel che facciamo per l'Ita-

lia, saremmo gran bricconi). Я, въ свою очередь, можетъ-быть, при надлежащихъ обстоятельствахъ засадилъ бы покойника Дм. Андр. Толстого въ Шлиссельбургъ и, во всякомъ случаѣ, сочувствую не Мезенцеву — убитому, а Кравчинскому — убившему; за всѣмъ тѣмъ, въ сферѣ того искусства, которое Гюйо называетъ grand art, нѣтъ мѣста злобѣ и призывамъ къ насилію, ибо ни злоба, ни насиліе несовмѣстны съ Правдой. Пусть дерутся на баррикадахъ, пусть воюютъ, пусть распѣваютъ марсельезу и «Янки-Дудль» и «Боже, Царя храни»,— высокое искусство должно быть чуждо этой поэзіи войны, оно должно призывать только къ любви, только къ братству. Т.-е., оно, конечно, не сравняетъ въ общемъ безразличіи и марсельезу, и царскій гимнъ: всему отведетъ свое мѣсто, во всемъ соблюдетъ перспективу, но никогда не скажетъ, что «марсельеза» есть альфа и омега. Напомню вамъ одного изъ большихъ художниковъ и настоящаго почитателя Правды — Салтыкова. Возьмите одну изъ значительнѣйшихъ его вещей «Семейство Головлевыхъ», прочитайте смерть Іудушки. Этимъ все сказано. Это подлинное grand art. А сказка «Волкъ»? Да мало ли доказательствъ мы найдемъ у Салтыкова... И именно потому, что бы ни говорилъ Михайловскій, Салтыкова такъ трудно замкнуть въ какую-либо партію. Несомнѣнно, что онъ отводилъ разныя мѣста карасю и щукѣ, волку и зайцу, Сеничкѣ съ его «ядомъ» и Іудушкѣ съ опустошенной душою, перспектива была имъ соблюдена до такой даже степени, что революціонной молодежи, напримѣръ, онъ и совсѣмъ не коснулся, ибо не могъ касаться, по Правдѣ не могъ, но отсюда никакъ не слѣдуетъ, что онъ былъ писатель партіи. Поскольку журналистъ — да, онъ принадлежалъ къ партіи, но поскольку художникъ — никогда, или, что то же, — онъ принадлежалъ къ партіи «человѣчества».

Вотъ каковы мои «предвзятыя» мнѣнія, дорогой Петръ Ѳедоровичъ. Испортятъ ли они «Смѣну»,—не знаю. Думаю, что если порча и произойдетъ, такъ отъ противоположныхъ причинъ, оттого, что я могу оказаться непослѣдовательнымъ, увлечься, показать, что все спасеніе вотъ въ этакомъ-то практическомъ дѣлѣ или въ такой-то доктринѣ... Между

тѣмъ такія указанія не дѣло художника и только ослабляютъ его.

Боюсь, что вы возмутитесь моими словами; боюсь тѣмъ болѣе, что чувствую, какъ все это сказалось не ясно и вскользь. Но будьте снисходительны, и всѣ неясности поверните, пожалуйста, въ ту сторону, которая *по-вашему* хороша. Это и будетъ самое настоящее. А лучше всего дождитесь окончанія «Смѣны». Охъ, окончанія, окончанія!.. Знаете ли вы, что написано всего 4 главки, а предстоитъ еще 16, ибо романъ задуманъ именно въ такихъ размѣрахъ? и что редакція по справедливости торопитъ, а я по справедливости совершаю свое дѣло медлительно, и на носу — посѣвъ, и пахота, и платить по векселямъ, et cetera, et cetera...

Того, что вы называете «Помяловщиной», во мнѣ, пожалуй, дѣйствительно нѣтъ. Во мнѣ нѣтъ органической связи съ разночинцемъ, какъ это ни курьезно, ибо по сословію я мѣщанинъ. Изъ того, что у меня легко завязывались дружескія связи съ настоящими барами, что я до глубины души люблю Пушкина, что понимаю и способенъ наслаждаться самодовлѣющимъ искусствомъ, что люблю очень культурныхъ людей и особливо женщинъ, что мнѣ свойственны нѣкоторыя барскія привычки,—изъ всего этого, пожалуй, вѣрнѣе заключить, что органическая-то моя связь — съ прежнимъ періодомъ... Но и это не будетъ вѣрно. Т.-е., можетъ-быть, и вѣрно, да дѣло въ томъ, что, тяготѣя ко вчерашнему дню, я отлично вижу, въ чемъ преимущество нынѣшняго, а главное, не чувствуя себя роднею разночинцу, сознаю въ сильной степени сродство свое съ народомъ. И это отнюдь не потому, что у него община и артель, а просто оттого, отчего шире и вольнѣе подымается грудь, когда выйдешь изъ театра, гдѣ пѣла Патти, на чистый воздухъ. Хорошо поетъ Патти, плѣнительны чары искусства, красивы костюмы и декораціи, и наряженные люди въ ложахъ, весело сверкаютъ огни и брильянты, а все-таки какъ *неизмѣримо* лучше и *правдивѣе* здѣсь на свѣжемъ воздухѣ, въ виду ясныхъ звѣздъ, подъ этимъ дыханіемъ вѣтра, въ этомъ царствѣ тишины и захватывающаго простора. Не выведите отсюда, что я «народникъ». Отнюдь нѣтъ. Народничество дер-

жится на трехъ китахъ: долгъ, расплата и обязанности. Оныхъ китовъ я отвергаю... Я просто испытываю величайшее художественное наслажденіе и душевный отдыхъ въ условіяхъ крестьянской *здоровой* жизни, т.-е. когда она *здорова*, что, конечно, бываетъ не весьма часто. И по совѣсти скажу, мужицкая интеллигенція, та, что всего болѣе хлопочетъ о душѣ да о правдѣ (а кстати и насчетъ земельки) и роется въ твореніяхъ святыхъ отцовъ, въ св. писаніи, ищетъ новой вѣры, складываетъ по-новому и нравственныя, и экономическія отношенія, — эта интеллигенція для меня *болѣе залогъ прогресса*, нежели пресловутый разночинецъ. Хотя, конечно, разночинецъ скорѣе найдетъ точки соприкосновенія съ нею, чѣмъ баринъ. Тутъ кстати сказать о Львѣ Толстомъ. По странной ироніи судьбы, именно этотъ послѣдній баринъ пріуготовилъ огромный арсеналъ для мужицкой интеллигенціи. И смѣю увѣрить васъ, что напрасно разночинецъ фыркаетъ на Толстого. Содержаніе передовой мужицкой мысли по преимуществу религіозное... А что по этой части можетъ представить разночинецъ? Евангеліе отъ Герберта Спенсера? А у Толстого до чрезвычайности много того, что очень нужно народу и что съ каждымъ годомъ все будетъ нужнѣе и нужнѣе. Разночинцу стоитъ объ этомъ подумать, если онъ не хочетъ объявиться пятымъ колесомъ.

Ужасно досадно, что приходится спѣшить и говорить намеками и недомолвками...

Ахъ, Петръ Ѳедоровичъ, завѣтнѣйшая мечта моя — это написать романъ *не въ условіяхъ русской цензуры*... Къ сожалѣнію, для этого нужно ѣхать за границу, кой съ кѣмъ повидаться тамъ и, главное, тамъ же и писать въ виду того, что только тамъ можно собрать необходимые документы. Такимъ образомъ, годъ, цѣлый годъ! нужно пробыть за границей, изъ котораго мѣсяцевъ 10 въ одномъ мѣстѣ. Какъ видите, это одна только мечта. А думаю, что можно и пора написать романъ вотъ объ этомъ «молодомъ движеніи» — начиная съ 19 февраля и кончая казнью послѣ 1-го марта. Конечно, тутъ есть и еще одно препятствіе: невозможность достать интимные матеріалы — дневники, мемуары, переписку.

Ужасная потеря для исторіи, что мемуары, напр., отчасти небезопасно составлять, а отчасти ихъ не составляютъ по разнымъ личнымъ причинамъ. Какую бы, напр., поразительную картину могли написать вы, если бы захотѣли разсказать всю вашу внутреннюю и внѣшнюю жизнь и дать характеристику тѣхъ людей, съ которыми вамъ приходилось дѣйствовать на свободѣ до процесса и затѣмъ жить на каторгѣ и въ ссылкѣ... Романъ на такую тему плѣняетъ и Л. Н. Толстого; т.-е. онъ его не напишетъ и даже не собирается писать, но когда говоритъ о темѣ — глаза его блестятъ огнемъ; онъ всегда глубоко интересуется разсказами о «молодомъ движеніи»; то, что не составляются мемуары, безслѣдно гибнутъ интимные документы, его очень огорчаетъ; съ какимъ любопытствомъ онъ слушалъ то, что мнѣ приходилось говорить ему о революціонныхъ воспоминаніяхъ, съ какимъ выраженіемъ говорилъ: «Если бы *моя* просьба для *нихъ* значила что-нибудь, я бы ихъ убѣждалъ, уговаривалъ, просилъ бы записывать воспоминанія — хотя бы то, что можно записать; со временемъ изъ этого составится картина поразительная, потрясающая». Необходимо добавить, что, питая родъ какого-то физіологическаго отвращенія къ «либераламъ» — впрочемъ, одинаково, какъ и къ консерваторамъ — онъ едва не съ благоговѣніемъ относится къ революціонерамъ, — конечно, не къ системѣ ихъ дѣйствій и не къ ихъ политическому міросозерцанію, а къ ихъ личности, характерамъ, убѣжденности, искренности, къ тому, что они, вступая въ борьбу, не оглядывались и не подкладывали соломки, куда бы упасть, какъ это сплошь и рядомъ бываетъ въ средѣ либераловъ.

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

10 марта 1891.

...Мнѣ на-дняхъ попалась въ руки «Исторія философіи» Вебера, и я тамъ нашелъ все, что мнѣ нужно было о Берклеѣ, т.-е. убѣдился въ томъ, что складъ его міровоззрѣнія весьма концентриченъ съ моимъ, и что я могу съ пользою для своей души поближе познакомиться съ нимъ; но, разумѣется, не изъ третьихъ рукъ, а по его оригинальнымъ сочиненіямъ, которыя при случаѣ и выпишу себѣ. Относительно того, что, какъ ты говоришь, его роль, какъ мыслителя, въ наукѣ, называемой философіей, весьма не первостепенна, то это обстоятельство нимало меня не смущаетъ, и если бы оно имѣло какое-нибудь вліяніе на мое отношеніе къ Берклею, то, признаюсь, скорѣе располагало бы меня въ его пользу. Но мнѣ кажется, что ты ошибаешься, такъ какъ проф. Козловъ, переводчикъ Вебера, прямо называетъ Берклея однимъ изъ «великихъ творцовъ философіи» на ряду съ Бруно, Декартомъ, Малебраншемъ, Спинозою, Юмомъ, Лейбницемъ, Кантомъ, Фихте и др. Самъ же Веберъ ставитъ философію Берклея выше Лейбница, Декарта и Вольфа, и хотя самъ, очевидно, не вполнѣ согласенъ съ ней, но откровенно признается, что спиритуализмъ Берклея «удовлетворяетъ глубочайшей потребности философскаго духа». Впрочемъ, повторяю, подобный научный *успѣхъ* мыслителя не имѣетъ въ моихъ глазахъ никакого значенія.

Тотъ, кого нынче «послѣднее слово науки», если можно употреблять такое безсмысленное выраженіе, считаетъ величиною второстепенною, можетъ черезъ тысячу лѣтъ оказаться первымъ родоначальникомъ міровоззрѣнія, въ то время признаваемаго за наиболѣе истинное. Подобныхъ примѣровъ достаточно въ прошломъ. И такъ какъ невозможно предугадать qui rira le dernier, какъ говорятъ французы, то мнѣ кажется, что лучше всего руководствоваться своимъ собственнымъ, хотя бы и ограниченнымъ, но зато самобытнымъ разумѣніемъ, и по-своему опредѣлять относительное значеніе для себя тѣхъ или другихъ мыслителей, совершенно независимо отъ

ходячихъ въ данное время научныхъ воззрѣній на этотъ предметъ. Признаюсь также, что вообще вся наука философіи меня очень мало интересуетъ; я даже думаю, что она по существу своему «не то». Если бы для того, чтобы выработать себѣ правильное пониманіе жизни, необходимо было ознакомляться съ философіей, то это значило бы, что для того, чтобы понять смыслъ жизни, необходимо человѣчеству умереть съ голоду: ибо пониманіе смысла жизни по существу своему одинаково важно и нужно *всякому* человѣку; если же рабочія массы стали бы изучать науку философіи, то и онѣ и мы съ тобой неизбѣжно умерли бы съ голоду. По этой самой причинѣ меня мало интересуетъ и критика Козлова на книгу «О жизни» Л. Н—ча. На эту книгу я вовсе не смотрю, какъ на какую-нибудь новую «философскую систему», и съ этой точки зрѣнія не сомнѣваюсь въ томъ, что она можетъ послужить канвою для весьма блестящей философской критики. Для меня книга «О жизни» это только начерно набросанныя мысли о смыслѣ жизни, какъ онѣ выяснялись въ душѣ одного моего близкаго и сроднаго по духу друга. Мысли эти опять-таки «концентричны» съ моими, и потому я много хорошаго и нужнаго мнѣ черпаю изъ нихъ. Недостатки изложенія этой книги мнѣ и самому видны такъ же, какъ и недомолвки и своеобразныя выраженія, производящія впечатлѣніе противорѣчій. Но моя душа своимъ собственнымъ сроднымъ содержаніемъ пополняетъ недосказанное и исправляетъ неосторожно или неточно сказанное, и по природному телефону, проведенному между тайниками всѣхъ «концентричныхъ» душъ, я знаю, что при этомъ моя душа мыслитъ и чувствуетъ въ унисонъ съ душою Л. Н—ча. Всѣ его писанія, если хочешь, полны противорѣчій, и въ этомъ отношеніи они могутъ представлять драгоцѣнный матеріалъ для критиковъ и вообще тѣхъ, кому хочется отстранять отъ себя его взгляды. Но я думаю, что тотъ, кто сталъ бы искать одной только истины, совершенно независимо отъ тѣхъ нравственныхъ обязательствъ, которыя эта истина можетъ на него наложить (и того страданія душевнаго, которое воспослѣдуетъ отъ неисполненія имъ этихъ обязательствъ), тотъ не то что найдетъ истину въ книгѣ «О жизни», но книга эта, несомнѣнно, поможетъ ему въ его поискать, какъ я и знаю много случаевъ и въ Россіи, и за границей. И такой человѣкъ не станетъ раздувать противорѣчія изложенія и т. п., но, наоборотъ, станетъ *примирять* ихъ между собою, ибо онъ пойметъ, что произошли они единственно отъ страстности мышленія человѣка, горячо и искренно живущаго и потому слишкомъ принимаю-

щаго къ сердцу то, что выясняется въ его душѣ, для того, чтобы точно взвѣшивать каждое свое слово. А потому я, признаюсь тебѣ откровенно и съ нѣкоторою внутреннею робостью, придаю гораздо больше значенія тому, какъ отражаются мысли Л. Н—ча о жизни въ сознаніи Макара и Емельяна, нежели проф. Козлова.

В. Г. Черткову.

22 марта 1891 г.

... О проф. Козловѣ и о твоемъ отношеніи къ философіи я говорить не буду, развѣ только одно, что, конечно, ты правъ, придавая большое значеніе тому, какъ отражаются мысли Л. Н — ча о жизни въ сознаніи Макара и Емельяна. Что касается до меня, я не могу вычеркивать изъ числа живыхъ существъ [1]) и проф. Козлова, и придавая, какъ и ты, весьма большое значеніе сознанію Макара и Емельяна, придаю такое же значеніе сознанію проф. Козлова [2]) и тому, какъ въ его сознаніи отражаются мысли и Л. Н—ча и иныя. Тутъ выходитъ какая-то странная путаница. Ты, всегда готовый сказать, что «это мнѣ представляется истиной», что «можетъ-быть, я и ошибаюсь, такъ какъ сужденія мои относительны», — съ такимъ мнѣніемъ объ относительности и условности сужденія, считаешь возможнымъ такъ рѣшительно судить о томъ, *что мнѣнія другихъ ошибочны,* какъ я не считаю возможнымъ, несмотря на то, что сужденіе, по-моему, можетъ быть не только *относительно,* но и *безусловно* справедливымъ. Впрочемъ, если я ошибаюсь, приписывая тебѣ пренебреженіе къ тому, какъ отражаются мысли Л. Н—ча въ сознаніи проф. Козлова и ему подобныхъ людей, то съ величайшей готовностью беру свои слова обратно. — Это хорошо, если Беркли такъ важенъ, какъ увѣряетъ Козловъ, но мнѣ все что-то не вѣрится; подождемъ, пока ты познакомишься съ оригиналомъ. Мнѣ, къ сожалѣнію, оригиналы недоступны, и

---

[1]) и [2]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

не потому только, что я не владѣю языками, но и потому, что философскій языкъ я одолѣваю съ большимъ трудомъ, а иногда и совсѣмъ не одолѣваю. Вотъ почему я въ большинствѣ случаевъ совершенно удовлетворяюсь, если мнѣ удается схватить основную мысль или основныя мысли того или иного философа и сопоставить эту мысль или эти мысли не съ его аргументами, а съ тѣми доказательствами «за» и «противъ», которыя даются жизнью и собственнымъ моимъ разумѣніемъ. Сознаюсь, что такое пользованіе философіей имѣетъ большіе недостатки, зато оно обезпечиваетъ мнѣ свободу и безпристрастное отношеніе къ авторитетамъ. Ставить въ зависимость отъ изученія философіи свое міровоззрѣніе, свое отношеніе къ существующему, конечно, неблагоразумно, но нельзя отрицать того, что въ сферѣ философіи найдется достаточное количество и такихъ проблемъ и такихъ рѣшеній, которыя въ обыденной жизни часто остаются незамѣченными. Напр., та призрачность существованія [1]), о которой ты мыслишь, и такъ радуешься, что находишь ее и у Беркли, есть несомнѣнно результатъ философіи, хотя, конечно, зачатокъ этого ученія найдемъ и въ наивныхъ, донаучныхъ міровоззрѣніяхъ. Благо тому, кто удовлетворяется обычнымъ, «бытовымъ» міровоззрѣніемъ, кто и въ такомъ міровоззрѣніи находитъ достаточную основу для своего *я*, для своего отношенія къ людямъ и природѣ, но когда первоначальное утвержденіе теряетъ свою силу, когда первобытное міровоззрѣніе невольно разлагается притокомъ новыхъ и сложныхъ впечатлѣній, было бы жестоко упразднить сферу науки, абстракцій, отвлеченіе, закрыть тѣ перспективы, гдѣ человѣческій разумъ совершаетъ свою, до извѣстной степени, можетъ-быть, и самодовлѣющую работу, въ условіяхъ логической *научной* дисциплины [2]). Вѣдь въ жизни отдѣльнаго человѣка, какъ и всего человѣчества, легко можетъ оказаться (и оказывается) необходимая потребность найти разумныя основанія для тѣхъ безсознательныхъ утвержденій, которыми иногда по привычкѣ, иногда по вѣрѣ держится то

---

[1]) и [2]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

или иное credo, — какъ это случилось, напр., съ Льв. Ник—чемъ,—и вотъ тутъ-то въ философіи найдется богатый арсеналъ. Я сильно сомнѣваюсь, чтобы Л. Н. Т. сдѣлалъ бы въ области мысли то, что онъ сдѣлалъ, если бы ему не былъ извѣстенъ этотъ арсеналъ — если бъ онъ въ своемъ «исканіи Бога» (какъ разсказываетъ въ «Исповѣди») не отправлялся отъ отрицанія Канта. Нѣтъ спора, что и безъ знанія того, что вѣками сдѣлано въ области философскаго мышленія, геніальная мысль, творческая способность могутъ озарить различныя загадки бытія поразительнымъ свѣтомъ, какъ можно и одною сохою вспахать почву, не прибѣгая къ болѣе совершеннымъ орудіямъ; но также не можетъ быть спора, что разумъ, вооруженный познаніями, или, короче говоря, методомъ, тѣмъ, что по преимуществу даетъ изученіе философіи, способенъ на болѣе плодотворную работу, нежели такой разумъ, который не знаетъ никакихъ методовъ, никакой дисциплины [1]). Конечно, необходимо памятовать, что философія не есть *цѣль*, а есть — *средство*, но это ужъ особый разговоръ. — То, что ты говоришь о «концентричности» — и вѣрно, и невѣрно. Стремленіе къ ней и существуетъ, и законно, но ея наличность — увы! — не всегда обезпечиваетъ достиженіе истины. Впрочемъ, я началъ съ того, что сказалъ: «не буду говорить», а наговорилъ съ три короба... Вотъ что значитъ послѣдовательность! Крѣпко обнимаю тебя.—А. Эртель.

P. S. Въ «Вѣст. Евр.» появилось начало статей Вл. Соловьева: «Идолы и идеалы»; подвергаются чрезвычайно рѣзкой критикѣ два современныя направленія мысли: крѣпостническое и «толстовское». Что касается до критики крѣпостничества и вообще нынѣшнихъ дворянскихъ вожделѣній — она поистинѣ великолѣпна и такъ выразительна, что я ожидаю насильственнаго прекращенія статей, по крайней мѣрѣ, въ «Вѣстникѣ Европы».

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

27 марта 1891.

... Относительно Козлова ты, кажется, не совсѣмъ меня понялъ. Я хотѣлъ только объяснить тебѣ, почему критика «О жизни» Козлова меня *не интересуетъ;* о безусловной же его ошибочности я, кажется, ничего не говорилъ. Если бы меня вообще интересовали взгляды Козлова, то я прежде всего постарался бы познакомиться съ его самостоятельнымъ *положительнымъ* міровоззрѣніемъ. Но раньше Козлова я, конечно, сталъ бы знакомиться съ другими, болѣе характерными мыслителями. А на самомъ дѣлѣ я не имѣю ни малѣйшей причины для предпринятія такого изслѣдованія, такъ какъ предпочитаю самостоятельно вырабатывать свое отношеніе къ жизни, пользуясь *поддержкою* со стороны людей, мнѣ сродныхъ по духу и мыслящихъ въ томъ же направленіи, какъ и я. О критикѣ же «О жизни» Козлова я съ разныхъ сторонъ уже кое-что даже слышалъ, и «философъ» этотъ представляется мнѣ чѣмъ-то въ родѣ сортировочной машины, какъ, впрочемъ, и огромное большинство ученыхъ, а машины эти для меня очень мало привлекательны, и по самому своему устройству онѣ таковы, что должны неизбѣжно или ломаться, или съ шипѣніемъ выбрасывать изъ себя всякій попадающій въ нихъ предметъ, несоотвѣтствующій впередъ опредѣленному шаблону.

...Вотъ статьи Соловьева, о которыхъ ты пишешь, меня интересуютъ до нѣкоторой степени, потому что я знакомъ и съ нимъ лично, и съ его положительнымъ міровоззрѣніемъ. Кромѣ того я интересуюсь имъ какъ человѣкомъ, и онъ для меня очень любопытенъ, какъ человѣкъ вполнѣ добросовѣстно все поворачивающійся спиной къ свѣту. (Оговариваюсь, что подъ «свѣтомъ» я вовсе не разумѣю такъ называемое «ученіе Толстого»). Впрочемъ, боюсь, что этимъ «дерзкимъ» мнѣніемъ я вызову еще недоразумѣніе и покажусь тебѣ нетерпимымъ. Ну, да это все равно.

В. Г. Черткову.[1])

30 марта 1891 г.

Помаленьку да полегоньку, и, въ концѣ-концовъ, мы, кажется, дописались съ тобой до воинственнаго тона. И что

---

[1]) Это письмо не было послано.

вѣдь любопытно: все это «подъ видомъ благочестія», подъ тѣмъ предлогомъ, что необходимо де возможно настойчиво выразить свое мнѣніе и опровергнуть то, которое будто бы не согласно съ истиной... По крайней мѣрѣ, я-то именно съ этою цѣлью «благочестія» написалъ многое, чего вовсе и не слѣдовало писать... Да, ну его, профессора Козлова! Я съ величайшею охотою, коли на то пошло, соглашусь съ тобою, т.-е. въ томъ, что — спица маленькая профессоръ Козловъ.

Мнѣ интересно послушать и его, это правда, въ особенности, когда онъ говоритъ о явленіи такой важности, какъ графъ Л. Толстой, но я отнюдь еще не собирался производить его въ самостоятельные мыслители. То, что ты говоришь о сортировкахъ, очень остроумно и очень подходитъ къ такъ называемымъ цеховымъ ученымъ, типъ которыхъ встрѣчалъ и прежде надлежащее осужденіе, и притомъ отъ несомнѣнныхъ приверженцевъ науки, — отъ такихъ, напр., какъ Гёте (Вагнеръ въ «Фаустѣ») или Герценъ. Что касается до Вл. Соловьева — этотъ во всякомъ случаѣ не Вагнеръ и будетъ покрупнѣе проф. Козлова, но я очень мало знакомъ съ его «положительнымъ міросозерцаніемъ» и потому берусь судить лишь о его послѣднихъ, въ Россіи напечатанныхъ работахъ. Кой-что въ нихъ мнѣ чрезвычайно нравится, а многое кажется ошибочнымъ. Отсюда, конечно, далеко до того, чтобы я нашелъ твое мнѣніе о Соловьевѣ «дерзкимъ». Да и что такое «дерзкое» мнѣніе? Оно можетъ быть правильнымъ или неправильнымъ, это такъ, но называть какое бы то ни было мнѣніе «дерзкимъ» можетъ или гимназистъ, или начальство, или человѣкъ, порабощенный авторитету. Я не гимназистъ, не начальство, а авторитетъ мой даетъ мнѣ весьма широкую свободу, но отнюдь не налагаетъ на меня бармы раба. Я, если и склоненъ иногда — увы! очень рѣдко, — обозвать чье-либо мнѣніе дерзкимъ, такъ это у меня означаетъ похвалу, а не порицаніе, — похвалу той истинной свободѣ мысли, которая не боится даже парадоксовъ.

Въ концѣ-концовъ, я думаю, что всякій имѣетъ право ошибаться, и что истина — одна, но путей къ ней столько же, сколько людей. И это оттого такъ много путей, что истина

не достигается однимъ разсужденіемъ, законы котораго, разумѣется, одинаковы для всѣхъ; истина достигается всею жизнью, всею совокупностью жизненныхъ функцій — и дѣломъ, и словомъ, и помышленіемъ, — а совокупность такихъ функцій въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ опредѣляется на свой ладъ, своимъ особеннымъ отъ другихъ образомъ, опредѣляется тѣмъ, что принято называть *индивидуальностью*.

Тотъ фактъ, что Матв. Ник. покидаетъ Ржевскъ, меня, разумѣется, печалитъ, и не столько мнѣ грустно за Матв. Ник., сколько за васъ. Въ немъ вы имѣли не наемника, а истиннаго, неподкупнаго друга — такого притомъ друга, который умѣлъ сочетать практическое знаніе жизни съ ея идеалистическимъ пониманіемъ. Къ сожалѣнію, такіе люди крайне рѣдки, и замѣстителя найти очень трудно. Положимъ, и Матв. Ник. пришелъ къ вамъ жить въ качествѣ наемника, «управляющимъ» твоими дѣлами, но въ немъ были тѣ идеалистическіе задатки, которые и должны были развернуться и развернулись подъ твоимъ вліяніемъ, а гдѣ найти такого человѣка? У насъ вѣдь такъ: либо идеализмъ, либо практическое пониманіе жизни, а сочетанія сихъ свойствъ почти нѣтъ. Въ лицѣ Матвѣя Николаевича вы имѣли какъ бы мостикъ отъ той вашей личной сферы, гдѣ исключено все житейское, все условное, все практическое, — мостикъ къ другому берегу, берегу текущей дѣйствительности, если можно такъ выразиться. За всѣмъ тѣмъ я очень понимаю, отчего Матв. Ник. уходитъ изъ Ржевска, т.-е. думается мнѣ, что понимаю, хотя рѣшительно не знаю, что онъ теперь желаетъ предпринять, и вообще для меня продолжаетъ быть загадочнымъ его душевный процессъ. Вотъ какъ я понимаю уходъ Матвѣя Николаевича изъ Ржевска. Когда онъ былъ простымъ «наемникомъ», его задача была легка. Его задача была въ томъ, чтобы по возможности безукоризненно исполнить планъ «хозяина». Но по мѣрѣ того, какъ росло твое умственное вліяніе на него — и нравственное, добавлю — по мѣрѣ того, какъ онъ преображался изъ наемника въ искренняго друга, эта роль передаточнаго колеса, роль «мостика», и сознательно, и безсознательно должна была опротивѣть ему. И опроти-

вѣла. Въ концѣ-концовъ, ему захотѣлось той свободы, которая такъ трудно достижима, когда исполняешь чужую волю. Потому что, какъ ни широка была его самостоятельность въ Ржевскѣ, но все-таки это не была самостоятельность свободнаго человѣка; это была огромная самостоятельность для «наемника», но было рабство для того свободнаго человѣка, котораго онъ, благодаря тебѣ же и твоимъ мыслямъ, почувствовалъ въ себѣ. Къ сему, конечно, нужно прибавить нѣкоторыя особенности его характера, недостатокъ въ немъ спокойствія, выдержки, нервическую его способность волноваться пустяками, способность его «закусывать удила» иногда по самому ничтожному поводу, и ту гордость своими мнѣніями, о которой я тебѣ писалъ когда-то и которая въ меньшей степени, но и теперь существуетъ въ Мат. Ник. Въ заключеніе скажу рѣшительное слово, милый, дорогой мой другъ: твое несчастье въ томъ, что ты своимъ *образомъ жизни* какъ бы обреченъ противорѣчить тѣмъ логическимъ выводамъ, которые вытекаютъ изъ твоего *образа мыслей*. Изъ твоего *образа мыслей* вытекаетъ тотъ взглядъ на міръ и на житейскія отношенія, которому трагически противорѣчитъ и то, что ты живешь «домомъ», и то, что ѣздишь въ Петербургъ и на Кавказъ, и то, что въ Ржевскѣ ведется хозяйство, и раздаются деньги на разныя нужды, и то, что издаются книжки и картины, и то, что, какъ тамъ ни говори, но именно тебѣ, Черткову, а не Ивану и не Ѳомѣ, принадлежитъ та земля, которой ты или твой довѣренный распоряжаетесь. Что до меня, то я всегда былъ радъ и буду радоваться этой твоей «непослѣдовательности», ибо не будь ея, напр., не было бы и очень важнаго дѣла — издательства, не было бы помощи раздѣтымъ и голоднымъ. Но въ условіяхъ твоего міровоззрѣнія все жъ таки все сіе суть непослѣдовательность, какъ это и признаетъ безпощадно послѣдовательный фанатикъ Н. Н. Ге[1]).

Благодаря счастливой случайности, эта твоя «непослѣдовательность» въ значительной степени скрашивалась и при-

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

крывалась отъ тебя такими людьми, какъ И. И. Горбуновъ и М. Н. Чистяковъ. Но вотъ въ чемъ роковой признакъ отсутствія цѣльности. Когда такая цѣльность, такая гармонія, такая стройность отсутствуютъ въ какомъ-либо предпріятіи или въ какой-либо общинѣ, семьѣ, въ какой-либо отдѣльной жизни, тогда сначала едва замѣтно, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше, въ атмосферу просачивается отрава, въ души проникаетъ горькое чувство неудовлетворенности, сознаніе раздваивается... и— «по плодамъ ихъ узнаете ихъ». Всѣ мы въ большей или меньшей степени страдаемъ этой зыбкостью, этимъ отсутствіемъ въ насъ и въ нашихъ поступкахъ цѣльности и гармоніи, но люди съ твоимъ образомъ мыслей должны страдать этимъ еще болѣе, если не обладаютъ той прямолинейностью, которая въ средніе вѣка свойственна была, напр., людямъ въ родѣ Бернарда изъ Клерво, а теперь не знаю кому свойственна. (Вѣдь у Льва Николаевича тоже есть «счастливая случайность», «мостикъ»: его положеніе великаго писателя, благополучнаго семьянина, и то, что работаетъ онъ или нѣтъ, есть у него въ карманѣ грошъ или нѣтъ гроша, а все-таки онъ будетъ и сытъ, и одѣтъ, и это *навѣрное*.)

Такъ вотъ мнѣ и думается, что отъ тебя неминуемо должны уходить тѣ люди, которые несутъ на себѣ какое-либо практическое дѣло около тебя и которые, благодаря вліянію твоего же образа жизни, въ одинъ прекрасный день убѣждаются, что ты непослѣдователенъ. И ихъ никакъ не удовлетворитъ любая доля самостоятельности, потому что не въ ней дѣло, а дѣло въ томъ, что нѣтъ духа созидающаго, что все разлагается двойственностью и сомнѣніемъ. Конечно, могутъ быть исключенія, къ которымъ, кажется, принадлежитъ Ив. Ив., напр., но я объ исключеніяхъ не говорю. О Матв. же Николаевичѣ можно съ увѣренностью сказать, что именно онъ жаждетъ цѣльности, и что гонитъ его изъ Ржевска непобѣдимое стремленіе къ ней, хотя это стремленіе, вѣроятно, и для него самого смутно. Его, конечно, теперь уже не удовлетворитъ та цѣльность, которая достигалась имъ, когда онъ началъ жить въ Ржевскѣ въ качествѣ «наемника», и въ этомъ сказалось твое въ высшей степени благотворное

вліяніе на него. А то, что ты не могъ продолжить своего вліянія, не могъ показать ему, какъ твой *образъ мыслей* смыкается въ одно неразрывное цѣлое съ *образомъ жизни*,— эта невозможность есть твоя личная драма, за которую тебя могутъ обвинять только очень жестокіе или «тронутые» люди, или по невѣдѣнію.

На первый разъ дѣйствительно представляется страннымъ, какъ это не найти хорошаго и знающаго человѣка для столь симпатичнаго дѣла, какъ дѣло Мат. Ник. въ Ржевскѣ. Но если вдуматься хорошенько, тутъ ничего нѣтъ страннаго. Дѣло въ томъ, что хорошій и знающій человѣкъ тогда только можетъ видѣть смыслъ въ своемъ дѣлѣ, когда видитъ, что оно утверждено на прочныхъ и неколеблемыхъ началахъ, когда результаты этого дѣла совершенно соотвѣтствуютъ его мотивамъ. Такъ ли происходило у васъ, въ Ржевскѣ? — Не думаю. Посѣвы и постройки, вытекающіе изъ отрицанія начала собственности; наемъ служащихъ и рабочихъ изъ признанія безусловнаго равенства; сторожа и кучера изъ того, что «нищенство» есть самое блаженное состояніе; фельдшерица изъ отрицанія медицины [1]). Согласись, что эта сѣть непримиримостей отнюдь не была способна укрѣпить то дѣло, которое долженъ былъ вести Мат. Ник., не была способна внести миръ въ его душу. Мучаясь потребностью «свести концы», онъ то искалъ изъяны въ «образѣ мыслей», то въ «образѣ жизни», и, конечно, не свелъ эти концы, а почувствовалъ, что надо уходить, что онъ нестерпимо усталъ отъ этой непрерывной раздвоенности. Тутъ, дорогой мой, не въ томъ вопросъ: пойдетъ или не пойдетъ *впередъ* Мат. Ник. послѣ того, какъ уѣдетъ изъ Ржевска, а въ томъ, скоро ли онъ отдохнетъ? Ему прежде всего необходимъ отдыхъ. Это такъ понятно, если сообразить, что въ теченіе двухъ лѣтъ онъ воспринялъ массу потрясающихъ впечатлѣній, дотолѣ имъ неиспытанныхъ, и не имѣлъ возможности примирить ихъ въ своей душѣ, ибо не было имъ примиренія и тамъ, откуда онъ ихъ воспринялъ.

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

Все, что я написалъ здѣсь о предполагаемомъ состояніи Мат. Ник., по всей вѣроятности, для него не представляется яснымъ. Но со стороны иногда бываетъ яснѣе. Я сдѣлалъ свое заключеніе по тому, что видѣлъ собственными глазами и что вынесъ изъ его отрывочныхъ и, по правдѣ сказать, мало опредѣленныхъ разсказовъ о ржевскихъ впечатлѣніяхъ. Но я увѣренъ, что именно въ томъ, что я написалъ, подкладка его рѣшенія оставить васъ, а вовсе не въ томъ, что вы не сошлись характерами, или въ какихъ-либо житейскихъ столкновеніяхъ и пустякахъ. Я знаю, что онъ *крайне* тебя любитъ, и это несходство, если оно есть, или столкновенія и пустяки, если они были, не могли бы заставить его уйти. Причина гораздо глубже и гораздо сложнѣе.

Ты пишешь: «мы отлично понимаемъ, что, въ концѣ-концовъ, должны опротивѣть всякому»... и т. д. Это не вѣрно. Вы лично можете только возбуждать любовь, по крайней мѣрѣ, за себя я съ увѣренностью говорю это, но жизнь вокругъ васъ столь мрачно окрашена, въ ней такъ звучатъ диссонансы, такъ отражается непримиримость[1]) того, что вы думаете о жизни, съ тѣмъ, что вы дѣлаете, что дѣйствительно участвовать въ этой жизни весьма трудно.

Обнимаю тебя. А. Эртель.

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

П. А. Бакунину.

30 апрѣля 1891, с-цо Емпелево.

Завтра 1-е мая, а нынѣ съ ранняго утра идетъ сильный снѣгъ при сильномъ сѣв.-зап. вѣтрѣ. Въ поляхъ вдали — мутно, а вблизи—бѣло; въ саду—странное сочетаніе свѣжей зелени съ цвѣтомъ зимней вьюги... Снѣгъ лежитъ на душистомъ тополѣ, на развернувшейся березѣ, на газонахъ цвѣточныхъ клумбъ. А между тѣмъ вчера еще такъ звонко пѣлъ соловей и ворковали горлинки, и звучалъ нѣжными переливами голосъ иволги. Все такъ-то въ этомъ прекраснѣйшемъ изъ міровъ!.. Вообще весна у насъ стоитъ прихотливая; въ началѣ марта сошелъ снѣгъ; вешнія воды были скудныя и прошли быстро; съ 26 марта начались посѣвы... Да, начались. А четыре дня тому назадъ было три мороза въ 5^0 R, и наиболѣе нѣжныя растенія погибли. Въ числѣ прочихъ хозяевъ пострадалъ и я: у меня погибло шесть десятинъ рапса... Къ счастью, уцѣлѣли еще два сорта масличныхъ: подсолнухъ и рыжикъ, — того и другого по $11^1/_2$ десятинъ; а еще боязливое растеніе — просо, только сегодня собирались сѣять; на новой землѣ (на нови) посадили мы 150 кв. саж. арбузовъ и дынь и все тужили, что холода и бездождіе препятствуютъ имъ взойти до сихъ поръ. Вышло же къ лучшему, потому что морозъ навѣрное истребилъ бы ихъ до основанія. Такимъ образомъ, враги моего хозяйства вовсе не крестьянскіе «гуси» — и въ этомъ отношеніи я совершенно спокоенъ — а любвеобильная природа, на которую, въ концѣ-концовъ, и жаловаться некому. А у Фета —

наоборотъ: природѣ — восторженные лирическіе звуки, гусямъ же — проклятіе и угрозы административнымъ взысканіемъ.

Дорогой Павелъ Александровичъ! Въ началѣ февраля я получилъ ваше послѣднее письмо, и, какъ видите, въ концѣ апрѣля собрался, наконецъ, поговорить съ вами. Много причинъ сплелось, чтобъ помѣшать мнѣ. Болѣла Маруся, болѣла Таточка, измучила меня 5-я глава моего романа, которую пришлось передѣлывать раза четыре, затѣмъ наступили хозяйственныя и денежныя заботы, и опять романъ, и то, что гостилъ нѣкоторое время пріятель изъ Москвы, и недавно — другой пріятель, et cetera, et cetera... Правда, я всегда могъ написать десятокъ-другой строкъ, но для чего? Въ этихъ строкахъ навѣрное не было бы содержанія, а къ вамъ мнѣ всегда очень совѣстно посылать безсодержательныя письма. Этимъ я не хочу сказать, что вотъ настоящее письмо блещетъ своимъ содержаніемъ, но, принимаясь за него, я чувствовалъ, что душа-то моя полна содержаніемъ, а ужъ выскажется это или нѣтъ — другой вопросъ. И опять это не значитъ, что ровно три мѣсяца я жилъ съ пустопорожней душой... Нѣтъ, не съ пустой душою я жилъ это время, но настроеніе моихъ мыслей и чувствъ вызывалось иными отношеніями, иными заботами — той стороной жизни, которая не была и отчасти не могла быть предметомъ моей съ вами переписки. За это время мнѣ приходилось отвѣчать на письма знакомыхъ и незнакомыхъ людей о «Гарденинихъ» и вотъ о новомъ моемъ романѣ «Смѣна». Этотъ послѣдній, кажется, имѣетъ успѣхъ больше, чѣмъ «Гарденины», но по поводу его я получилъ столь восторженныя увѣренія въ предстоящей мнѣ роли «художника разночинца», что по совѣсти не могъ не отвѣтить обстоятельнымъ опроверженіемъ. По правдѣ сказать, похвалы людей въ родѣ Боборыкина, Иванюкова и нашего милаго общаго знакомца, Петра Ѳед. Николаева, начинаютъ меня смущать — и развѣ то, что Гл. Ив. Успенскій весьма одобряетъ, подаетъ еще нѣкоторую надежду, что дѣло не совсѣмъ швахъ. А главное, все это ужасно, ужасно рано: вѣдь, въ печати появились лишь четыре главы, а ихъ будетъ двадцать, и сколько еще можетъ оказаться сюрпризовъ, и отсюда укоровъ вмѣсто похвалы!

Вы, конечно, читали статью Вл. Соловьева въ «Вѣст. Европы» «Идолы и идеалы?» Мы, читая, все вспоминали ваши мысли, потому что чрезвычайно совпадаетъ (т.-е. не во всемъ) съ тѣмъ, что вы думаете. Я же, по обыкновенію, нахожусь при особомъ мнѣніи, хотя, во-первыхъ, затрудняюсь высказать это мнѣніе, а во-вторыхъ, со многимъ согласенъ. Хотѣлъ было именно вотъ по поводу особаго мнѣнія своего писать Соловьеву, но—увы!—все это остается пока въ намѣреніяхъ, ибо на очереди 8 и 9 и т. д. главы, не считая «мокрыхъ галокъ на заборѣ», о коихъ тоже надлежитъ поломать голову.

Милый Павелъ Александровичъ! Думая о томъ, что всеобщее благоволеніе несовмѣстно съ участіемъ въ «союзахъ», я не думаю, что историческій порядокъ вещей искусственень. Если бы я думалъ такъ, мнѣ оставалось бы примкнуть къ Л. Н—чу и дѣло съ концомъ. Разъ этотъ порядокъ искусственень и ложенъ — дѣло ясное: отрицай его и баста. Но въ томъ и горе, что я ни отрицать не могу, ни одобрять. Мнѣ представляется этотъ сложный вопросъ такъ, что извѣстныя формы и нормы общежитія есть равнодѣйствующая несомнѣнныхъ интересовъ, идеаловъ, страстей, привычекъ огромнаго большинства людей. Затѣмъ опять-таки для меня кажется убѣдительнымъ, что поверхъ этой равнодѣйствующей, съ одной стороны, и внизу — съ другой, есть люди, которые отчасти выше данныхъ интересовъ, идеаловъ, страстей и привычекъ, отчасти — ниже. Первые — авангардъ человѣчества, вторые— отсталые и мародеры. И вотъ для первыхъ-то, для того, чтобы они вполнѣ были свободны, мнѣ и кажется — было бы хорошо *сознательное* нищенство. Понятно, я этимъ уже впередъ говорю, что именно *нравственная* вершина нуждается въ томъ, чтобы ее не заслоняли житейскія мелочи и не обезсиливали «союзы», т.-е. я подразумѣваю — люди *нравственно-философскаго* типа, а не иныя чисто-*раціональныя* вершины, которымъ, конечно, ни «союзы», ни «мелочи» не помѣшаютъ всячески двигать науку, дѣлать великія открытія въ этой области, наблюдать, изучать, описывать, и этой своей дѣятельностью, въ свою очередь, подвигать равнодѣйствующую все выше и выше.

Вѣдь, что такое равнодѣйствующая? Я думаю, что и вы, въ такой большой степени гегеліанецъ, не скажете по Гегелю, что, напримѣръ, государство есть провиденціально-опредѣленная форма, въ тискахъ которой человѣчество, хочешь не хочешь, присуждено жить и умереть. То-есть, иными словами, возможно ли выводить формы общежитія изъ того, изъ чего въ старину выводилъ ап. Павелъ, въ средніе вѣка—блаженный Августинъ, позднѣе — Гоббсъ, и еще позднѣе — Гегель, т.-е. изъ того абсолюта, который всѣ эти люди называли всякій по-своему, но которому одинаково придавали безусловный характеръ. — Я думаю, что нельзя; что на формахъ общежитія отнюдь не лежитъ печать безусловности; что они могутъ принимать и принять совершенно иныя очертанія, чѣмъ теперь; что, наконецъ, на одной лишь свободѣ, на свободномъ нравственномъ и умственномъ складѣ понятій лежитъ печать безусловности. Другими словами: форма общежитія складывается насиліемъ, нормы ея диктуются интересами, вся она есть логическій выводъ изъ такъ называемыхъ историческихъ причинъ; но выше всего этого, выше интересовъ и логики событій, выше чувствъ и страстей, порождаемыхъ союзами, существуетъ у человѣка безусловное стремленіе къ свободѣ и къ тому нравственному совершенству, которое дается лишь свободою, къ всеобщей любви, къ всеобщему благоволенію, — вотъ именно къ тому, о чемъ поетъ у Ал. Толстого Дамаскинъ. Пѣть-то, конечно, можно и участвуя въ союзахъ; не даромъ Некрасовъ, кладя въ карманъ лѣвой рукою отличнѣйшій и именно «союзами» обусловленный дивидендъ, правой бряцалъ на лирѣ о голодныхъ и холодныхъ; но не только пѣть, а и дѣлать, проводить это свое благоволеніе въ жизнь, отливать его въ поступки, ахъ, сколь трудно, участвуя въ союзахъ — въ ихъ выгодахъ и огорченіяхъ, наградахъ и обязанностяхъ.

Такимъ образомъ, если бы «союзы» и вообще «царство міра сего» дѣйствительно вытекали изъ безусловнаго, то намъ по справедливости казались бы отчасти безумными, отчасти безнадежными теоретиками тѣ люди, которые во имя Бога, во имя любви ко всему живущему, во имя свободы и всеобщаго

благоволенія уходили бы изъ союзовъ. О, не отрицая ихъ, но съ словами: «Кому нужно — нужно»... но «идѣже духъ Господень — ту свобода» и гдѣ свобода, тамъ нѣтъ собственности, нѣтъ брака, «ни еллинъ, ни іудей», ни министерства юстиціи, ни марсельезы.

Кто знаетъ, можетъ, впереди и образуются такіе союзы, такая форма общежитія, когда «благоволящій» можетъ отлично остаться въ обществѣ — не идти въ пустыню или на распутія; когда коллизія страстей, интересовъ, привычекъ исчезнетъ, и наступитъ предсказанное Исаіей и возглашенное вифлеемскими ангелами. Но къ тому порядку вещей человѣчество перейдетъ не наитіемъ, не катаклизмами, а именно тѣмъ, что «равнодѣйствующая» будетъ подвигаться выше и выше усиліями «нищихъ», съ одной стороны, и «историческимъ ходомъ» событій — съ другой.

Отсюда вытекаетъ самая затаенная моя мысль — та мысль, которая понудила меня остаться при особомъ мнѣніи, читая Вл. Соловьева: всѣ искреннія дѣятельности при условіи, что эта дѣятельность происходитъ на свой счетъ и на свой рискъ; всѣ взгляды на жизнь при условіи, что человѣкъ человѣку братъ, — все, все должно быть признано за истинное и жизнеспособное; что тогда лишь наступитъ сосредоточенная, а не раздираемая полемикой и раздорами, борьба со зломъ.

Истина одна, но путей къ ней столько же, сколько людей. Еще бы! Вѣдь, истина осуществляется не одними домогательствами разсудка, а и чувствомъ, волею, хотѣніемъ — всѣми наличными способностями человѣка. И какъ общи для всѣхъ законы разсудочной логики, такъ ужасно разнообразны темпераменты, характеры, натуры. Ужели же возможно все это разнообразіе свести къ логическимъ схемамъ? Нѣтъ, невозможно. И именно оттого, что невозможно,—всѣ, самые даже великіе люди человѣчества, часто бывали и бываютъ правы *для себя лично* и только отчасти правы *для другихъ*. Быть правымъ и для другихъ возможно въ какой-нибудь ограниченной области духа — ну, хотя бы въ сферѣ химіи, физики, математики, но чуть дѣло коснется всѣхъ способностей чело-

вѣка, всего цѣлаго, что въ немъ, въ каждомъ человѣкѣ, заключено, такъ сейчасъ же человѣчество распадается на множество концентрирующихъ группъ, изъ которыхъ для одной будетъ правъ Спиноза, для другой Шопенгауэръ, для третьей О. Контъ, и... пошла писать губернія.

И все тò — добро, все — благо.

Очень я боюсь, что слишкомъ неясно написалъ это. Мысли разбѣгаются, какъ извозчики, когда полицейскій зоветъ ихъ, чтобы свезли даромъ, а имъ не хочется. Все отвратительная привычка думать безъ системы, своего рода умственная лѣнь... «не пецытесь объ утріе»...

Перечиталъ письмо и хотѣлъ разорвать: такъ смутно и загадочно выражается въ немъ то, что мнѣ хотѣлось бы выразить со всею возможной убѣдительностью. Но пусть... Нельзя же во всякую минуту претендовать на точность и прозрачность мысли. Въ сущности моя мысль та, что Л. Толстой во многомъ очень правъ, но, во-первыхъ, правъ *для себя*, а во-вторыхъ, для тѣхъ, кто по складу своей индивидуальности *концентриченъ* съ нимъ. Это я говорю о его положительныхъ идеалахъ, о его ученіи какъ жить и что дѣлать. Я потому настаиваю на нищенствѣ, что именно только оно обезпечиваетъ полную свободу при *теперешнихъ* условіяхъ общественности. И понимаю я нищенство не то, что такъ, что вотъ взялъ человѣкъ сумку и ходитъ подъ окнами; въ одномъ случаѣ — сумка, а въ другомъ — какъ Спиноза шлифовать стекла и тѣмъ жить; но, во всякомъ случаѣ, не имѣть всего того, что нуждается въ охранѣ насиліемъ, въ государственномъ покровительствѣ; а если и имѣешь, въ силу, напр., наслѣдственности, то либо откажись, либо раздай, либо махни рукой и на «гусей», и на все подобное. — Я думаю, что это не случайность, что великіе учители человѣчества и пророки у евреевъ почти всегда были нищими, не случайность, а условіе. Но если это такъ, если всеобщее благоволеніе достижимо лишь при условіи свободы отъ союзовъ и правовыхъ институтовъ и юридическихъ нормъ — то что же дѣлать намъ, среднимъ-то людямъ, замкнутымъ въ эти союзы, опутаннымъ этими правами и нормами? — По-моему, намъ остается въ мѣру

нашихъ среднихъ силъ и въ мѣру нашей маленькой возможности стремиться къ тому, чтобы «равнодѣйствующая» подвигалась все выше и выше, чтобы грубыя формы государственности и «вся еже въ нихъ» смѣнялись все менѣе грубыми, и, главное, отнюдь не поддаваться тому предразсудку, что въ этихъ формахъ, каковы бы онѣ ни были, лежитъ нѣчто безусловное.

Употребляя терминъ «безусловное», я избѣгаю говорить о Богѣ именно потому, что «Богъ» мнѣ представляется не реальностью, какъ вамъ, а нѣкоторымъ «иксомъ» — можетъ-быть, знакомъ реальности, а можетъ-быть, и знакомъ абстракціи. И, наоборотъ, мнѣ представляется несомнѣнной реальностью та высшая и свободная сила любви, стремленіе къ которой существуетъ въ каждомъ человѣкѣ, осуществленіе которой далъ намъ Христосъ, о которой такъ сказалъ поэтъ:

Ночь смотритъ тысячами глазъ,
А день глядитъ однимъ;
Но солнца нѣтъ — и по землѣ
Тьма стелется, какъ дымъ.

Умъ смотритъ тысячами глазъ,
Любовь глядитъ однимъ;
Но нѣтъ любви — и гаснетъ жизнь,
И дни плывутъ, какъ дымъ.

Разумѣется, такая высшая любовь необходимо соединена и съ высшимъ пониманіемъ; tout comprendre — tout pardonner, а кто прощаетъ — тотъ любитъ.

Вотъ стремленіе къ такой-то любви я называю безусловнымъ, то-есть тѣмъ, что̀ есть безусловный смыслъ, что есть отраженіе «невѣдомаго Бога» на землѣ, есть назначеніе человѣка, а все остальное — «временное суть» и движется въ условіяхъ, вѣчно измѣняющихся, и въ концѣ-концовъ имѣетъ второстепенную важность.

Боюсь, что письмо мое не сдѣлалось яснѣе отъ этой приписки.

П. А. Бакунинъ — А. И. Эртелю.

14 мая 1891, Ялта.

... Щель[1]) очень хороша; не я одинъ, но и всѣ, кто посѣщаетъ ее, любуется ею непритворно. Именно, горная щель, полная зелени, свѣта, тепла, а въ настоящее время и гремящихъ ручьевъ. А если привстать на цыпочки, то изъ одного мѣста въ ней и крошечный уголокъ моря виднѣется. Вотъ на все это смотришь, любуешься, ощущая внутри приливъ и отливъ тепла, свѣта и жизни — и молчишь; невольно какъ-то молчится. Въ силу моихъ лѣтъ мнѣ все сказывается и представляется особымъ образомъ, съ иной точки зрѣнія. Уже нѣтъ былого денного шума всякихъ надеждъ, стремленій, желаній. Давно уже спустился поздній вечеръ и наступаетъ чуткая тишина ночи. Земные предметы отходятъ — которые уже скрылись, которые скрываются въ ночной мглѣ; тѣмъ ярче загораются и сверкаютъ звѣзды и влекутъ къ себѣ вниманіе: отъ нихъ на душу словно вѣетъ тишиною и молчаніемъ. А между тѣмъ я такъ чутко, такъ живо помню всѣ порывы, всѣ тревоги далекаго восходящаго утра, и его обѣщанія, и его полупрозрачную смуту, и наступившій за нимъ дневной шумъ.— О, если бъ возможно было совмѣстить въ одно недѣлимое мгновеніе и прозрачныя надежды утра, и денной шумъ, и тишину вечера и ночи! Но человѣку этого не дано; онъ все содержаніе бытія вкушаетъ лишь порознь, лишь членораздѣльно, а цѣлость всего ускользаетъ отъ безсилія его вниманія. Вы указываете на благодать, на благословеніе нищенства; о, если бы эту благодать нищенства, это апостольское благовѣстіе можно было совмѣстить съ полнотою жизненнаго содержанія, съ роскошью, съ великодушіемъ богатства. Но что-либо одно — или нищенство съ его крайнимъ убожествомъ ума, мысли, а затѣмъ и сердца, — или роскошь богатства съ его неправдою и ограниченностью, слѣпотою всякаго рода грубыхъ пожеланій и треволненій. Нежелательно ни то, ни другое; а между тѣмъ, какъ для нищихъ-убогихъ, такъ и для гордыхъ-богатыхъ, правда—одна и превыше какъ убожества первыхъ, такъ и пустой гордыни вторыхъ. Союзы, условности и установленія общежитія, при всемъ ихъ несовершенствѣ и

---

[1]) «Горная щель», имѣніе П. А. Бакунина въ Крыму.

исправимости — они, подобно условностямъ піитики, которая тоже измѣнчива, при отсутствіи дара жизни и поэзіи,—только обремененіе и препятствіе; но въ ихъ присутствіи — избавленіе отъ грубости, отъ косноязычія души и сердца, — истинное освобожденіе. Какъ въ природѣ, такъ и въ обществѣ все дѣло въ томъ, чтобы безпрепятственно творилась и во всю мочь ширилась и развивалась жизнь, которая для научнаго раціонализма есть тайна непостижимая, потому что ея дыханіе есть дыханіе изъ безконечности. Средства, способы, пріемы или порядки бытія, которыми духъ и природа творятъ и развиваютъ жизнь, безконечно сложны, — я хотѣлъ бы сказать — не отъ міра сего, — и совершенно ускользаютъ отъ физико-механическаго раціональнаго ума, вовсе не совпадая съ его теоріями, съ ему подручными пріемами и воображаемыми порядками. Піитика способна подмѣчать проявленія и формы поэзіи, но никогда не касается и не вѣдаетъ самаго родника ея. Такъ и раціонализмъ: соціологическія теоріи могутъ подмѣчать проявленія жизни, но совершенно не вѣдаютъ ни откуда, ни куда она. Потому что конечныя цѣли и пожеланія ограниченныхъ смертныхъ — и безконечная цѣль безусловной Истины и предвѣчнаго смысла—не совпадаютъ, но расходятся. Людямъ мерещится изъ ихъ конечныхъ соображеній, что устроить такъ и такъ, и все будетъ хорошо, настанетъ миръ и благоволеніе; а выходитъ на самомъ дѣлѣ, что ими намѣренно или благонамѣренно устроенные порядки оказываются несказаннымъ зломъ и фабрикою смерти, а не жизни; тлетворною выдумкою, дѣланнымъ, измышленнымъ строемъ; тенденціознымъ произведеніемъ мысли, которая, словно хозяйская лошадь, пускается въ поле на приволье не иначе, какъ въ путахъ. У Л. Н. Толстого много хорошихъ мыслей, но, къ сожалѣнію, и у него мысль не свободная, но въ путахъ, съ тенденціозностью нѣкотораго реализма и не безъ умничанья. Но умничать, запрягать жизнь въ оглобли, въ упряжки, придумывать мѣры для благополучнаго бытія не значитъ мыслить, не значитъ любить, не значитъ вѣрить. Безконечность дышетъ свободою, а не мѣрою, не упряжками. Общественный, существующій складъ—далеко не совершенство; кто не видитъ, не чувствуетъ его изъяны, недочеты и болѣзни! — но онъ совершеннѣе всякихъ измышляемыхъ складовъ и общественныхъ панацей. А впрочемъ, всякій человѣкъ дѣлаетъ хорошо, когда слѣдуетъ своему призванію, лишь бы онъ не умничалъ надъ другими, но любилъ ихъ и былъ къ нимъ внимателенъ, относился къ нимъ сердечно, съ участіемъ, по возможности близко, а не объективно, не по-Каратаевски — съ нѣжностью и участіемъ полнѣйшаго равнодушія. При нѣ-

которомъ темпераментѣ непроизвольная, ненадуманная жажда къ божественному, къ живой безусловной истинѣ приводитъ человѣка и къ нищенству, къ полнѣйшему отрѣшенію отъ всего земного, въ пустыню, въ скитъ, въ народъ и т. п., но избави Богъ отъ нищенства, отъ хожденія въ народъ или въ скитъ, или на столпъ — въ силу и на основаніи какой-нибудь соціологической теоріи. Союзы общественные, всякаго рода званія, положенія и условности общежитія—это то же, что рифмы, что размѣръ, что стопы, что ритмъ въ поэтическомъ произведеніи. Творцу-поэту — сила, средство, свобода для выраженія всего содержанія души: съ этими средствами обращаться трудно; но кто преодолѣетъ трудъ, тому дастся великая награда. Безъ этихъ условностей жить простою прозою много легче и сподручнѣе, но при такой сподручной легкости хорошо, если жизнь не замираетъ вполнѣ въ рутинѣ и въ пошлости бытія. Кто ищетъ и жаждетъ высшаго, тотъ долженъ не бѣжать трудностей, но преодолѣвать ихъ...

В. Г. Черткову.

4 мая 1891, ст. Углянка, К.-В.-Р.

... «И, несомнѣнно, настанетъ время, когда вмѣстѣ съ упрощеніемъ образа жизни нынѣ столь отдаленныхъ отъ рабочаго народа «культурныхъ» классовъ упростится и языкъ, на которомъ они говорятъ, и вновь приблизится къ своему народному источнику»... (Отъ редакціи изданія «Посредника» сообщеніе объ открываемой ею новой отрасли изданій для интеллигентныхъ читателей.)

Думаю, что слишкомъ категорично и слишкомъ не доказано и не доказывается. Есть, несомнѣнно, разрядъ очень высокихъ, основныхъ, что ли, истинъ, по преимуществу нравственно-философскаго характера, который можетъ не нуждаться въ сложномъ и слишкомъ богатомъ языкѣ, но, съ другой стороны, фатальное движеніе жизни отъ наивно-дѣтской простоты къ сложности и разнообразію столь же фатально ведетъ къ сложному и разнообразно-богатому языку. Не будемъ спорить, лучше ли это или хуже, но такъ есть, и бороться съ этимъ нужно, но въ иномъ смыслѣ, нежели хочешь бороться ты. Въ сущности «книжно-литературному» слогу вредятъ не богатства языка, не изобиліе дѣйствительно необходимыхъ новыхъ словъ (новыя слова обыкновенно являются, когда старыми нельзя выразить новыхъ понятій), не это вредитъ ему, а варварская конструкція слога. И что такое простой народный языкъ? Въ любой деревнѣ я возьму тебѣ трехъ человѣкъ: 80-лѣтняго старика, человѣка среднихъ лѣтъ и парня лѣтъ 20; будь увѣренъ, что запасъ ихъ словъ и ихъ

понятія о «простомъ языкѣ» окажутся различны. Какому же запасу словъ и понятію слѣдовать литературѣ, чтобы остаться въ условіяхъ наивысшей степени простоты? Въ нашемъ литературномъ слогѣ вредно именно варварство, неумѣлое, неживое сочетаніе словъ, ненужное празднословіе и искусственность оборотовъ рѣчи. Если бы достигнуть, чтобы этого не было — это и было бы желательнымъ совершенствомъ, но отсюда далеко еще до возвращенія къ народному источнику [1]), да и никогда этого не можетъ быть. Впрочемъ, предметъ такой важный и интересный, что о немъ надо говорить очень много. Кстати, о семъ много говорено и писано въ 60 и 70 годахъ. На-дняхъ мнѣ довелось просмотрѣть старую статью Скабичевскаго «Живая струя», въ ней онъ съ большой рѣзкостью и во многихъ случаяхъ очень удачно доказываетъ варварство нашего языка (языка нашей «художественной литературы») и рекомендуетъ писателямъ говорить такъ, чтобы ихъ понималъ народъ. То же есть у Михайловскаго, у Лесевича (въ статьѣ о Лессингѣ), у Добролюбова. Въ сущности, самымъ справедливымъ мнѣ представляется то, что я слышалъ отъ Л. Н — ча, когда ты былъ съ нимъ у меня въ Москвѣ: «Надо стараться писать такъ, чтобы меня понялъ даже китаецъ; то, чего я достигну, стараясь писать такъ — это и будетъ самымъ лучшимъ изложеніемъ». То-есть, это не значитъ поддѣлываться подъ китайца или подъ народъ, но это значитъ *брать предметъ, стремясь къ возможной, обусловленной самимъ предметомъ простотѣ*. Но нельзя, мнѣ думается, спорить, что все осложняющаяся жизнь выдвигаетъ на сцену и сложные предметы описанія — такіе предметы, которые самымъ своимъ сложнымъ содержаніемъ исключаютъ дѣтски-наивный простой языкъ. Да не оттого ли отчасти тѣ «высочайшія откровенія человѣческаго разумѣнія», которыя выражались въ «самой простой, дѣтски наивной формѣ», потребовали такое умопомрачающее количество коментаторовъ и столь легко подвергались самымъ противорѣчивымъ толкова-

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

ніямъ? «Дѣтски-наивный» языкъ имѣетъ то нехорошее свойство, что крайне растяжимъ и многозначителенъ, когда имъ приходится орудовать въ сферѣ высшаго отвлеченія, и крайне бѣденъ, когда нужно описывать факты.

Послѣднее мое замѣчаніе относится къ тѣмъ заключительнымъ строкамъ редакціоннаго profession de foi, которыя кажутся мнѣ, во-первыхъ, сантиментальными («твари Божіи»), а во-вторыхъ... какъ бы это сказать... однимъ словомъ, на дудкѣ «смиренія, прощенія, терпѣнія» и т. п. добродѣтелей играло на Руси и играетъ теперь столько завѣдомыхъ фарисеевъ и съ такой плохо замаскированной тенденціей послужить этой игрою жестокости, гордости, отсутствію терпѣнія,—послужить, однимъ словомъ, тому порядку, которому весьма на руку эти добродѣтели, но который именно и силенъ ихъ отрицаніемъ, что какъ-то неловко изъясняться этой опротивѣвшей всѣмъ порядочнымъ людямъ фразеологіей. Не пойми, что я противъ «смиренія, прощенія» и т. п. О нѣтъ! Но есть выраженія, которыя, благодаря многимъ обстоятельствамъ, пріобрѣли качества *фальшиваго звука*, и ихъ надо весьма остерегаться. Или «то же слово, да не такъ молви», или, право, вычеркни это мѣсто.

Въ заключеніе скажу, что отъ души желаю тебѣ успѣха и буду ужасно радъ, если это случится. Если есть шансы противъ, — я ихъ отчасти высказалъ, — то-есть и *за:* это твоя энергія, которой я завидую, и не остывающая любовь къ дѣлу. А любопытно бы мнѣ посмотрѣть тотъ списокъ, въ который вы, конечно, уже внесли подходящее для новой серіи. Мнѣ тогда легче будетъ напомнить вамъ и съ своей стороны то, что подходитъ. Впрочемъ, какъ и писалъ, надѣюсь побывать въ Р — скѣ въ іюнѣ мѣсяцѣ.

Знаешь ли ты, что П. В. Засодимскаго выслали изъ Петербурга за рѣчь на могилѣ стараго его пріятеля Шелгунова, и притомъ такъ боялись «демонстраціи», что вывезли въ каретѣ на Обуховскую станцію?.. Той же участи подвергся Н. К. Михайловскій, хотя не только ничего не говорилъ на похоронахъ, но именно ему обязаны, что у молодежи не случилось

крупныхъ недоразумѣній съ полиціей: онъ уговаривалъ молодыхъ людей. Вотъ, поди ты, какая чепуха!

Еще одно замѣчаніе. Не совсѣмъ вѣрно, что дѣятельность «Посредника» совпала «съ движеніемъ въ сторону упрощенія формы изложенія» въ средѣ писателей. Это, пожалуй, можно еще сказать о Л. Н—чѣ. Но остальные, мнѣ думается, упрощали слогъ именно въ виду спеціальныхъ цѣлей «Посредника»; обращаясь же съ своими писаніями къ «образованнымъ» людямъ, вновь писали тѣмъ обыкновеннымъ слогомъ, который имъ свойственъ. Правда, Гаршинъ почти уже ничего не писалъ для «образованныхъ» людей, если не считать критической статьи о картинахъ Полѣнова и Сурикова, но это по другимъ причинамъ[1]). Затѣмъ и Л. Н—чъ, когда ему захотѣлось говорить о предметахъ очень сложныхъ въ «Смерти Ивана Ильича» и въ «Крейцеровой Сонатѣ» — заговорилъ опять-таки не «простымъ дѣтски-наивнымъ языкомъ», а своимъ толстовскимъ языкомъ, не смущаясь тѣмъ, что народъ врядъ ли пойметъ его безъ комментарій. Такимъ образомъ, по-моему, движеніе въ средѣ нѣкоторыхъ писателей было не въ «сторону упрощенія формы», а въ сторону большаго сочувствія спеціальнымъ цѣлямъ «Посредника», и, конечно, надо прибавить, что такая работа въ новыхъ для нихъ условіяхъ изложенія принесла имъ нѣкоторую пользу въ томъ отношеніи, что повліяла хорошо на ихъ обыкновенный «литераторскій» языкъ.

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

П. Ѳ. Николаеву.

9 іюня 1891, ст. Углянка, К.-В.-Р.

...Я отнюдь не «презираю» разночинца, какъ вы говорите, и если выразился на этотъ счетъ недостаточно ясно, то въ этомъ моя вина и есть, а не въ «презрѣніи». Напротивъ, сравнивая эти два типа: отживающій культурный и нарастающій разночинца, я скорѣе склоненъ презирать первый, нежели послѣдній. Но дѣло въ томъ, что ни первому, ни послѣднему я не могу отдать всѣхъ моихъ симпатій, ибо ни тамъ, ни здѣсь не вижу полноты содержанія. И еще скажу: врядъ ли возможна такая полнота въ условіяхъ политически-общественнаго типа. Либо сила, либо преувеличенное изящество; либо узкость и грубость, либо расплывающаяся и самоотрицающаяся широта. Однимъ словомъ, если искать *человѣка*, если именно этою мѣркою мѣрить, то, все равно, не подойдутъ ни «культурный» человѣкъ, ни разночинецъ. Я какъ-то писалъ, что скорѣе симпатіи мои на сторонѣ «Алешъ», нежели разночинца, и знаете почему: потому что въ «Алешахъ» *болѣе свободы*, нежели въ Базаровѣ и его наслѣдникахъ. Тотъ сложный и мудреный путь, коимъ «Алеши» стремятся къ истинѣ, дѣйствительно много уноситъ силъ по-пустому, а иногда и заводитъ въ болото, но въ этомъ пути есть и достоинства: тутъ все испробовано, все испытано, ничего не взято на вѣру, и въ результатѣ — все свое, а не изъ книжекъ и не изъ теорій, т.-е. чужихъ. Не знаю, какъ вамъ, а мнѣ что-то не посчастливилось встрѣтить образованнаго разночинца, который былъ бы вполнѣ *свободнымъ*. Глядишь, отъ человѣка такъ и брызжетъ дерзостью сужденій и безповоротной смѣлостью критики; но это только на первый разъ; съ другой же стороны этотъ самый демонъ, куда сколь смирно идетъ

въ той или иной теоретической запряжкѣ. Говоря въ обширномъ смыслѣ, я знаю только одного человѣка безъ предразсудковъ, и этотъ человѣкъ — прототипъ моего Алеши, крестьянинъ, съ тою только разницею отъ Алеши, что обязанъ своею грамотностью не Л. П. Мансуровой, а теткѣ-черничкѣ. Вотъ это и есть та полнота, о которой я говорю. *Свободно* развитое нравственное и эстетическое чувство, *свободная* мысль, — а это ужъ, конечно, иное дѣло, чѣмъ заполнятся и это чувство, и эта мысль. Лишь бы духъ-то развивался внѣ готовыхъ доктринъ и наигранныхъ представленій. О разночинцѣ никакъ этого нельзя сказать, такъ же какъ и о человѣкѣ дворянскаго періода. Этимъ я, конечно, не хочу отрицать преемственность знанія, выучки и необходимость разнаго рода дисциплинъ. Пороху, конечно, выдумывать не нужно. Азбука обязательна— хочешь — не хочешь. Но я хочу этимъ сказать, что нѣтъ прочнѣй и шире того міровоззрѣнія, которое достигается «усиліемъ», что азбука-то обязательна, но думать и чувствовать нужно по-своему, а не по Кириллу-Меѳодію. Ахъ, это случается слишкомъ рѣдко.

Итакъ, я не презираю разночинца, но думаю, что это — сила неотесанная и недостаточно свободная. Хотя, можетъ-быть, и свободнѣе, чѣмъ прежніе, и во всякомъ случаѣ чище, смѣлѣе, нравственнѣе прежнихъ. Однако это еще немного. А имѣете вы въ виду склонность этого самаго разночинца начинать дебошемъ и кончать благонравіемъ? Дурной и распространенный признакъ. А вотъ Левъ Толстой, наоборотъ, кончаетъ дебошемъ. Впрочемъ, это только къ слову. И кстати вотъ припомнилось, что у насъ есть въ Воронежѣ человѣка два-три-четыре изъ разночинцевъ, здорово бурлившихъ смолоду, а теперь они не перебѣжчики — нѣтъ, напротивъ, очень порядочные люди, но пріустали и, оставшись по существу вѣрными своимъ разночинскимъ симпатіямъ и идеямъ, смирнехонько тянутъ ярмо: кто докторское, кто агрономическое, кто юридическое и т. д., и все запасаются клочками земли на берегу Чернаго моря и думаютъ, въ концѣ-то концовъ, о смоковницѣ своей... Отчего это? Можно, конечно, свалить на внѣшнее, на реакцію, на попятный ходъ россійскаго паровоза, но въ

самомъ-то дѣлѣ — отчего? Я, грѣшный человѣкъ, думаю, что оттого, что ихъ душевная температура совсѣмъ въ зависимости отъ тѣхъ дровъ, которыя подложены. Горѣли дрова въ 70 годахъ и шли въ народъ, горѣли въ 60 и бросались на Kraft und Stoff съ его выводами, а вотъ въ собственной-то своей душѣ и нѣтъ ничего, кромѣ «великаго принципа относительности» да вялыхъ привычекъ, да того же тяготѣнія къ очагу. Не говорите мнѣ, что «многіе доказали своими страданіями, жертвами, смертью»... Да, да, все это было, но... потому что горѣли дрова. Я, конечно, не исключенія имѣю въ виду — не тѣхъ, въ комъ кипѣла и кипитъ *религіозная* жажда правды, но большинство. Въ сущности, если вы хотите знать до конца мою мысль — будетъ хорошо лишь тогда, когда впереди пойдутъ не дворяне, не буржуа, не разночинцы, не народъ, а именно люди *съ религіозною* жаждою правды и свободные, свободные вполнѣ. А среди такихъ людей не свойственно быть ни эллину, ни іудею, ни разночинцу, ни дворянину, ибо всѣ эти перегородки излишни и ничего не могутъ предрѣшать тамъ, гдѣ свобода и невольный союзъ...

О другомъ вашемъ письмѣ—послѣ; теперь рѣшительно не могу. Развѣ одно: всѣ эти дѣленія на субъективность и объективность представляются мнѣ чѣмъ-то искусственнымъ. Оно такъ, да не такъ. Оперируя разсудкомъ, все можно расчленить, но вѣдь въ сущности-то все едино, у Гете есть Гете, а не Фаустъ 1-й части и Фаустъ 2-й части. По-моему, художникъ, поскольку онъ художникъ, не можетъ соврать, а вретъ—значитъ, не художникъ. *Изобразить* прекрасную бытовую картинку и придать ей ложное значеніе не значитъ быть художникомъ наполовину, это значитъ не художникъ. Даръ «пророчества» тѣмъ и познается, что ему доступно познавать жизнь и въ ея подробностяхъ, и въ ея цѣломъ. Не говоря о себѣ, скажу о N, какой онъ художникъ? Онъ просто публицистъ съ иллюстраціями, а не художникъ. Какъ есть объективный методъ, такъ есть и объективная правда, простите за метафизику! Задача художника въ томъ, чтобы уловить эту правду въ ея разрозненныхъ и раздробленныхъ частяхъ и придать ей присущее ей единство, а слѣдовательно, и обаятельность. Разумѣется, не было

еще совершеннаго художника. Приближеній же много. Наиболѣе блистательные—Шекспиръ и Л. Толстой. А Гомеръ, право же, маляръ! Не вѣрите? Ну, какъ хотите! Щитъ Ахиллеса онъ изобразилъ превосходно, но намекъ на художника только и есть, что въ сценѣ Пріама съ тѣмъ же Ахилломъ, да развѣ въ прощаньи Андромахи съ Гекторомъ. Вездѣ, гдѣ пластика, мускулы, краски, внѣшность, онъ великолѣпенъ, но въ чемъ познается истинный художникъ — въ одухотвореніи пластики, — онъ ужъ по своему историческому положенію не могъ быть «художникомъ». Художникъ всегда долженъ стоять выше того, что изображаетъ, таковъ Шекспиръ. Вотъ, напримѣръ, у Н. Н. З — го перспектива замыкается «устоями». Да развѣ это порядокъ? Настоящая художественная перспектива должна уходить въ безконечность — Салтыковъ почти всегда понималъ это. Въ перспективѣ Шекспира, напримѣръ, можно цѣлыя тысячелѣтія размѣщать разные «идеалы», и все еще останется мѣсто, а въ томъ, что мы съ Н. Н—чемъ вараксаемъ, уже черезъ 20 лѣтъ будутъ находить только этнографическій и историческій интересъ, а черезъ 50 лѣтъ сдадутъ въ макулатуру. Мы, крохотнаго калибра писатели-беллетристы, всѣ съ замочкомъ, если можно такъ выразиться. Тотъ замыкается крохотной идейкой народничества (сравнительно крохотной), тотъ — радикализма, тотъ — протоколизма, тотъ — самодовлѣющей красотою, тотъ — коротенькой психологіей, а тотъ — музыкой ощущеній. И все то добро, все красно, если хотите, но слишкомъ далеко до настоящаго художника. Вы спросите, да что же нужно настоящему художнику? А! Если бы я зналъ это! Я это слышу иногда краемъ уха, чувствую иногда, но формулировать не сумѣю. Да и есть ли такія слова, чтобы формулировать это? Не знаю. Субъективность и объективность, согласенъ, кое-что *поясняютъ* въ природѣ таланта, но не *объясняютъ*, и въ сущности весьма условны. Въ художественномъ талантѣ нужно, «чтобы струны-то, струны-то дрожали на весь міръ», и пусть ихъ музыка волнуетъ не одинъ народъ, не одного разночинца или буржуа или дворянина, а всякаго *человѣка* въ истинномъ значеніи этого великаго слова. Dixi.

А. Эртель.

В. Г. Черткову.

13 іюня 1891, ст. Углянка, Коз.-Вор. ж. д.
С-цо Емпелево.

... Вотъ непріятная сторона того, что я обращался къ тебѣ за деньгами: пишу, а самъ думаю: не далъ ли я какъ-нибудь поводъ думать тебѣ, что уязвленъ твоимъ отказомъ. Вотъ, напр., въ послѣднихъ словахъ не усмотрѣлъ бы ты чего-нибудь такого... Пожалуйста, не усматривай: ничего «такого» въ нихъ нѣтъ. Я отлично понимаю, что люди могутъ быть правыми всякій съ своей точки зрѣнія, и стараюсь не переносить свою въ чужую душу, когда мнѣ приходится судить о томъ или иномъ человѣкѣ. Это не всегда дается, но нужно, чтобъ давалось. Такимъ образомъ, если бы ты мнѣ отказалъ въ деньгахъ, даже сославшись на принципъ, то я и это сумѣлъ бы понять. А что этой ссылкой рѣзко была бы подчеркнута разница нашихъ міровоззрѣній, невозможность быть намъ съ тобою въ тѣхъ отношеніяхъ, въ которыхъ могутъ быть люди только одинаковаго взгляда на жизнь, то что за бѣда: я и безъ буквальныхъ ссылокъ знаю, что мы люди разныхъ міровъ и разныхъ дорогъ; надѣюсь, это не помѣшаетъ мнѣ уважать и любить тебя, хотя, конечно, со многими важными для меня дѣлами я обращусь не къ тебѣ, а къ тѣмъ, кто одинаково со мною смотритъ на жизнь и на то, какъ можно и какъ нельзя помочь...

А затѣмъ — ломается прутикъ, но не сломишь вѣникъ, и препятствія легче одолѣваются въ союзѣ съ другими людьми, и однообразныя препятствія требуютъ однообразно мыслящихъ союзниковъ, — и ты близкій мнѣ человѣкъ по сердцу и въ сферѣ отвлеченныхъ вопросовъ, но слишкомъ далекій тамъ, гдѣ нужно одолѣвать *не твои* препятствія, а *мои*. Вотъ что мнѣ теперь такъ же ясно, какъ если бы ты отказалъ мнѣ по принципу.

Ахъ, какъ правъ былъ Христосъ, говоря, что «я не миръ принесъ, но мечъ».

Будемъ думать, что это и есть искомое благо.

А затѣмъ я лично питаю великую надежду, что грядетъ иной Мессія, который принесетъ «миръ», и это несмотря на то, что я, Эртель, «дармоѣдъ», а Спенглеръ живетъ по «настоящему» Христу. — Къ сему нужно бы еще пояснить, но некогда. Прости.

Твой А. Эртель.

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

20 августа 1891.

... Теперь вотъ что хочу тебѣ сказать, дорогой другъ. Мнѣ разъ или два приходилось говорить о тебѣ съ М. Н-чемъ. Если когда-нибудь онъ передастъ тебѣ какой-нибудь отзывъ мой о тебѣ, который покажется тебѣ страннымъ, или не совсѣмъ понятнымъ, или необоснованнымъ, то пожалуйста сообщи мнѣ для того, чтобы я могъ обстоятельно тебѣ сообщить, что именно я хотѣлъ сказать, ибо мнѣ хотѣлось бы не говорить про тебя другимъ того, чего не высказалъ тебѣ самому. Тѣмъ болѣе, что третьи лица, даже самыя близкія, не всегда такъ понимаютъ, какъ хотѣлось бы. Начать же самому писать тебѣ, что думаю о тебѣ, мнѣ кажется неумѣстнымъ...

В. Г. Черткову.

22 августа 1891, с-цо Емпелево.

Ты уже видѣлъ теперь Матв. Ник—ча, дорогой другъ, и, слѣдовательно, имѣешь всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя хотѣлъ знать. Что касается твоего обо мнѣ отзыва — мнѣ М. Н. рѣшительно ничего не передавалъ. И затѣмъ, если бы онъ даже передалъ, неужели нужно по этому поводу входить въ объясненія. Что-нибудь одно: или ты вообще дурно отозвался обо мнѣ, или отмѣтилъ какой-нибудь мой недостатокъ — одинъ изъ многихъ. Но повѣрь, ты не можешь быть *болѣе дурного мнѣнія обо мнѣ, чѣмъ я самъ,* а недостатки мои столь многочисленны, что указаніе на одинъ изъ нихъ только покажетъ снисходительность указующаго. Ты говоришь, что любишь

меня. Вотъ это и есть то самое главное, чѣмъ я дорожу въ нашихъ отношеніяхъ, и чему я безусловно вѣрю. Засимъ весьма трудно удержаться — да и нужно ли? — отъ критическаго разбора тѣхъ или иныхъ свойствъ того, кого любишь. Если же такіе «разборы» обыкновенно не говорятся безъ особенной причины прямо въ лицо, то и на это есть резоны: никакая дружба, никакая любовь не выдержатъ взаимной цензуры, взаимной критики, взаимнаго выслѣживанія мыслей, качествъ и поступковъ. Въ «Юности» Толстого — въ отношеніяхъ Нехлюдова съ Иртеньевымъ, — это показано очень убѣдительно. Впрочемъ, ты и самъ смотришь на это такъ же: ты пишешь: «Начать же самому писать тебѣ, что думаю о тебѣ, мнѣ кажется неумѣстнымъ»... Такимъ образомъ, милый мой другъ, все сводится къ тому, что объясненій никакихъ не нужно, и что я попрежнему люблю тебя, несмотря на тотъ или иной твой отзывъ обо мнѣ. — Хотѣлъ бы и еще поговорить съ тобой, да нахожусь сейчасъ въ такомъ раздраженно-нервическомъ состояніи, что никакъ не могу. То, что видишь вокругъ, и что читаешь въ газетахъ, до такой степени надрываетъ сердце, до такой степени возбуждаетъ жалость къ однимъ, гнѣвъ къ другимъ, что просто бѣда. Руки отваливаются писать что-нибудь, кромѣ одного, голова отказывается думать о чемъ-нибудь, кромѣ одного... Это одно — бѣдствія народа, равнодушіе и неумѣлость тѣхъ, кто руководитъ, верховодитъ и правитъ народомъ. А тутъ свое, личное... Впрочемъ, лучше не говорить. Однимъ словомъ, сейчасъ я весьма далекъ отъ душевнаго спокойствія, и самое будетъ лучшее молчать, молчать, молчать... Потому что говорить то, что хочется (т.-е. говорить публично, въ печати), нельзя, съ одной стороны, и безполезно—съ другой. Обнимаю тебя и привѣтъ мой Аннѣ Константиновнѣ.

А. Эртель.

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

17 ноября 1891.

Дорогой другъ, на замѣчаніе твое о непослѣдовательности Л. Н. я не хотѣлъ отвѣчать по той простой причинѣ, скажу тебѣ откровенно, что я еще раньше съ грустью замѣтилъ, что во многомъ и многомъ ты не то, что расходишься съ міровоззрѣніями Л. Н. и его единомышленниковъ, а не имѣешь возможности сознательно ни расходиться, ни сходиться съ ними, такъ какъ не отдаешь себѣ вѣрнаго отчета въ нихъ, — конечно, не по отсутствію способности къ тому (ибо ты, несомнѣнно, человѣкъ во многихъ областяхъ очень проницательный), а вѣроятно по какимъ-нибудь другимъ причинамъ, доискиваться которыхъ я не считаю себя призваннымъ. Вообще, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда человѣкъ имѣетъ причины или потребность не соглашаться съ тѣмъ отношеніемъ къ жизни, самымъ выдающимся представителемъ котораго является Л. Н., то даже въ такихъ случаяхъ для того только, чтобы *понять* во всей ихъ глубинѣ *взгляды* на различныя явленія жизни, вытекающіе изъ этого пониманія жизни, и — *поступки*, вытекающіе изъ сочетанія этихъ идеальныхъ взглядовъ съ самыми ненормальными фактическими явленіями жизни; а затѣмъ для того, чтобы *услѣдить* за постояннымъ, непрерывнымъ развитіемъ, видоизмѣненіемъ, выясненіемъ, усовершенствованіемъ какъ этихъ взглядовъ, такъ и этихъ поступковъ, равно какъ и взаимнаго отношенія однихъ къ другимъ,— для всего этого требуется столь же непрерывное, и притомъ не только самое внимательное и проницательное, но *проникновенное* слѣженіе за всѣмъ этимъ, ибо, съ одной стороны, въ данномъ случаѣ имѣешь дѣло не съ какою-нибудь завершенною системою въ родѣ православной церковности или позитивизма Конта, или самодержавной, или конституціонной государственности, а съ живымъ и потому постоянно движущимся

впередъ отношеніемъ къ жизни; а съ другой стороны сущность, сердцевина этого отношенія къ жизни лежитъ въ такой глубинѣ души человѣческой, что, если самому въ *своей* душѣ не добраться до этой сердцевины, то никакъ не доберешься до нея въ чужой душѣ. Судя извнѣ, по разнымъ частнымъ внѣшнимъ проявленіямъ этого отношенія къ жизни и по нимъ стараясь прослѣдить стебель до подпочвенныхъ корней, кроющихся въ самомъ тайникѣ человѣческой души, изслѣдователь чужой духовной жизни только обрекаетъ себя на самыя жалкія, а подчасъ даже смѣшныя недоразумѣнія, ни для кого не имѣющія никакого серьезнаго положительнаго значенія и представляющія лишь нѣкоторый поверхностный интересъ для тѣхъ, кто еще меньше проникли въ изслѣдуемое явленіе, чѣмъ самъ изслѣдователь.

Это, впрочемъ, я сказалъ такъ, къ слову, и я думаю, что какъ ни кратко и несовершенно я выразилъ свою мысль, ты меня поймешь, если только захочешь. Собрался же я тебѣ писать по другому поводу. Такъ случилось, что, отвѣчая на одно милое письмо отъ Рѣпина, я высказалъ то, что было у меня на душѣ по поводу отношенія какъ его, такъ и твоего къ теперешнему поведенію Л. Н. въ связи съ раньше высказанными послѣднимъ мыслями о значеніи денегъ. И вотъ хотѣлось уже заодно подѣлиться и съ тобою содержаніемъ моего письма къ Рѣпину, которое я съ этой цѣлью и скопировалъ и которое прошу тебя вернуть мнѣ при случаѣ, такъ какъ оно можетъ мнѣ впослѣдствіи пригодиться для одной работы, возможность которой для себя я предвижу въ случаѣ, если я переживу Л. Н., что, впрочемъ, мнѣ представляется мало вѣроятнымъ.

В. Г. Черткову.

30 ноября 1891, ст. Углянка, Коз.-Вор. ж. д.

Посылаю тебѣ письмо твое къ Р — ну, дорогой другъ. Можетъ-быть, ты и правъ, — не стану спорить. Не совсѣмъ, и даже вовсе не правъ ты, опредѣляя мои отношенія къ Льву Ник. и его «единомышленникамъ», но и объ этомъ не хочу спорить. Скажу только, что не признавать въ комъ-нибудь или въ чемъ-нибудь осуществленія истины, еще не значитъ не понимать, не «отдавать себѣ вѣрнаго отчета» и т. д. Впро-

чемъ, ты совершенно справедливо замѣтилъ однажды, что переписка многое запутываетъ и, вообще, можетъ способствовать недоразумѣніямъ. — Прости, что не тотчасъ тебѣ отвѣчаю. Во-первыхъ, я 26-го только возвратился изъ Москвы, гдѣ пробылъ 16 дней, а во-вторыхъ, слишкомъ много хлопотъ по тому дѣлу, которое мы взяли на себя, — по дѣлу помощи голодающимъ — между прочимъ, нужно было отвѣтить на десятки писемъ и составить въ «Рус. Вѣд» отчетъ о пожертвованіяхъ. Въ мое распоряженіе прислали около 2.500 рублей; съ этими средствами мы думаемъ просуществовать до конца января, а тамъ что Богъ дастъ. Впрочемъ, надѣюсь, что пришлютъ и еще; если бы въ общей сложности собрать тысячъ семь, то можно надѣяться, что въ нашей окрестности не будетъ случаевъ *остраго* голоданія. Ты не повѣришь, какъ я счастливъ, что мнѣ не приходится сидѣть сложа руки и наблюдать бѣдствіе, «ковыряя въ носу», выражаясь языкомъ Гоголя, или изнывая въ безплодной тоскѣ... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, деньги — великая сила, и если имъ, какъ огню, свойственно губить, то свойственно и согрѣвать; не самимъ по себѣ, конечно, а въ соединеніи съ волею человѣка. Вотъ именно въ волѣ-то человѣческой и зло, и добро, — какъ повернешь, а въ деньгахъ нѣтъ ни зла, ни добра, и только одна безразличная сила. Отказываться отъ нихъ все равно, что отказываться отъ топора, потому что топоромъ можно зарубить человѣка... Однако я опять впадаю въ полемику! Прости, будь здоровъ, крѣпко обнимаю тебя.

Твой А. Эртель.

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

6 декабря 1891.

Признаюсь тебѣ, дорогой другъ, что я съ нѣкоторымъ трепетомъ открывалъ твое послѣднее письмо, опасаясь того, что замѣчанія въ моемъ послѣднемъ къ тебѣ письмѣ могли тебѣ не понравиться и вызвать рядъ недоразумѣній, какъ это уже было разъ въ нашей перепискѣ, состоящихъ главнымъ

образомъ въ непониманіи и извращеніи мыслей другъ друга. А потому меня особенно обрадовалъ добрый тонъ твоего письма. Я совершенно согласенъ съ тобой въ томъ, что полемизировать намъ не слѣдуетъ. Написалъ же я тебѣ то, что написалъ въ послѣднемъ письмѣ, не ради возбужденія полемики и не изъ какого-нибудь дурного чувства; а потому что, правъ ли я или нѣтъ въ выраженныхъ мысляхъ, мнѣ казалось, что *лучше* ихъ на всякій случай высказать, а не умолчать изъ малодушія или лѣни...

... Теперь, получивъ твой отвѣтъ, я, какъ и ты, не хочу возражать и спорить; но считаю необходимымъ сдѣлать одну маленькую оговорку: ты меня невѣрно понялъ, объясняя мое утвержденіе того, что ты не отдаешь себѣ вѣрнаго отчета въ пониманіи жизни, выражаемомъ Толстымъ, тѣмъ, что ты не признаешь въ этомъ пониманіи истины. Я одного съ другимъ вовсе не думаю смѣшивать; и если бы упрекалъ тебя въ *несогласіи* съ взглядами Толстого, что было бы безсмысленно, то, повѣрь мнѣ, такъ прямо и сказалъ бы, что напрасно ты не признаешь въ нихъ истины. Но я хотѣлъ сказать только то, что сказалъ, именно то, что ты не отдаешь и не можешь отдавать себѣ *вѣрнаго отчета* въ этомъ пониманіи жизни, такъ какъ оно не есть нѣчто окончательно сложившееся и выраженное въ опредѣленной формѣ, но находится въ процессѣ развитія и формированія. На внѣшней поверхности какъ бы отражается внутреннее броженіе, то одно мѣсто вздымается, то другое, временами выскакиваетъ пузырь непропорціональныхъ размѣровъ; потомъ эти непропорціональныя выпуклости опять сравниваются, замѣняясь другими, и т. д. Отдать себѣ отчетъ въ этомъ отношеніи къ жизни можно было бы только въ двухъ случаяхъ: 1) тогда, когда вся поверхность застынетъ и уляжется, принявъ окончательную опредѣленную форму. Этого *еще нѣтъ*. 2) если послѣдовательно и по возможности непрерывно слѣдить за ходомъ развитія этого сознанія. Этого *ты не можешь* уже по одному тому, что внѣшнія условія твоей жизни не позволяютъ тебѣ слѣдить не только за всѣмъ тѣмъ, что думается, говорится и дѣлается въ этомъ направленіи, но даже за тѣмъ, что *пишется* хотя бы однимъ Л. Н. А и пишется-то имъ только частичка того, что выясняется жизнью внутреннею и внѣшнею для него и его единодушниковъ. Вотъ почему ты *не можешь* отдать себѣ вѣрнаго отчета, даже если бы и хотѣлъ. Но я этимъ *вовсе* не хочу сказать, что, если бы ты отдалъ себѣ отчетъ, то призналъ бы въ этомъ пониманіи жизни осуществленіе истины. Это вопросъ совсѣмъ другой.

В. Г. Черткову.

16 августа 1892, ст. Углянка, Коз.-Вор. ж. д.

Объ отдыхѣ были у меня лишь мечты, не болѣе. То-есть, я-то думалъ, что не мечты, а оказалось мечты. Работаю надъ отчетомъ, который очень сложенъ и труденъ; постройка школы продолжается; дѣло съ нею весьма осложнилось тѣмъ, что внезапно умеръ С. М. Третьяковъ, обѣщавшій обезпечить школу 10 тыс. рублей изъ капитала И. И. Маслова и не успѣвшій исполнить это обѣщаніе. Какъ вотъ по этому поводу, такъ еще по нѣкоторымъ надо пріискать хорошаго учителя или учительницу, выпросить библіотечку, учебныя пособія, денегъ на окончаніе постройки, денегъ на новую помощь хлѣбомъ — я въ концѣ этого мѣсяца или въ началѣ сентября ѣду въ Москву. Затѣмъ нужно садиться за *свою* работу — къ стыду своему скажу, не столько по внутреннему влеченію, сколько по необходимости. То, чѣмъ я занимался восемь мѣсяцевъ — обезпеченіе людей хлѣбомъ — это занятіе оказывается для меня роскошью и мотовствомъ: я не могъ все это время работать и прибавилъ къ своимъ долгамъ столько, что не знаю, какъ и выпутаться. Внутреннее влеченіе къ работѣ именно отравляется вотъ этими соображеніями о долгахъ и тѣми еще соображеніями, что опять нельзя оставить безъ вниманія нужду въ хлѣбѣ окружающихъ меня людей. Въ довершеніе огорченія у меня опять дурной урожай, и я нахожу, что «розги въ большомъ количествѣ вещь нестерпимая». И еще: многія темы, то, о чемъ годъ тому назадъ я хотѣлъ писать какъ о важномъ и любопытномъ, теперь мнѣ представляются

не нужными и не любопытными, а въ новыхъ боюсь, что я не успѣлъ разобраться, и боюсь, не хватитъ силъ осуществить ихъ съ достаточной яркостью. Время наше представляется мнѣ мучительно труднымъ и загадочнымъ; тѣ или иныя рѣшенія задачъ мало удовлетворительными. То, что идетъ все къ лучшему, въ это я еще вѣрю, но путь къ этому лучшему сопряженъ съ необыкновенными отклоненіями къ худу,— это тоже вѣрно. Грустно видѣть, что тьма все сгущается, и что въ борьбѣ съ нею только мигаютъ немногіе огоньки, что нѣтъ почти ничего яркаго, сильнаго, того, къ чему примкнулъ бы съ веселой душою и бодро. Распространеніе неслыханной посредственности, упрямой пошлости, закоренѣлыхъ предразсудковъ — вотъ что ввергаетъ въ отчаяніе. Плохое дѣло, когда даже грѣхи становятся анемичны и рутинны, а добродѣтели такія, что отъ ихъ прѣсноты тошнитъ. Маленькія величины и въ той, и въ другой области хуже всего.

За всѣмъ тѣмъ живется точно наканунѣ чего-то и страстно хочется дождаться... чего? я и самъ не знаю; можетъ-быть, всеобщей сумятицы чувствъ, понятій и мыслей. Пусть, лишь бы эта сумятица согрѣлась страстью, искренностью, а не такъ, какъ теперь: вялая и скучная игра въ жмурки. Затѣмъ прощай, не знаю, когда увидимся. Низко кланяюсь Аннѣ Константиновнѣ и Ивану Ивановичу. Какая прелесть романъ «Ядъ» Килянда! Я только недавно прочиталъ... Вотъ мы не умѣемъ такъ писать, и это грустно.

Обнимаю тебя. А. Эртель.

П. А. Бакунину.

24 декабря 1892, ст. Углянка Коз.-Вор. ж. д.

За этимъ хлопотливымъ и всячески печальнымъ годомъ совсѣмъ мы отвыкли писать другъ къ другу, дорогой Павелъ Александровичъ, и по отношенію къ себѣ долженъ сказать, что я проигралъ отъ этого погруженія въ хлопоты и заботы голоднаго года. До сихъ поръ мнѣ не удается возстановить равновѣсія, при которомъ возможно взлетать «во области заочны», увлекаться задачами непосредственнаго искусства, проблемами самодовлѣющаго духа. Тревожная практическая дѣятельность; обыденная и, тѣмъ не менѣе, хватающая за сердце дѣйствительность; суетливый недосугъ; непрерывное многолюдство — все это точно вино било въ голову, и вотъ теперь приходится испытывать похмелье затишья и уединенія. Не поймите, что я раскаиваюсь въ своемъ прошлогоднемъ дѣлѣ [1]) — сохрани Богъ — но оно раскрыло мнѣ глаза на нѣкоторыя свойства моей натуры и вмѣстѣ съ тѣмъ показало, что на удовлетвореніе этихъ моихъ свойствъ нѣтъ никакой надежды. Я узналъ, что могу до самозабвенія, до полнѣйшаго упадка силъ увлекаться «общественной дѣятельностью», и еще узналъ, что для такой дѣятельности нужны огромные внѣшніе рессурсы, безъ которыхъ она безплодна. Рессурсовъ же нѣтъ, да и не можетъ ихъ быть, по крайней мѣрѣ, для меня, и вотъ остается горькое сознаніе, что *въ этомъ направленіи* нужно си-

---

[1]) Организація помощи голодающимъ.

дѣть сложа руки... Въ иномъ же направленіи — въ сферѣ искусства, — надо дѣйствовать, конечно, и было бы преступленіемъ унывать, но, повторяю, мнѣ никакъ не удается пріобрѣсти необходимое для этого равновѣсіе. Да и въ томъ еще бѣда, что мое искусство — «воинственное», слишкомъ спаянное съ интересами и темами преходящаго дня; а между тѣмъ до этихъ темъ и интересовъ касаться весьма трудно, если захочешь глубже и рѣзче до нихъ коснуться.

Во всѣхъ смыслахъ трудное и сложное время мы переживаемъ — и какъ русскіе, и какъ европейцы, дорогой мой Павелъ Александровичъ. Какъ русскій, чувствуешь и *знаешь*, что все несчастье нашей экономической и вообще гражданской жизни заключается въ томъ, что мы неполно, трусливо и непослѣдовательно усвояемъ европейскія «начала»; какъ европеецъ, ужасаешься тѣхъ «концовъ», которые завершаютъ «начала»... Для «политики» я и самъ не прочь повторять, что то, что теперь совершается во Франціи, въ тысячу разъ лучше лицемѣрнаго «все обстоитъ благополучно», да это и правда лучше, — но въ концѣ-концовъ нужно же сознаться, что язва открытая и язва скрытая подъ спудомъ—все же скверный и зловѣщій признакъ. Разумѣется, отсюда не слѣдуетъ сомнѣваться въ благотворности «началъ» или выдумывать новыя: это все равно, что выдумывать новую таблицу умноженія; но какъ осуществить ихъ безъ западно-европейскихъ послѣдствій— вотъ роковой и мучительный вопросъ. Очевидно то, что скелетъ гражданственности, какъ бы онъ ни былъ крѣпокъ и механически цѣлесообразенъ, *можетъ* одѣваться худосочнымъ дряблымъ тѣломъ; что, помимо устойчиваго и цѣлесообразнаго костяка, необходима здоровая и горячая кровь; что, кромѣ механическихъ условій, организму нужны и физіологическія условія существованія; однимъ словомъ, очевидно, что людямъ, кромѣ политическихъ формъ и учрежденій, нуженъ «духъ», нужна религія, вѣра, истина, Богъ... Но это легко сказать...

Л. Толстой кончилъ большое сочиненіе о войнѣ или, вѣрнѣе сказать, о государственности. Я читалъ семь главъ изъ двѣнадцати. Есть мѣста, поразительныя по вѣрности мысли

и силѣ лиризма, но въ общемъ мнѣ не понравилось; однакоже недавно я слышалъ отъ человѣка, прочитавшаго послѣднія *пять* главъ, что еще никогда Т. не доходилъ до такой энергіи и красоты выраженій, и что обычная основная его мысль развита здѣсь въ размѣрахъ едва ли не революціонныхъ. Сочиненіе, конечно, не можетъ появиться въ Россіи.

Въ янв. книжкѣ «Рус. Мысли» вы найдете мою статью — родъ отчета о нашей прошлогодней дѣятельности въ связи съ нѣкоторыми общими соображеніями. Впрочемъ, послѣднія могутъ и не появиться въ виду цензурныхъ соображеній, которыя у насъ теперь рѣшительно господствуютъ надъ «общими» — исключеніе только тамъ, гдѣ тѣ и другія совпадаютъ, т.-е. въ разсужденіяхъ о розгѣ et cetera.

А. В. Погожевой.

26 декабря 1892, ст. Углянка Коз.-Вор. ж. д.

... На-дняхъ я видѣлъ Ф. О., и онъ показывалъ мнѣ твое письмо, отъ котораго въ восторгѣ, и все жалѣетъ, что это письмо необходимо уничтожить, какъ слишкомъ смѣлое. Меня это твое письмо навело на нѣкоторыя мысли... о нихъ-то и хочу написать тебѣ. Та формула, въ которой ты выражаешь свой протестъ противъ существующей офиціальной дѣйствительности, не только не нова, — это бы еще полбѣды, — но слишкомъ элементарна, и въ этомъ своемъ качествѣ неоднократно доказала свое безсиліе. Въ сущности она подразумѣваетъ программу исключительно политическую, «якобинскую», переноситъ центръ борьбы въ сферу внѣшностей, — если я правильно тебя понялъ. Внѣшностями я называю то нервическое раздраженіе, которымъ въ большинствѣ случаевъ руководится наша молодежь въ своихъ протестахъ, — на этой струнѣ играли достаточно и, кромѣ сугубаго огорченія, ничего не достигли. Мнѣ думается, всякій протестъ, если онъ претендуетъ на плодотворность, долженъ вытекать не изъ одного лиризма, не изъ однихъ благородныхъ чувствъ, а изъ глубокаго пониманія исторіи, — это разъ, и, что, можетъ-быть, самое главное,—изъ философски-религіозныхъ убѣжденій самого протестующаго. И только изъ соединенія этихъ трехъ мотивовъ дѣятельности можетъ образоваться плодотворная протестующая дѣятельность. Большею частью наши протестанты сами не отдаютъ себѣ отчета, почему ихъ возмущаетъ про-

изволъ, насиліе, безцеремонность власти. Потому что, возмущаясь этимъ въ данномъ случаѣ, они *этимъ же самымъ* восторгаются въ другомъ случаѣ — лишь бы вмѣсто Побѣдоносцева былъ подставленъ Гамбетта или кто-нибудь въ такомъ же родѣ. О, я не говорю, что Побѣдоносцевъ и Гамбетта осуществляютъ, опираясь на произволъ, одно и то же, — я только говорю, что у нашихъ протестантовъ нѣтъ почвы, когда они осуждаютъ произволъ и насиліе, *какъ таковые*. И именно вотъ съ этого и нужно начинать, т.-е. съ единообразнаго примѣненія принципа, т.-е. чтобы не отдѣлять въ своемъ нравственномъ сужденіи Гамбетту отъ Побѣдоносцева. Но такое единообразіе дается только пристальной культурой своего *я*, отнюдь не нервической раздражительностью. Основной рычагъ общественнаго поведенія долженъ быть установленъ безъ всякаго отношенія къ «злобѣ дня», — онъ долженъ опредѣляться не статистикой, не положеніемъ крестьянскаго быта, не тѣми или иными дефектами государственнаго хозяйства и вообще политики, но философски-религіознымъ пониманіемъ своего личнаго назначенія. Нравственное credo можетъ быть достигнуто различными путями, въ томъ числѣ даже интуиціей, но важно, чтобы оно совпадало съ указаніями исторіи и пребывало бы столь же незыблемымъ, какъ незыблемы эти указанія. И только съ такимъ credo протестъ плодотворенъ. Я полагаю, что для нашей молодежи первая и главная задача — пріобрѣтеніе устойчиваго принципа; все остальное само собою приложится. Грѣхъ Ф., конечно, не въ томъ, что ему не достаетъ благородныхъ чувствъ; грѣхъ его въ томъ, что онъ смутно понимаетъ дѣйствительность и мѣряетъ такія вещи, какъ произволъ власти, не одинаковой мѣрою. Отчетливое пониманіе дѣйствительности научаетъ еще вотъ чему: въ средѣ общественныхъ явленій такъ же нельзя дѣйствовать *безусловно*, какъ и въ средѣ физическихъ явленій. Мотивъ дѣйствій долженъ быть безусловнымъ такъ же, какъ безусловно желаніе часовщика устроить *хорошіе* часы; но, выступая въ сферу практическихъ осуществленій, часовщикъ сообразуется съ достоинствомъ, размѣромъ и качествомъ дерева, мѣди, желѣза, съ сопротивленіемъ воздуха, съ энергіей стальной пру-

жины, — матеріалъ, изъ котораго образуется общественная дѣятельность, гораздо сложнѣе, и съ нимъ тоже необходимо считаться, если хочешь, чтобы что-нибудь вышло. Къ сожалѣнію, мы въ нашемъ поведеніи до сихъ поръ еще слишкомъ метафизики. Конечно, этому способствуетъ то, что явленія общественности крайне мало изучены и представляютъ много загадочнаго: сопротивленіе воздуха маятнику можетъ быть выражено съ математической достовѣрностью и, слѣдовательно, можетъ быть предсказано, но никто не въ состояніи предсказать сопротивленія среды такой, напримѣръ, мысли, брошенной въ обращеніе, какъ мысль о націонализаціи земли. Однако и теперь мы можемъ предсказать, что такая-то мысль въ условіяхъ такой-то общественности можетъ или не можетъ быть осуществлена; конечно, это будетъ предсказаніемъ приблизительнымъ, но все же предсказаніемъ. И вступая въ общественную дѣятельность, необходимо пріобрѣсти вотъ эту способность предсказывать.

Гамбетта основалъ свою программу съ великою мудростью. Я говорю объ оппортунизмѣ. Вся ошибка заключается лишь въ томъ, что оппортунисты внесли и въ нравственное свое credo этотъ принципъ относительности. Вотъ и вышла въ результатѣ Панама. Безусловное *пониманіе* добра и зла, условное *дѣйствіе* въ осуществленіи перваго и борьбѣ съ послѣднимъ, — вотъ что нужно для всякой дѣятельности, а въ томъ числѣ и для протестующей. Не подумай, что я говорю объ условности въ смыслѣ личной безопасности или личнаго удобства, — это совсѣмъ, совсѣмъ другое дѣло: тутъ выборъ широкій и вполнѣ зависимый отъ той или иной душевной температуры — можно быть просто порядочнымъ человѣкомъ, можно стать подвижникомъ, мученикомъ; я говорю о той условности, съ которой мы считаемся въ мірѣ физическомъ при каждомъ нашемъ движеніи.

Но какъ разобрать и взвѣсить силу сопротивленія и сочувствія нашимъ мыслямъ и поступкамъ въ средѣ человѣческихъ страстей, обычаевъ, предразсудковъ, состояній? — Двоякимъ образомъ, изъ которыхъ первый обязателенъ для всѣхъ, второй — удѣлъ немногихъ, свыше одаренныхъ натуръ. Первый

заключается въ пристальномъ и *свободномъ* изученіи этихъ страстей, обычаевъ, предразсудковъ и матеріальныхъ состояній, второй — въ томъ контролирующемъ чувствѣ, которое называется *тактомъ* и, къ сожалѣнію, далеко не всегда достигается опытомъ. Я думаю, что *тактъ* въ приложеніи къ общественной дѣятельности есть такая же тонкая и деликатная особенность *любви къ людямъ*, какъ въ приложеніи къ искусству особенность *чувства красоты*. У многихъ, даже крупныхъ, художниковъ этого такта нѣтъ, какъ нѣтъ его у большинства всякаго рода общественныхъ и государственныхъ дѣятелей.

Еще насчетъ условности. Конечно, *дѣйствуя* въ извѣстныхъ условіяхъ, мы должны не подчинять имъ своего нравственнаго credo, не быть рабами обстоятельствъ, но только сообразоваться съ этими условіями и обстоятельствами. Впрочемъ, это ясно изъ того, что я сказалъ о Панамѣ.

О нервическомъ раздраженіи или, что одно и то же, о лирическомъ отношеніи къ вещамъ можно сказать, какъ о циферблатѣ на часахъ: недостаточны изящество и цѣлесообразность циферблата для хорошаго, прочнаго, а слѣдовательно, и плодотворнаго механизма. Циферблатъ нуженъ, что объ этомъ говорить, но онъ — пустяки, если механизмъ не вооруженъ достаточными средствами. У насъ на Руси въ томъ бѣда, что циферблаты весьма часто разрисованы Мейсонье, а механизмъ сдѣланъ первымъ попавшимся кузнецомъ. «Забытыя слова» оттого, вѣдь, забываются столь быстро и часто, что мы воспринимаемъ ихъ нервами и, слѣдовательно, поверхностно. Михайловскіе напрасно ужъ такъ сваливаютъ на позорную короткость нашей памяти, — въ большинствѣ память тутъ не при чемъ, а вотъ что эти же гг. Михайловскіе—плохіе кузнецы, такъ это вѣрно. Огромная заслуга Л. Н. Толстого въ томъ и состоитъ, что онъ попытался изъять нравственное credo изъ его внѣшнихъ опредѣленій, попытался основать его на камнѣ, а не на песцѣ. Этой работой геніальнаго человѣка слѣдовало бы воспользоваться, а не лаять на нее, какъ на луну. Потому еще слѣдовало воспользоваться, что Толстой исходилъ изъ той основной точки, которая такъ же свой-

ственна, близка и понятна простому народу, какъ и образованному человѣку. И затѣмъ неужто она ужъ такъ противорѣчила философскому credo гг. Михайловскихъ? Сомнительно. Толстой въ своемъ философскомъ мышленіи точно такъ же отправляется отъ Канта, какъ отправляются отъ него всѣ самоновѣйшіе libres penseur'ы; точно такъ же въ своихъ первоначальныхъ посылкахъ онъ начинаетъ съ признанія ограниченности разума, съ резиньяціи въ этомъ смыслѣ... и всѣ его доказательства Бога основаны лишь на великой силѣ и красотѣ его интуиціи, на томъ *художественномъ* фактѣ, что существуетъ, существовалъ и будетъ существовать *положительный типъ* — Христосъ. Вотъ съ этого-то и загорѣлся сыръ-боръ. Христосъ сталъ костью въ горлѣ господамъ Михайловскимъ... А между тѣмъ безъ Христа часовой механизмъ всегда останется безъ главной пружины.

Нашей молодежи нужны не лирическіе призывы, — это нужно, но не такъ важно, — а основательное проникновеніе ученіемъ Христа, отчетливое знакомство съ исторіей и неослабѣвающій интересъ къ философскимъ наукамъ и искусству. Это и будетъ подлинная культура нашей богатой почвы, та культура, на которой вырастутъ незабываемыя «слова», твердыя понятія, незыблемые мотивы дѣятельности.

Негодованіе, гнѣвъ, состраданіе къ бѣдствующему человѣчеству, призывы къ борьбѣ — все это очень хорошо и непремѣнно должно быть, но какъ аттрибутъ нѣкоторой сущности, а не какъ сама сущность. Въ той же мѣрѣ нужно располагать свою дѣятельность и цѣнить чужую. Разумѣется, бываетъ иногда, что человѣкъ сдѣлаетъ хорошее дѣло, подчиняясь одному лишь внѣшнему раздраженію,—нервической впечатлительности; бываетъ даже, что такое дѣло совершается изъ честолюбія, самолюбія и другихъ невысокихъ побужденій. Ну, и пускай бываетъ. Но не надо думать, что такія побужденія прочны въ общественномъ смыслѣ и благотворны въ личномъ. Вѣдь часто также бываетъ, что въ концѣ поприща человѣкъ съ такими побужденіями къ дѣятельности ощущаетъ горькій осадокъ, пустоту въ душѣ, угаръ и чадъ быстро протекшаго существованія, да и объективная цѣнность его дѣятельности

внезапно равняется нулю. Но хотя бы такихъ результатовъ и не бывало, все же общество не нужно прельщать такими мотивами дѣятельности. Несчастье нашего поколѣнія 70 годовъ заключалось въ томъ, что оно воспитывало въ себѣ чувство протеста нервами, да одностороннимъ изученіемъ одностороннихъ наукъ, — вѣдь интересъ къ религіи, къ философіи, къ искусству совершенно отсутствовалъ, и черезчуръ большую роль играли соціологія да политическая экономія, какъ въ 60 годахъ естествознаніе да псевдо-философія: матеріализмъ. Ты скажешь: а все же умѣли умирать за идею! Ахъ, милая моя, умереть легче, нежели осуществить...

Затѣмъ вотъ еще что скажу: односторонне протестующее общество даже въ случаѣ побѣды можетъ принести болѣе зла, нежели добра. Воображаю, что бы натворили «Ѳеденьки» на мѣстѣ Побѣдоносцевыхъ и Д. Толстыхъ... О, горекъ, тысяча разъ горекъ деспотизмъ, но онъ отнюдь не менѣе горекъ, если вмѣсто того, чтобы проистекать отъ А, будетъ исходить отъ Б. А чтобы этого не было, «Ѳеденькамъ» нужно испытать на себѣ воздѣйствіе серьезной *христіанской* культуры, помимо всего прочаго. Тутъ я, быть-можетъ, немножко пересолилъ: на первомъ планѣ программы у протестантовъ стоитъ *свобода* — понятіе по преимуществу христіанское, но не надо же забывать, что «свобода» понимается ими черезчуръ механически, и вотъ именно такому механическому пониманію свободы они склонны приписать едва ли не чудодѣйственную силу. А въ этомъ и состоитъ червоточина. Учрежденія точно скелетъ; необходимо, чтобы онъ былъ проченъ, цѣлесообразенъ и строго соотвѣтствовалъ строенію и росту тѣла; но добротность, крѣпость и цѣлесообразность костяка отнюдь еще не обезпечиваютъ здоровья и крѣпости тѣла. Совершенно вѣрно, что скелетъ долженъ быть подчиненъ законамъ механики — отъ этого и зависитъ его устойчивость, но функціи мускуловъ, крови, мозга опредѣляются не одной механикой... Такъ и въ общественномъ тѣлѣ.

Я склоненъ думать, что плодотворность 40 годовъ отчасти произошла и отъ того, что протестующіе люди того времени испытали на себѣ самихъ глубокую и серьезную культуру.

И это даже удивительно, если вспомнить, что они были сплошь «дворяне»... а съ 60 годовъ въ этотъ классъ протестующихъ вступили разночинцы и вмѣстѣ съ нѣкоторыми поправками къ дворянскому міросозерцанію внесли пропасть фантастики и грубую односторонность. Это ли не знаменательный фактъ, что дворянинъ-Герценъ, *эмигрантъ*, въ большинствѣ вопросовъ стоялъ ближе къ интересамъ, потребностямъ и содержанію русской дѣйствительности, нежели сынъ попа Чернышевскій и дворянинъ Иванъ Аксаковъ, ближе мѣщанъ, семинаристовъ и даже крестьянъ, фигурировавшихъ хотя бы въ процессѣ 193.

Тургеневъ разсказываетъ, что однажды въ разгаръ горячаго спора съ Бѣлинскимъ ихъ позвали обѣдать, и Тургеневъ поднялся, чтобы идти. «Мы еще не рѣшили вопроса о *существованіи Бога*, а вы хотите обѣдать!» воскликнулъ Бѣлинскій едва не со слезами на глазахъ. Вотъ такая жанровая картинка поясняетъ страшно много въ исторіи того и нашего поколѣній. Разныя тупицы въ родѣ С. К. относятся съ великимъ высокомѣріемъ къ «метафизикѣ и мистикѣ» 40 годовъ. Однако это былъ тотъ самый источникъ живой воды, безъ котораго оскудѣваетъ нива общественной жизни, какими она ни играй внѣшними красками. Омерзительно читать, когда г. С. снисходительно глумится надъ извѣстнымъ эпизодомъ изъ жизни Герцена въ Новгородѣ (споры съ вѣрующей дамой, потерявшей своихъ дѣтей), — вѣдь именно возможность такихъ эпизодовъ и составляла животворящую силу того времени, да и всякаго.

Ты отчаиваешься не только въ обществѣ, но даже въ народѣ русскомъ. Напрасно. Въ его грубой, дикой и неподатливой массѣ есть тотъ источникъ добра, который, боюсь, весьма изсякъ во Франціи, напр.,—въ немъ есть великій матеріалъ для религіи и метафизики, — вотъ въ чемъ залогъ его великой будущности, что бы намъ ни говорили факты. Онъ не утратилъ свѣжести чувства, той его наивности и непосредственности, которая теперь проявляется нелѣпо, жестоко, но въ соединеніи съ просвѣщеніемъ можетъ проявиться и инымъ образомъ. Въ общеніи съ выродившимся народомъ ты не могла

бы испытывать того наслажденія, которое испытывала въ деревнѣ, читая вслухъ или ведя разговоры. Отвратительнаго въ его средѣ страшно много, но это не то «отвратительное», что раскрывается передъ тобою въ подкупѣ парижской прессы и парламента. Тамъ запахъ трупа, здѣсь — вонь невымытаго, неопрятнаго, обовшивѣвшаго, но здороваго человѣка. Сохрани Богъ думать, что «западъ гніетъ»; однако кое-что въ немъ гніетъ, и у насъ такъ же, — и все спасеніе, какъ на Западѣ, такъ и у насъ, въ источникахъ живой воды, сверху, съ вершины знанія, и въ матеріалѣ непочатой цѣлостности чувствъ снизу, со стороны народа. А мостикъ между тѣмъ и другимъ все-таки ученіе Христа и ничего болѣе.

Въ европейской исторіи снова можетъ повториться тотъ ужасный фактъ, что «святая простота» истребитъ всю нашу цивилизацію, и мракъ среднихъ вѣковъ воцарится съ сугубой силою. «Вонючій рабъ исполосуетъ ножомъ ликъ Сикстинской Мадонны!» восклицалъ Достоевскій, и совершенно справедливо. Ибо, что ему Гекуба! И такой ужасъ, повѣрь, не предотвратишь механикой учрежденій. Его только можно избѣгнуть духовнымъ общеніемъ съ народомъ, т.-е. принимая участіе въ самыхъ его интимныхъ интересахъ и посвящая его въ самые интимные свои. Первый шагъ для такого общенія опять-таки проповѣдь великаго человѣколюбца Христа. Пусть, пусть ученіе Христа въ глазахъ народа одѣто аллегоріями, символами, обрядами, суевѣріями, предразсудками, мощами, Иверской, «батюшкой Царь-Градомъ» и «Матушкой Пятницей», — за всей этой шелухой все Онъ же любвеобильный, кроткій, мудрый, — Онъ, котораго, слава Богу, еще не превзошли никакіе Марксы и Чернышевскіе, подъ сѣнью котораго есть мѣсто и искусству и наукѣ, всему, что не противорѣчитъ любви и милосердію.

Вотъ этотъ-то первый шагъ нашей протестующей интеллигенціи нужно сдѣлать — надо полюбить Христа и понять Его.

О философскомъ интересѣ существуютъ такія превратныя понятія: философія де съ своими разнорѣчивыми выводами въ области метафизики и безотрадными въ области позитивизма способна только привести въ отчаяніе и истребить вся-

кую вѣру. Вотъ ужъ вздоръ. Сорную траву въ понятіяхъ и представленіяхъ она дѣйствительно можетъ истребить, но вѣру не только не уничтожаетъ, а даже дѣлаетъ необходимой. Она, какъ никакая другая дисциплина, доказываетъ то, что истина познается и осуществляется не одними лишь построеніями логическихъ умозаключеній, но внушеніями «практическаго разума», — волею, красотою, нравственностью. Правда, въ философіи объ этомъ говорится на разныхъ языкахъ и такъ же путемъ утвержденій, какъ и отрицаній, но отсюда еще не слѣдуетъ, что выводъ изъ нея не одинъ. Затѣмъ допустимъ даже, что мы не получимъ отъ нея категорическаго отвѣта, но въ *поискахъ* за такимъ отвѣтомъ мы найдемъ столько возвышенныхъ мыслей, откроемъ для нашего ума такія захватывающія перспективы, столь поучительныя обобщенія, что, право, это будетъ стоить многихъ категорическихъ отвѣтовъ и безспорныхъ рѣшеній.

... Однимъ словомъ, основная мысль моя та, что всѣ наши протестующія мысли и поступки возникаютъ на почвѣ нервической впечатлительности и политико-экономическихъ теорій, да примѣровъ изъ западной жизни, и что этого для плодотворнаго протеста слишкомъ мало. Намъ необходимо запастись болѣе надежнымъ багажомъ и прежде всего культурою нашего я...

П. А. Бакунину.

15 января 1893, ст. Углянка Коз.-Вор. ж. д.

Ну, дорогой мой Павелъ Александровичъ, прежде всего хочу возразить противъ теоріи «достолюбезной глупости», которую вы вводите какъ нѣкоторый признакъ художественнаго таланта. Я понимаю, что вы разумѣете подъ этимъ отнюдь не простую глупость, но все же нѣсколько обиженъ за таланты. На мой взглядъ дѣло обстоитъ совсѣмъ иначе. Съ непосредственнымъ творчествомъ, — съ тѣмъ творчествомъ, которое дѣйствительно можетъ быть сопряжено съ «достолюбезной глупостью», — еще туда и сюда, но не надо забывать, что у крупнаго художника актъ непосредственнаго творчества есть одинъ изъ элементовъ его силы, и что такой элементъ, впрочемъ, необходимый, самъ по себѣ мало значитъ. Не оттого ли вліяніе художественныхъ произведеній всегда было тѣмъ выше, сильнѣе и глубже, чѣмъ авторы этихъ произведеній шире и сознательнѣе смотрѣли на міръ Божій? О, конечно, будь хотя семи пядей во лбу, но безъ дара непосредственнаго творчества въ мірѣ искусства ничего не сдѣлаешь, — это я опять-таки и съ большой настойчивостью повторю,—но такъ же мало сдѣлаешь и съ одной интуиціей. Фактъ тотъ, что всѣ великіе художники, съ Гомера, если хотите, обладали и знаніями своего вѣка, и умѣньемъ *умственно* оріентироваться въ теченіяхъ и комбинаціяхъ дѣйствительности. Фауста съ однимъ «простодушіемъ и наивностью» не напишешь... Хотя, съ другой стороны, тотъ же Фаустъ во второй части поразительно доказываетъ вредъ односторонней рефлексіи.

Во всякомъ случаѣ, истина будетъ въ томъ, что богатѣйшій матеріалъ непосредственности, такъ же какъ и богатѣйшая руда, требуетъ ухода, культуры, самой прозаической лабораторной работы, дабы очиститься отъ разныхъ грубостей и шлаковъ. Все это весьма несовмѣстно съ глупостью, хотя бы и «достолюбезной». Въ нашей «плеядѣ» можно назвать писателя, который до извѣстной степени подходитъ къ вашему опредѣленію, — это въ свое время и отмѣтилъ Бѣлинскій, — но не оттого ли роль Гончарова такъ вышла однообразна и бѣдна? А между тѣмъ трудно отрицать огромный матеріалъ непосредственности въ его талантѣ, дѣятельную стихію самодовлѣющаго творчества, *страсть къ изображенію* жизни. Другой примѣръ — покойный Фетъ. Я недавно разорился на четыре цѣлковыхъ и перечиталъ его воспоминанія. Вотъ, можно сказать, былъ человѣкъ, обладавшій въ высокой мѣрѣ достолюбезной глупостью, — отчасти, впрочемъ, и не достолюбезной, — и что же? Захваченный имъ уголокъ дѣйствительности такъ малъ, до такой степени граничитъ съ областью элементарныхъ душевныхъ движеній, столь ограниченъ вздохами, звуками, намеками, что опять-таки ничего не говоритъ въ пользу глупости. Вы скажете, что, однако, то̀ крошечное, что онъ уловилъ своей интуиціей, могло быть совершенно испорчено, если бы онъ вздумалъ умничать, — да и портилось неоднократно имъ же, — но на это стоитъ лишь возразить двумя словами: *умничать* не надо. Надо не умничать — это пусть останется Кифѣ Мокіевичу и его приснымъ — *надо мыслить*. Вотъ еще фраза: художникъ мыслитъ образами! Фу, ты, подумаешь, какая таинственная прерогатива! Въ сущности это сводится къ тому, что математикъ, мысля количественныя отношенія, выражаетъ эти свои мысли свойственными математикѣ формулами; художникъ же выражается формулами, свойственными искусству. Я понимаю, что эти мои слова могутъ дать поводъ къ самой безжизненной и зловредной тенденціи, и для этого добавлю: формулы художника должны быть напоены плотью и кровью дѣйствительности, должны быть *какъ бы оторванными* отъ предшествовавшаго имъ логическаго процесса мысли. Секретъ этого вотъ *отрыванія* и

есть секретъ художника. А отъ логическаго процесса не скроешься, и не избѣгнешь его, — его можно только замаскировать съ тѣмъ или другимъ умѣньемъ. Но вы скажете: какимъ же образомъ вещи, недоступныя обычной логикѣ, ускользающія отъ всякихъ резоновъ, оказываются доступными художнику? Да, помилуйте, дорогой мой, въ какой же мѣрѣ онѣ, эти вещи, и ему-то доступны? Онѣ, вѣдь, доступны ему въ той только мѣрѣ, въ какой могутъ быть доступны неяснымъ прозрѣніямъ чувства, никакъ не болѣе. Чувство у настоящаго художника дѣйствительно гораздо изощреннѣе, чѣмъ у рядовыхъ людей. Но дѣлая волшебства съ помощью этого могущественнаго орудія, онъ только помогаетъ своему уму, своимъ логическимъ способностямъ. Въ отличіе отъ математика, онъ не столько доказываетъ, сколько угадываетъ; но за его проникновенными картинами жизни совершается та же работа отвлеченной мысли, какъ у перваго за его формулами. А если не совершается, тогда плохо дѣло: безъ умственной дисциплины интуиція отмачиваетъ прескандальныя штуки. Я готовъ держать какое угодно пари, что нѣтъ того настоящаго и значительнаго произведенія искусства, которому не предшествовала бы отвлеченная работа мысли. Иначе было бы противоестественно. О, конечно, у большого художника процессъ абстракціи очень рано смыкается съ процессомъ воображенія — такъ иногда рано, что и для самого художника незамѣтно, когда это случилось (отсюда происхожденіе предразсудка, что художникъ мыслитъ образами), но все же въ туманѣ первоначальныхъ замысловъ первенствующую роль играетъ *логически вооруженное* сознаніе, а не «достолюбезная глупость». Художникъ, если хотите, и «мыслитъ образами», но образамъ-то этимъ необходимо предшествуетъ нѣкоторое безформенное лекало. Иначе вышла бы путаница и отсутствіе всякаго единства. А въ концѣ-концовъ единство-то и даетъ смыслъ... Въ жизни оно всегда есть, однако, неуловимое обыкновенной мыслью и обыкновеннымъ чувствомъ; призваніе художника заключается, между прочимъ, и въ томъ, чтобы осуществить это разсѣянное единство. Но тутъ безъ помощи ума, безъ помощи *резоновъ* ничего не подѣлаешь.

А все это я веду къ тому, что Пушкинъ, мало того, что уменъ по-своему (т.-е. «достолюбезно глупъ»), но и страшно уменъ въ обыкновенномъ, въ логическомъ смыслѣ этого слова. И также каждый настоящій художникъ. — Вотъ что еще скажу: истинная мудрость тогда лишь и осуществляется, когда въ человѣкѣ или въ ученіи его есть элементы художественности. Безъ этого никакой великій умъ не можетъ стать мудрымъ. И наоборотъ: истинная художественность не мыслима безъ ума, безъ самаго обыкновеннаго, разсудочнаго, резонирующаго ума. И только такой совершенный человѣкъ, или такое ученіе, или такое произведеніе искусства, способны возвести къ единству мучительныя противорѣчія дѣйствительности.

Вы ужасно вѣрно сказали о разъѣдающей кислотѣ рефлексіи. Но что это значитъ? Это значитъ то, что бѣда, когда рефлексія вторгается не во-время. Вотъ я прочиталъ въ первый разъ «Я помню чудное мгновенье»... Душа еще полна звуками, представленіями, восторженнымъ и умиляющимъ чувствомъ красоты, тихимъ раздумьемъ... И вдругъ какой-то чертенокъ шепчетъ мнѣ: а ну-ка попытаемся произвести надъ сей пьесой грамматическій анализъ! Предложеніе первое: я помню чудное мгновенье... Гдѣ подлежащее? Гдѣ сказуемое? и пошла писать... И жизненная прелесть пьесы исчезаетъ, остаются буквы, формы и условности. — Это и есть рефлексія не во-время.

А во-время и рефлексія необходима. Если у меня есть внутреннее побужденіе «творить» — разъѣдающая кислота не помѣшаетъ; если нѣту или оно слабо, худосочно, вяло — и хорошо, что помѣшаетъ творить. Инстинкты творчества неистребимы... Правда, бываютъ времена въ исторіи, когда они стремятся выразить себя на ложномъ пути, или пребываютъ въ искусственномъ бездѣйствіи, или извращаются, — точно въ области полового чувства необузданная свобода совокупленія, скопчество, онанизмъ, — но это не отъ рефлексіи.

Вотъ тутъ-то мы и подходимъ къ самому главному. Творчество оскудѣваетъ, когда оно не согрѣто пламенемъ религіи или глубокаго философскаго міровоззрѣнія. Т.-е., выражаясь грубыми словами, оно тогда занимается блядовствомъ, онаниз-

момъ или резонерски доходитъ до извѣстной ветеринарной операціи.

Я далекъ отъ той мысли, что въ настоящее время мы переживаемъ такой моментъ. Но мы *начинаемъ* входить въ него, и это ужасно грустно. Въ сущности и теперь наше творчество согрѣвается не подлиннымъ огнемъ, а его отраженіями. Подлиннымъ огнемъ пока еще владѣетъ Л. Толстой и, пожалуй, онъ одинъ во всей современной европейской литературѣ. Творчество остальныхъ оплодотворяется настолько, насколько они непослѣдовательны, насколько они еще не освободились отъ преданій, отъ унаслѣдованныхъ привычекъ, отъ «предразсудковъ».

И это, мало того, что въ предѣлахъ искусства, но и повсюду, на всѣхъ поприщахъ жизни, — въ томъ числѣ и въ средѣ общественности. Все, что есть благороднаго, возвышающаго, наполненнаго смысломъ, — все это по непослѣдовательности, по привычкѣ, по счастливой способности человѣческой природы мало думать и много чувствовать, — однимъ словомъ, по инерціи, по толчку изъ прекраснаго далека. Однако по тому же закону инерціи несознательное движеніе имѣетъ предѣлы. Эти предѣлы во многихъ частныхъ случаяхъ уже наступили, движеніе прекратилось... и съ нимъ самодовлѣющее дыханіе жизни.

Великій вопросъ поставленъ на очередь. Отъ его рѣшенія зависитъ не только судьба искусства, но и судьба всего человѣчества. Надвигаются сумерки, какъ и во время оно... Неужели опять суждено возсіять зарѣ изъ нѣдръ варварства? Неужели снова необходимъ стихійный матеріалъ «святой простоты», дабы придать былое очарованіе «забытымъ словамъ», забытымъ ученіямъ и мыслямъ?

А сдается, что такъ...

Правда, кой-гдѣ стараются имитировать эту «святую простоту»; стараются разбудить варвара въ душѣ современнаго высоко-культурнаго человѣка. Этимъ, напр., заняты теперь французы: П. Бурже, М. де-Вогюэ и проч. Есть и у насъ нѣкоторыя попытки въ родѣ акаѳистовъ Іоанну Кронштадтскому, сочиненныхъ молодымъ беллетристомъ Щегловымъ.

Сюда же нужно присоединить едва замѣтное теченіе молодежи къ лону православія, — самый видный представитель этого теченія Антоній Храповицкій... Но надолго ли хватитъ такой эквилибристики? Да и чего ждать отъ поддѣлки?

Есть еще иныя попытки, болѣе существеннаго содержанія: я говорю о метафизическомъ теченіи, явно широкомъ въ Россіи и замѣтномъ во Франціи. Ахъ, эта метафизика... Свои отношенія къ ней и къ позитивизму всѣхъ толковъ я сравниваю съ отношеніемъ къ двумъ женщинамъ: одна не просто умна, но загадочно умна, обаятельна, прелестна, немножко капризна, немножко кокетлива, но это ничего, даже очень хорошо, и еще неотразимѣе плѣняетъ; другая — умна, какъ сѣренькій осенній день, проста, благоразумна, правдива, суха, строга и безупречной нравственности. Сердце мое лежитъ къ первой: еще бы, еще вчера она подарила меня такой многообѣщающей улыбкой, такимъ чарующимъ взглядомъ влажныхъ затуманенныхъ глазъ... Но дѣло въ томъ, что въ обществѣ, во-первыхъ, плохо говорятъ о ней — впрочемъ, это еще не бѣда, — бѣда въ томъ, что циркулируютъ документы, говорящіе какъ нельзя болѣе ясно о ея вольномъ поведеніи, о ея грязноватыхъ связяхъ, о ея обманахъ, лукавствѣ и т. д. «Документы эти поддѣльны!» возражаетъ обворожительная m-lle Метафизика, качая своей головкой... и вдругъ въ ея взглядѣ загорается что-то такое чистое, благородное, высокое, что я и самъ готовъ повѣрить, что документы поддѣльны. Но съ другой стороны... идешь къ соперницѣ, вкушаешь трезвыя словеса, смотришь на это холодное и скучное, но несомнѣнно честное лицо, и думаешь: а вѣдь *та*, кажется, солгала. Конечно, проще бы всего самому «изслѣдовать вопросъ», т.-е. изучить почеркъ и слогъ документовъ, вдуматься въ ихъ смыслъ и содержаніе... Я это и пытался дѣлать, да и теперь иногда дѣлаю. И сказать ли? — мнѣ представляется, что метафизика дѣйствительно съ изъянцемъ. Но я не смѣю рѣшать вопросъ категорически; многаго я еще не знаю; многое въ инкриминируемыхъ документахъ для меня темно... Нѣтъ у меня ни досуга, ни знаній, чтобы вполнѣ разобраться въ этомъ смутномъ казусѣ. Тѣмъ не менѣе, я продолжаю тяготѣть къ метафизикѣ, продолжаю

радоваться украдкой ея завоеваніямъ и успѣхамъ и инстинктивно не люблю ея соперницу.

Въ концѣ-концовъ мнѣ представляется дѣло такъ: Кантъ по справедливости обрѣзалъ крылья метафизикѣ и съ полнѣйшимъ правомъ закрылъ тотъ люкъ, въ который она повадилась лазить въ сферу безконечнаго. Но съ инстинктомъ истиннаго мудреца тотъ же Кантъ понялъ, что безконечное исключать не годится, и попытался продѣлать свой люкъ — приблизиться къ Божеству путемъ интуиціи, «практическимъ разумомъ». Говорятъ, что эта попытка не выгорѣла, но будто бы Шопенгауэръ сдѣлалъ къ ней весьма убѣдительныя поправки, въ концѣ которыхъ сдѣлалось явнымъ, что безконечное — имманентно... и безсмысленно. Я съ этимъ всѣмъ своимъ существомъ не согласенъ. Наконецъ, новѣйшіе философы,— довольно обстоятельный смотръ которыхъ недавно произвелъ В. В. Лесевичъ, — безповоротно рѣшили, что не только невозможны люки (Спенсеръ и вообще агностики), но и что некуда черезъ нихъ лазить, ибо самое понятіе безконечности есть многосторонняя химера и баловство. Ну, съ этимъ я тоже не согласенъ.

А согласенъ я вотъ съ чѣмъ. Гексли — это ли не современная и несомнѣнно «научная» величина! — сказалъ: «Я не имѣю ни малѣйшей побудительной причины причислять себя ни къ философамъ-фаталистамъ (детерминистамъ), ни къ матеріалистамъ, ни къ атеистамъ. Къ первымъ потому, что, по-моему, понятіе необходимости имѣетъ основаніе *логическое*, а не *физическое*; ко вторымъ — потому, что я совершенно не способенъ понять существованія матеріи, если нѣтъ сознанія, въ которомъ бы это существованіе рисовалось; къ третьимъ — потому, что проблема послѣдней причины существованія кажется мнѣ безнадежно выходящей изъ предѣловъ моихъ бѣдныхъ способностей. Изъ всей безсмысленной болтовни, какую я когда-либо имѣлъ возможность слышать, доказательства тѣхъ философовъ, которые берутся разсказать намъ все, касающееся природы Бога, были бы худшей болтовней, если бы ее не превосходили еще большія нелѣпости философовъ, доказывающихъ, что Бога нѣтъ».

Вотъ что сказалъ Гексли, и съ чѣмъ я въ извѣстномъ смыслѣ совершенно согласенъ.

Я говорю «въ извѣстномъ смыслѣ», ибо предполагаю, что только тѣ доказательства бытія Божія суть болтовня, которыя стремятся утвердить себя на песцѣ логическихъ умозаключеній. Доказать Бога можно только, какъ доказалъ Христосъ, — примѣромъ, полнотою своего существованія. Всѣ иныя доказательства не что иное какъ «теоріи поэзіи» въ мірѣ искусства. Онѣ справедливы съ той или другой стороны, со стороны внѣшностей, но еще никогда ни одна теорія не дѣлала Пушкиныхъ и Толстыхъ, т.-е., иными словами, *не доказывала поэзіи*. Нѣтъ выше того доказательства истины, какъ осуществленіе этой истины въ жизни, т.-е. въ разумѣ, добрѣ и красотѣ. Всякія другія доказательства всегда будутъ скользить по поверхности, не проникая въ сущность предмета. Пріемы формальной логики могутъ убить наповалъ «Я помню чудное мгновенье» — что и дѣлается успѣшно въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, — но возсоздать *эту* истину логика безсильна, ибо для созиданія нужно кое-что иное, кромѣ логики. Затѣмъ нужно помнить, что истина не механическій конгломератъ, но органическое соединеніе. Вотъ почему художественному творчеству болѣе доступно познаніе Божества, нежели логическимъ дисциплинамъ. Въ сущности вся вселенная, такъ же, какъ и жизнь отдѣльнаго человѣка, есть поэма. Человѣкъ творитъ свою жизнь, такъ же, какъ творили Шекспиръ и Пушкинъ свои произведенія. И всѣ они одинаково свободны и одинаково порабощены условностямъ. Пушкинъ и Шекспиръ — условностямъ грамматики, обычаевъ, времени; человѣкъ — тому, что называютъ капризами дѣйствительности... Все равно: дыханіе истины, жизни, Божества преодолѣваетъ стихійный матеріалъ условностей, и въ концѣ-концовъ солнце свободы *можетъ* разсѣивать тучи.

Человѣчество тѣмъ счастливо, что имѣетъ разительный образчикъ жизни-поэмы — Евангеліе, и живую истину въ неумирающихъ твореніяхъ искусства. Весь вопросъ сводится къ тому, чтобы эти чудеса не обрастали дикимъ мясомъ, — символикой, суевѣріями, оргіями чувственности, и чтобы вмѣстѣ

съ дикимъ мясомъ не истребилось бы живое мясо истины. Удалять дикое мясо по справедливости должна наука, — философія пусть смягчаетъ притязанія и прямолинейность смѣлаго оператора.

Я особенно люблю метафизику въ ея критической работѣ. Съ этой стороны я съ истиннымъ восхищеніемъ прочитывалъ статьи Лопатина объ утилитарной нравственности и даже г. Чичерина объ О. Контѣ. Критическая сторона въ «научной» философіи тоже самая сильная ея сторона. И, право, пусть обоюдно грызутся эти два развѣтвленія человѣческой мысли... Эта грызня, во всякомъ случаѣ, не безполезна: воздухъ становится чище, яснѣе, прозрачнѣе, въ немъ отчетливѣе выдвигаются контуры загадочной истины... той истины, ради которой умеръ на крестѣ Христосъ, ради которой плакалъ несчастный Гейне, взирая на Венеру Медицейскую.

Но метафизикѣ предлежитъ еще огромная работа: завоевать себѣ утраченное со времени Гегеля положеніе. Мнѣ такое завоеваніе воображается именно вотъ на почвѣ критической борьбы съ позитивизмомъ. Нужно дискредитировать положительную часть того ученія; нужно выдернуть опору изъ-подъ теорій позитивной морали, эстетики, — главное, морали; нужно доказать, что позитивизмъ мертвъ, какъ *міросозерцаніе*, что его механическіе постулаты подразумѣваютъ въ своемъ выводѣ отчаяніе и скотоподобіе. Однимъ словомъ, пусть позитивизмъ орудуетъ съ своимъ методомъ въ надлежащихъ ему по праву дисциплинахъ и упражняетъ тамъ свою язвительную гносеологію... Я не сомнѣваюсь, что на этой почвѣ рано или поздно метафизика одержитъ побѣду. Тогда обезкураженное общество снова обратится къ чарамъ абсолюта... и потребуетъ положительныхъ указаній.

Ну, и что же, найдутся они? Вы думаете, что да? Я этого — увы! — не думаю.

Но я думаю, что подъ покровомъ вновь воспрянувшаго идеализма воскреснетъ интересъ къ религіи и высокому искусству; что вновь окажутся возможными рѣчи Фихте-старшаго къ нѣмецкому народу, и вновь загорится энтузіазмомъ чело-

вѣческая мысль и благородная мечта о незыблемомъ достоинствѣ и свободѣ человѣка.

Господи Боже мой, какъ все это похоже на бѣличье колесо!

Однако я началъ съ распространенія метафизики въ нашемъ любезномъ отечествѣ. Я, конечно, говорю о томъ распространеніи, которое можно констатировать въ литературѣ, и, главнымъ образомъ, разумѣю «Вопросы философіи» и «Сѣверный Вѣстникъ». Въ «Вѣст. Европы» тоже можно указать нѣкоторые характерные признаки (напр., статью кн. С. Волконскаго о прекрасномъ)... Конечно, наши доморощенные позитивисты склонны объяснять такое распространеніе политической реакціей. Но въ этомъ они несомнѣнно ошибаются. Причины глубже. Одна изъ первыхъ для Россіи — проповѣдь и дѣятельность Л. Н. Толстого; но тоже нельзя и этимъ объяснять — есть причина, общая не одной только Россіи, а всему образованному міру: я бы назвалъ ее оскоминой и пресыщеніемъ. Какъ бы тамъ ни было, но фактъ налицо: съ необыкновенной смѣлостью люди печатно разсуждаютъ о Богѣ, о безсмертіи, о конечныхъ причинахъ — о томъ, что еще такъ недавно считалось неблагопристойностью, едва ли умѣстною въ обществѣ истинно-порядочныхъ и развитыхъ людей.

П. А. Бакунинъ — А. И. Эртелю.

25 января 1893, Ялта.

...Я съ вами вполнѣ согласенъ: глупость и безсмысліе не могутъ служить основаніемъ, ни даже подспорьемъ для творчества. Всякое исполненное произведеніе есть свидѣтельство о прошедшемъ, исполненномъ пережитой страсти, мысли и законченнаго труда: но именно уже прошедшихъ,т.-е. законченныхъ; то, что еще не совершено, не можетъ быть совершеннымъ, не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ. Но какъ въ хорошемъ обѣдѣ за столомъ не видать хлопотъ и труда, понесенныхъ хозяйкою, какъ въ вѣчно юныхъ образахъ природы, старой, какъ весь міръ, не видать тяжкихъ усилій и страшнаго напряженія ея стихійныхъ силъ, а только невозмутимое

спокойствіе и дѣтски наивная простота, такъ и въ художественномъ произведеніи окончательно утонули и угасли весь трудъ, все напряженіе, всѣ мысли, и есть одно совершенство, потому что въ немъ все совершилось, все кончилось и прошло. Настоящее или дѣйствительное и дѣйствительно сущее есть всегда лишь то, что прошло. Были мысли, былъ трудъ, было напряженіе, но прошли, совершились и чрезъ это стали совершенствомъ. Чтобъ сталось совершенство, т.-е. малѣйшее, дѣйствительно сущее событіе, или нѣкоторая законченность бытія, живая индивидуальность, требуется, чтобъ затонула и прошла цѣлая безконечность всякихъ мыслей и соображеній, а покуда не прошла, не окончилась, не замкнулась въ недѣлимый образъ эта безконечность, до тѣхъ поръ не можетъ статься, не можетъ осуществиться ни малѣйшій образъ дѣйствительности, которая по существу своему, какъ замкнутая въ себѣ, какъ *конченная безконечность*, есть несообразимое и непонятное чудо. А чудо и все чудесное предъ лицомъ умныхъ мыслей и ученыхъ теорій и всякихъ тонкихъ разсужденій, индукцій и дедукцій — не есть ли наивная и достолюбезная глупость? — Чтобъ дойти до чего-нибудь дѣйствительнаго, т.-е. до того, что живетъ и есть сущая истина, надо пройти и закончить безконечный рядъ, нескончаемую канитель мыслей, соображеній и всего прочаго: какъ бы далеко ни идти, такому ряду, нигдѣ конца не найдется, а это значитъ, что его должно и можно закончить въ каждой точкѣ, въ каждое мгновеніе рѣшеніемъ не тянуть эту канитель, но прервать ее, оборвать всѣ разсужденія, всѣ умности и, ставъ глупымъ, схватить зато дѣйствительность за самое сердце ея, а не за тѣ туманы и призраки, которые летятъ отъ нея во всѣ стороны, какъ дымъ отъ горящаго пламени. Видите ли, Александръ Ивановичъ, я все отстаиваю свою глупость, которую, соглашаясь съ вами, я ищу, однако, не въ отсутствіи ума и мысли, но только въ рѣшеніи покончить съ ними и долго не канителиться. О, безъ сомнѣнія, я знаю, есть modus in rebus; есть извѣстная техника, фасоны, манеры, разныя условности, указываемыя и регулируемыя нѣкоторымъ знаніемъ и, особенно, вкусомъ, чуткостью уха и глаза, — но дѣло не въ этомъ, а только въ томъ, чтобъ на сердцѣ дѣйствительно было нѣчто дорогое и любимое, о которомъ слѣдуетъ повѣдать людямъ, потому что они еще не знаютъ, не додумались. *Было бы* что сказать, а какъ сказать, образъ, способъ — это само собою найдется. Если это *было бы* есть, то въ немъ смолкли всѣ разсужденія, всѣ мысли, что и даетъ ему видъ глупости; оно не мысль и не вещь, но жизнь, а дѣйствительная жизнь, какъ ни взгляни

на нее — научнымъ, метафизическимъ или религіознымъ образомъ — есть непонятное, святое, преисполненное безконечнымъ: это ли еще не глупость по сравненію съ самознательно всезнающею, безъ конца разсуждающею, въ журналахъ проповѣдывающею, всенаучною умностью! Жизнь есть прекрасное, безконечное, святое, но та же самая жизнь, излагаемая и преподаваемая умными профессорами или бойкими публицистами, огорчаетъ каждаго живого человѣка, какъ смертельно скучная пошлость, состоящая въ апломбѣ умныхъ профессоровъ, воображающихъ, что они все содержаніе жизни накрыли своею умностью, какъ шапкою, что ничего нѣтъ ни лучше, ни выше, ни шире того, что они знаютъ. А, ей Богу, умные профессора-эстетики охотно, ни мало не сомнѣваясь и безъ зазрѣнія совѣсти возьмутся преподавать грацію самымъ прелестнымъ дѣвицамъ въ пору ихъ юности и глупой наивности. Бѣдовое положеніе профессора, который присужденъ быть всегда умнымъ, или священника, который, хочешь не хочешь, всегда долженъ быть благочестивъ и назидателенъ!

Вы, Александръ Ивановичъ, сравнивая сферу положительнаго знанія съ туманами метафизики, кажется, впали въ ошибку, принявъ за портретъ послѣдней — портретъ сестры ея, сестры по отцу, хоть отъ другой матери, — именно портретъ поэзіи: это о ней говорятъ худо еще со временъ Платона, ее подозрѣваютъ, ею плѣняются и ее же поносятъ, ссылаясь на документы и достовѣрныхъ свидѣтелей. А метафизика въ этихъ дѣлахъ неповинна; если ее и подозрѣваютъ и даже прямо осуждаютъ, то это развѣ въ томъ, что она заговаривается, впадаетъ въ бредъ, что у ней голова не въ порядкѣ, а насчетъ того — ни-ни! да къ тому же она и граціи лишена, нерѣдко неряшливо и большею частью дурно одѣта; такъ ужъ куда же ей! Затѣмъ, если вы имѣете въ виду не самую метафизику, а только ея служителей и поклонниковъ, то въ этомъ отношеніи не надо забывать, что много званныхъ, но мало избранныхъ; это, однако, касается въ равной мѣрѣ и искусства и религіи. Въ научной сферѣ господствуетъ строгая дисциплина, тамъ ходи по ниточкѣ, а не то убирайся вонъ; а въ сферахъ художества, религіи и метафизики господствуетъ свобода, и если и есть какая дисциплина, то не снаружи, а только изъ нутра, отъ своей совѣсти. Творенія или творчество метафизики, какъ и творчество религіи и художества, устанавливаются не на незыблемыхъ фактахъ, не на недвижно застывшихъ камняхъ и материкѣ, а только на зыбко-подвижной волнѣ ничѣмъ не связаннаго вольнаго человѣческаго помышленія, на жизненномъ трепетѣ страстно-желающаго сердца;

да и рѣчь тутъ идетъ вовсе не о томъ, о чемъ толкуется въ научной сферѣ. А это совсѣмъ другое дѣло. Вами приводимыя слова Гексли, широко развитого, скромнаго, гуманнаго, всему доброму сочувствующаго и содѣйствующаго англійскаго ученаго, хотя онъ, какъ и слѣдуетъ доброму англичанину, и придаетъ имъ оболочку простого здраваго смысла, идутъ по глубинѣ своей не изъ науки, но изъ общихъ положеній метафизики, такъ какъ ихъ смысла ни наука, ни здравый смыслъ не компетентны ни отрицать, ни утверждать. То, что всякая метафизика пытается формулировать, высказать, есть собственно смыслъ жизни, и потому понятно, что этотъ смыслъ въ томъ или другомъ образѣ присущъ каждому человѣку, который живетъ, т.-е. который понимаетъ, и не нужно быть записнымъ метафизикомъ, чтобъ высказывать ея положенія. Всякій живущій воздухомъ, сознательно или безсознательно, но постоянно обвѣвается дыханіемъ воздушной атмосферы, въ которую онъ погруженъ. Какъ евреи въ старину требовали чудесъ, такъ, вслѣдствіе нѣкотораго застарѣлаго предразсудка, и нынѣ еще современные люди для того, чтобы признать и вѣрить, требуютъ доказательствъ. Они не видятъ, что всѣ доказательства покоятся и утверждаются лишь на основаніи несомнѣнной, но ничѣмъ не доказуемой аксіомы, или той первоначальной истины, безъ которой, не на основаніи которой ничего доказать нельзя. Аксіоматически несомнѣнная и ничѣмъ не доказываемая истина и основаніе всѣхъ доказательствъ охватывается актомъ вѣры, актомъ непосредственнаго утвержденія жизни. Вслѣдствіе ему присущей вѣры и силою своей жизни, что одно и то же, человѣкъ вѣритъ безъ возможности сомнѣнія въ истину, т.-е. въ дѣйствительность смысла; въ какомъ бы ни было видѣ и образѣ, безсмысліе нелѣпое ему претитъ, и онъ его нигдѣ, никогда, ни въ чемъ ни допустить, ни признать дѣйствительнымъ не можетъ: такое признаніе было бы противно существу его, по выраженію старыхъ математическихъ учебниковъ: а сего быть не можетъ, понеже сіе есть нелѣпо, т.-е. несообразно съ аксіомою, съ порядкомъ всего существующаго, съ смысломъ самой жизни, такъ какъ этотъ смыслъ и этотъ порядокъ есть одинъ и тотъ же порядокъ, одинъ и тотъ же смыслъ. Въ силу своей вѣры въ истину, въ дѣйствительность своего смысла, человѣкъ утверждаетъ всѣмъ существомъ своимъ безусловное единство своего смысла съ порядкомъ, съ разумомъ всего существующаго; но вслѣдствіе ограниченности своего знанія и своего великаго невѣжества смыслъ его жизни и порядки существующаго представляются ему сплошь да рядомъ вполнѣ несообразными; ему

кажется, что отвсюду его окружаютъ, лѣзутъ на него дикія химеры и нелѣпости. А потому его недостаточное знаніе неустанно стремится дополнить себя полнотою искомаго смысла,— это метафизика, — а его смыслъ постоянно стремится обнять шире, проникнуть глубже въ порядки всего существующаго,— отсюда наука: обѣ идутъ, какъ двѣ параллельныя, которыя встрѣчаются только въ безконечности...

...Герценъ былъ одаренъ умомъ блестящимъ, живымъ, сверкающимъ, искреннимъ, сердечнымъ остроуміемъ, но, быть-можетъ, именно потому былъ совершенно чуждъ духу и смыслу философіи, былъ антиподъ метафизики; вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ и случайныхъ встрѣчъ, онъ было запутался въ сѣтяхъ ея поначалу, но это было насиліе, отъ котораго онъ скоро и съ радостью высвободился и блестящимъ образомъ сдунулъ, опрокинулъ, словно карточные домики, начинавшіяся въ Россіи слабыя построенія философіи и метафизики: тѣмъ самымъ онъ твердо и прочно установилъ еще и понынѣ господствующій у насъ предразсудокъ, за которымъ скрывается отрицаніе свободы, ибо въ мірѣ конечномъ, въ области позитивизма свобода есть непонятное чудо, нѣкая немыслимая химера; область позитивизма есть собственное царство Бисмарковъ, плутократіи и героевъ Панаева; свобода же осуществима и вполнѣ дѣйствительна только въ сферѣ безконечнаго, гдѣ святое царитъ надъ полезнымъ, гдѣ жизнь побѣждаетъ всякую пошлость и всякую мертвечину...

М. Н. Чистякову.

25 марта 1893, ст. Углянка, Коз.-Вор. ж. д.

... Грустныя ты вещи пишешь о Р — скомъ. Такъ грустныя, что я, не рѣшаясь обвинять тебя въ преувеличеніи, все-таки постараюсь обратить твое вниманіе вотъ на какой сюжетъ: не особаго ли устройства твои глаза? То-есть не окрашиваются ли наблюдаемые тобою предметы въ тотъ цвѣтъ, который истекаетъ изъ твоего же внутренняго состоянія? О, я не спорю, что въ строѣ Р—ской жизни многое идетъ неладно и что душа В. Г. не всегда какъ хрусталь, но жалко, что въ отвѣтъ на это въ твоей-то душѣ подымается неукротимый отпоръ, жажда нетерпимости и безпощаднаго протеста. Я тебѣ вотъ что скажу, другъ Матвѣй: несмотря на твои высокія нравственныя качества, въ тебѣ рѣдко господствуетъ одно, пожалуй, самое главное — *благоволеніе* къ людямъ. Ты все ихъ разсматриваешь подъ острымъ угломъ: любви ли, гнѣва ли. Въ обыкновенномъ общежитіи это такъ же не годится, какъ и въ любомъ духовномъ. Я знаю, что временами, и особенно въ близкихъ отношеніяхъ, трудно сохраняться благоволенію, ну что жъ, тогда лучше разойтись совсѣмъ, а не пилить другъ друга тупымъ ли, острымъ ли ножомъ. Вотъ ты говоришь, что я часто бываю нестерпимъ. Надо полагать, что это правда. Я еще скажу: я несравненно хуже и безнравственнѣе тебя; но въ чемъ же секретъ того, что, вѣроятно, людямъ общеніе со мною легко, что я много насчитываю друзей и мало враговъ, что мнѣ легче прощаютъ мои вины, чѣмъ иному его добродѣтели? Да

только въ одномъ, мой дорогой, этотъ секретъ: въ томъ, что я всегда стараюсь не судить людей, не оборачиваться къ нимъ шероховатой своей стороною. То-есть, какъ не судить: словами-то осужу съ охотой, — ты знаешь, вѣдь, меня достаточно съ этой стороны, знаешь, что для остраго словца я не пощажу ни матери, ни отца, но у меня нѣтъ *внутренняго* осужденія, — и вотъ почему мнѣ легко даже съ такими людьми, которые для васъ нестерпимы. Ты вотъ стремишься лѣзть все выше и выше по нравственной лѣстницѣ и... досадуешь, что люди мѣшаютъ. А по-моему, лѣзть выше можно только тогда, когда совсѣмъ перестаешь замѣчать, выше ты или ниже твоихъ сосѣдей. Да и что за конкурренція! Прежде всего нужно проникнуться тѣмъ, что «все понимать — все прощать», а съ этой мыслью несовмѣстны ни фанатизмъ, ни строгое отношеніе къ людямъ. Строгость къ себѣ и даже до фанатизма — это я признаю и цѣню, но собственными своими добродѣтелями бить по зубамъ сосѣдей — не понимаю. Бить по зубамъ можно, но отнюдь не во имя искусства для искусства. А если бьешь во имя чего-нибудь существеннаго, ну, хотя бы во имя Христа, то надо прежде справиться, пріятно ли было бы Христу *такое* заушеніе ради Него. Снисходительность къ людямъ, другъ, вотъ что важно, — снисходительность до жалости, до полнѣйшаго прощенія. Это не исключаетъ борьбы съ ними — даже до насилія, но борьба должна прекращаться именно на томъ ея моментѣ, когда ударъ можетъ поразить слабое, обнаженное, страдающее сердце. Затѣмъ существуетъ цѣлая сфера дѣлъ и поступковъ, гдѣ для борьбы, для нравоученія, для упрековъ, для критики загражденъ доступъ, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока тебѣ не далъ права на это тотъ человѣкъ, котораго думаешь упрекать, критиковать и поучать. Это та сфера, которая обнимаетъ его личный нравственный міръ, его взгляды на жизнь, — разумѣется, пока этотъ міръ и эти взгляды не отражаются очевиднымъ зломъ на окружающихъ людяхъ. А пуще всего вредитъ тебѣ то, что тебѣ слишкомъ свойственно разсматривать людей подъ острымъ угломъ. Ты слишкомъ скоро поддаешься симпатіямъ и антипатіямъ. Вообще первымъ впечатлѣніямъ. А

разумъ твой въ этихъ случаяхъ, точно кучеръ, вскакиваетъ на козлы стремительно несущагося экипажа и слѣдитъ, чтобъ только не сломалось, т.-е. чтобы осужденія твои по возможности соотвѣтствовали дѣйствительности, а не одному лишь быстро накипѣвшему чувству. Вотъ, напр., ты въ этотъ пріѣздъ нашелъ во мнѣ и то, и то. И все это безъ малѣйшаго повода, а просто потому, что твое чувство опредѣлилось именно такъ въ отношеніи ко мнѣ, разумъ же поспѣшилъ аргументировать это, хотя бы съ натяжкой.

Въ сущности всѣ вы, взывающіе къ любви, недостаточно ее чувствуете.

И смѣю думать, что первый, кто органически ее чувствуетъ слабо или рѣдко, это Л. Н. Т. Онъ ее великолѣпно понимаетъ, какъ логическую аксіому, это такъ.

Но въ качествѣ логической хотя бы и аксіомы она ни на чорта не нужна. Ее нужно воспитать въ своемъ сердцѣ.

... Прости, если я сказалъ что-нибудь неумѣстное и, быть-можетъ, разсердилъ тебя. Я не хотѣлъ сердить. Но мнѣ жаль, что ты не находишь никакихъ оправданій «нервамъ» В. Г., и заговорилъ тономъ столь непререкаемой правоты. Всѣ мы по временамъ бываемъ крайне непріятны, угловаты и шероховаты, но отсюда не вытекаетъ, чтобы къ намъ за это относились съ огульнымъ осужденіемъ. Право, голубчикъ, нужно побольше прощать, пока еще можемъ прощать. Мнѣ все кажется, что отъ этого зла въ мірѣ не прибавится.

Твой всегда А. Эртель.

З. С. Соколовой.

9 апрѣля 1893 г. Ст. Углянка, Козл.-Вор. ж. д.

... Ваше, во многихъ отношеніяхъ грустное, письмо къ Марусѣ я читалъ и, въ свою очередь, былъ имъ опечаленъ. Что съ вами, голубушка, и зачѣмъ вы хандрите? Въ сущности, въ этомъ «наилучшемъ изъ міровъ» есть чрезвычайно много вещей, по поводу которыхъ можно хандрить, т.-е. такъ много, что не хватитъ ни слезъ, ни способности человѣка къ горькимъ и скорбнымъ движеніямъ сердца. «Волю давъ лирическимъ порывамъ, изойдешь слезами въ наши дни», сказалъ Некрасовъ, но почему же въ *наши дни?* Съ такимъ же правомъ это можно было сказать и 100 и 1000 лѣтъ тому назадъ, и, вѣроятно, черезъ 100 и черезъ 1000 лѣтъ будетъ такъ же. Но отсюда слѣдуетъ тотъ единственно разумный и единственно возможный выходъ, что вообще не надо давать «волю» лирическимъ порывамъ. Я думаю, что ко всѣмъ этимъ страшнымъ, ужаснымъ и тоскливымъ событіямъ и порядкамъ человѣческой жизни возможно относиться такъ, что праздными слезами, можетъ-быть, и не изойдешь. Существуетъ два сорта такихъ порядковъ и событій. Одни изъ нихъ неустранимы и очевидно зависятъ отъ воли того великаго неизвѣстнаго, котораго мы иначе не умѣемъ назвать, какъ Богъ, — къ такимъ порядкамъ и событіямъ должно относиться съ резиньяціей, потому что бунтъ, протестъ, борьба ни къ чему здѣсь не ведутъ и развѣ что ослабляютъ и дѣлаютъ глупымъ самого бунтующаго. Другія ужасныя вещи очень устранимы и, несмотря ни на что, устраняются съ каждымъ вѣкомъ, съ каждымъ годомъ.

Это тѣ, которыя зависятъ отъ воли самихъ людей. И вотъ тутъ-то необходима упорная, ни на минуту не затихающая борьба. И весь смыслъ образованія, развитія въ томъ и заключается, чтобы умѣть раздѣлить эти двѣ области и не ошибиться, гдѣ примѣнять резиньяцію и гдѣ борьбу,—и затѣмъ понять, что въ путаницѣ примѣненій или въ совершенномъ отсутствіи этихъ примѣненій есть зародышъ недовольства собственной жизнью. Область резиньяціи, пожалуй, что и не столь велика, какъ область борьбы. Но пускай она и велика, тѣмъ не менѣе, бороться хватитъ на всю жизнь, и въ этомъ-то и есть жизнь. Я разумѣю борьбу не въ смыслѣ насилія — надо стоять выше этого, хотя иногда нужно примыкать и къ насилію, по крайней мѣрѣ, къ нѣкоторымъ формамъ его, — я разумѣю ту борьбу словомъ, убѣжденіемъ, мирными поступками, образомъ жизни, которая, въ сущности, гораздо могущественнѣе всякихъ насильственныхъ актовъ измѣняетъ сознаніе людей, а слѣдовательно, и порядки. Нужно только не забывать, что значитъ общественное мнѣніе. Нужно помнить, что это самый огромнѣйшій рычагъ въ дѣлѣ и улучшенія, и ухудшенія человѣческихъ порядковъ, и вотъ надо направлять свои дѣйствія именно къ тому, чтобы это общественное мнѣніе помаленьку измѣнялось въ желательномъ направленіи. Слово, убѣжденіе, образъ жизни, тѣ или иные поступки отдѣльнаго человѣка въ смыслѣ вотъ такой борьбы значатъ страшно много. Казалось бы, что̀ изъ того, что вотъ вы, происходя изъ очень богатой семьи, не наряжаетесь, не носите брилліантовъ, не ѣздите въ каретѣ, какъ это дѣлаютъ «богатыя семьи», а занимаетесь школой, фонарями, чтеніями, голодающими. Но на самомъ дѣлѣ это-то и есть борьба, и далеко не безплодная. Вашъ образъ жизни возмущаетъ, приводитъ въ негодованіе, но и заставляетъ задумываться, интересоваться вами и вашими взглядами тѣхъ людей, которые никогда и ни о чемъ подобномъ не задумывались и ничѣмъ не интересовались. Это уже хорошій результатъ борьбы. Но вотъ вы теперь хандрите, недовольны жизнью... Не значитъ ли отсюда, что вамъ надо еще расширить область борьбы и энергію, что сама природа ваша, можетъ-быть, и безсознательно для васъ, настоя-

тельно требуетъ этого? И послушайтесь ея, этой хорошей и отзывчивой вашей души. Послушайтесь и потому еще, что иначе она отмститъ вамъ, — отмститъ безпредметной тоскою, безпричиннымъ уныніемъ, горькимъ ощущеніемъ пустоты, какъ бы ни хорошо сложилась ваша внѣшняя личная жизнь. Но вы скажете, какъ же и въ какомъ направленіи расширять эту область борьбы? — А присоединяйтесь къ людямъ, которые, подобно вамъ, борются на тотъ или иной манеръ съ предразсудками и суевѣріями господствующаго общественнаго мнѣнія. Людей этихъ много и на всѣхъ ступеняхъ общественной дѣятельности. Иные работаютъ въ различныхъ уже организованныхъ учрежденіяхъ, — по дѣлу грамотности, школьному, издательскому, высшаго или средняго образованія, искусства, благотворительности, науки, — иные ведутъ ту или другую просвѣтительную дѣятельность частными кружками, а то и въ одиночку. И вотъ, присоединяясь къ этимъ людямъ, узнавая ихъ, сходясь съ ними, пріобрѣтая среди нихъ вліяніе, заявляя въ ихъ обществѣ свой «удѣльный вѣсъ» — не умѣю иначе выразиться, — вы тѣмъ самымъ расширите область борьбы и употребите въ дѣло имѣющуюся у васъ энергію и жажду настоящей жизни. И вы тѣмъ еще счастливы, что у васъ есть хорошій и любимый вами союзникъ — мужъ вашъ. Въ сущности вся бѣда, и ваша, и его, въ томъ, что вы слишкомъ скромны, — погодите, это не похвала, — вы оба *ложно* скромны, и это вамъ страшно мѣшаетъ сходиться съ людьми. Вы оба въ томъ еще романтическомъ періодѣ, когда любятъ только «симпатичныхъ» людей, любятъ поговорить съ такими людьми «по душѣ», вообще любятъ насладиться хорошими людьми и хорошими разговорами, хотя бы изъ этого очаровательнаго времяпрепровожденія ничего и не вышло. А такъ нельзя. Нужно помнить, что, кромѣ таинственнаго закона симпатіи и антипатіи,—закона, которому мы съ такой легкостью подчиняемся, существуетъ еще законъ соединенія и накопленія силъ — тотъ законъ, по которому единица, соединяясь съ десятью, тѣмъ самымъ уже не единица, а гораздо больше. Сходясь съ людьми не для пріятельства, а для общаго дѣла, нужно прежде всего обращать вниманіе на степень ихъ при-

годности для этого дѣла и отнюдь не увлекаться тѣмъ, что лично намъ они антипатичны или симпатичны. Я знаю очень симпатичныхъ людей, съ которыми я, однако, затруднился бы вступать въ серьезныя отношенія и, наоборотъ, есть люди, мнѣ почти антипатичные, но съ которыми я съ великой готовностью пошелъ бы въ общемъ дѣлѣ рука въ руку. Можетъ-быть, пошелъ бы до извѣстныхъ предѣловъ, а тамъ ему направо, а мнѣ налѣво, но все же хоть до этого раздѣленія путей онъ мой союзникъ, а не тотъ, кто очень симпатиченъ да слишкомъ слабъ, или неустойчивъ, или еще что-нибудь. Конечно, бываетъ, что люди соединяются не только отвлеченными интересами, или интересами живой и плодотворной борьбы, но и чувствомъ дружбы. Однако это уже роскошь, пріятная случайность, счастье, а отнюдь не правило, и не то условіе, которое слѣдовало бы искать въ подобныхъ союзахъ и соглашеніяхъ. Я откровенно говорю, что эта вотъ ваша слабость къ симпатичнымъ людямъ ужасно вамъ вредитъ. Пользуйтесь ими, какъ дессертомъ — видно ужъ безъ этого нельзя, но не забывайте, что быть сытымъ однимъ дессертомъ нельзя, что самое важное дѣло въ жизни — дѣло не сладкое, и что нужно первѣе всего любить правду со всѣми вытекающими изъ нея благами, а все остальное можетъ быть послано, какъ случайное счастье, а можетъ быть и не послано. Затѣмъ и такъ нужно сказать: симпатія во множествѣ случаевъ вещь условная. Бываетъ, что при первой и при десятой встрѣчѣ человѣкъ не нравится, а въ одиннадцатый понравится. Со мной это было сто разъ. Какъ же полагаться на такое капризное чувство? Гораздо лучше же положиться на свой собственный разумъ и развить въ себѣ чувство такта и справедливости. Вѣдь подумать только, сколько у людей убавилось бы личныхъ враговъ, если бы не это капризное и поверхностное чувство симпатій и антипатій. Да что я говорю: убавилось бы! Я думаю, что при надлежащемъ развитіи чувства справедливости враговъ совсѣмъ бы и ни у кого не было. Враги другъ другу не люди, а овладѣвающія ими ложныя понятія, привычки, суевѣрія и предразсудки. И вотъ противъ этой-то дрянной шелухи и нужно бороться во что бы то ни стало...

В. А. Гольцеву.

3 августа 1893, ст. Углянка, Коз.-Вор. ж. д.

Давно я тебѣ не писалъ, дорогой мой Викторъ Александровичъ, — какъ, впрочемъ, и вообще забросилъ переписку. Все кажется: къ чему, да зачѣмъ, да о чемъ писать... Это не лѣнь, а нѣчто худшее: привычка къ отсутствію резонанса и отчасти душевная усталость. Ты удивишься, откуда появилась послѣдняя? Да чортъ ее знаетъ, откуда!.. Должно-быть, отъ всякаго рода проблемъ, изъ коихъ имѣла свою роль и проблема о покупкѣ Емпелевки... Прибавь къ сему еще непріятность — подозрительно затягивается утвержденіе меня попечителемъ школы... Однимъ словомъ, всякая чушь и возня, которыхъ, однако, слишкомъ достаточно, чтобы впасть въ особый родъ деревенской ипохондріи.

Но есть и еще причины... Скучно, другъ. Жизнь проходитъ и... «ничего не сдѣлано великаго»! Т.-е. не въ самомъ дѣлѣ «великаго» — куда намъ съ суконнымъ рыломъ! — а хотя такого, чтобы стоило чѣмъ помянуть. Все-то намеки, да полуусилія, да попытки... а на повѣрку выходитъ какое-то прозябаніе, и тотъ же благополучный очагъ, что и у лавочника Евстигнея Макарыча. Душа-то не погасла, да что толку, — нѣтъ матеріала, въ которомъ бы разгорѣться ей... Иныхъ выручаетъ матеріалъ внутренній — сознаніе большой творческой силы, напримѣръ, но, — увы! — я не претендую на такую силу, а потому безъ стихіи общественности, безъ резонанса, безъ живого, непрестаннаго и дѣйственнаго союза съ людьми горѣть не могу. А гдѣ они, эти люди, и чѣмъ именно поддерживается мой союзъ съ ними?..

Ты скажешь: а искусство? Что жъ, я его люблю, но самъ-то не имѣю притязаній удовлетворяться имъ безъ отношенія къ его цѣли. Иначе говоря, я его люблю такъ сильно,

что боюсь профанировать. Какъ меня мучаетъ, если бы ты зналъ, вотъ эта боязнь профанаціи!.. Напишешь съ жаромъ... а потомъ прочитаешь да вспомнишь, *какъ* писали, и противно сдѣлается на душѣ. Пожалуй, въ томъ и состоитъ мое большое несчастье, что я слишкомъ ужъ почтительно отношусь къ искусству и знаю въ немъ толкъ. Это не значитъ, чтобы я рядомъ съ *настоящимъ* искусствомъ не признавалъ тѣхъ его блистательныхъ суррогатовъ, о которыхъ Неждановъ, что ли, сказалъ, что «это стоитъ поэзіи»; но чтобы производить такіе «суррогаты», нужно имѣть рѣшительно августѣйшее презрѣніе къ искусству — какъ у Вольтера въ «Кандидѣ» или у Чернышевскаго въ «Что дѣлать»; а если не презрѣніе, такъ тупоуміе, какъ у весьма почтенныхъ авторовъ нашей мелко-тенденціозной беллетристики... Ни на то, ни на другое я не способенъ.

Вотъ этимъ-то, что неспособенъ ни на презрѣніе, ни на тупоуміе, и объясняется моя склонность къ публицистикѣ, за что ты и В. М. нападаете на меня. Тутъ, по крайней мѣрѣ, ведешь дѣло на чистоту: талантливо или безъ таланта, но знаешь, что̀ хочешь сказать, и говоришь, что̀ знаешь. Мнѣ думается, гораздо добросовѣстнѣе и гораздо проще говорить «публицистикой» о тѣхъ явленіяхъ жизни, которыя не воплотились передъ тобой въ образы, но о которыхъ ты уже составилъ опредѣленное мнѣніе, и считаешь это мнѣніе важнымъ.

Изъ всего этого, конечно, не слѣдуетъ, чтобы я отказался отъ беллетристики. Нѣтъ, мѣсяца черезъ три я, вѣроятно, смогу предъявить вамъ нѣкоторую рукопись. Но рукопись эта осуществляется не весело и, право, почти по обязанности. Т.-е. не въ одномъ грубомъ значеніи этого слова, а и въ деликатномъ, но все-таки — по обязанности...

Итакъ, ты снова ѣдешь заграницу? Вотъ чему я страшно завидую. Мнѣ до такой степени хочется иногда стряхнуть съ себя мохъ деревенскаго моего домосѣдства... но невозможно, неосуществимо!..

Цѣлую тебя и отъ души желаю свѣжести, бодрости, здоровья.

Твой А. Эртель.

М. И. Токмаковой [1]).

4 января 1894, ст. Углянка, Коз.-Вор. ж. д.

... А у меня въ связи съ нашей школой, въ связи съ тѣми отношеніями, которыя возникли у меня за эти годы съ окрестностью, все болѣе укрѣпляется мысль о всестороннемъ воздѣйствіи на крестьянъ извѣстнаго района, о дружной работѣ *дружныхъ между собою* образованныхъ людей во всѣхъ направленіяхъ крестьянскихъ нуждъ и потребностей. Мнѣ грезится интересный опытъ свободной, основанной на единствѣ цѣлей и симпатій, ассоціаціи, которая взяла бы въ свои руки защиту крестьянскихъ интересовъ въ области знанія, права, экономическихъ отношеній и т. д. Сообразно сему, рядомъ со школой, съ чтеніями и т. п. должны быть организованы *вольная* медицинская помощь (за плату), кредитное учрежденіе (въ видѣ элеватора и меліораціонныхъ ссудъ), родъ агрономической станціи, экскурсіи съ избранными школьниками по Россіи, непремѣнное водвореніе подходящаго къ условіямъ мѣстности кустарнаго промысла или промышленнаго предпріятія и т. д. Конечно, для этой затѣи требуются люди и средства. Прежде всего, впрочемъ, люди, потому что я вѣрю, что средства должны найтись, какъ нашлись они во время голода и для школы. Къ большому нашему счастію, кажется, что эта затѣя по дорогѣ къ осуществленію. На-дняхъ мы ждемъ изъ Москвы однихъ нашихъ друзей, которые рѣшили купить имѣніе около насъ и

---

[1]) Въ замужествѣ Водовозовой.

переселиться сюда совсѣмъ. Онъ — докторъ, завѣдуетъ теперь хирургическимъ отдѣленіемъ въ большой московской больницѣ и бросаетъ эту свою дѣятельность, чтобы заняться въ деревнѣ вольной практикой; она — съ большою охотой къ педагогической дѣятельности и откроетъ школу грамотности въ своей деревнѣ. Конечно, кромѣ этихъ спеціальныхъ дѣлъ, они будутъ участвовать и въ другихъ нашихъ предпріятіяхъ по мѣрѣ того, какъ эти предпріятія станутъ осуществляться... Затѣмъ намѣченъ еще одинъ союзникъ... Онъ изъявляетъ твердое намѣреніе, въ свою очередь, купить имѣніе въ нашей окрестности и присоединиться къ нашему союзу. Видите, какіе у насъ планы и перспективы. Дѣло-то, пожалуй, скромное и маленькое, но мнѣ думается, что на немъ можно доказать нѣчто большое и въ нѣкоторомъ смыслѣ общегосударственное. Въ противоположность «учрежденіямъ», — благодѣтельную роль которыхъ я, однако, не отрицаю — этотъ свободный союзъ, безъ юридическихъ нормъ, безъ государственнаго содержанія и поощренія, долженъ быть интимно близокъ къ народу, долженъ дѣйствовать въ его средѣ непосредственно, безъ всякихъ формальныхъ перегородокъ; долженъ образовать между народомъ и собою ту живую связь, которая столь рѣдко доступна дѣятелямъ разныхъ «институтовъ», входящихъ въ систему той или иной государственности. Затѣмъ ничто не помѣшаетъ тому или другому члену этого свободнаго союза принять участіе и въ «учрежденіяхъ», если это окажется необходимо и полезно. Вѣдь состою же я попечителемъ школы, состоялъ же предсѣдателемъ Макарьевскаго попечительства... А затѣмъ кто знаетъ, можетъ-быть, типъ той дѣятельности, о которой я мечтаю и которую пытаюсь осуществить, придется по вкусу многимъ, теперь скучающимъ о дѣлѣ, и въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ станутъ возможны живыя сношенія между этими свободными союзами, сѣть союзовъ. Само собою, что къ этимъ союзамъ во что бы то ни стало нужно привлекать и городскихъ людей, и богатыхъ людей. Они могутъ помогать, тотъ — своими знаніями и отношеніями, тотъ — посильными взносами, мало ли чѣмъ. Какъ въ старину у русскихъ культурныхъ людей были

свои деревни, свои крестьяне, пусть и теперь будутъ у нихъ свои деревни, свои крестьяне, у того — Макарье съ хуторами, у того — Ивановка, Семеновка и т. д. Въ старину, взамѣнъ тѣхъ болѣе или менѣе призрачныхъ попеченій, которыми культурный человѣкъ благодѣтельствовалъ деревню, онъ получалъ съ нея оброкъ и иные фрукты крѣпостного вертограда; теперь же, если эти попеченія не призрачны, а будутъ сдѣланы по совѣсти, онъ получитъ за нихъ иной оброкъ: нравственное удовлетвореніе. Не подумайте пожалуйста, что я, говоря о «попеченіяхъ», разумѣю нѣчто въ родѣ опеки надъ крестьянами. Я врагъ всякихъ «опекъ», такъ же, какъ врагъ всякихъ насилій, если, осуществляясь, эти насилія ведутъ къ уничтоженію личности, къ сведенію ея къ *матеріалу* для какой бы то ни было цѣли. Выше всего я все же ставлю свободу, индивидуальность, *законныя* требованія всякаго *я*, всякаго человѣка. Отсюда у меня нѣкоторый «зубъ» противъ соціализма, особенно такъ назыв. «государственнаго», такъ же какъ и большой «зубъ» противъ тѣхъ традиціонныхъ формъ государственности, которыя больше всего озабочены *національнымъ* процвѣтаніемъ, *національнымъ* богатствомъ, *національнымъ* могуществомъ безъ всякаго отношенія къ тому, какъ достается это національное процвѣтаніе Ивану, Петру, Сидору. Впрочемъ, я черезчуръ отвлекся, и не въ этомъ дѣло. Дѣло въ томъ, что, по моему глубокому убѣжденію, теперь въ Россіи предстоитъ огромная надобность въ тѣхъ «дрожжахъ», безъ которыхъ нельзя испечь хлѣба, хотя бы тѣста было и очень много. Да, тѣста черезчуръ много, но дрожжей недостаетъ. Во избѣжаніе всякихъ недоразумѣній спѣшу добавить, что я рѣшительно отрицаю какую бы то ни было политическую закваску, — по крайней мѣрѣ, въ настоящее время. Я считаю политическую пропаганду въ деревнѣ дѣломъ не только безполезнымъ, но и вреднымъ. Она можетъ совершаться въ городѣ, въ общей литературѣ, въ тѣхъ ли формахъ, которыя указаны существующими законами, или нелегально, но въ деревнѣ ей нѣтъ мѣста. Затѣмъ я думаю, что эволюція политическихъ формъ опредѣляется не только ростомъ общественнаго сознанія, но и логи-

кой событій. Несмотря на все то, что у насъ теперь совершается, и что основательно называютъ разгуломъ реакціи, я вѣрю въ то, что само правительство будетъ принуждено измѣнить курсъ, и притомъ безъ всякихъ пропагандъ, заговоровъ и конспирацій. Нельзя этому не вѣрить, если не удаляться отъ дѣйствительности, если не закрывать глаза на неотвратимую логику событій, на тотъ процессъ, который совершается теперь какъ внутри государства, такъ и въ его международныхъ конфликтахъ и коллизіяхъ. Свѣжимъ, молодымъ, великодушнымъ, знающимъ совсѣмъ не нужно вступать на путь безплодныхъ жертвъ и начинать новую донъкихонаду. Возможна дѣятельность вполнѣ лойяльная и которая обѣщаетъ хорошіе результаты и въ личномъ, и въ общественномъ смыслѣ. Конечно, я не хочу проповѣдывать политическаго безразличія. Желательна строгая опредѣленность въ этомъ отношеніи, строгая сознательность. Для того, чтобы *это* вырабатывалось, чрезвычайно полезна дѣятельность въ городахъ, главнымъ образомъ, въ столицахъ. Необходимы кружки самообразованія, саморазвитія, конференціи, сходки. Я думаю, что при всемъ томъ опять-таки не понадобится какихъ-нибудь очень нелегальныхъ предпріятій. То знаніе, которое можетъ быть достигнуто даже при настоящихъ условіяхъ сыска и цензуры, посредствомъ напечатанныхъ въ Россіи книгъ и произнесенныхъ въ Россіи лекцій, — это знаніе вполнѣ достаточно, чтобы разобраться между Ормуздомъ и Ариманомъ, отчетливо узнать, въ чемъ свѣтъ и въ чемъ тьма. Остальное должна дать деревенская и вообще провинціальная дѣйствительность. Огромный недостатокъ нашей хорошей молодежи заключается въ томъ, что она слишкомъ теоретична. Отъ этого нужно лѣчиться. Прежде чѣмъ опредѣлять подробности общественнаго переустройства, прежде чѣмъ остановиться на томъ или иномъ *типѣ* этого переустройства, необходимо извѣдать плоть и кровь дѣйствительности, индивидуальность того великаго организма, ради котораго созидаются теоріи. Въ пору раннеи молодости нужно запастись *идеаломъ* и ознакомиться съ тѣмъ большимъ запасомъ теоретическихъ знаній, который доступенъ даже въ Россіи. Этого довольно для

того, чтобы смѣло идти на деревенскую работу. Деревенская же работа, вѣрьте, покроетъ мясомъ вашъ теоретическій скелетъ... Она подскажетъ вамъ, что̀ умѣстно проводить въ жизнь въ данный историческій моментъ, и что неумѣстно, съ чѣмъ надо погодить.

Ужасно грустно, что у насъ такъ много умныхъ, знающихъ и благородныхъ людей поддаются соблазну правительственной дѣятельности, уподобляются той синицѣ, что хвалилась море зажечь. Моря-то они не зажгутъ, а сумятицу въ умахъ производятъ. Вотъ тутъ-то и ясенъ вредъ политическаго безразличія. Мнѣ думается, что, прежде чѣмъ примыкать къ извѣстнымъ учрежденіямъ, необходимо взвѣсить, насколько соотвѣтствуетъ *принципъ* учрежденій Ормузду и насколько Ариману. Оппортунизмъ я не отрицаю, но бѣда, если этотъ оппортунизмъ вносится въ сферу идеаловъ, нарушаетъ цѣльность міровоззрѣнія, пахнетъ предательствомъ. А это сплошь и рядомъ бываетъ, когда вздумаешь молоть свою муку на чужой мельницѣ.

Нужно собственными средствами молоть свою муку. Не надо соблазняться тѣмъ, что государственная мельница — паровая и можетъ размолоть сразу огромное количество; до поры, до времени обойдемся ручными жерновами, прибѣгая къ «паровой мельницѣ» лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда патентованные мельники не посягаютъ на нашу душу, на наши основные принципы, на нашу свободу...

... О компромиссѣ: съ школьнымъ начальствомъ (инспекторъ, директоръ) приходится держаться системы компромиссовъ, но отъ этой «системы» вѣдь никуда не уйдешь, если не пожелаешь отрѣшиться отъ условій дѣйствительности, отъ практическихъ осуществленій. Тутъ все дѣло въ томъ, чтобы умѣть ставить точку на надлежащемъ мѣстѣ, чтобы свести роль компромисса къ его «минимуму», къ тому размѣру, который опредѣлялся бы исторической необходимостью съ одной стороны, и требованіями личнаго убѣжденія—съ другой. Однимъ словомъ, все зависитъ отъ того внутренняго мѣрила, которое я не умѣю иначе назвать, какъ *тактомъ*.

В. Г. Черткову.

15 января 1894, г. Воронежъ.

Милый мой другъ! Письмо твое отъ 12-го я получилъ сегодня, садясь въ вагонъ, чтобы ѣхать въ Воронежъ. Конечно, непремѣнно постараюсь пріѣхать повидать васъ въ Воронежѣ. То, что ты говоришь, что жизнь страшна, когда смотрѣть на нее съ одной стороны, и какъ хороша, когда смотрѣть съ той стороны, съ которой Богъ, — это справедливо, когда знаешь, гдѣ Богъ, каковы его вкусы и указанія. Въ сущности, начало *всѣхъ* «сторонъ жизни» столь же загадочно, какъ и самый тотъ Иксъ, который мы называемъ Богомъ, потому что неудобно было бы отрицать Его авторство и въ тѣхъ сторонахъ жизни, въ которыхъ ты Его не видишь; вѣрно только одно, что есть какой-то компасъ, руководясь которымъ мы можемъ пріобрѣтать *часть* душевнаго спокойствія, — *часть* же, однако, а этого иногда слишкомъ мало. Во всякомъ случаѣ, «блаженъ, кто вѣруетъ», и въ этомъ я вамъ глубоко завидую, ибо увѣровать съ такой опредѣлительностью не могу.

Ему же.

10 апрѣля 1895, ст. Углянка, Коз.-Вор. ж. д.

Наконецъ-то ты разыскался, дорогой мой, а я, признаться, сталъ недоумѣвать, что за причина твоего упорнаго молчанія. Мѣсяца два тому назадъ я спрашивалъ у М. Л. Толстой, гдѣ ты, и она отвѣтила, что въ СПБ., но адреса не написала, обѣщая, однако, переслать тебѣ мой запросъ. Очевидно, что твое молчаніе нужно отнести не къ чему иному, какъ къ суетѣ столичной жизни и къ многочисленности тамошнихъ твоихъ хлопотъ и интересовъ. Что до меня — я всю зиму безвыѣздно прожилъ въ деревнѣ, въ Воронежѣ даже ни разу не былъ, и, стыдно сказать, это пустынножительство отнюдь не принесло мнѣ душевнаго спокойствія. Почти сплошь приходилось волноваться то общественными дѣлами, то своими собственными — и волноваться не хорошо. Кое-что я было написалъ, но такъ какъ написалъ въ то время, когда съ концомъ прошлаго царствованія и началомъ нынѣшняго возникли было разныя, какъ теперь видно, неосновательныя надежды, то написанное для печати не годилось, и приходится теперь работать вновь (для «Сѣв. Вѣстника»). Впрочемъ, и съ художественной стороны меня крайне не удовлетворяла моя нецензурная повѣсть, — сдѣлалась даже противна, когда я прочиталъ «Хозяина и работника», эту поистинѣ великолѣпную—и во всѣхъ смыслахъ— вещь. Такимъ образомъ трудъ многихъ мѣсяцевъ безслѣдно пропалъ у меня, и, кромѣ всего прочаго, это поставило меня въ невыносимыя денежныя условія. Собственно говоря, это еще не бѣда, что я нищъ, какъ Иръ, но бѣда въ томъ, что

слишкомъ много у меня долговъ, и отъ нихъ я не могу быть спокойнымъ ни на одинъ день. Это чувство врядъ ли тебѣ знакомо, но оно, безъ преувеличенія говоря, ужасно, потому что непоправимо отравляетъ жизнь — отравляетъ и писательскую мою способность, т.-е. единственный источникъ моихъ «доходовъ». И, главнымъ образомъ, началось съ «голода»; почти три года я съ непозволительнымъ увлеченіемъ забросилъ свои дѣла, слишкомъ отдавался чужимъ, жилъ все это время въ «кредитъ», а когда подвелъ итоги — было уже поздно, петля была затянута, и «кредиторовъ» развелось у меня столько, что просто одно горе. Правда, изъ числа этихъ кредиторовъ есть такіе, что никогда не станутъ меня безпокоить, но, кромѣ нихъ, есть и другіе, и эти-то послѣдніе долги мучаютъ меня невыразимо. Но не подумай, что я сожалѣю о своемъ участіи въ «голодныхъ дѣлахъ»; нѣтъ сомнѣнія, что и въ другой разъ я поступилъ бы совершенно такъ же. Я только разсказываю тебѣ о своемъ душевномъ состояніи — о томъ, что, несмотря на всѣ усилія, не могу стать выше этой мерзкой прозы. Милый мой! Нечего и говорить, какъ я былъ бы радъ побывать въ Ржевскѣ и побесѣдовать съ вами, но сейчасъ мнѣ и думать объ этомъ нельзя; во-первыхъ, нужно кончить повѣсть для «Сѣв. Вѣс.», во-вторыхъ, сейчасъ начался у меня посѣвъ, въ-третьихъ... у меня теперь столько денегъ, что на нихъ можно доѣхать развѣ, что до Воронежа. Буду надѣяться, что черезъ мѣсяцъ я какъ-нибудь выдерусь изъ всѣхъ этихъ заботъ и тогда пріѣду на недѣльку. Меня очень интересуютъ твои новые взгляды на общественную дѣятельность, и жаль, что ты не написалъ подробнѣе объ этомъ. Несмотря на все личное, я глубоко, и, пожалуй, страстно отношусь къ этой сферѣ человѣческаго поведенія, но — увы! — послѣднія событія въ россійскомъ государствѣ внушаютъ мнѣ самыя мрачныя мысли на этотъ счетъ — до такой степени мрачныя, что иногда я думаю о совершенной безплодности общественной дѣятельности въ предѣлахъ нашего любезнаго отечества, — по крайней мѣрѣ, для себя лично и для людей, находящихся въ одномъ со мною положеніи. Слишкомъ ужъ рѣзко и откровенно выдвигается намѣреніе государственной

власти задавить все общественное, похерить всякую личную иниціативу, все привести къ одному бюрократическому знаменателю. Читалъ ли ты характернѣйшее въ этомъ направленіи письмо министра Дурново къ министру Делянову? Въ этомъ письмѣ, между прочимъ, упоминается и «Посредникъ» въ числѣ другихъ «разрушительныхъ» начинаній общества и частныхъ лицъ. Если не читалъ, я тебѣ могу прислать. По слухамъ, результаты этой переписки уже сказываются: Комитеты Грамотности будто бы причислены къ Мин. Народ. Просвѣщенія, т.-е. введены въ систему того мертвящаго кольца, которое все болѣе и болѣе сжимаетъ общественную самодѣятельность и самостоятельность. Такимъ образомъ, все болѣе и болѣе возникаетъ вопросъ — что же дѣлать тѣмъ свободнымъ людямъ, которые въ кольцѣ не желаютъ участвовать? Въ сущности остается два пути: революція и жить въ сферѣ нравственнаго, личнаго самоусовершенствованія. Для меня, напр., такая дилемма не разрѣшима: къ революціи въ смыслѣ насилія я чувствую органическое отвращеніе, второй путь мало меня интересуетъ... Приходится искать еще третьяго пути, и пока я его еще не вижу, не нашелъ. Не могу также уйти и въ искусство, что для нѣкоторыхъ тоже выходъ. Я его люблю лишь относительно, какъ средство, а не какъ цѣль. Ну, до свиданья, дорогой мой. Пиши, пожалуйста. Мои всѣ здоровы. Кланяюсь А. К — нѣ.

Твой А. Э.

Насчетъ Хилкова я того мнѣнія, что если ужъ обращаться къ общественному мнѣнію, то не съ однимъ этимъ «злодѣяніемъ», а и съ цѣлою массою другихъ, имъ же нѣтъ числа въ исторіи и послѣдователей Л. Н., и штундистовъ, и самихъ «православныхъ». Даже если выдѣлить одни вѣроисповѣдныя гоненія и вытекающія изъ нихъ всякаго рода жестокости, оставивъ въ сторонѣ жестокости иного типа, то выйдетъ весьма содержательный «трактатъ». А у тебя, по всей вѣроятности, найдется много фактовъ и кромѣ Хилковскаго. Слышалъ ли ты о расправѣ съ профессорами П. Н. Милюковымъ и П. В. Безобразовымъ? Перваго выгнали изъ университета (Москов-

скаго) и сослали въ Рязань, второго — кажется въ Кострому. Безобразовъ пострадалъ за какое-то мужественное выраженіе на публичной лекціи, Милюковъ —исключительно за гражданское мужество, обнаруженное во время студенческихъ безпорядковъ. Милюкова я знаю. Это отнюдь не революціонеръ, а просто прямодушный, честный человѣкъ и талантливый историкъ, съ претензіей высказывать свои мысли и чувства даже тогда, когда это неугодно начальству. Что-то теперь пишетъ Левъ Н — чъ? Мнѣ очень хочется имѣть «Ц. Божіе», не для прочтенія, а въ «собственность», нельзя ли это какъ-нибудь устроить.

А. В. Погожевой.

26 іюня 1895.

...Въ сущности почти все человѣчество состоитъ изъ добрыхъ и умныхъ, злыхъ и глупыхъ пошляковъ, и если отрицать общеніе съ ними, легко очутиться совсѣмъ въ пустынѣ. А еще — нѣтъ пошлости, въ которой не вспыхивали бы искры чего-то похожаго на оригинальность, и это любопытно и утѣшительно наблюдать. Иногда даже крупная оригинальность бываетъ заключена въ скорлупу пошлости, и, наоборотъ, то, что кажется оригинальнымъ, есть возведенное въ квадратъ «общее мѣсто».

Но въ сущности надо сознаться, эта умственная и нравственная «равнина», въ которой отъ колыбели до могилы приходится блуждать, иногда страшно утомляетъ. Ни великихъ дѣлъ, ни даже великихъ злодѣяній, ни красоты... ничего. Поневолѣ вспомнишь о бѣднякѣ Ницше съ его тоскою по средневѣковымъ временамъ, по Цезарѣ Борджіа... Жить стало удобнѣе, сытнѣе, безопаснѣе и... скучнѣе. Я думаю, обаяніе революціонныхъ движеній заключается и въ этой нравственной оскоминѣ «порядка» такъ же, какъ и обаяніе дерзкихъ мыслей, странныхъ ученій, экстравагантныхъ поступковъ.

Ей же.

24 ноября 1895.

... Если бы «sciences occultes» были дѣйствительны и могли бы разрѣшить загадку бытія, какъ физика загадку молніи и грома, то это была бы огромная скука... Слишкомъ достаточно и того, что загадка вполнѣ разрѣшима путемъ субъективной оцѣнки, путемъ внутренняго ощущенія гармоніи — вѣрою, любовью; объективное разрѣшеніе и невозможно, и ненужно. То, что душа не устаетъ стремиться, искать, надѣяться, и, ощущая мгновеніями божественное самодовольство, снова тоскуетъ и ищетъ,—это и есть ея назначеніе, ея счастье. И это только возможно при существованіи «загадки». Все узнать равносильно покою, а покой — смерть, нирвана, оцѣпенѣніе; нѣчто одинаковое съ тѣмъ, когда душа отъ разныхъ причинъ впадаетъ въ усталость и не стремится, не ищетъ, не надѣется болѣе... Герои не бываютъ безъ подготовки, безъ почвы, удобренной скромными существованіями, ихъ кровью и потомъ, ихъ кропотливой работой. Или, лучше сказать, если и бываютъ, такъ остаются «безъ портфеля», безъ вліянія. Будь хоть разгерой — нельзя всколыхнуть незыблемое, увлечь неподвижное, растопить насквозь промерзшую тундру. И лучше, чѣмъ, въ тоскѣ заламывая руки, ожидать Мессію, радостно и бодро готовить путь ему и помнить, помнить во всякую минуту, что есть Мессія и въ насъ, въ нашей душѣ, въ нашемъ сердцѣ — точно такъ же, какъ и пресловутое «Царство Божіе». Ждать «героя» со стороны — въ большинствѣ случаевъ ждать обмана и разочарованія. Свой, внутренній «герой» куда надежнѣе и реальнѣй. Надо разгораться извнутри, а не снаружи; надо прежде всего всколыхнуть себя, увлечь себя, растопить свой собственный ледъ — это будетъ и достиженьемъ «внутренняго» героизма, и приготовленьемъ почвы тому, который, можетъ-быть, явится со стороны... А если и не явится, такъ не бѣда.

В. Г. Черткову.

18 декабря 1895, ст. Углянка, Ю.-В. ж. д.

Дорогой мой! Перечисленныя тобою сочиненія всѣ у меня есть, такъ что въ ихъ пріобрѣтеніи не предстоитъ надобности, хотя бы у меня и были для этого деньги. Что касается до образованія «библіотеки» въ Воронежѣ, то это говоритъ лишь за то, какъ ты мало знаешь нашу современную дѣйствительность и настроеніе «образованной» публики. У насъ вообще читаетъ съ искреннимъ стремленіемъ обрѣсти «правду» только молодежь; люди «взрослые» либо совсѣмъ ничего не читаютъ, кромѣ газетъ и отчасти журналовъ, либо пробавляются такъ называемымъ легкимъ чтеніемъ. Исключеніемъ бываетъ только что-нибудь «самое новое», надѣлавшее шуму, попавшее въ опалу, но непремѣнно самое новое. Но оставимъ «взрослыхъ»... Молодежь нынѣшняя въ огромномъ большинствѣ почти не интересуется Толстымъ, — не интересуется даже философіей и народничествомъ, что такъ или иначе приводило прежде къ Толстому, — и цѣликомъ втянута въ экономическіе вопросы, въ пресловутый «экономическій матеріализмъ», въ изученіе исторіи съ точки зрѣнія пищи, одежи и жилища. Ты поговори съ Бенаромъ, очень тонкимъ наблюдателемъ, какъ его поразила эта соціалистическая черта въ настроеніи нашей молодежи, цѣликомъ заимствованная изъ Зап. Евр., и какъ возмущаетъ его отношеніе этой молодежи и вообще русской «интеллигенціи» къ Л. Н — чу, по его мнѣнію, единственному оригинальному мыслителю въ нынѣшней Россіи. Какъ это ни грустно, но надо сказать, что отношеніе къ вамъ правительства совершенно одинаково съ отношеніемъ огром-

наго большинства «интеллигенціи» даже самой либеральной, съ тою, конечно, разницей, что послѣдняя не сочувствуетъ репрессіямъ — ссылкамъ, лишенію свободы, запрещенію вашихъ мнѣній въ печати. Да и то, я не берусь предсказывать, какъ бы поступила съ вами сама-то либеральная интеллигенція, будь она у власти. Дѣло, можетъ-быть, въ томъ, что уже давно не замѣчалось въ исторіи, и въ нашей, и въ европейской, такихъ преувеличенныхъ надеждъ на благую роль государственности. Соціалистическіе успѣхи въ Германіи, гдѣ государственность съ каждымъ годомъ утрачиваетъ свой феодальный характеръ,—несмотря на истерическія рѣчи Вильгельма,— и гдѣ вотъ-вотъ произойдетъ неслыханное перемѣщеніе интересовъ и силъ, наиболѣе содѣйствуетъ этому нынѣшнему увлеченію. Чтобы отчаяться въ такомъ увлеченіи, конечно, недостаточно одной проповѣди, принадлежи она хотя бы и Христу; для того, чтобы отчаяться, нужны факты, ужасные, ошеломляющіе и духъ, и тѣло, въ родѣ, напримѣръ, дикой, разбойничьей римской имперіи временъ Нерона, но исторія, напротивъ, дѣлая все болѣе невозможной имперію Нерона, все болѣе манитъ и соблазняетъ людей перспективой *рабочаго*, свободнаго, справедливаго государства. Какъ же вы хотите, чтобы вамъ сочувствовали, когда вы совершенно отрицаете *всякую* государственность, будь она Нерона или Бебеля?

А то, что̀ вы отрицаете, исходя изъ мысли о *личной* свободѣ, о *личномъ* достиженіи «царства Божія», безъ всякихъ предрѣшеній историческаго порядка, безъ насилія, безъ физической борьбы, — это мало кто понимаетъ. Вотъ, по-моему, въ чемъ заключается непроходимая пропасть между вами и русскимъ образованнымъ обществомъ, и эта пропасть все будетъ шире по мѣрѣ того, какъ и наша государственность будетъ приближаться къ цивилизованному облику западно-европейскихъ. Между народомъ и вами нѣтъ такой пропасти — не даромъ Л. Н. — русскій и такъ инстинктивно понимаетъ и любитъ русскій простой народъ, но, но... тутъ тысячи «но». Будь въ Россіи свобода слова, свобода пропаганды, и еще знай русскій народъ грамоту, вы бы еще потягались съ соціалистическимъ теченіемъ, съ государственниками, и, кто знаетъ,

чье вліяніе превозмогло бы; но этого нѣтъ и, вѣроятно, долго не будетъ, — и, вѣроятно, и на Руси соблазнъ справедливой государственности такъ же соблазнитъ народъ, какъ теперь онъ соблазняетъ интеллигенцію всѣхъ странъ и народовъ.

То, что ты говоришь о твоемъ рѣшеніи остаться въ Россіи, меня нисколько не удивило. Всѣ вы, начиная съ Л. Н—ча, болѣете жаждою мученичества, конечно, не изъ какихъ-либо эгоистическихъ цѣлей въ родѣ гонимыхъ христіанъ, вѣровавшихъ въ рай, въ немедленное вознагражденіе на томъ свѣтѣ, а изъ другихъ, болѣе возвышенныхъ и серьезныхъ мотивовъ,— но я, грѣшный человѣкъ, думаю, что эта жажда ничего не прибавитъ ни къ вашему вліянію, ни къ вашему личному достиженію «царства Божія». О, я не противъ мученичества, но противъ «жажды», противъ ненужнаго мученичества. Тѣмъ болѣе, что мученичество, во всякомъ случаѣ, предстоитъ вамъ далеко не такое жестокое, какъ несчастнымъ русскимъ революціонерамъ, — отъ розги до висѣлицы, — или коммунарамъ и анархистамъ во Франціи. Вотъ еще сюжетъ, о которомъ на досугѣ слѣдовало бы подумать: ни тебѣ, ни Л. Н—чу рѣшительно не угрожаетъ ничего такого, что, напримѣръ, угрожаетъ вашимъ единомышленникамъ изъ «податного», и вообще не важнаго и не вліятельнаго сословія. Ну-ка, пусть попробуетъ Горемыкинъ сослать тебя хотя бы въ Якутскую область: твоя maman, твои тетушки, дяди и проч. и проч. подымутъ такой непріятный шумъ, что, конечно, изъ Якутской области тебя скорехонько переведутъ куда-нибудь въ Лондонъ или Парижъ. О Л. Н — чѣ нечего и говорить: русское правительство никогда не осрамитъ себя какой-нибудь грубой жестокостью въ отношеніи къ нему. Такъ что, если бы на самомъ дѣлѣ какое-нибудь легонькое мученичество постигло тебя или его, то это, пожалуй, произвело бы лишь соблазнъ и много остротъ во враждебномъ лагерѣ. А между тѣмъ въ серіи этихъ небольшихъ мученичествъ есть одно, разсматриваемое объективно, не очень строгое, но въ примѣненіи, напр., къ тебѣ безъ преувеличенія ужасное. Я разумѣю ссылку въ какую-нибудь дикую глушь съ отобраніемъ книгъ, безъ права свободной переписки, съ инородческимъ, непонимающимъ тебя населеніемъ

вокругъ. Готовъ ли ты къ этому? Готовъ ли ты лишиться внѣшнихъ впечатлѣній, общенія съ людьми, которыми дорожишь? И, главное, готовы ли къ этому твои нервы? Найдется ли у тебя гордости сказать, что тотъ огонь, которымъ горишь теперь, будетъ горѣть и безъ дровъ, безъ подтопки — безъ друзей, безъ свѣдѣній, безъ дѣла, занимающаго тебя теперь и въ Ржевскѣ, и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ? А если ты этого по совѣсти не станешь утверждать, то не превратится ли этотъ твой нынѣшній огонь въ душевную смуту и тоску, что хуже смерти...

О другомъ. Въ дѣлѣ «духоборцевъ» русское общество поразилось невѣроятною жестокостью и несправедливостью правительства, но было бы ошибкою думать, что оно сочувствуетъ убѣжденіямъ духоборовъ. Въ этомъ смыслѣ ихъ пассивное сопротивленіе ни на кого не повліяло и никого не обратило къ «непротивленію». Напротивъ, мнѣ доводилось быть свидѣтелемъ огромнаго негодованія по поводу того, что духоборы смиренно подставляли спины подъ казацкія нагайки. Вообще случай этотъ разсматривается, какъ *патологическій* фактъ, доказывающій лишній разъ нездоровое состояніе *русскаго* государственнаго организма—все равно, какъ скопчество, какъ самосожиганіе у раскольниковъ... и только. Говоря объ этомъ, я хочу еще отмѣтить размѣры пропасти, отдѣляющей васъ отъ «интеллигенціи», и то, чѣмъ эта пропасть объясняется [1]).

Впрочемъ, не надо думать, чтобы черезъ эту пропасть нельзя было перекинуть моста ради общихъ цѣлей. Ты когда-то перекинулъ его основаніемъ «Посредника», — думалъ я, что и еще перекинешь за границей. Въ сущности у всѣхъ честныхъ и любящихъ людей, независимо отъ *формъ* ихъ политическаго и религіознаго міросозерцанія, всегда найдется очень много общихъ дѣлъ и цѣлей, лишь не надо отмежевываться другъ отъ друга съ излишней рѣзкостью, съ нетерпимостью; не надо обращать особаго вниманія, кто какъ слагаетъ персты для молитвы.

---

[1]) См. приложеніе («Замѣчанія В. Г. Черткова»).

Прости, если что не понравится тебѣ въ этомъ письмѣ, и повѣрь, что если я и ошибаюсь, такъ искренно, и во всякомъ случаѣ люблю тебя очень. Какъ бы хотѣлось прочитать повѣсть Л. Н — ча! Но, очевидно, это пока «табу». Ну, подождемъ.

Твой А. Эртель.

Чеховъ, говорятъ, будучи въ Ясной Полянѣ, слышалъ или читалъ повѣсть — и вынесъ не особенно сильное впечатлѣніе отъ нея. Можетъ-быть, въ то время она еще не была отдѣлана?

В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю.

25 декабря 1895.

... Странное дѣло, въ нашей перепискѣ я до сихъ поръ замѣчаю то, что замѣтилъ съ самыхъ первыхъ нашихъ писемъ, и чего какъ-то не бываетъ между нами при личномъ общеніи; а именно то, что лишь только вопросъ касается чего-нибудь серьезнаго, ты меня вовсе не понимаешь, даже хуже того, понимаешь совершенно превратно и возражаешь на то, чего я вовсе не думалъ говорить, но что ты какъ бы влагаешь, конечно безсознательно, отъ себя въ мою роль, какъ нужная тебѣ съ моей стороны «реплика» для того, чтобы облегчить тебѣ высказать то, что имѣешь сказать. Такъ и въ послѣднемъ твоемъ письмѣ: я, напр., обмолвился тѣмъ, что вниманіе, обращенное на меня правительствомъ, подтвердило меня въ моемъ нежеланіи уѣхать изъ Россіи. Ты тотчасъ же въ этомъ усмотрѣлъ «жажду мученичества» и разразился обстоятельнымъ обличеніемъ такой жажды. На самомъ же дѣлѣ я *ни слова не сказалъ о мученичествѣ*, и въ дѣйствительности не только его не жажду, но прямо желалъ бы *не* подвергаться ему. Мысль о мученичествѣ мнѣ мучительна, и больше ничего, а жажду его я безусловно отрицаю...

... Такъ что ты совсѣмъ превратно меня понялъ. Но мало и этого: въ самую вложенную тобою въ меня жажду мученичества ты вложилъ, сверхъ того, еще какой-то хвастливый или ухарскій оттѣнокъ, побуждающій тебя какъ бы умѣрять мои порывы указаніемъ на то, что мы рискуемъ гораздо мень-

нимъ, чѣмъ революціонеры и т. п. Все это я и самъ хорошо знаю, и оно нисколько не относится до меня, такъ какъ, повторяю, исходитъ изъ твоего ложнаго предположенія, будто я жажду мученичества. Въ дѣйствительности же то, что я узналъ объ отношеніи ко мнѣ правительственныхъ лицъ, меня ободрило въ томъ смыслѣ, что пристыдило меня сознаніемъ того, какъ мало я до сихъ поръ своей жизнью и поступками заслужилъ то значеніе, которое какъ будто начинаютъ мнѣ придавать, и какое я дѣйствительно могъ бы имѣть, хоть въ нѣкоторой степени, если бы жилъ лучше, ближе къ требованіямъ моего сознанія, чѣмъ живу. И это усилило во мнѣ желаніе не уѣзжать, а, напротивъ, *здѣсь же* пожить ближе къ этимъ требованіямъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ, при возможности усиленія гоненія противъ своихъ единомышленниковъ, какъ-то не хочется отъ нихъ уѣзжать, чувствуется, что этого не слѣдуетъ дѣлать.

Вообще ты какъ-то всему приписываешь болѣе внѣшніе мотивы и приводишь все болѣе внѣшніе доводы и соображенія, не замѣчая того, что именно эта внѣшняя сторона жизни для меня наименѣе убѣдительна. Напр., для меня, начавшаго лѣтъ 15 тому назадъ ломать свою жизнь и браться за совершенно новую для меня дѣятельность, вслѣдствіе выяснившагося въ моемъ *внутреннемъ* сознаніи новаго отношенія къ жизни, — тогда, когда я въ этомъ отношеніи былъ безусловно *одинокъ*, не зная *ни одного человѣка*, думавшаго такъ, какъ я, какое для меня можетъ имѣть значеніе, много ли, мало ли найдется въ современномъ обществѣ людей, готовыхъ раздѣлять мое пониманіе жизни? Я понимаю жизнь такъ, а не иначе, не потому, чтобы я думалъ, что *такъ* можно успѣшнѣе влiять на людей, а просто потому, что не могу иначе понимать ее, чѣмъ такъ, какъ понимаю. Это есть внутренняя потребность, даже болѣе, чѣмъ потребность, — свойство моей души; а ты мнѣ говоришь о возможности или невозможности внѣшняго успѣха. — Къ тому же, то или другое мнѣніе о такой возможности всегда зависитъ отъ субъективнаго расположенія судящаго. Напр., ты видишь мало расположенія въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ къ нашимъ взглядамъ; а я въ немъ вижу больше расположенія къ нимъ, чѣмъ могли бы допустить мои самыя безумныя мечты того времени, когда взгляды эти сложились во мнѣ. Тогда я былъ одинъ и радовался, какъ осуществленію несбыточной мечты, тому, что нашелъ сначала одного, а потомъ двухъ или трехъ единомышленниковъ, а теперь, только нѣсколько лѣтъ спустя, они насчитываются десятками тысячъ въ человѣчествѣ вообще, и сотнями въ

нашей русской интеллигенціи. Меня меньше удивило бы, если бъ черезъ десять лѣтъ большинство человѣчества стало думать такъ, какъ мы (чего я, разумѣется, вовсе не ожидаю), чѣмъ, если бъ 15 лѣтъ тому назадъ я узналъ, что въ теперешнее время у насъ будетъ столько единомышленниковъ, сколько ихъ есть. — Но, повторяю, не въ этомъ вовсе для меня дѣло. Обстоятельство это можетъ радовать, но нисколько не можетъ вліять на мои убѣжденія, которыя вытекаютъ извнутри и не зависятъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. — Лучшимъ примѣромъ того, какъ субъективны бываютъ представленія даже о самой современной дѣйствительности, не говоря уже о томъ, что можетъ или не можетъ быть въ ближайшемъ или дальнѣйшемъ будущемъ, служитъ вся первая часть твоего письма, въ которой ты такъ обстоятельно сообщаешь о томъ, что у насъ не интересуются писаніями Л. Н-ча, и отчего это происходитъ. Ты, очевидно, несомнѣнно убѣжденъ въ этомъ равнодушіи общества къ его писаніямъ, и одна моя мысль, что нѣсколькимъ лицамъ возможно было бы устроить маленькую библіотечку для чтенія изъ его писаній, заставляетъ тебя говорить о томъ, какъ мало я знакомъ съ современной дѣйствительностью. И дѣйствительно, я не сомнѣваюсь въ томъ, что въ тѣхъ кругахъ, въ которыхъ ты, повидимому, вращаешься, все обстоитъ именно такъ пусто и мертвенно, какъ ты говоришь. Но представь себѣ, что какъ я, такъ и десятки другихъ моихъ ближайшихъ друзей, мы постоянно бываемъ свидѣтелями совсѣмъ обратнаго явленія: гдѣ бы мы ни жили, въ деревенской ли такъ называемой глуши, въ провинціальныхъ ли городахъ (губернскихъ и уѣздныхъ), въ столицахъ ли, въ Россіи ли, на Кавказѣ или въ Сибири, *каждый* изъ насъ *всегда* и *вездѣ* находитъ столько горячихъ читателей тѣхъ писаній Л. Н-ча, которыя при немъ имѣются, что, предоставляя каждому изъ нихъ каждую рукопись на опредѣленный непродолжительный срокъ, мы *никогда не успѣваемъ удовлетворять предъявляемому на нихъ спросу*, и притомъ предъявляемому самымъ настойчивымъ образомъ. Правда, что кругъ нашихъ знакомствъ не ограничивается никакими опредѣленными средами или кружками, а составляется и нарастаетъ именно изъ лицъ, интересующихся такими вопросами и этимъ самымъ привлекаемыхъ къ намъ.

Напр., въ томъ же Воронежѣ, около котораго ты живешь, у одного моего пріятеля (*не* Русанова), рукописи Толстого *нарасхватъ* читаются и списываются, — правда, не въ томъ обществѣ, въ которомъ ты бываешь; и потому ты этого даже и не подозрѣваешь. — Опять-таки говорю я это тебѣ вовсе не

для того, чтобы похвастаться успѣхами «толстовской» проповѣди, а просто какъ примѣръ односторонности даже въ представленіяхъ о *фактахъ* жизни, которой такъ легко подвергнуться при кружковой обособленности нашей общественной жизни.

Вообще ты слишкомъ обобщаешь слово «*общество*», когда его употребляешь. Лучше говорить: мои знакомые и знакомые моихъ знакомыхъ, или современная русская періодическая печать, и т. п. болѣе точныя слова. Вѣдь наша интеллигенція состоитъ не только изъ людей *наиболѣе* «образованныхъ», окончившихъ курсы въ университетахъ и академіяхъ и успѣвшихъ тамъ выдвинуться, но и изъ *менѣе* «образованныхъ», въ общепринятомъ значеніи этого слова, проведшихъ въ тѣсномъ соприкосновеніи съ дѣйствительною жизнью за какимъ-нибудь трудомъ ради заработка тѣ года, которые тѣ провели, учась наукамъ, въ этихъ казенныхъ учрежденіяхъ; и вотъ эта-то менѣе образованная часть нашей интеллигенціи на моихъ глазахъ становится все серьезнѣе и дѣльнѣе въ своемъ пониманіи жизни, параллельно тому, какъ та молодежь, одуряемая такъ называемымъ «высшимъ образованіемъ», становится пустѣе и пошлѣе. Говорю про первыхъ, что они *дѣльнѣе* вовсе не въ томъ смыслѣ, что они сочувствуютъ Толстому, а въ томъ, что у нихъ есть свое опредѣленное сознательное отношеніе къ жизни, всегда индивидуальное, и часто оригинальное, чего теперь уже никогда не встрѣчается у благополучно окончившихъ всякіе «курсы» въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, по той простой причинѣ, что для того, чтобы дожить до степени кандидата, или докторскаго диплома, при *нынѣшнихъ* условіяхъ, нужно потерять всю свою самобытность и пріобщиться къ господствующей въ извѣстной средѣ тупости и эгоизму... И вотъ среди тѣхъ, кто шли не этой дорогой, а съ раннихъ лѣтъ зарабатывали себѣ жизнь въ болѣе счастливыхъ условіяхъ простого ремесленнаго, приказчичьяго, учительскаго, купеческаго, отчасти даже служебнаго труда, мы (т.-е. я и мои друзья) встрѣчаемъ все большее и большее число молодыхъ людей, живо интересующихся, между прочимъ, и тѣми вопросами, которые затрагиваются въ писаніяхъ Л. Н-ча.

Я хотѣлъ, дорогой другъ, хоть одинъ разъ не обойти безъ отвѣта твоихъ постоянныхъ опроверженій того, чего я вовсе не думаю; но вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ какъ-то страшно посылать тебѣ это письмо: боюсь, какъ бы опять ты меня не понялъ, и не сталъ бы, возражая мнѣ, доказывать мнѣ то самое, съ чѣмъ я вполнѣ согласенъ.

Теперь приходится уже мнѣ просить тебя простить меня, если что не понравится тебѣ и въ моихъ словахъ...

А. В. Погожевой.

3 марта 1897.

...Человѣку инстинктивно свойственно закрываться и раскрываться сообразно съ тѣмъ, какъ къ нему относятся: какъ къ человѣку, или только какъ къ «мужику», къ редактору, къ писателю — все равно. Есть отношенія «оболочки къ оболочкѣ» и души къ душѣ. Надо по возможности избѣгать первыхъ, по крайней мѣрѣ, въ важныхъ случаяхъ жизни. Не въ похвальбу скажу. Если я многимъ не противенъ, если у меня заключались быстрыя связи съ людьми, то именно только потому, что я обращался «in medias res» къ душѣ и отъ души, а не съ точки зрѣнія «писателя», не съ позиціи моей «оболочки». И въ отвѣтъ на это всегда, почти всегда, «оболочки» раскрывались, и я имѣлъ радость (а иногда и несчастье) видѣть и чувствовать подлинную душу.

П. Ѳ. Николаеву.

3 марта 1897, ст. Веселое С.-В.

Простите меня, дорогой мой Петръ Ѳедоровичъ, что я такъ долго не отвѣчалъ на ваше письмо. Въ первой половинѣ февраля меня вызвалъ телеграммой въ СПБ. мой большой другъ В. Г. Чертковъ, чтобы проститься: по Высочайшему повелѣнію ему предстояло выѣхать изъ Россіи. Управившись съ своими дѣлами, я полетѣлъ какъ только могъ скорѣе въ СПБ., и вообразите мое горе: благодаря опозданію курьерскаго поѣзда только на $^3/_4$ часа, уже не засталъ Черткова въ СПБ. Онъ уѣхалъ въ Лондонъ, гдѣ и поселится у однихъ друзей своихъ, англичанъ. Вообще на «толстовцевъ», какъ ихъ принято называть, теперь воздвигнуто рѣзкое гоненіе. Одного изъ товарищей Черткова, П. И. Бирюкова, сослали на пять лѣтъ въ глухой уѣздный городокъ Курляндской губерніи, другого, Трегубова, опредѣлили выслать въ Сибирь, но пока еще не разыскали, гдѣ онъ. У Черткова наканунѣ отъѣзда былъ обыскъ и взяли очень много важныхъ бумагъ... Я не помню, чтобы теоретически когда-нибудь соглашался съ В. Г. Наша почти десятилѣтняя переписка едва не сплошь состоитъ изъ споровъ. Тѣмъ не менѣе, я мало кого такъ любилъ, да и онъ относился ко мнѣ съ трогательнымъ чувствомъ. И вотъ я этого человѣка врядъ ли когда увижу болѣе. Въ связи съ подлымъ петербургскимъ небомъ, съ тамошними моими впечатлѣніями отъ слякоти и мелочности литературныхъ сферъ — это меня настроило весьма мрачно. Не отогрѣла и Москва, хотя по

внѣшности я въ Москвѣ очень «отогрѣвался», т.-е., говоря безъ обиняковъ, «обѣдалъ» и «ужиналъ» въ безпрерывно мѣнявшейся компаніи и видѣлъ множество людей. Такъ въ этой поѣздкѣ прошло у меня двѣ недѣли. Затѣмъ возвратился я въ А-ку не одинъ, а съ И. И. Петрункевичемъ... А проводивши его, принужденъ былъ уйти съ головою въ тѣ хозяйственныя дѣла и дѣлишки, что большимъ ворохомъ накопились въ мое отсутствіе, и пока не вижу имъ конца... Поймите же, мой дорогой, всю невозможность писать съ такимъ мусоромъ въ головѣ и съ такимъ настроеніемъ, какъ мое теперешнее. И къ чему? Къ чему писать? Вотъ отъ какого проклятаго вопроса я никакъ не могу избавиться. Вѣдь, вы знаете, моя «писательская» натура никогда не принадлежала къ числу непосредственныхъ. Писать потому, что *хочется*, потому что требуетъ того непобѣдимый художественный инстинктъ, а иногда столь же непобѣдимый литературный зудъ, я никогда не могъ. Помимо сей слѣпой силы, мнѣ всегда была нужна сознательная увѣренность, что то̀, что пишу — ново и интересно, по крайней мѣрѣ, для меня самого. И вотъ такой-то *увѣренности* у меня теперь рѣшительно нѣтъ. Ее, можетъ-быть, могли бы снова создать иныя условія цензуры, иныя условія моей личной жизни, наконецъ, иной темпъ жизни общественной, — но такъ какъ сихъ «трехъ» перемѣнъ не предвидится, то и... не знаю, буду ли я вообще писать когда-нибудь. У меня, напримѣръ, болѣе года лежитъ разсказъ, для окончанія котораго требуется написать не болѣе 15 печатныхъ страницъ. Этотъ разсказъ давно обѣщанъ «Рус. Мысли», давно оплаченъ ею, и—увы!— не могу его кончить, не могу принудить себя къ тому строю мыслей и чувствованій, который требуется. А закончить какъ наши «кимряки», подложить подошву изъ сахарной бумаги — въ свою очередь не могу изъ непобѣдимаго чувства отвращенія. Это не «прострація», мой дорогой, а то, что сдѣлалось глубоко противно прибавлять къ комедіи и предательству жизни комедію и предательство литературныхъ упражненій. Итакъ, вотъ почему я ничего не обѣщаю вамъ, какъ ни люблю васъ, какъ ни желалъ бы помочь вамъ. Вѣрьте, мой дорогой другъ, что это не блажь,

не лѣнь, не обычныя беллетристическія увертки, а самая простая правда. Я еще не дожилъ до того смиренія, съ которымъ мирятся даже тогда съ своей дѣятельностью, когда она равняется силѣ капли, падающей на камень, — и потомъ нѣтъ у меня того чувства долга, которое иногда замѣняетъ такое смиреніе. Камень твердъ, сила капли ничтожна, ну, и Богъ съ ними, ни тѣмъ, ни другимъ я быть не хочу, или вѣрнѣе сказать, не могу. Участіе въ *такомъ* историческомъ процессѣ, въ *такомъ* взаимодѣйствіи «жизни и литературы» меня не удовлетворяетъ, смысла въ мое существованіе не вноситъ, содержанія не даетъ моей душѣ, а посему... будемъ молчать. И ждать, Петръ Ѳедоровичъ, потому что покуда живется, потуда и ждется. А живется, охъ, какъ жутко!..

А. П. Чехову. [1])

7 марта 1897, ст. Кулики Сызр.-Вяз. ж. д.

Книжки твои я получилъ, дорогой мой Антонъ Павловичъ, не писалъ же тебѣ объ этомъ до сихъ поръ потому, что не хотѣлось ограничиться казеннымъ выраженіемъ благодарности, а думалось, что выберу минутку досуга и поговорю съ тобою по-человѣчески, или, иначе говоря — «по душѣ», или еще иначе — листахъ на пяти, какъ это у меня бываетъ съ интересными и милыми моему сердцу корреспондентами. Но къ твоему счастью, — если не любишь длинныхъ писемъ, — досуга у меня такъ и не нашлось, и вотъ, — тороплюсь набросить только нѣсколько строкъ, чтобы извѣстить, и поблагодарить, и сказать, что я искренно, на самомъ дѣлѣ, полюбилъ тебя за это время проживанія нашего подъ одной нелѣпо-огромной крышею Б. Московской гостинницы. Отчего?

Я и самъ не могъ бы отвѣтить. Вѣроятно оттого, что чувство мое къ тебѣ подготовлялось давно уже тобою «писателемъ», что за твоими печатными строками давно уже чудилась мнѣ и привлекала твоя «подлинная» душа, сочувственно волновалъ твой ѣдкій и, вмѣстѣ, меланхолическій умъ, въ настроеніи котораго мнѣ чувствовались и смѣлая, безъ теоретической запряжки, свобода, и страдальческое отсутствіе внутренней гармоніи. Вотъ это послѣднее. Какъ оно хватаетъ за сердце, если самъ далекъ отъ того, чтобы благополучно сводить концы съ концами, если думаешь, что они и не сводятся, а

---

[1]) Письма А. П. Чехова къ А. И. были напечатаны въ «Русской Мысли» 1909, январь.

коли и сводятся, такъ не въ Хамовникахъ и не у Владимира Соловьева, а гдѣ-то тамъ, «по ту сторону вещей», и не въ предвидѣнномъ сочетаніи. Что сводятся, я вѣрю, — можетъ-быть, потому, что не прошелъ той школы, которую прошелъ ты; но эта вѣра «безъ подробностей», безъ формулъ, безъ догматовъ, въ свою очередь, достаточна лишь для того, чтобы вдвойнѣ мучиться отъ здѣшней, земной «несводимости», и мистически задумываться, а по временамъ и ужасаться передъ грядущимъ. Впрочемъ, въ сторону пока эти сюжеты.

Итакъ, дорогой мой, послѣ той московской жизни, что кажется тебѣ — была во снѣ, я сразу былъ ввергнутъ въ иную, съ настоящимъ роемъ назойливо жужжащихъ дѣлъ и дѣлишекъ. Я пріѣхалъ сюда съ И. И. Петрункевичемъ — ему надо было купить лошадей, и по сему поводу я долженъ былъ погрузиться въ коннозаводское настроеніе. А тамъ и пошло съ клавиша на клавишъ... Продажи откормленныхъ воловъ и свиней; снаряженіе «экспедиціи» въ Ярославскую губернію за молочными коровами, и другой, за волами, въ землю Войска Донскаго; покупка лѣса и кирпича для школы и спѣшная его доставка по послѣднему зимнему пути; размолъ ржи для фабрики; выжеребка и случка на конномъ заводѣ; сортированіе сѣмянъ, изготовленіе и ремонтъ земледѣльческихъ орудій, наемка рабочихъ. Да еще бухгалтерскія заботы: надо было просмотрѣть, подписать и отослать годовой отчетъ — порядочный томикъ, — и то же сдѣлать съ янв. и февр. отчетами, и вводить въ «лицевые счета» и въ «кассовый журналъ» расходы и приходы, произведенные безъ меня, и сдать деньги на текущій счетъ, и разобраться *мнѣ* въ предъявленныхъ «оправдательныхъ документахъ», и отвѣтить на порядочную груду «дѣловыхъ» писемъ. И надо отправлять въ Москву одну изъ лошадей, купленныхъ Петрункевичемъ, и купить мереновъ на пристяжку для одного изъ членовъ «торгов. дома А. и Г. Ивана Хлудова сыновей», и искать пару «рыжихъ» и пару «вороныхъ» для двухъ другихъ членовъ дома, и отослать ветчину въ коптильню, и смѣнить птичницу, и ввести въ курсъ дѣла вновь нанятаго смотрителя конн. завода, и «серьезно» поговорить съ наѣздни-

комъ о его поведеніи, и нанять плотниковъ, и послать за кухаркой для одной изъ застольныхъ... и еще чортъ, чортъ знаетъ сколько дѣлъ, не представляющихъ для меня почти никакой физической трудности, но требующихъ напряженнаго вниманія, односторонне, но твердо направленной воли, загромождающихъ не только голову, но и сердце.

Ну, а какъ народный дворецъ? Вотъ затѣя, къ которой я могъ бы прилѣпиться всѣмъ сердцемъ и помышленіемъ — по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока она не вступила бы на рельсы. И я очень радъ за тебя, что это ты можешь и хочешь.

Блины[1]) и прочее было великолѣпно. Въ томъ числѣ и разговоры. А къ старичку слѣдовало бы тебѣ присмотрѣться. Въ томъ числѣ и въ интересахъ народнаго дворца. Пріѣзжай ранней весною. Вѣдь пойми — журавли потянутъ, озерца разольются; а какая ширь и даль, и какъ пахнетъ землею, почками, и грачи идутъ за бороздою, и звенитъ жаворонокъ...

Пріѣзжай, когда только и можно проѣхать отъ станціи, что верхомъ. А станція 7 верстъ, «Веселое», Сызр.-Вяз. жел. дор. Туда же можно и телеграфировать, «Эртелю», что пріѣду-де тогда-то, «вышли лошадей». А? А жена заставитъ тебя лѣчить больныхъ... И помолчимъ... И прислушаемся вмѣстѣ къ радостному шуму весны... И, можетъ-быть, къ звуку топоровъ, рубящихъ школу... А кругомъ душистые тополи, тополи безъ конца. И грустный заброшенный домъ въ паркѣ. И съ чернымъ блескомъ пруды... Подумай-ка!

Обнимаю тебя отъ всей души. А. Эртель.

---

[1]) У К. Т. Солдатенкова.

Ему же.

10 апрѣля 1897, ст. Кулики Сызр.-Вяз. ж. д.

Дорогой мой Антонъ Павловичъ! Не знаю, найдетъ ли тебя эта записочка въ деревнѣ, но получивъ вчера извѣстіе изъ Москвы о томъ, что ты боленъ, мнѣ такъ захотѣлось сказать тебѣ словечка два — не въ «утѣшеніе», разумѣется, но просто потому, что ты какъ-то сталъ странно близокъ моей душѣ, — еще больше съ тѣхъ поръ, какъ я не отрываясь перечиталъ твои семь томиковъ... А насчетъ «утѣшенія» — ты самъ докторъ, слѣдовательно, лучше знаешь въ чемъ дѣло, хотя не могу забыть, что у меня четыре года подъ рядъ были обильныя кровохарканья весною, и послѣ особенно сильнаго, уже не «кровохарканья», а «кровоизліянія», и притомъ со всѣми «онерами»: съ потами, съ лихорадкою, — такой «докторъ», какъ покойный С. П. Боткинъ, изрекъ мнѣ смертный приговоръ, который, по его мнѣнію, долженъ былъ исполниться много черезъ мѣсяцъ. Съ тѣхъ поръ прошло 16 лѣтъ... Въ эти 16 лѣтъ у меня повторялось кровохарканье нѣсколько разъ, и сильное, когда я по грѣхамъ моимъ попалъ въ сырой казематъ Петропавловки; но вотъ уже года четыре ничего не случалось, а если теперь и начинается аттака того неутомимаго червяка, что зовутъ смертью, то аттака вовсе не со стороны легкихъ, а откуда-то изъ «пищевода», и съ такими подчасъ невыносимыми болями, что, вспоминая прежнюю, со стороны легкихъ, я едва ли не готовъ отдать ей предпочтеніе. Тѣмъ болѣе, что въ отвѣтъ той былъ несравнимо сильнѣйшій отпоръ въ чисто-животномъ желаніи жить во что бы то ни стало и въ свѣжести и наивности душевнаго строя. Теперь

ни этого желанія жить, ни свѣжести, ни наивности. Вотъ, дорогой другъ мой, если позволишь называть тебя такъ, вотъ гдѣ ищи побѣды надъ твоимъ недугомъ, т.-е. не растрачивай подобно мнѣ, а старайся возрастить и развить «волю» къ жизни, свѣжесть души. По глубокому моему убѣжденію, въ условіяхъ нормальнаго человѣческаго существованія это возможно; если же это оказывается врядъ ли возможнымъ для меня, — и для тьмы другихъ, — то по причинамъ особеннымъ, чрезвычайнымъ, и отчасти еще потому, что поздно, — у тебя же и «причинъ» этихъ нѣтъ, и ты далеко моложе меня. Во всякомъ случаѣ, вѣрь, что я очень люблю тебя, и что извѣстіе о твоей болѣзни глубоко опечалило меня. Особенно тѣмъ, что я сомнѣваюсь въ силѣ и твоего «отпора», и въ твоемъ желаніи жить *во что бы то ни стало*... А если захочется, вопреки тѣмъ меланхолическимъ струнамъ, что звучатъ въ твоей душѣ, то повѣрь — все «образуется»! Ну, вотъ и все, что я хотѣлъ сказать тебѣ. То-есть въ сущности далеко не все, но, во-первыхъ, не хочу надоѣдать тебѣ, а во-вторыхъ, страшно некогда: по уши я теперь въ сельско-хозяйственныхъ заботахъ и дѣлахъ.

Твой А. Эртель.

А. В. Погожевой.

24 сентября 1897.

Осень, осень — и съ этимъ такъ же ничего не подѣлаешь, какъ и съ осеннимъ чувствомъ холода въ душѣ. А все-таки... Я недавно довольно долго пробылъ въ отдаленномъ полѣ, гдѣ наши рабочіе пахали на плугахъ. Былъ рѣзкій холодъ; свинцовыя жесткія тучи кругомъ облегали небо, дулъ сильный, колючій вѣтеръ, пригибая кое-гдѣ торчащій бурьянъ, проносясь съ унылымъ, едва слышнымъ завываньемъ; мѣстами черная, свѣже-вспаханная, мѣстами желтовато-бурая равнина безъ конца уходила въ сумеречную, непривѣтливую даль.

Мимо меня съ тяжелымъ сопѣньемъ, быстро перебирая ногами въ глубоко взрыхленной землѣ, проходили лошади, запряженныя въ плуги, хрипло кричали, махая кнутами, плохо одѣтые съ синеватыми лицами мальчики-погонщики, широко шагали и тоже кричали и ругались на лошадей и погонщиковъ плугари, на ходу очищая плуги отъ грязи и сора. Вотъ прошла четверка съ однимъ плугомъ... съ другимъ... съ десятымъ... Я стоялъ неподвижно. Лошади быстро удалялись, равномѣрный шорохъ земли, разрѣзаемой лемехомъ, замиралъ, крики становились едва слышны — все вытягивалось въ одну сплошную линію изъ сорока напряженно шагающихъ животныхъ, маленькихъ фигурокъ погонщиковъ, сидящихъ на нихъ верхомъ, плугарей, спѣшащихъ едва не рысью и размахивающихъ «чистиками» — все черное на фонѣ черной земли, сѣраго угрюмаго неба, и невыразимо грустное, какъ эта безконечная равнина, какъ эти дали, какъ этотъ холодный, безжизненный, безцвѣтный просторъ. И вдругъ что-то неожиданно

кольнуло меня въ сердце... Едва различимый звукъ протянулся. Еще и еще... громче... слышнѣе... торжественнѣе.. Я поднялъ глаза въ даль, въ свинцовую, тяжко нависшую вышину... Летѣли журавли. Ихъ было много — нѣсколько сотенъ. Они, вѣроятно, были еще недавно въ пути. Ихъ отряды строились, перестраивались, обгоняли другъ друга и отставали, широко и безпорядочно занимая пространство; только впереди уже успѣлъ образоваться небольшой стройный треугольникъ, мѣрно и увѣренно разсѣкавшій воздухъ великолѣпными взмахами крылъ... И трубные, чистые, какіе-то гордые звуки оглашали воздухъ, особенно выдѣляясь изъ другихъ, тревожныхъ, растерянныхъ, но все-таки радостныхъ криковъ...

Сказать ли? мнѣ захотѣлось плакать. Не отъ унынія, разлитого въ черноземномъ пейзажѣ, не отъ осенняго холода и жалобнаго завыванія вѣтра, не отъ этихъ черныхъ точекъ и линій, теперь едва замѣтныхъ на горизонтѣ, а отъ особаго чувства теплоты, весны, бодрости, волною пробѣжавшаго въ душѣ, отъ такого же стремленія, какъ у этихъ птицъ, въ высь, въ даль, впередъ... къ солнцу, къ счастью, къ волѣ.

Пусть это только ощущеніе и даже мимолетное. Ничего. Пока душа можетъ откликаться такими «ощущеніями», въ ней есть еще источникъ жизни. Вѣдь, въ сущности, что такое «весна», воля, счастье, какъ не комплексъ ощущеній и рожденныхъ ими мыслей, образовъ, мечтаній? Правда, безъ внѣшняго міра ощущеній не бываетъ. Но въ концѣ-концовъ внѣшній міръ — краски, расположенныя на палитрѣ, а картину создаетъ только мое внутреннее *я*, и настолько содержательную, насколько содержательно это *я*. Будемъ же «содержательны»!

Вотъ еще хорошій коррективъ къ ощущенію душевнаго холода, это наши здѣшнія работы по устройству пруда. Вообрази температуру, близкую къ точкѣ замерзанія, бурный вѣтеръ, низко бѣгущія тучи цвѣта чернилъ, мелкій, почти непрерывно сѣющій дождикъ, унылыя мокрыя окрестности, и народъ, работающій съ лопатами, съ заступами, по колѣна въ грязи и въ холодной водѣ. Прежде чѣмъ возводить плотину будущаго пруда, подъ нее надо устроить такъ называемый

«замокъ», родъ фундамента, т.-е. выкопать въ болотистой, насыщенной родниками почвѣ ровъ длиною 50 саженъ, шириною и глубиною въ 1 саж., и затѣмъ насыпать и твердо утрамбовать этотъ ровъ сухой глиной. Работа едва не каторжная, если вспомнить погоду... И, однако, она идетъ съ шуточками, со смѣхомъ, бодро, почти весело. Разумѣется, только потому, что сравнительно хорошо оплачивается. Сердце замираетъ смотрѣть на эти напряженно согнутыя спины, на которыхъ облипли грязныя, мокрыя отъ дождя и пота рубахи, на это особое выраженіе лица, когда съ усиліемъ поднимается лопата, нагруженная тяжелымъ иломъ, который выбрасывается вверхъ изъ ямы на высоту 3 — 4 аршинъ, на эти ноги въ лаптяхъ и онучахъ, погрязшія въ глубокой грязи и въ журчащей родниковой струѣ. Работа распредѣлена артельно, по паямъ, исполняется отрядно, а не поденно, т.-е. вся артель заинтересована въ наиболѣе быстромъ устройствѣ «замка» и плотины и зорко смотритъ другъ за другомъ, и, разумѣется, работа при такихъ условіяхъ поистинѣ безпощадна. Но во время короткаго отдыха или нѣкоторыхъ моментовъ работы сразу видишь, что это не машины, не рабы и далеко не дикари. Молодой солдатикъ, только что вернувшійся со службы, съ разрумяненнымъ, усталымъ лицомъ, съ фуражкой, сдвинутой на затылокъ, спѣшитъ воспользоваться минутнымъ отдыхомъ и быстро, быстро попыхиваетъ трубочкой. — Ну что, говорю, вотъ и пришелъ на радость: въ солдатахъ-то, небось, легче? — Нѣтъ, ничего, А. И. — съ веселой улыбкой отвѣчаетъ солдатикъ, — и здѣся ничего! — и проворно соскакиваетъ въ ровъ по колѣно въ жидкую грязь, потому что отдыхъ уже кончился и артель принялась за работу. Но пока работа еще не разгорѣлась, долго еще въ мрачномъ болотѣ, подъ мрачнымъ небомъ, въ кучахъ мокраго, высоко-навороченнаго ила, подъ завываніе свирѣпаго вѣтра, наклоняющаго близъ-стоящія одинокія ракиты, слышатся шутки надъ солдатомъ, надъ его будто бы привольной жизнью въ полку, надъ тѣмъ, что онъ прямо изъ такой жизни попалъ по колѣно въ грязь; а солдатъ съ подкупающей искренностью отшучивался и все чаще и чаще взмахивалъ лопатой съ тяжелымъ грузомъ ски-

пѣвшагося ила... Нѣтъ, это не рабы и вовсе не дикари. Стоило бы разсказать тебѣ сцену, когда въ особенно холодный день артели предстояло углублять ручей, для чего требовалось часа два работать въ бѣгущей, какъ ледъ холодной водѣ. Изъ 22 человѣкъ было человѣкъ 15 въ лаптяхъ и 7 въ сапогахъ. Послѣ многихъ подходовъ, шутокъ, иносказаній и намековъ кончилось тѣмъ, что образовалось своего рода могущественное «общественное мнѣніе», что на этотъ разъ надо нарушить «равненіе» и пусть лѣзутъ въ воду, кто въ сапогахъ. И кто въ сапогахъ, безропотно и подсмѣиваясь другъ надъ другомъ полѣзли въ воду...

До сихъ поръ, слава Богу, нѣтъ ни заболѣвшихъ, ни обезсилѣвшихъ, а дня черезъ два этотъ проклятый «замокъ» кончится, и тогда уже пойдетъ сравнительно легкая работа. Надо тебѣ сказать, что работающіе на замкѣ рѣшительно не хотятъ принимать въ свою артель болѣе 22 человѣкъ, тогда какъ на послѣдующихъ работахъ будутъ участвовать болѣе 60-ти. Это, разумѣется, объясняется тѣмъ, что, нанявшись устроить всю запруду, они впередъ таксировали между собою различнаго рода работы по этой запрудѣ, при чемъ устройство замка, конечно, было оцѣнено гораздо выше другихъ работъ. И еще надо добавить, что и здѣсь, какъ всегда, умъ и характеръ таксируются выше любой каторжной работы: главный распорядитель въ артели работаетъ меньше всѣхъ, а получаетъ болѣе всѣхъ; и я потерпѣлъ неудачу, когда хотѣлъ обойтись безъ этого иниціатора, вступить въ прямыя отношенія съ каждымъ рабочимъ, — однимъ словомъ, организовать работу на одномъ трудовомъ, «мускульномъ» началѣ. Нѣтъ, видно это нормально и естественно, что толпа мужиковъ, не разгибая спины, вонзаетъ заступы въ землю и мѣситъ ногами грязь, а одинъ мужикъ ходитъ съ саженнымъ шестомъ въ рукахъ, указуетъ порядокъ, командуетъ и внушаетъ своей дѣятельностью не зависть, а нѣчто въ родѣ благоговѣнія. И, замѣть, командуетъ не по моему порученію — интересы «экономіи» его не касаются, для этого приставленъ особый приказчикъ, и наблюдаю я, — а по порученію артели, въ интересахъ артели и пресловутаго «равненія».

А въ сущности я не умѣю сказать, что̀ именно въ этой толпѣ крестьянъ, исполняющихъ тяжкую, съ нашей точки зрѣнія крайне нездоровую работу, не даетъ, однакоже, думать, что это рабы или машины. По крайней мѣрѣ, издали, подъѣзжая къ нимъ, у меня постоянно сжимается сердце, и бродятъ самыя печальныя мысли объ этой «разновидности» человѣчества, а побывъ съ ними часъ, присмотрѣвшись къ ихъ лицамъ, послушавши ихъ слова, я убѣждался, что дѣло обстоитъ вовсе не такъ ужасно, и что любой, казалось бы каторжный трудъ, при условіяхъ осмысленности и цѣлесообразнаго результата, не въ состояніи обезличить человѣка до степени тупого раба или неразсуждающей машины. Энергія души не замираетъ. Это ея вспышки и искры въ подшучиваніи надъ солдатомъ, надъ обутыми въ сапоги, надъ неизбѣжностью становиться въ грязь, — въ строгомъ равненіи, въ безпрекословномъ и разумномъ повиновеніи выбранному распорядителю... Я думаю, что несчастный писатель въ родѣ По, обязанный во что бы то ни стало доставить фельетонъ къ субботѣ, или передовую статью къ пятницѣ, или романъ къ февральской книжкѣ — что такой писатель гораздо болѣе рабъ и машина...

Ей же.

17 апрѣля 1898.

Относительно дневника Гонкуровъ ты совершенно права. Но въ этомъ-то и интересъ дневника, что онъ даетъ возможность проникнуть за ширмы современной французской высококультурной души, узнать ея пружины, ея язву, ея проклятіе, и сдѣлать отсюда массу интереснѣйшихъ выводовъ, сравненій и догадокъ. Помню, когда я читалъ «30 лѣтъ въ Парижѣ» Додэ, меня ужасно поразили тѣ чувства, съ которыми авторъ начиналъ свою писательскую карьеру. Эти чувства были: жажда славы, жажда «завоевать Парижъ» — однимъ словомъ, то самое, что могло бы привести въ величайшее негодованіе начинающаго русскаго писателя. Разница ли это культуръ? Разница ли расы или общественнаго строя, во Франціи безповоротно капиталистическаго и буржуазнаго? Какъ бы то ни было, нѣтъ теперь на французскихъ писателяхъ «пророческаго помазанія» — того самаго, которое было и еще есть на писателяхъ русскихъ и скандинавскихъ.

Однако не надо забывать, что тому же Додэ, даже тѣмъ же самымъ Гонкурамъ въ нѣкоторыхъ ихъ вещахъ это отсутствіе «помазанія» не мѣшало потрясать сердца, заражать читателей великодушными и благородными чувствами. Не придемъ ли и мы къ тому же? Это все равно, какъ въ средніе вѣка цеховой ремесленникъ, работая не на рынокъ, а на заказчика, производилъ удивительныя вещи, вкладывая въ нихъ всю свою душу, а «капитализмъ» мало-по-малу достигаетъ того, что, совершенно утративши понятіе о «заказчикѣ» и работая только гуртомъ, на рынокъ, безъ души, тѣмъ не менѣе,

въ свою очередь, начинаетъ производить удивительныя вещи. Вспомни только фабрично-художественное предпріятіе В. Морриса. Страшно сказать, но, очевидно, искренность, любовь, великодушіе, состраданіе къ обиженнымъ и оскорбленнымъ могутъ выдѣлываться съ такимъ же совершенствомъ на машинѣ, въ горнилѣ тонкой и сложной буржуазной души, какъ и средневѣковыми мастерами, въ родѣ Толстыхъ, Достоевскихъ, Тургеневыхъ. Правда, въ концѣ-концовъ я все-таки думаю, что въ истинно-художественномъ произведеніи есть нюансы, которыхъ никогда не достигнетъ машина-талантъ. Но—увы!—нужны ли эти «нюансы» современнымъ потребителямъ литературнаго рынка — не старомодно ли это? не наивно ли? не варварство ли? А разъ «потребитель» не будетъ читать, будутъ писать по старомодному чудаки и маніаки... И воцарится тонкое, бездушное, ходовое, фабричное искусство и у насъ, какъ во Франціи... И да здравствуетъ капитализмъ!

Любопытно, думаютъ ли воспользоваться соціалисты и этимъ пріобрѣтеніемъ буржуазнаго строя?..

Ей же.

10 мая 1898.

...Сводить жизнь къ роли «самаритянской» я не хочу, ибо въ этомъ-то согласенъ съ Ницше, что «самаритянство» въ концѣ-концовъ обезцвѣчиваетъ индивидуальность. Страданія въ жизни человѣчества дѣйствительно много; такъ много, что никогда не переведутся поэты въ родѣ Леопарди и философы въ родѣ Шопенгауера, въ представленіи котораго страданіе и есть основной законъ существующаго. Однако это такой же «дальтонизмъ», какъ и обратное, Кандидовское представленіе, а правда въ томъ, что существующее имѣетъ тѣни и свѣтъ и, можетъ-быть, потому такъ и прекрасно, что не похоже на китайскія картины. Не было бы, напримѣръ, тѣни, не было бы и борьбы, а что прекраснѣе борьбы?..

Н. Я. Петрову.

29 іюля 1898, ст. Веселое, Сызр.-Вяз. ж. д.

... И сейчасъ пишу вамъ лишь нѣсколько словъ въ «царство небесное» изъ ада страшной засухи, скучной и тягостной меледы, мучительныхъ инцидентовъ съ «представителями» всякаго рода «труда», чортъ бы ихъ подралъ, а особливо съ здѣшними оригинальными мужичками. Нѣтъ, никогда еще я такъ не понималъ Некрасовскаго выраженія — «любя ненавидѣть», и никогда столь всесторонне не проникалъ въ ту простую истину, что въ конечномъ итогѣ только на *реальныхъ отношеніяхъ* познаются люди и съ ихъ слабостями, и съ ихъ добродѣтелями, коли послѣднія имѣются. Быть гуманнымъ, справедливымъ, великодушнымъ, сидя въ кабинетѣ или вообще вращаясь въ сферѣ словъ и книгъ, совсѣмъ, совсѣмъ не то, что сохранить за собою всѣ сіи высокія качества въ аду подлинной, не абстрагированной дѣйствительности, купаясь въ прелестяхъ «быта» — особенно русскаго, донынѣ неправдоподобно жестокаго быта. А между тѣмъ въ возможно правильной постановкѣ этихъ «реальныхъ отношеній» вся суть, и, пока ее не достигнешь, не будетъ толку изъ всѣхъ нашихъ теченій, направленій и настроеній.

Широко говоря, «бытъ» нашъ еще не организованъ, вотъ въ чемъ великая бѣда великой «Ѳедоры». Тотъ фактъ, что въ какой-нибудь Германіи проселочныя дороги обсаживаются вишнями, и плоды бываютъ цѣлы, а въ Россіи посади ветелку и ее выдернутъ — такъ себѣ, даже безъ злобы, — это фактъ несравнимой важности. Правда, въ Зап. Европѣ онъ достигнутъ цѣлыми вѣками правомѣрныхъ злодѣйствъ, но достиг-

нутъ же, а у насъ злодѣйства были и есть, однако «порядка», какъ не было, такъ и нѣту. И это-то горестное обстоятельство, т.-е. отсутствіе твердости въ «бытѣ», въ его основахъ и принципахъ, является страшнымъ препятствіемъ къ тому, чтобы высокія идеи и чувства, слагающіяся въ сердцахъ и сознаніи интеллигенціи, становились плодотворными. Такъ называемый буржуазный порядокъ въ Европѣ, каковъ ни есть, но *порядокъ*, и по мѣрѣ просачиванія въ него новыхъ идей можетъ и долженъ эволюціонировать сообразно съ этими идеями; у насъ же никакого порядка организоваться не успѣло, и наша «эволюція» — это переходъ отъ одного неустройства къ другому, можетъ-быть, еще горчайшему. Въ сущности россійскій общественный бытъ со всѣми его привычками и отношеніями — анархія, но не та, которая грезится европейскимъ теоретикамъ анархизма, а та самая, которую изобразилъ Щедринъ въ исторіи города Глупова. Жутко жить въ этомъ «моментѣ» историческаго процесса.

А. В. Погожевой.

21 августа 1898.

...А народническія грезы — грезы и больше ничего. У меня ихъ очень-то много никогда не было, а теперь я излѣчился и отъ тѣхъ немногихъ, которыя были. Въ сущности не было вѣрнѣе и проницательнѣе исторіи русскаго народа, какъ та, которую написалъ Щедринъ. Разумѣется, и «головотяпы» не сплошь тяпали и тяпаютъ головами, но что это основной тонъ ихъ историческаго существованія — ей Богу, вѣрно. Кто въ этомъ виноватъ: татарщина ли, вотчинный ли принципъ государственной власти, православіе ли, крѣпостное ли право— разбирать трудно и долго; одно несомнѣнно и бросается въ глаза — мучительность жизни среди этого киселеобразнаго конгломерата, мучительность для самихъ «головотяповъ» и, быть-можетъ, еще большая для ихъ интеллигенціи. Малоземелье, податныя тягости, гнетъ международной политики съ ея чудовищными вооруженіями—все это есть, но все это—увы!—еще не объясняетъ удивительной отсталости «города Глупова», его полнѣйшей несостоятельности передъ насущными задачами вѣка. Въ сущности «городъ Глуповъ» до сихъ поръ гораздо болѣе азіатъ, кочевникъ и рабъ — съ хорошими и дурными качествами такого состоянія — нежели сознательный и правомѣрный союзъ здравомыслящихъ людей. Широко говоря, самый бытъ его еще не организованъ. Достаточно вспомнить изумительную зыбкость его правовыхъ, моральныхъ и даже религіозныхъ воззрѣній. Все непрочно, все шатается, все въ періодѣ какой-то безтолковой смуты, какихъ-то туманныхъ новообразованій и загадокъ... Иные склонны думать, что это процессъ творчества,

что надъ хаосомъ паритъ духъ Божій, что такой же процессъ происходитъ и на Западѣ. Да, происходитъ и на Западѣ, но съ той огромной разницей, что тамъ онъ отправляется отъ воспитаннаго вѣками сознанія, отъ крѣпко и стройно организованнаго быта, а у насъ... отъ пустого мѣста. Передовыя движенія въ Западной Европѣ — звенья непрерывной, идущей изъ глубины старой и прочной культуры, цѣпи; у насъ же всякія движенія въ большинствѣ — изъ случайныхъ обстоятельствъ, изъ темперамента, изъ тѣхъ же мотивовъ, по которымъ движется вобла въ устьяхъ Волги. Возьмемъ, напримѣръ, соціализмъ, какъ онъ сложился у нѣмцевъ. Не думаешь ли ты, что онъ могъ такъ сложиться только у того народа, гдѣ проселочныя дороги обсаживаются вишнями, и вишни бываютъ цѣлы? Тамъ, гдѣ посади простую, жалкую ветелку, и ее выдернутъ — даже не по злобѣ, а просто «такъ себѣ», и гдѣ для сокращенія пути на пять саженей проѣдутъ на телѣгѣ по великолѣпной ржи — не барской или купеческой, а по крестьянской,—тамъ можетъ быть Разиновщина, Пугачевщина, все, что хочешь въ этомъ родѣ — «безсмысленномъ и жестокомъ», по выраженію Пушкина — но не соціализмъ. Во всей сферѣ отношеній, вѣрованій, идей, отрицаніе, чтобы стать плодотворнымъ, чтобы привести къ хорошимъ новообразованіямъ, къ прогрессу, должно вырасти, воспитаться и закалиться въ этихъ же самыхъ отношеніяхъ, вѣрованіяхъ и идеяхъ.

Правда, крѣпкая организація «быта» въ Европѣ достигнута цѣлыми вѣками правомѣрныхъ злодѣйствъ, столь жестокихъ, что вчужѣ становится жутко. Достаточно прослѣдить исторію внѣдренія понятій о собственности — законы о браконьерствѣ, напримѣръ...: Но у насъ злодѣйства-то были и продолжаются, — вспомни только кавказскихъ духоборовъ или наказаніе розгами по приговорамъ волостныхъ судовъ, — а твердыхъ понятій, правилъ, отношеній нѣтъ и не было.

И вотъ почему русскому народу и его интеллигенціи прежде всякихъ попытокъ къ осуществленію на практикѣ «царства Божія» предстоитъ еще создать почву для такого царства, т.-е. словомъ и дѣломъ водворять сознательный и твердо построенный *бытъ*.

Я не хочу, разумѣется, сказать, что такой «бытъ» долженъ быть сколкомъ съ европейскаго во всѣхъ его буржуазныхъ подробностяхъ. Но онъ, во всякомъ случаѣ, долженъ быть утвержденъ на уваженіи къ личности, къ труду, къ уму, къ сознательно принятой власти, со всѣми вытекающими изъ такого безусловнаго уваженія практическими «матеріальными» опредѣленіями. Безъ этой опоры, безъ такой организаціи быта мы надолго останемся «головотяпами» — до тѣхъ поръ, пока какая-нибудь хорошо дисциплинированная раса не употребитъ насъ въ качествѣ строительнаго матеріала...

...Голый человѣкъ, никогда не надѣвавшій и не видѣвшій платья, иногда вдругъ потребуетъ одежи, и не удобной, а обыкновенно фантастической. И человѣкъ, выросшій въ одеждѣ, но увидавшій, что онъ выросъ и что платье сдѣлалось тѣсно и рѣжетъ подъ мышками, требуетъ себѣ другого по росту. Вотъ разница между русскимъ и европейскимъ отрицаніемъ.

Н. Я. Петрову.

26 октября 1898, ст. Веселое Сызр.-Вяз. ж. д.

Вы ругаете нѣмцевъ и вообще тяготитесь заграницей. Не знаю, дорогой мой; что касается до меня, то долженъ сознаться, что я почелъ бы за величайшее счастье отдохнуть отъ милаго отечества, хотя, разумѣется, не поѣхалъ бы для этого въ Берлинъ, а поюжнѣе или позападнѣе. Русскій въ сущности хорошъ только на «зарѣ туманной юности» — это я говорю объ «интеллигентахъ», — а съ возмужалостью такая въ огромномъ большинствѣ дрянь, что изъ рукъ вонъ. Народъ же русскій... лучше не говорить. Правда, онъ глубоко несчастный народъ, но и глубоко скверный. Отсюда, конечно, не слѣдуетъ, что на него надо плюнуть, но слѣдуетъ то, что находиться съ нимъ въ *реальныхъ* отношеніяхъ очень тяжко, иногда до нестерпимости. Правда, есть позиціи, съ которыхъ онъ представляется интереснымъ и симпатичнымъ: это позиція этнографа и вообще наблюдателя, — какъ былъ наблюдателемъ авторъ «*Записокъ охотника*», напримѣръ. Но стоитъ только хлебнуть «реальныхъ отношеній», какъ — увы! — сквозь поэтическую оболочку живо засквозитъ грубый и, главное, лживый, лживый дикарь. И не то плохо, что онъ грубъ и лживъ съ «бариномъ», а то, что онъ до сихъ поръ оправдываетъ язвительныя слова Котошихина или Крижанича: «Русскіе другъ дружку ѣдятъ и съ того сыти бываютъ». Мужички именно ѣдятъ другъ друга съ превеликой готовностью и самымъ подлымъ способомъ.

Впрочемъ, боюсь разбередить вашъ «патріотизмъ», а потому перестанемъ объ этой матеріи. Добавлю только, что,

конечно, я не скажу такъ *печатно*, какъ говорю здѣсь, потому что знаю, что это все-таки китайская живопись, а для печатнаго слова нужна настоящая. Тѣмъ не менѣе, я по свойству своей «позиціи» такъ переполненъ «китайскими» свѣтовыми впечатлѣніями, что отчасти отъ этого боюсь приступить къ продолженію своей повѣсти, гдѣ сейчасъ дѣло должно идти о народѣ. Надо «прекрасное далеко» (Гоголевское), чтобы язвы, нанесенныя мужицкой дѣйствительностью («реальными отношеніями») позасохли, и на ряду съ отвратительными тѣнями выступилъ бы и свѣтъ.

И затѣмъ, я рѣзко говорю о своихъ впечатлѣніяхъ только очень близкимъ людямъ, — не потому, чтобъ передъ другими лицемѣрилъ, но потому, что близкіе-то люди поймутъ, какъ можно «ненавидѣть любя», а не близкіе не поймутъ и примутъ за чистую «объективную» монету.

Нѣтъ, это не объективно, но все-равно глубоко мучительно, потому что тутъ не вся правда, но много правды. Во всякомъ случаѣ, достаточно много для того, чтобы по временамъ усумниться въ блистательной якобы карьерѣ матушки Ѳедоры. Тѣмъ болѣе, что къ карьерѣ-то ведутъ ее ой-ой какіе ненадежные людишки! И въ довершеніе горя, повѣрьте, именно они-то и есть «излюбленные» — надолго! — а не тѣ, которымъ мечталось бы вручить судьбы. Больше скажу: если бы волею боговъ россійскому народу, т.-е. мужичкамъ и «сословіямъ», предоставлено было въявь обнаружить свои политическіе вкусы, то, боюсь, каждая нынѣ дѣйствующая величина, въ родѣ г. Побѣдоносцева, пріобрѣла бы объемы куба. Какъ ни страшно, но надо выговорить: какое ни на есть русское правительство, но оно гуманнѣе и просвѣщеннѣе — и стыдливѣе — массы русскаго народа. Правительство въ лицѣ Муравьева перевѣшало много поляковъ. Будьте спокойны, «подлинный народъ» перевѣшалъ бы ихъ въ десять разъ больше. Считаютъ, что въ царствованіе Александра II казнено и всячески погублено нѣсколько тысячъ молодыхъ людей революціоннаго образа мыслей. Я начинаю думать, что если бы дали волю «подлинному народу», онъ расправился бы съ этими тысячами на манеръ Ивана Грознаго. А духо-

боры, штундисты... Развѣ, вы думаете, «святая простота» ограничилась бы тѣми репрессіями, которыя теперь такъ возмущаютъ насъ? О, разумѣется, это бы не сдѣлалъ Карпъ, Сидоръ, Ванюха по своей иниціативѣ, но сдѣлалъ бы по иниціативѣ тѣхъ же своихъ кулаковъ, міроѣдовъ, кабатчиковъ, лавочниковъ, ибо въ концѣ-концовъ властитель Ванюхиныхъ думъ, — по крайней мѣрѣ, въ сферѣ политики — гораздо болѣе купецъ Разуваевъ, нежели «всечеловѣкъ» Тентетниковъ. И даже исключительно купецъ Разуваевъ.

Конечно, я далекъ отъ мысли утверждать, что какой бы то ни было «народъ» по основнымъ качествамъ своей души лучше русскаго. Напротивъ, французы, нѣмцы, англичане, пожалуй, будутъ еще похуже. Но эта хорошая основная ткань русской народной души (я допускаю, что она хорошая) такъ переплетена съ навыками рабства, а на Западѣ ткань посредственная такъ скрашивается прочной, глубоко внѣдренной культурностью, что, разумѣется, жить и дѣйствовать гораздо легче тамъ, нежели у насъ. Въ сущности никто столь прозорливо не проникалъ въ подоплеку русскаго народа, какъ политическаго тѣла, какъ Щедринъ въ «Исторіи города Глупова», и, знаете, кто мнѣ сказалъ это, удививши несказанно? — Покойный славянофилъ С. А. Юрьевъ въ 1885 году. Вотъ тебѣ и «хоровое начало», съ которымъ Сергѣй Андреевичъ носился всю свою жизнь.

Я не сомнѣваюсь, однако, что при наличности такихъ-то и такихъ-то условій Русь дѣйствительно могла бы сдѣлать блестящую карьеру, и «мальчикъ безъ штановъ» могъ превратиться въ нѣчто лучшее, нежели благонравный нѣмецкій мальчикъ. Но горе-то въ томъ, что «условія» рѣдко являются со стороны, а больше выростаютъ извнутри, — извнутри же что̀ можетъ вырости у камаринскаго мужика или у его «сословій», или у его безпочвенной и безсильной интеллигенціи, въ значительной степени зараженной «чеховщиной»? Исторія, говорили еще недавно, дѣлается идеями. Да, но еще болѣе навыками. Въ русской исторіи идей и фантазій ужасно много, «навыковъ» же никакихъ, если не считать навыковъ къ безпорядку рѣшительно во всѣхъ сферахъ жизни...

З. С. Соколовой.

2 апрѣля 1899, ст. Веселое Сызр.-Вяз. ж. д.

Вотъ какой непомѣрный антрактъ случился въ нашей перепискѣ, дорогой другъ мой!.. Впрочемъ, что до меня, то такіе «антракты», а иногда и послѣдній «занавѣсъ» произошли и происходятъ въ отношеніяхъ моихъ ко многимъ друзьямъ и знакомымъ. Конечно, это объясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что и «дружба», и знакомства образовывались не столько на почвѣ личныхъ, «самодовлѣющихъ» симпатій, сколько на почвѣ общихъ въ то время литературныхъ, политическихъ и другихъ интересовъ отвлеченнаго свойства. Случилось такъ, что интересы эти не то что сдѣлались мнѣ чуждыми — чуждыми они для меня никогда не могутъ быть,— но утратили для меня свой прежній, если можно такъ выразиться, *профессіональный* характеръ. И взамѣнъ иная, сельско-хозяйственная профессія, поглотила и время мое, и мои стремленія, — то-есть та именно профессія, которая совершенно чужда и неинтересна огромному большинству моихъ друзей и знакомыхъ. Понятно, что писать другъ другу намъ стало не о чемъ, да и говорить другъ съ другомъ при рѣдкихъ и случайныхъ свиданіяхъ тоже сдѣлалось не о чемъ. Однимъ словомъ, изъ довольно многочисленнаго контингента друзей и пріятелей у меня остались прежнія, близкія отношенія много-много съ тремя или четверыми, т.-е. съ тѣми людьми, которые любили, и, думаю, любятъ меня и интересуются мною не потому, что я писатель, или общественный дѣятель, или сельскій хозяинъ, или человѣкъ такихъ-то политическихъ убѣжденій, а просто потому, что «любится», что есть между нами

какое-то необъяснимое «созвучіе», какая-то родственность душъ — однимъ словомъ, то, что называется *личными* симпатіями. — Но и съ этими — увы! — немногими друзьями, исключая одного, самаго близкаго, — я переписываюсь съ огромными «антрактами», а съ «самымъ близкимъ» хотя и часто, но въ большинствѣ случаевъ коротко. Не знаю, какъ вы меня, но васъ, моя дорогая, я люблю, конечно, безъ всякаго отношенія къ вашимъ занятіямъ, убѣжденіямъ, интересамъ. Люблю просто какъ человѣка. Отсутствіе же переписки между нами надо объяснить многими обстоятельствами, изъ которыхъ, разумѣется, нѣтъ ни одного такого, что вытекало бы изъ «охлажденія», по крайней мѣрѣ, нѣтъ съ моей стороны. Я увѣренъ, что встрѣтъся мы съ вами одинъ на одинъ, я многое могъ бы сказать вамъ, какъ говорятъ только самому близкому человѣку и дорогому, и такому, значитъ, которому вѣришь безусловно, въ любви и участіи котораго нуждаешься и находишь отраду. Но въ письмахъ этого не выскажешь — по многимъ причинамъ...

... Я все мечтаю, милый мой другъ, что когда-нибудь нынѣшняя моя профессія кончится, и хоть на склонѣ жизни какая-нибудь счастливая волна вынесетъ меня на свободу. Однако это только мечты... И «мечты» не потому лишь, что «профессія» даетъ мнѣ удовлетворительный, и, главное, регулярный заработокъ, но еще потому, что она увлекла меня тѣмъ элементомъ борьбы и творчества, который въ ней играетъ большую роль, и который — увы! — въ иныхъ родахъ дѣятельности въ настоящее время суженъ чрезвычайно. А счастье, надо сознаться, все болѣе и болѣе представляется мнѣ только возможностью борьбы, только возможностью творчества. Т.-е. личное-то, субъективно ощущаемое счастіе. Вся дѣятельность человѣка въ сущности распадается на два момента: *стремленіе* и *достиженіе*. Счастье возможно ощущать лишь тамъ, гдѣ въ вашей дѣятельности смыкаются эти два момента. Это и есть знаменитое Фаустовское: «остановись, мгновенье!» — Но — увы! — оно не останавливается, хотя, тѣмъ не менѣе, только одно оно даетъ смыслъ жизни, только оно въ состояніи втягивать въ эту загадочную игру, что называется

существованіемъ... Ради чего стремиться, ради чего достигать — это уже другой вопросъ, и его каждый человѣкъ разрѣшаетъ по-своему, иногда разнообразно въ теченіе своей жизни, въ зависимости отъ исторіи, отъ своего развитія и характера, наконецъ, отъ политической «погоды», отъ идей и настроеній, насыщающихъ воздухъ. Повторяю, это иной вопросъ, полнота же существованія и то, что называется счастьемъ, на мой взглядъ только и могутъ быть, когда человѣкъ находится въ періодѣ борьбы и творчества. Въ предѣлахъ моей нынѣшней профессіи у меня идетъ борьба съ природой, съ условіями, угнетающими сельское хозяйство землевладѣльцевъ и крестьянъ, а способность «творчества» направлена къ тому, чтобы эта борьба вела къ «достиженію». Такія «достиженія» и случаются... и это, не повѣрите, какъ затягиваетъ въ «игру». А самъ думаешь временами, вотъ «поиграю» еще два-три-четыре года, и, можетъ-быть, волна вынесетъ на иное поприще, гдѣ тоже будетъ борьба и творчество, но ради иныхъ, болѣе высокихъ цѣлей и достиженій. Въ сущности въ томъ-то и бѣда, что для тѣхъ или другихъ «стремленій» необходима «обстановка», нужны средства, возможности, подходящая среда, и всѣ такія условія въ огромномъ большинствѣ случаевъ отъ насъ лично не зависятъ. Брось меня судьба за границу, хотя бы съ такими средствами и возможностями, какъ бросила Ч., и, конечно, моя страсть къ борьбѣ и способность къ творчеству выразилась бы въ иныхъ дѣлахъ. Но судьба предпочла бросить не въ Лондонъ, а въ Моршанскій уѣздъ, не въ пропаганду и не въ политическую дѣятельность, а въ сельское хозяйство... Ну, что жъ, значитъ такъ тому и быть, «повоюемъ» и на этомъ скромномъ поприщѣ.

А. В. Погожевой.

28 августа 1899 г.

... Горе наше въ томъ, что мы очень любимъ жизнь — иначе зачѣмъ бы такъ ужасаться смерти? — но лѣнимся любить ее какъ слѣдуетъ, какъ, напр., умѣли любить Гете, Пушкинъ, умѣетъ любить Л. Толстой. Въ сущности, въ жизни неистощимъ запасъ того, что стоитъ любви, такъ же, какъ въ нашемъ организмѣ — при здоровомъ и правильномъ его развитіи — неистощимы средства для воспріятія «многогранной» прелести жизни. Если чутки и нормальны тѣ своего рода «щупальцы», которыми мы сносимся съ явленіями жизни — умъ, эстетическое, нравственное чувство и богатѣйшая система ощущеній, — то посмотри, какой удивительный «пиръ» передъ нами, все равно, участвуешь ли ты въ немъ въ царской мантіи или въ лохмотьяхъ. Потому все равно, что и въ лохмотьяхъ доступно человѣку кипѣть, волноваться, негодовать, любить, бороться... т.-е. *жить*, имѣть *вкусъ* къ жизни. Вотъ имѣть «вкусъ»—это и есть главное. Естественное теченіе человѣческой жизни, по-моему, есть такое: въ молодости, когда кипитъ кровь и «силъ избытокъ», давай намъ жизнь все, и предпочтительно побольше куски — пусть и погрубѣе, да побольше. Это періодъ чувственности — не въ половомъ лишь смыслѣ, а во всѣхъ смыслахъ. Затѣмъ чувственныя «щупальцы» смягчаются, утрачиваютъ свою настойчивость, на очередь выступаютъ болѣе тонкія, болѣе спокойныя... «Всякая баба покажется тебѣ Еленой», иронизируетъ Мефистофель, когда Фаустъ выпиваетъ напитокъ у вѣдьмы — и это вѣрно для молодости, какъ въ прямомъ смыслѣ, такъ и въ

символическомъ; но вслѣдъ за этимъ долженъ настать періодъ, когда только «Елена — Елена» и вмѣсто подлинной красоты Мефистофелю уже не удастся подставить глупенькую Маргариту. А тамъ, ближе къ концу, не нужно ужъ ни Маргариты, ни Елены — нуженъ только «отдыхъ». Это глубокая старость, во времени ли, какъ у Гете, или въ процессѣ физическихъ страданій, какъ у Пушкина и у Андрея Болконскаго. Однимъ словомъ, схема человѣческаго существованія, *какъ оно по природѣ своей должно быть*, поразительно нарисована въ «Телѣгѣ жизни» у Пушкина и въ «Кроносѣ» у Гете («Ну, скорѣе, Кроносъ, шумной рысью впередъ»...), и тутъ нечего ни прибавить, ни отбавить.

Что же касается до Шопенгауэра, до мыслей и настроеній мрачнаго типа, то это только болѣзнь, отъ которой такъ же надо лѣчиться, хотя и иными средствами, какъ отъ болѣзней физическихъ. Напр., пріемъ хорошей дозы «хозяйственныхъ интересовъ» и то помогаетъ, не говоря уже о дозѣ такого писателя, какъ Гете, которую я сейчасъ принимаю еженощно.

Фактъ физической смерти, я думаю, оттого насъ такъ ужасаетъ, что въ сущности мы чувствуемъ, что книга жизни еще не прочитана нами, и что мы не успѣемъ прочитать ее, ибо и читаемъ-то туго, по складамъ, предпочитая лучше мечтать объ ея содержаніи, нежели узнавать его страница за страницей. Тотъ, кто прочитаетъ — да «съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой», тотъ можетъ относиться къ факту смерти только какъ къ отдыху послѣ длинной, длинной, насытившей всѣ «фибры существа» дороги. Затѣмъ вспомнимъ еще послѣдній козырь смерти: рѣшительно не доказано, что по ту сторону ничего нѣтъ, какъ не доказано и противнаго, если не считать за доказательство неутолимую жажду безсмертія, свойственную всякому человѣческому существу — и вотъ, умирая, мы, можетъ-быть, вступаемъ въ міръ изумительныхъ открытій. Это ли не интересно!

... Что намъ дано, надо использовать, а дано намъ такъ много, что использовать это — стоитъ сохранить аппетитъ, стоитъ беречься отъ несваренія желудка... Прости за грубую аналогію. Вѣдь, пессимисты дѣйствительно похожи на людей

съ катаррами: вмѣсто того, чтобы кушать, выбирая въ богатѣйшемъ и разнообразнѣйшемъ «меню», они только гримасничаютъ, лѣниво ковыряя вилкой, и морщатся, и разсуждаютъ о томъ, что у повара «шишка на носу», и «луна сдѣлана въ Гамбургѣ», и обѣдъ не вѣченъ, а послѣ дессерта попросятъ въ другую комнату, и зачѣмъ та комната глухо завѣшена, и отчего никто не говоритъ, сколько тамъ оконъ, какая мебель... Тьфу, привередники!

... А насчетъ N. надо бы еще ее спросить, такъ ли ужъ мерзко умирать. Конечно, не легко, но вѣдь надо полагать, что и родиться не легко, а никто объ этомъ не помнитъ и не думаетъ. Все это подробности процесса; но насколько онѣ безсмысленны и будто бы жестоки — мы не имѣемъ всѣхъ данныхъ, чтобы судить объ этомъ. Имѣемъ, однако, данныя, что муки рожденія вводятъ въ жизнь, гдѣ не въ примѣръ больше хорошаго, нежели плохого... Кто знаетъ, можетъ-быть, и муки умиранія вводятъ въ жизнь?

Что зла и страданія въ мірѣ семъ черезчуръ много, я не спорю. Но отсюда абстрагировать къ его безсмыслію никакого нѣтъ резона. Повторяю: чтобы судить объ этомъ, надо имѣть въ своемъ распоряженіи всю полноту данныхъ, а мы можемъ оперировать только съ половиной. И все-таки осмѣливаемся рѣшать задачу... Ну, разумѣется, любой учитель математики поставитъ намъ «колъ» и будетъ совершенно правъ.

Нормально мыслящій человѣкъ, конечно, оптимистъ. Хотя бы потому, что раздѣляетъ задачу на двѣ. И одну, съ очевидными данными, рѣшаетъ, а о другой либо говоритъ, что «не знаю», либо рѣшаетъ ее съ чувствомъ вѣры, т.-е. методомъ для другихъ не обязательнымъ. А что онъ рѣшаетъ первую половину задачи не въ твоемъ теперешнемъ вкусѣ, а въ свѣтломъ, въ радостномъ, въ бодромъ, то, конечно, справедливо. Иначе люди давно бы ужъ перевѣшались, и никакой «инстинктъ жизни» ихъ бы не спасъ. «Инстинктъ» лишь тотъ проченъ, что питается содержаніемъ дѣйствительности; мы превосходно видимъ, что инстинкты, въ этомъ содержаніи не находящіе больше пищи, замираютъ и отпадаютъ... Итакъ, да здравствуетъ жизнь!

... Кстати о Гете: сколько у него утомительнѣйшаго и претенціознаго балласта... Я за Вильгельмомъ Мейстеромъ всѣ челюсти повывихнулъ — за первой даже частью, а какая скука «Вертеръ», какая смѣшная глупость «Сродство душъ»... Хотя, разумѣется, въ этихъ тяжелыхъ глыбахъ тамъ и сямъ разсѣяно золото, ради котораго стоитъ позѣвать, да и остальной матеріалъ, мусоръ даже, все-таки интересенъ съ исторической точки зрѣнія и съ психологической, т.-е. бросающей свѣтъ на душу самого Гете. Въ концѣ-концовъ, *непосредственнаго* художественнаго наслажденія выносишь мало, но умнѣешь отъ этого чтенія несомнѣнно. Я тутъ, конечно, не говорю о такихъ вещахъ, какъ первая часть Фауста или большинство стихотвореній... Впрочемъ, надо сознаться, выражаясь словами Черткова, что я съ этимъ писателемъ вообще «не концентриченъ»; сужу о немъ «со стороны»; не могу войти въ его внутренній міръ, сродниться съ нимъ, жить имъ. Изъ старыхъ нѣмцевъ Шиллеръ, Гейне куда мнѣ ближе. Но чѣмъ объяснить, что самъ-то Гете былъ неравнодушенъ къ Байрону? Ну, Господь съ нимъ. Все-таки онъ, хотя и великій человѣкъ, но въ совокупности его жизни и большинствѣ произведеній смахиваетъ на великолѣпную скотину. Того человѣчнаго, близкаго, сочувственнаго — и вмѣстѣ мудраго — что такъ и блещетъ у нашего Пушкина, напримѣръ,— у этого «олимпійца» слѣдочка нѣтъ. То-есть, конечно, есть, но оно не характерно для его самодовольной бронзовой фигуры.

Н. Я. Петрову.

2 ноября 1899, ст. Веселое Сызр.-Вяз. ж. д.

... Конечно, появленіе на нѣмецкомъ горизонтѣ новой звѣзды — Э. Бернштейна, сильно застало врасплохъ русскихъ «молодыхъ людей», такъ что нѣкоторые изъ нихъ растерялись до комизма; но я думаю, что въ концѣ-то концовъ умнѣть даже изъ подражательности лучше, чѣмъ глупѣть... даже самостоятельно. Выводы Бернштейна тѣмъ въ особенности хороши, что какъ-никакъ, но кладутъ мостикъ между дѣйствительностью и теоріей, напоминаютъ значеніе и обязательность компромисса, органическую связь «историческихъ моментовъ», чрезвычайную условность такъ называемыхъ «кризисовъ», огромную роль существующаго государственнаго устройства. Однимъ словомъ, изъ міра спекулятивныхъ построеній и вытекавшихъ отсюда фантастическихъ дѣлъ и чувствъ эта новая «звѣзда» указуетъ молодежи путь, гдѣ маятникъ движется, какъ и слѣдуетъ маятнику: въ условіяхъ сопротивленія среды, а не въ безвоздушномъ пространствѣ. Такъ я, по крайней мѣрѣ, понялъ по тѣмъ рефератамъ его книги, которые приходилось встрѣчать въ русской печати. Новаго тутъ въ сущности ровнешенько ничего нѣтъ, и затѣмъ я не знаю еще, чѣмъ объяснить появленіе этой книги и ея эффектъ въ Германіи, гдѣ, казалось бы, традиціонный соціализмъ такъ пышно расцвѣлъ, но для кучки русскихъ «молодыхъ людей» эта книга весьма не безполезна.

А слѣдовательно, и для Россіи.

Дѣло въ томъ, что я совсѣмъ не раздѣляю того вашего скептицизма, съ которымъ вы смотрите на «кучку идеалистовъ,

писателей и студентовъ». Простите меня, но такой скептицизмъ, въ свою очередь, вытекаетъ изъ забывчивости. Развѣ не въ кучкахъ «идеалистовъ, писателей и студентовъ» созрѣвало и развивалось освободительное движеніе въ 30-хъ, въ 40-хъ годахъ? Дѣйствительность тѣхъ годовъ была вѣдь не въ примѣръ безнадежнѣе нынѣшней. «Народъ безмолвствовалъ» рѣшительно какъ на кладбищѣ. Кучка была буквально — *кучка*. Резонанса почти не существовало. Вотчинные принципы болѣе чѣмъ когда-нибудь были тверды и послѣдовательны. И тѣмъ не менѣе... О, я не хочу сказать, что только благодаря кучкѣ «вотчина» крякнула. Совсѣмъ нѣтъ. На ряду съ крошечной лабораторіей, гдѣ помаленьку культивировался реформаціонный микробъ, дѣйствовали и иныя могущественныя причины, имъ же нѣсть числа. Можетъ-быть, «марксисты» даже и совершенно правы, приписывая именно этимъ «матеріальнымъ» причинамъ, а не «кучкѣ», то обстоятельство, что «вотчина крякнула». Всего даже вѣрнѣе, что отъ «матеріальныхъ» причинъ, а не отъ Станкевича съ Грановскимъ, такъ же, какъ и великая революція — не отъ энциклопедистовъ. За всѣмъ тѣмъ только слѣпымъ не видно, что «матеріальныя причины», — ничто безъ устрояющаго и разлагающаго духа сознанія, и вотъ тутъ-то огромная роль «Станкевичей и Грановскихъ». Реформы Александра II явились слѣдствіемъ глубокихъ экономическихъ потрясеній; но точно такія же потрясенія, точь въ точь такія же матеріальныя причины могли бы привести и къ совершенно другимъ результатамъ, если бы ко времени севастопольскаго погрома въ сознаніи русскаго общества (начиная съ личнаго сознанія Александра II и его брата, Константина) не накопилось въ достаточномъ количествѣ разлагающихъ и устрояющихъ *идей*. Вотъ вамъ, напримѣръ, Китай. Экономическая и государственная его структура удивительно аналогична съ нашей дореформенной (съ тою лишь разницей, что тамъ еще и Петра не было); такой же произошелъ и погромъ. Но на несчастье Китая идеи-то тамъ еще не успѣли накопиться; для культуры «микроба» только еще изготовляютъ «бульонъ», и не мудрено, что съ «реформами» придутъ къ нему уже другіе, со стороны, и ликвидація

стараго порядка превратится въ трагедію, въ ликвидацію народа.

Нѣтъ, «кучка» — великая сила, и если до поры, до времени «народъ безмолвствуетъ», то это, правда, очень скучно, а иногда и мучительно, но все-таки не бѣда.

Бѣда въ другомъ. Бѣда, если въ «кучкѣ» не Фаусты, а Вагнеры, и вмѣсто жизненныхъ, «всхожихъ» сѣмянъ въ ретортѣ выдѣлываютъ «гомункула».

Впрочемъ, я все это веду къ тому, что чѣмъ больше въ обиходъ русской (да и всякой) интеллигенціи попадаетъ высокихъ, великодушныхъ и *жизненныхъ* идей, тѣмъ лучше, а въ смыслѣ жизненности идеи Бернштейна, кажется, лучше, нежели традиціонный, непримиримый марксизмъ. Вотъ, напримѣръ, эти идеи уже дали толчокъ къ единеніи, хотя бы сначала и на почвѣ «тостовъ», или въ видѣ того лепета юнаго журнала, который вы для меня выписали и который мнѣ именно съ этой стороны и понравился — пусть и лепетъ.

Вы еще скажете, что прежнія «кучки» состояли изъ орловъ, а нынѣшнія... изъ воробьевъ. Ну, во-первыхъ, не все воробьи, а во-вторыхъ, хотя бы и такъ: тѣмъ не менѣе, въ нашей, пусть и обмельчавшей талантами, литературѣ и въ той молодежи, которая этой литературѣ даетъ «резонансъ», все же несравненно больше идей, нежели у гг. Витте и Сипягиныхъ. И не въ обиду гг. В. и С. я это говорю, а просто потому, что вездѣ, гдѣ страна жива и жизнеспособна, ея интеллигенція всегда умнѣе и благороднѣе правительства, т.-е. въ общемъ-то умнѣе и благороднѣе.

Въ прошломъ письмѣ я эту же самую русскую интеллигенцію обвинялъ въ невѣжествѣ. Ничего не значитъ. Поймите, что за скорлупой такого невѣжества все же совершается великій процессъ самосознанія, — правда, и вкривь и вкось, такъ сказать, съ антрактами и прослойками глубокаго комизма; но ужъ такова жизнь, что нѣтъ въ ней безукоризненныхъ прямыхъ линій, и едва ли существуютъ явленія безъ примѣси комизма.

Однимъ словомъ, разсматривая *объективно* картину русской жизни я, какъ и всегда, прихожу къ самымъ оптимистическимъ заключеніямъ. Я увѣренъ, что, какъ и въ 60 гг.,

полустихійный процессъ (матеріальный) русскаго общежитія приведетъ къ кризису, за которымъ немедленно же наступитъ обновленіе, — и обновленіе съ помощью того сознанія, того «микроба», что неустанно и безъ малѣйшаго перерыва вырабатывается въ лабораторіи страны — въ «кучкѣ идеалистовъ, писателей и студентовъ». Другой вопросъ — съ точки зрѣнія субъективной, въ отношеніи къ моей, къ вашей личности, къ десяткамъ милліоновъ нынѣ живущихъ и страдающихъ Ивановъ, Петровъ... Тутъ мы сильно охвачены зубчатымъ колесомъ «полустихійнаго процесса», и, пожалуй, можетъ случиться, что оно насъ и раздавитъ. Такъ, англичанинъ, идущій теперь на буровъ, — не наемное пушечное мясо, а сознательно идущій, какой-нибудь сынъ лорда (есть же и такіе!), и по совѣсти думающій, что буровъ необходимо истребить для славы Британіи, — вѣроятно, вполнѣ увѣренъ, что Британія въ концѣ-концовъ побѣдитъ: ужъ слишкомъ огромны ея шансы, — но затѣмъ тоже почти увѣренъ, что лично онъ, сынъ лорда, будетъ подстрѣленъ, ибо такъ до поры, до времени складывается «полустихійный процессъ».

Что же, а все-таки Британія побѣдитъ!

Аллегорію я выбралъ неудачно, потому что въ данномъ случаѣ «побѣда Британіи» означаетъ побѣду подлости. Но пусть ужъ такъ и останется, и вы поймете, въ чемъ дѣло...

З. С. Соколовой.

23 апрѣля 1900 г.

Эту записочку я вамъ пишу, дорогая моя, чтобы только сказать, что я на васъ, конечно, нисколько не сержусь. За всѣмъ тѣмъ ваши упреки не вполнѣ справедливы, но почему не справедливы, это требуетъ довольно подробныхъ объясненій, а въ настоящее время у меня до того забита голова посѣвомъ и постройками и сборами за границу съ Таточкой, что я рѣшительно не въ силахъ отвѣтить, какъ хотѣлось бы, длиннымъ письмомъ. Скажу только, что я, еще задолго до усманскаго «шампанскаго» (которое, кстати сказать, было выпито по тому случаю, что я еще въ первый разъ встрѣтился съ А. Г. и Клавушкой послѣ ихъ свадебной поѣздки), былъ съ точки зрѣнія «строгой морали» поведенія превратнаго, и какъ вы этого до сихъ поръ не замѣчали — не понимаю. Но хотя и превратнаго поведенія, однако различія между словомъ и дѣломъ я, вообразите, у себя не нахожу, потому что никогда и никто не призывалъ ни къ трезвенности, ни вообще къ аскетизму. И не то, чтобы я не уважалъ этихъ превосходныхъ вещей — если онѣ истекаютъ отъ искреннихъ порываній души, а не отъ моды и лицемѣрія, — а просто потому, что *всѣхъ* загнать въ Ѳиваиду значило бы точно такъ же оскопить и обезцвѣтить жизнь, какъ это было бы достигнуто истребленіемъ виноградниковъ, сожженіемъ «предметовъ роскоши», что дѣлалъ Саванаролла, и сочиненій... ну, хотя бы Фета и тысячи поэтовъ ему подобныхъ. Къ счастью человѣ-

чества, этого никогда не случится, какъ бы въ эту сторону ни «перегинали палку» люди Ѳиваидскаго настроенія въ родѣ христіанъ во времена, напримѣръ, Ѳеодосія Великаго, истреблявшихъ языческіе храмы, статуи, библіотеки и предметы жизнерадостнаго античнаго искусства, или нашихъ «толстовцевъ» во главѣ съ самимъ Львомъ Николаевичемъ. «Выплеснуть ванну вмѣстѣ съ ребенкомъ», конечно, всегда будетъ много охотниковъ — именно изъ тѣхъ, иногда и великихъ людей, которые воображаютъ, что ихъ судъ надъ жизнью есть единственно истинный, и ихъ природныя склонности и порывы души обязательны и нормальны для *всѣхъ*. Но никогда не выплеснутъ, и слава Богу. Однимъ словомъ, призывать людей къ добру, съ моей точки зрѣнія, вовсе не значитъ, чтобы они ѣздили въ 3-мъ классѣ, не ѣли хорошей пищи, не носили хорошей одежды, не пили шампанскаго — и такими призывами я никогда не занимался. А если случалось призывать къ чему, такъ къ чувству жалости и справедливости, къ пониманію вещей не по ихъ внѣшности, а по внутреннему содержанію, а главное — къ *жизнеспособности*, которая въ томъ и заключается, чтобы не забиваться въ узкую щель аскетическаго ли, «эпикурейскаго» ли міровоззрѣнія, не впрягаться ни въ какія сектантскія оглобли. Другое дѣло, правъ ли я въ этомъ пониманіи человѣческаго назначенія, обнимающемъ собою и Христа, и Анакреона. Но разницы между своимъ словомъ и дѣломъ, ей Богу, не нахожу.

Эхъ, З. С., вспоминайте вы почаще слова: «не всякій, взывающій Господи! Господи! взойдетъ въ царство небесное», и наоборотъ — не всякій, пьющій грѣшнымъ дѣломъ шампанское, попадетъ въ адъ. Грѣшный Герценъ, право же, стоитъ безгрѣшнаго Е. П., такъ же, какъ изъ другой области, изъ области вымысла, «безпутный гуляка» Моцартъ—безукоризненнаго Сальери. Боже меня избави сравнивать себя съ Герценомъ или Моцартомъ — да вы и сами поймете, что это было бы только глупо и смѣшно, и затѣмъ пороки крупныхъ людей — все же пороки. Я хочу лишь сказать, что такъ называемое «самоусовершенствованіе» всегда будетъ «домашнимъ дѣломъ» людей, а на аренѣ общественности плюсъ составится

не тѣмъ рекордомъ, который они побьютъ по части воздержанія, а тѣмъ, сколько они внесутъ въ жизнь сердца, ума и таланта. А не приходило вамъ въ голову подумать, что вотъ я, пьющій шампанское когда случится, и вообще человѣкъ далеко не Ѳиваидскаго настроенія съ вашей точки зрѣнія, вызывалъ и вызываю много любви и дружбы къ себѣ, которыя, я увѣренъ, еще болѣе обнаружатся, когда меня не станетъ, и когда многое тайное, конечно, сдѣлается явнымъ. Такъ говорить про себя нескромно, это правда, но вы вынуждаете меня къ нескромности. И пойду еще дальше въ ней. Вы съ К. К. искренно и во всю силу вашей души стремитесь къ простотѣ, ограничиваете свои потребности, смотрите на всякую копейку какъ не на свою, не прочь осудить—и иногда жестоко—людей иного типа, иныхъ пониманій и взглядовъ на жизнь, а между тѣмъ выходитъ какъ-то такъ, что самое дорогое и привлекательное для васъ въ жизни — сцена, устройство разныхъ предпріятій для народа, свобода, а для К. К. и медицина, — все это доступно вамъ, во всемъ этомъ вы, такъ сказать, плаваете, а для меня самое любимое и привлекательное: литературная дѣятельность, хозяйство на своей землѣ, устройство такихъ же предпріятій, какъ ваши въ Никольскомъ — недоступны, а главное недоступна свобода, недоступно спокойствіе за завтрашній день, за будущее своей семьи, своихъ дѣтей, у которыхъ нѣтъ богатой бабушки, и я въ работникахъ у Хлудовыхъ, да еще молю Бога, что попалъ въ работники, ибо безъ этого буквально бы пропалъ. Неужто оттого такая разница судебъ, что вы очень нравственны, а я сквернаго поведенія и иногда, случится, не отказываюсь отъ шампанскаго? А мнѣ вотъ въ моемъ «горделивомъ помѣшательствѣ» кажется, что не оттого, а во-первыхъ, потому, что я не хотѣлъ стать такимъ писателемъ, какъ, напр., **** — зарабатывать 10 тыс. въ годъ, купаясь въ притонахъ въ родѣ «Новаго Времени» и изображая ни на что не нужные романы и повѣстушки, а во-вторыхъ, когда было нужно доканчивать операціи голоднаго года, а денегъ уже не было, я, не задумываясь и не стѣсняясь, бралъ ихъ гдѣ только возможно, затѣмъ всего себя безъ остатка и безъ размышленій о завтрашнемъ днѣ отдавалъ дѣлу, — и вышелъ

изъ него съ долгомъ въ 10 тыс. рублей и съ такими разбитыми нервами, что, конечно, былъ близокъ къ ненормальному состоянію. Увѣряю васъ, фактъ тотъ, что въ 1890 году я былъ долженъ «Рус. Вѣд.» двѣ-три сотни рублей, да нѣсколько больше В. Ф. О. и А. Г., а въ 1894 году, какъ уже сказалъ выше, — 10 тыс. Вѣдь кромѣ того, что уходило безъ счета на довершеніе «операцій», я три года не имѣлъ ни досуга, ни нравственной возможности писать, три года Емпелевка давала убытокъ, три года у насъ толклась масса народа, въ томъ числѣ и по голоднымъ дѣламъ — и, разумѣется, все это ложилось на мой личный бюджетъ. Я это вамъ напоминаю не для того, чтобы разыгрывать «казанскую сироту», а для того, чтобы указать, что личная «безнравственность», съ одной стороны, не помѣшала забыть все «личное» и залѣзть, ради общаго дѣла, въ безысходную трясину долговъ и неврастеній, и все-таки не направила на путь мелочной торговли словомъ.

Милая моя обличительница! Бываетъ, что *живутъ* въ ѣду, въ вино, въ рысаковъ, въ женщинъ, и это не то что безнравственно, но гнусно, скучно, некрасиво, подтачиваетъ если не физическую, такъ умственную жизнеспособность... Но бываетъ, что эти «пороки» только аксессуары жизни — и надо это разбирать. Соглашусь, что и та точка зрѣнія, съ которой такіе аксессуары разсматриваются неблагосклонно, въ свою очередь, можетъ имѣть резоны, но отсюда еще далеко до полнаго осужденія «несогласно мыслящихъ». Затѣмъ у каждаго есть свои слабости. У меня, напримѣръ, къ шампанскому, — у другого къ осужденію людей и къ тому, чтобы ставить имъ «каждое лыко въ строку». Ну, что же, я все-таки предпочитаю остаться при своей слабости, а не при чужой...

М. Н. Чистякову.

25 октября 1900, ст. Веселое С.-В.

Милый мой Матвѣй! Твое, довольно-таки мрачное, письмо я получилъ, но полагаю, что ты въ немъ преувеличиваешь — и въ сужденіяхъ о вырождающемся россійскомъ народѣ, и въ мрачности перспективъ, будто бы ожидающихъ твою собственную семью. Насчетъ «вырожденія» надо замѣтить, что это штука вовсе не такая роковая, какъ многіе думаютъ. Бывали времена въ исторіи, въ родѣ, напр., 30-тилѣтней войны въ Германіи, положенія французскаго крестьянства въ дореволюціонный режимъ и т. д., когда народъ вырождался по всѣмъ статьямъ— и духовно, и физически; но едва измѣнялись условія его жизни, какъ въ какія-нибудь сто лѣтъ типъ человѣка становился неузнаваемымъ, и снова появлялось и душевное, и физическое здоровье. Основная жизненная ткань въ людяхъ удивительна по неистощимому въ ней запасу скрытыхъ силъ, и никогда не надо отчаяваться, что силы эти пропадутъ. Въ Иванѣ, въ Петрѣ — да, могутъ пропасть, такъ же, какъ въ цѣломъ рядѣ поколѣній, но лишь только жизнь становится теплѣе, первоначальная ткань оживаетъ, напрягается, расцвѣчивается новыми узорами, и внуки бывшаго выродка превращаются въ настоящихъ людей. Но, разумѣется, какой вѣры, какой національности будутъ эти люди, какъ будетъ называться ихъ страна, ихъ государство — все это въ рукахъ неисповѣдимыхъ. Мы съ тобою — сельскіе хозяева, и ужъ изъ

этой области знаемъ, что нѣтъ захирѣвшаго растенія, нѣтъ той выродившейся породы скота, изъ которыхъ при надлежащемъ воспитаніи, при надлежащемъ подборѣ, при цѣлесообразныхъ условіяхъ почвы, климата, корма, тепла, ухода нельзя было бы создать усовершенствованныхъ породъ, новаго типа. А въ человѣкѣ вѣдь, кромѣ физіологическихъ основъ, есть еще и душа съ своими, едва ли не безконечными силами и возможностями, — разсуди же, мыслимо ли ему выродиться до нуля.

Когда знаешь, что происходило, ну, хоть въ Германіи и Франціи лѣтъ 300 — 200 тому назадъ, отказываешься вѣрить, что теперь живутъ тамъ эти же люди, эти же племена, эти же народы... И, само собою, то же будетъ и съ новгородскимъ мужикомъ, хотя, быть-можетъ, онъ станетъ носить тогда иную кличку, иному Богу молиться, иной власти подчиняться. Однимъ словомъ, совсѣмъ не слѣдуетъ смущаться *временнымъ* упадкомъ типа, и отпѣвать русскій народъ въ противоположность разнымъ киргизъ-кайсакамъ — не резонъ.

Что касается до будущаго твоихъ дѣтей, то все будетъ хорошо, если ты сумѣешь зажечь въ своемъ домѣ тотъ огонь, который зовется «интеллигентностью». Такъ называемыя «правила», — нравственности, религіозности и т. п. — очень прекрасно, но горе въ томъ, что безъ «интеллигентности», безъ навыка къ книгѣ, къ культурѣ, безъ вкуса къ знанію, искусству, «вопросамъ выспреннимъ», эти «правила» весьма непрочны, особенно при великой сложности современной дѣйствительности. Въ старину человѣкъ, вооруженный и одними «правилами», годился; иногда даже пріобрѣталъ святость... Еще бы! искушенія-то ужъ были слишкомъ элементарны: многомного покажется чортъ и высунетъ языкъ. Нынѣ не то. Чортъ сталъ хитрѣе, и человѣкъ, вынесшій изъ семьи только одни «правила», рискуетъ быстро превратиться въ самаго отъявленнаго негодяя. А святость при нынѣшнихъ условіяхъ жизни и вовсе трудна, — разумѣется, если жить на людяхъ, а не гдѣнибудь на островѣ, какъ три старца Л. Н. Толстого.

По-моему, при нынѣшнихъ условіяхъ жизни нехорошо, если въ домѣ, гдѣ растутъ дѣти, нѣтъ книгъ и нѣтъ привычки

читать ихъ, нѣтъ картинъ, нѣтъ музыки — однимъ словомъ, нѣтъ способовъ къ тому, чтобы созидались культурныя привычки, образовывались любовь и уваженіе къ знанію, къ искусству. Нѣтъ спора, что къ сему необходимы и «правила», и привычка къ порядку, къ труду, — что безъ этого легко могутъ выйти изъ дѣтей только въ щедринскомъ смыслѣ «культурные люди», — но я стою на томъ, что «простецы», если оставить дѣтей «простецами», народъ въ высокой степени ненадежный, и что люди, не выросшіе въ надлежащей семейной обстановкѣ, въ хорошихъ культурныхъ навыкахъ, даже и получивши со временемъ образованіе, напр., университетское, все же остаются полудикарями. Примѣровъ этому, особенно въ Россіи, множество...

Ему же.

31 января 1902, ст. Веселое С.-В.

...Отъ всей души сочувствую твоему горю, и понимаю его, но все же не могу не сказать, что надо бы побольше мужества, вообще побольше *равновѣсія*. Душа безъ лиризма — вещь скучная и бѣдная. Но не надо, чтобы «лиризмъ» затоплялъ душу: тогда онъ можетъ стать сильнѣйшимъ ядомъ. Конечно, я не говорю о тонѣ, о повышенномъ тонѣ твоего письма. Это такъ естественно въ мучительныя минуты жизни. Но я сильно боюсь, что тотъ же чрезвычайный лиризмъ окрашиваетъ сейчасъ и твои отношенія къ Фенѣ, къ дѣтямъ, твои взгляды на міръ и на жизнь и на собственную вашу судьбу, а это для мужчины, для «главы дома», никуда не годится. Подобнаго рода повышенность чувствъ и представленій, выпусканіе себя изъ вожжей, своего рода охмеленіе, хотя бы и самыми трогательными ощущеніями, можетъ дѣйствовать самымъ губительнымъ образомъ на окружающихъ тебя близкихъ людей. Будь мужественъ, спокоенъ, твердъ во что бы то ни стало, и какъ бы это тебѣ ни было тяжело, какъ бы ни хотѣлось затопить весь міръ криками измученнаго и истерзаннаго сердца и слезами. Что подѣлаешь? Для мужчины, — главы семьи,—необходимо быть тѣмъ ирокезомъ пѣсни Полежаева, который, отдавая свое тѣло на муки врагамъ, все-таки не издаетъ ни одного стона...

Я ужъ не говорю, что и для себя самого, для своего внутренняго *я* плыть безвольно по теченію преувеличенно повышенныхъ настроеній — штука очень небезопасная. Можно вотъ какъ закупаться въ этихъ жуткихъ волнахъ... Я хорошо знаю эти опасныя состоянія души. Какое-то мучительное наслажденіе находишь въ этомъ напряженіи, въ этомъ паѳосѣ горя, любви, ненависти, отчаянія, умиленія и т. п. А тѣмъ временемъ пропадаетъ работоспособность, глохнетъ то, что называется «мудростью», и живешь точно пьяный. Вотъ этого-то ой-ой какъ надо бояться!

Б. Д. Вострякову.

4 ноября 1902, ст. Веселое Сызр.-Вяз. ж. д.

... Что касается до личныхъ моихъ убѣжденій, то въ моихъ глазахъ человѣкъ безъ *религіи* — существо жалкое и несчастное, особенно человѣкъ простой и бѣдный (да и всякій), и если нѣкоторыя выраженія и формы религіи могутъ мнѣ казаться отжившими, анахроническими, даже нелѣпыми, то все же я, принимая во вниманіе огромное большинство тѣхъ, для которыхъ эти формы и выраженія пока удовлетворительны, всегда скажу: лучше ужъ анахронизмъ, нежели отсутствіе религіи, нежели дешевое, непродуманное «свободомысліе», подъ которымъ чаще всего скрываются невѣжество и глубокое равнодушіе къ высшимъ интересамъ и запросамъ духа.

Ты скажешь — но зачѣмъ же поддерживать анахронизмъ въ формахъ, а не бороться противъ него, или не оставить эти формы спокойно вымирать, если онѣ вымираютъ? А затѣмъ, что при борьбѣ съ обветшалыми формами религіи надо, во-первыхъ, свободу, которой у насъ не имѣется, а во-вторыхъ, такая борьба лишь тогда можетъ быть благодѣтельна, когда вмѣсто отжившей формы ты знаешь иную и въ состояніи убѣдить людей, что эта иная лучше старой. Если же станешь бороться только однимъ отрицаніемъ прежняго, то получится «горше перваго», т.-е. ветхая форма исчезнетъ совсѣмъ съ ея вѣчно новымъ содержаніемъ, т.-е. религіей...

Отсюда выходитъ, что мы должны относиться съ великимъ уваженіемъ къ тѣмъ глубоко и страстно религіознымъ людямъ въ родѣ Л. Толстого, которые, несмотря на всѣ пре-

пятствія цензуры, поповъ, синодовъ, жандармовъ, миссіонеровъ, гнутъ и ведутъ свою линію, т.-е. въ сущности борются за свободу духа, вѣры, изслѣдованія; но если мы не подвижники, не можемъ или не хотимъ сами участвовать въ этой борьбѣ, намъ остается одно: въ каждомъ частномъ случаѣ разбирать, что полезнѣе: отойти ли совсѣмъ въ сторону, пробавляться ли дешевымъ отрицаніемъ надъ жаждою святыни у простыхъ и невѣжественныхъ людей, или не соблазнять ихъ этимъ презрительнымъ равнодушіемъ и отрицаніемъ, дабы они, по-англійской пословицѣ, «не выплеснули изъ корыта и ребенка вмѣстѣ съ грязной водой», т.-е. вмѣстѣ съ устарѣвшей формою не откинули бы и религіи. Я лично держусь за то, что полезнѣе и достойнѣе примиряться съ формами, какъ бы онѣ ни казались иногда нелѣпыми и безсмысленными, нежели жертвовать тѣмъ, безъ чего человѣкъ мертвъ. — Затѣмъ, что бы тамъ ни говорилъ Л. Толстой, совсѣмъ безъ формы, безъ культа, безъ внѣшнихъ выраженій религія существовать не можетъ, по крайней мѣрѣ, въ ближайшую тысячу лѣтъ. И потомъ онъ забываетъ, что «формы» удовлетворяютъ, кромѣ религіознаго, и художественное, въ свою очередь могущественное и необходимое чувство, и что, напримѣръ, внѣшняя обстановка, хотя бы нашего православія,— его mise en scène, если можно такъ выразиться, — удивительна по своей красотѣ, по своему красочному, пластичному, звуковому символизму.

Самый главный вредъ и гнусность православія заключается въ томъ, противъ чего боролись даже такіе экстраправославные, какъ Хомяковъ, Владимиръ Соловьевъ и другіе, — въ его противоестественномъ союзѣ съ становымъ приставомъ, съ жандармомъ, съ тюремщикомъ, съ ротнымъ командиромъ, — однимъ словомъ, съ государствомъ. Но вовсе не въ его таинствахъ, мистеріяхъ, благолѣпіи, догматахъ, требахъ. Будь оно дѣйствительно «свободною церковью», не якшайся съ «свѣтской властью», не превратись въ своего рода департаментъ — я рѣшительно не понимаю, чѣмъ было бы оно хуже католичества и безчисленныхъ протестантскихъ сектъ. Напротивъ, гораздо глубже, человѣчнѣе и красивѣе...

Дочери.

7 января 1907, Москва, Воздвиженка.

Великое разнообразіе человѣческихъ душъ ужасно трудно подвести къ единству какого-нибудь конкретнаго рецепта. Такъ и рецептъ «не имѣть пребывающа града»... Для иной души это дѣйствительно необходимо — въ цѣляхъ «взысканія града грядущаго», но для другой — разъ нѣтъ «пребывающа», она до такой степени ожесточается и падаетъ, что и думать не въ состояніи о «грядущемъ». Вообще же *нормою*, мнѣ кажется, долженъ быть «градъ пребывающій», ибо безъ него возникъ бы всякую душу возмущающій безпорядокъ, и земля заросла бы терніями и волчцами, а уже изъ этой общей нормы пускай будутъ *свободные* выходы для тѣхъ, кто не нуждается въ пребывающемъ градѣ, но хочетъ только искать грядущаго. Но *свободные выходы*, а не такъ, какъ теперь: хочешь, не хочешь, но броди по свѣту безъ угла, безъ пристанища...

Возвращаясь къ нашему положенію, я, конечно, не хочу жаловаться, но когда подумаешь, что нашъ pied à terre только обусловливается своего рода случайностью, т.-е. тѣмъ, что я веду дѣла Пашковыхъ и если перестану вести, то мы, такъ сказать, «повиснемъ въ пространствѣ», — право же, становится непріятно. И даже глубоко непріятно; особенно теперь, когда, опять-таки благодаря случайности, у насъ образовалось очень много мебели и вообще всякихъ вещей,— и куда все это дѣвать, если не будетъ пашковской квартиры въ восемь просторныхъ комнатъ, а между тѣмъ къ вещамъ привыкаешь, иногда любишь ихъ, и распродавать бываетъ жалко до боли. Вѣдь, еще Герценъ сказалъ: «иныя вещи

несравненно болѣе жалко терять, нежели иныхъ людей». Правда, *такихъ* вещей у насъ нѣтъ, но все-таки и къ посредственнымъ, къ обыкновеннымъ привыкаешь, и производить надъ ними разгромъ иногда то же самое, что входить въ новую, непріятную, неуютную жизнь, что такъ бываетъ трудно, особенно къ старости. — И когда подумаешь, что нѣкоторые дома собирались десятками, иногда сотнями лѣтъ и многія поколѣнія срослись съ такимъ собраніемъ вещей — и вотъ набѣгаетъ шквалъ въ родѣ «аграрныхъ безпорядковъ» въ Россіи или такихъ же катаклизмовъ на Западѣ, то такъ бываетъ понятно, что революціи имѣютъ столь ожесточенныхъ, столь страстныхъ и неуступчивыхъ враговъ. Тутъ дѣло не въ одномъ матеріальномъ, но въ томъ, что гораздо глубже и важнѣе матеріальнаго — въ грубомъ разрушеніи своего рода святынь, въ погромѣ интимностей, связывающихъ цѣлыя поколѣнія въ одинъ узелъ вещами, воспоминаніями, манерою жить и пр. Пусть вѣрно, что по «математическому» расчету благоустроенныя «святыни» существовали за счетъ чужого труда, чужого неустройства, подавленности, униженія, даже прямого рабства; но если это и такъ, все же въ каждомъ революціонномъ разрушеніи есть нѣчто глубоко несправедливое. О, если бы разрушались только гнилушки, пережитки, архаизмы въ законахъ, въ нравахъ, въ учрежденіяхъ, но не организмы съ переливающейся кровью въ жилахъ, съ біеніемъ живого сердца; а между тѣмъ «институтъ собственности» именно и есть такой организмъ, и въ сущности огромнѣйшее большинство такъ называемыхъ революціонеровъ работаютъ — сознательно или безсознательно, это другой вопросъ — ради того же института, но только съ перемѣщеніемъ его преимуществъ въ пользу другихъ классовъ. Когда смотришь «Вишневый садъ», то это только печально, какъ печальна естественная смерть; но когда вишневые сады истребляются озвѣрѣлою толпою по рецепту «эсъ-эровъ», то это возмутительно, какъ убійство...

А. Г. Пашковой.

18 января 1908, Москва.

Впрочемъ, надо сознаться, что вообще я къ «инцидентамъ» въ этой области — въ церковной, что ли — отношусь только, какъ «наблюдатель». По существу такіе вопросы меня не волнуютъ, души моей не затрогиваютъ, ибо—увы!—у меня давно уже нѣтъ вѣры, что у Церкви есть какая-либо иная оболочка, кромѣ исторической. А то отношеніе къ Богу, т.-е. ко всему «потустороннему», которое у меня имѣется, и безъ котораго, я чувствую, не могъ бы жить, совершенно не нуждается въ какихъ бы то ни было историческихъ «институтахъ», какъ бы они ни назывались. Съ этой точки зрѣнія «институтъ» Церкви занимаетъ меня лишь какъ орудіе зла и добра — не для меня, но для человѣчества. Но для меня, для моего интимнаго «я» въ этомъ нѣтъ и не будетъ надобности, ибо не «институтомъ» я мирюсь съ Богомъ — съ страшными тайнами существующаго, съ властью грѣха, смерти, страданія, съ кажущейся безсмыслицей, разлитой повсюду, — но вѣрою и разумѣніемъ моимъ, внутреннимъ чувствомъ «предустановленной гармоніи», конечно, вложенной въ мою душу тѣмъ же самымъ «Богомъ», страшныя тайны котораго недоступны моему разсудочному пониманію. Съ «*этой* стороны» реформированная Церковь такъ же хороша, какъ реформированная государственность, — конституція вмѣсто самодержавія, но не больше. Правда, въ Церкви, т.-е. въ идеѣ Церкви, есть

одна сторона, которая какъ будто бы должна привлечь и такихъ «уединенныхъ» вѣрующихъ, какъ я, напримѣръ. Это— единеніе съ людьми въ вѣрѣ въ Бога, въ религіозномъ сознаніи и въ вытекающихъ отсюда чувствахъ и дѣйствіяхъ братства, любви, солидарности, въ примиреніи классовыхъ, націоналистическихъ и иныхъ перегородокъ. Но *такой* Церкви, я полагаю, никто изъ насъ живущихъ не дождется, ибо у существующей слишкомъ громоздокъ ея историческій багажъ, чтобы она скоро реформировалась въ Церковь «апостольскую», т.-е. почти безъ всякаго «багажа», но съ великою силою притяженія душъ, съ единеніемъ ихъ въ чувствахъ и символахъ, а не въ идолопоклонствѣ, не въ каноническихъ правилахъ, не въ догматическомъ богословіи...

Я безъ глубокаго интереса и волненія не могу читать о нашемъ русскомъ масонскомъ движеніи временъ Екатерины («мартинисты») и Александра I. Вотъ, мнѣ думается, единственно возможная «церковь» для тѣхъ, кто никакъ не можетъ примириться съ церковью «исторической», хотя бы и «реформированной». Разумѣется, за исключеніемъ дѣтскости и бутафоріи того времени.

А впрочемъ... нужна ли вообще какая-либо Церковь для того типа людей, которые благоговѣйно вѣруютъ и надѣются и любятъ, но не «историческихъ» боговъ и не въ «историческихъ» дисциплинахъ, а лицомъ къ лицу вѣруютъ и любятъ Того Тайнаго, Кто послалъ на землю свой прообразъ— Христа, все равно сочиненъ ли, миѳъ ли этотъ прообразъ, или дѣйствительно жилъ и воскресъ «по Писанію».

Для меня этотъ вопросъ не ясенъ, т.-е. нужна ли особая идеальная какая-то Церковь. Быть-можетъ, для интимнаго и мистическаго міропониманія достаточно той «церкви», что у меня, въ моей душѣ. А потребности единенія съ людьми и любви къ нимъ могутъ проявляться въ формѣ иныхъ союзовъ, начиная съ союза «двухъ», семьи, общины, и кончая союзомъ народностей и государствъ, которые всѣ безъ исключенія могутъ возникать и развиваться и по инымъ мотивамъ, не мистическимъ, какъ не мистична, а глубоко реальна и потребность единенія.

Здоровьемъ своимъ я все еще недоволенъ, но за послѣдніе дни это заслонилось большою душевною болью отъ потери одного умершаго друга [1]) и отъ его страданій, которыя теперь особенно ярко вспоминаются и надрываютъ сердце... Вѣрую, что смыслъ этихъ страданій и этой смерти откроется *тамъ*, но по человѣчеству и малодушію скорблю глубоко, и иногда слишкомъ хочется, чтобы поскорѣе «открылось».

Не могу не поблагодарить судьбу, что она наградила меня способностью увлекаться «дѣлами» — вотъ въ такія тяжелыя минуты это особенно цѣнишь...

---

[1]) А. В. Погожевой.

Е. И. Чертковой.

23 января 1908, Москва.

...Здоровье мое не въ такомъ все-таки положеніи, чтобы спѣшить въ Наугеймъ. Къ боли физической, какъ это ни странно, можно, оказывается, привыкнуть; къ тому же она бываетъ лишь приступами, послѣ которыхъ я опять чувствую себя здоровымъ. Нехорошо другое — непроходящая душевная боль и въ связи съ нею «духъ унынія», отъ котораго никакъ не могу избавиться. Горячо вѣрую, что жизнь наша не кончается здѣсь. Вѣрую также, что въ той жизни получится гармоническое разрѣшеніе всѣхъ тѣхъ мучительныхъ загадокъ и тайнъ человѣческаго существованія, всей той кажущейся безсмыслицы, которая терзаетъ насъ здѣсь... Но душа болитъ, и невыразимая тоска болѣе нестерпима, нежели физическія боли.

Ей же.

3 февраля 1908, Москва.

Дорогая Елизавета Ивановна! Вамъ подастъ эту записочку докторъ Николай Яковлевичъ Петровъ, котораго вы видѣли въ Наугеймѣ — онъ жилъ тамъ со мною, — и подробно разскажетъ вамъ о теперешней моей болѣзни. Кажется, въ настоящее время идетъ къ лучшему, и, Богъ дастъ, поправлюсь скоро, если, конечно, Ему не угодно будетъ рѣшить по-своему, чего тоже не боюсь, но пусть устраиваетъ Его воля. Жалко только живыхъ, изъ которыхъ такъ многимъ я слишкомъ дорогъ, и потеря будетъ слишкомъ большимъ страданіемъ для нихъ. Впрочемъ, такъ или иначе, но вѣрю, что все будетъ хорошо — и для всѣхъ...

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Замѣчанія В. Г. Черткова.

Меня просили помѣстить въ этой книгѣ отрывки изъ переписки, происходившей, около двадцати лѣтъ тому назадъ, между А. И. Эртелемъ и мною. Перечитавши, въ виду этого, наши письма, я счелъ необходимымъ, во избѣжаніе нежелательныхъ недоразумѣній, прибавить нѣсколько пояснительныхъ оговорокъ, которыя и помѣщены ниже.

Чтеніе этой старой переписки мнѣ было пріятно тѣмъ, что, живо напомнивъ мнѣ, до какой степени мы съ покойнымъ Александромъ Ивановичемъ часто расходились во взглядахъ, оно тѣмъ самымъ подтвердило во мнѣ сознаніе всей сердечности нашей взаимной привязанности, при которой дружба наша, несмотря на наше разномысліе, ни на волосъ не ослабѣла до самой его смерти.

Дружба, соединенная съ единомысліемъ, — одна изъ величайшихъ радостей жизни. Единомысліе безъ дружбы часто холодитъ и вызываетъ горечь. Дружба же безъ полнаго единомыслія содержитъ въ себѣ особенную сердечную теплоту, будучи основана на одномъ только непосредственномъ и искреннемъ взаимномъ доброжелательствѣ. Вспоминая Александра Ивановича, мнѣ радостно чувствовать, что такою именно дружбою мы и были съ нимъ соединены.

— *(Къ стр. 59, прим. 1).* Не «спортъ», но то, что̀ наиболѣе противоположно спорту, а именно — внутренняя религіозная потребность.

— *(Къ стр. 59, прим. 2).* Ни одну изъ этихъ способностей я никогда не считалъ подлежащей умерщвленію.

— *(Къ стр. 60, прим. 1).* Путь одинъ — слѣдовать, по мѣрѣ крайнихъ силъ, голосу совѣсти, и ведетъ онъ не къ изнуренію и мукамъ, а къ благу и радости.

— *(Къ стр. 61, прим. 1).* Я никогда не говорилъ, что не слѣдуетъ помогать какимъ бы то ни было людямъ грабительскими деньгами, если деньги эти имѣются налицо. Я утверждалъ только, что самихъ грабительскихъ денегъ не слѣдовало бы имѣть.

— *(Къ стр. 61, прим. 2).* Не *вполнѣ* обрѣлъ. Желательнѣе всего, конечно, чтобы чувство совпадало съ разсудкомъ. Но въ тѣ періоды, когда чувство любви отсутствуетъ, лучше руководствоваться разсуд-

комъ и «примѣривать аршиномъ», нежели ничѣмъ не руководствоваться. Это же, вмѣстѣ съ тѣмъ, и лучшее средство вызывать и соотвѣтствующее чувство.

— *(Къ стр. 97, прим. 1).* А. И. ошибался, предполагая, что эти мыслители не были въ то время извѣстны Толстому.

— *(Къ стр. 98, прим. 1).* Отвѣтъ на этотъ вопросъ содержится въ самой «Исповѣди» Толстого.

— *(Къ стр. 100, прим. 1).* Я высказалъ только то, что жаль, что Марья Павловна, разочаровавшись въ Сергѣѣ Петровичѣ, не почувствовала, что напрасно покинула мужа, съ которымъ добровольно сошлась, и своего ребенка отъ него.

— *(Къ стр. 106, прим. 1).* А. И. ошибался, думая, что я могъ «до сихъ поръ» согласиться съ нимъ. Популярныя научныя изданія распространялись «Посредникомъ» никакъ не въ качествѣ подпорки или стражи при нравственномъ ученіи; а единственно для того, чтобы подѣлиться съ народомъ хоть тою микроскопическою долею полезныхъ для него свѣдѣній, которую возможно найти среди громаднаго количества научнаго матеріала, годнаго и употребляемаго только для болѣе удобной эксплуатаціи рабочаго народа.

— *(Къ стр. 129, прим. 1).* Въ этомъ я гораздо больше сходился съ А. И — мъ, чѣмъ онъ тогда думалъ.

— *(Къ стр. 145, прим. 1).* Книга «О жизни» представляетъ, на мой взглядъ, одно изъ наиболѣе глубокихъ писаній Толстого того времени, безъ малѣйшаго дѣйствительнаго мистицизма проникающее въ самую сущность вопроса. Но, правда, она содержитъ блестяще неотразимую отрицательную критику современной «культуры», въ которую такъ вѣрилъ А. И.

— *(Къ стр. 158, прим. 1).* Съ своей стороны, я вовсе не нахожу безсмысленнымъ то, что люди «приговорены къ смерти». Напротивъ того, для меня было бы безсмысленно, если бы мы не умирали.

— *(Къ стр. 161, прим. 1).* Въ этомъ письмѣ А. И. думалъ, что онъ возражалъ противъ моего тогдашняго отношенія къ жизни и смерти. Но въ этой области онъ меня не понималъ и опровергалъ не мои взгляды, а свои ошибочныя представленія о нихъ.

— *(Къ стр. 164, прим. 1).* Въ то время и въ этой области А. И. не то, что «думалъ иначе, чѣмъ я», а просто меня не понималъ.

— *(Къ стр. 168, прим. 1).* Опять непониманіе со стороны А. И—ча.

— *(Къ стр. 216, прим. 1).* Толстой въ своихъ писаніяхъ никогда никому ничего не предписывалъ. Въ данномъ случаѣ онъ только указалъ на справедливость и благо участія всѣхъ въ земледѣльческомъ трудѣ.

— *(Къ стр. 216, прим. 2).* Все это *не* соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ взглядамъ Толстого, выраженнымъ имъ самимъ въ его писаніяхъ.

— *(Къ стр. 219, прим. 1).* Печатать свои статьи въ той же газетѣ, въ которой пишутъ и другіе, никакъ не значитъ «появляться подъ ручку съ ними».

— *(Къ стр. 230, прим. 1)..* Я никогда не утверждалъ ни того, что дѣйствительность призрачна, ни того, что съ внѣшнимъ міромъ не слѣдуетъ считаться.

— *(Къ стр. 230, прим. 2).* Это возраженіе на *форму* или тонъ моихъ замѣчаній, а не на ихъ *содержаніе.*

— *(Къ стр. 230, прим. 3).* Я и не говорилъ, что рѣчь шла о томъ.

— *(Къ стр. 230, прим. 4).* Доказывалось не то, какъ трудно вообще влiять, а какъ трудно, даже невозможно, влiять съ той быстротой, которую требуютъ наивныя дѣти.

— *(Къ стр. 232, прим. 1).* Никогда я этого не думалъ.

— *(Къ стр. 232, прим. 2).* Вовсе не это я сравнилъ съ гастрономіей.

— *(Къ стр. 233, прим. 1).* Одно дѣло — печатать свою статью въ чужой газетѣ. (Чѣмъ хуже общее содержаніе газеты, тѣмъ иногда бываетъ желательнѣе помѣстить туда что-нибудь, что̀ считаешь хорошимъ.) Но совсѣмъ другое дѣло — портить содержаніе книгъ, которыя ты самъ редактируешь и издаешь.

— *(Къ стр. 233, прим. 2).* Такъ думала о Толстомъ наша «интеллигенція» 20 лѣтъ тому назадъ. Съ тѣхъ поръ опытъ жизни наглядно показалъ, что «мечтательная работа воображенія» происходила у противниковъ Толстого; «содержаніе же самой подлинной жизни» блестяще подтвердило и на нашихъ глазахъ продолжаетъ подтверждать правоту Толстого.

— *(Къ стр. 253, прим. 1).* И я не вычеркивалъ его изъ числа живыхъ существъ.

— *(Къ стр. 253, прим. 2).* Съ своей стороны, я никакъ не могу придавать «весьма большое значеніе» мнѣніямъ проф. Козлова.

— *(Къ стр. 254, прим. 1).* Слова «призрачность существованія» не точно выражаютъ мое признаніе несомнѣнно реальною только области сознанія.

— *(Къ стр. 254, прим. 2).* Эту сферу въ ея *истинномъ*, а не современномъ извращенномъ значеніи, я никакъ не отрицаю.

— *(Къ стр. 255, прим. 1).* Знакомство съ выработанной человѣчествомъ философіей я признаю весьма желательнымъ.

— *(Къ стр. 259, прим. 1).* И какъ всегда признавалъ и признаю я самъ.

— *(Къ стр. 261, прим. 1).* Вполнѣ согласенъ, что все это непослѣдовательно; но по этому самому оно никакъ не можетъ *вытекать изъ* перечисленныхъ принциповъ.

— *(Къ стр. 262, прим. 1).* Я бы сказалъ не *непримиримость*, а *непримиренность*.

— *(Къ стр. 274, прим. 1).* Въ сообщеніи отъ редакціи «Посредника» говорилось не о возвращеніи, а о приближеніи къ народному источнику. Одобряемое А. И — мъ упрощеніе «конструкціи слога» было бы не чѣмъ инымъ, какъ нѣкоторымъ приближеніемъ интеллигентнаго литературнаго языка къ народному источнику.

— *(Къ стр. 276, прим. 1).* Гаршинъ собирался писать для «образованныхъ» людей повѣсть изъ эпохи Петра I и говорилъ мнѣ, что считаетъ вполнѣ возможнымъ и намѣренъ изложить ее тою же простою народною рѣчью, которою писалъ для «Посредника».

— *(Къ стр. 341, прим. 1).* Вполнѣ понятно, что «пассивное сопротивленіе» правительству со стороны духоборовъ никакъ не могло нравиться нашей интеллигенціи, которой, если не словомъ, то дѣломъ, приходится путемъ «пассивнаго подчиненія» правительству обезпечивать за собой свое «привилегированное» положеніе на шеѣ рабочаго народа.

Владимиръ Чертковъ.

4 февраля 1909 года.

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
Имени Александра Сергѣевича ПУШКИНА.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

Міровоззрѣніе А. И. Эртеля. — **М. Гершензона**. I

Автобіографія А. И. Эртеля 1

ПИСЬМА.

М. Н. Чистякову, *5 октября 1877 г.* 39
Ему же, *10 августа 1881 г.* 41
М. В. Огарковой, *22 августа 1883 г.* 42
Ей же, *24 августа* 47
Ей же, *27 августа* 49
Гр. Л. Н. Толстому, *1 марта 1885 г.* 52
Ему же, *24 сентября* 54
А. С. Пругавину, *30 апрѣля 1886 г.* 57
В. Г. Черткову, *4 іюля 1888 г.* 58
Ему же, *15 іюля* 66
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *19 іюля* 68
Ему же, *25 іюля* 71
Ему же, *5 августа* 75
Ему же, *17 августа* 84
Ему же, *19 августа* 97
Ему же, *28 августа* 99
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *30 августа* 100
Ему же, *7 сентября* 101
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *17 сентября* 113
Ему же, *21 сентября* 117
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *18 октября* 120
Тоже, *13 ноября* 121
Ему же, *18 ноября* 124
В. В. Лесевичу, *7 февраля 1889 г.* 130
Ему же, *10 февраля* 143
В. Г. Черткову, *12 марта* 145
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *22 марта* 146
М. Н. Чистякову, *19 апрѣля* 148
Ему же, *20 іюля* 153

В. Г. Черткову, *20 іюля 1889 г.* 155
М. Н. Чистякову, *3 августа* 156
В. Г. Черткову, *10 сентября* 158
В. А. Гольцеву. *15 октября* 172
П. А. Бакунину, *31 декабря* 177
В. Г. Короленко — А. И. Эртелю, *11 февраля 1890 г.* . . 180
В. Г. Короленку, *20 февраля* 181
М. Н. Чистякову, *18 марта* 194
П. А. Бакунину, *5 ноября* 195
Ему же, *24 ноября* 197
В. Г. Черткову, *1 декабря* 201
П. А. Бакунину, *14 декабря* 203
П. А. Бакунинъ — А. И. Эртелю, *27 декабря* 209
В. Г. Черткову, *19 декабря* 212
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *30 декабря* 219
Ему же, *5 января 1891 г.* 227
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *8 января* 234
П. А. Бакунину, *6 января* 235
П. А. Бакунинъ — А. И. Эртелю, *29 января* 239
А. С. Пругавину, *22 февраля* 241
П. Ѳ. Николаеву, *6 марта* 245
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *10 марта* 251
В. Г. Черткову, *22 марта* 253
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *27 марта* 255
Ему же, *30 марта* 256
П. А. Бакунину, *30 апрѣля* 263
П. А. Бакунинъ — А. И. Эртелю, *14 мая* 270
В. Г. Черткову, *4 мая* 273
П. Ѳ. Николаеву, *9 іюня* 277
В. Г. Черткову, *13 іюня* 281
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *20 августа* 283
Ему же, *22 августа* 283
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *17 ноября* 285
Ему же, *30 ноября* 286
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *6 декабря* 287
Ему же, *16 августа 1892 г.* 289
П. А. Бакунину, *24 декабря* 291
А. В. Погожевой, *26 декабря* 294
П. А. Бакунину, *15 января 1893 г.* 303
П. А. Бакунинъ — А. И. Эртелю, *25 января* 312
М. Н. Чистякову, *25 марта* 317
З. С. Соколовой, *9 апрѣля* 320
В. А. Гольцеву, *3 августа* 324
М. И. Токмаковой (Водовозовой), *4 января 1894 г.* 326

В. Г. Черткову, *15 января 1894 г.* 331
Ему же, *10 апрѣля 1895 г.* 332
А. В. Погожевой, *26 іюня* 336
Ей же, *24 ноября* 337
В. Г. Черткову, *18 декабря* 338
В. Г. Чертковъ — А. И. Эртелю, *25 декабря* 342
А. В. Погожевой, *3 марта 1897 г.* 346
П. Ѳ. Николаеву, *3 марта* 347
А. П. Чехову, *7 марта* 350
Ему же, *10 апрѣля* 353
А. В. Погожевой, *24 сентября* 355
Ей же, *17 апрѣля 1898 г.* 360
Ей же, *10 мая* 362
Н. Я. Петрову, *29 іюля* 363
А. В. Погожевой, *21 августа* 365
Н. Я. Петрову, *26 октября* 368
З. С. Соколовой, *2 апрѣля 1899 г.* 371
А. В. Погожевой, *28 августа* 374
Н. Я. Петрову, *2 ноября* 378
З. С. Соколовой, *23 апрѣля 1900 г.* 382
М. Н. Чистякову, *25 октября* 386
Ему же, *31 января 1902 г.* 389
Б. Д. Вострякову, *4 ноября* 391
Дочери, *7 января 1907 г.* 393
А. Г. Пашковой, *18 января 1908 г.* 395
Е. И. Чертковой, *23 января* 398
Ей же, *3 февраля* 399

Приложеніе: Замѣчанія **В. Г. Черткова.** 401

Обложка работы **В. Д. Замирайло.**

„Московское Книгоиздательство".
МОСКВА, Мясницкая, д. 36, кв. 10. Телефонъ 18-48.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невскій, 104, кв. 30.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Александра Ивановича
ЭРТЕЛЯ

въ 7 томахъ, около 170 печатныхъ листовъ, съ портретомъ автора и критико-біографической статьей Ѳ. Д. Батюшкова.

СОДЕРЖАНІЕ:

1-й томъ. — Записки Степняка. Часть первая } . . . 2 р. 50 к.
2-й томъ. — Записки Степняка. „ вторая }
3-й томъ. — Волхонская барышня. Минеральныя воды. 1 р. 50 к.
4-й томъ. — Двѣ пары. Карьера Струкова. Бабій бунтъ. Жадный мужикъ . . . . . 1 р. 50 к.

5-й и 6-й томы — романъ „Гарденины" съ предисловіемъ графа Льва Николаевича Толстого.

5-й томъ. — Гарденины. Часть первая } . . . . . 2 р. 50 к.
6-й томъ. — Гарденины. „ вторая }

7-й томъ. — Смѣна. Въ сумеркахъ. Пятихины дѣти. Духовидцы. Спеціалистъ. Восторги. Разговоръ . . . . . 1 р. 50 к.

Томъ 1-й съ портретомъ автора.
Обложки работы **И. Я. Билибина.**
Все изданіе будетъ закончено въ мартѣ 1909 года.

SWARTHMORE
COLLEGE
LIBRARY